KPYWEHHE MUXANA HOBAROB NMTEPHN





МИХАИЛ КОЗАКОВ

КРУШЕНИЕ Империи

Роман В четырех частях

> Часть первая Часть вторая

Вступительная статья КОНСТ. ФЕДИНА

Оформление художника Г. ПРОСВИРОВА

Козаков, Михаил.

К 59 Крушение империи: Роман: В 4-х ч.//Вступит. ст. Конст. Федина; Худож. Г. Просвиров/. Ч. 1—2.—Т.: Узбекистан, 1987.—368 с.

790.—300 с. Роман «Крушение империи» Михаила Эммануиловича Козакова (1897—1954) посвящен историческим событиям, происходившим в России с 1914 года по апрель 1917 года. Основная тема романа — участие русской интеглитенции в революционной борьбе народа с царизмом.

P2

№ 520—87 Гос. б-ка УзССР им. А. Навои.

С Издательство «Художественная литература, 1986 г.

С Оформление. Издательство «УЗБЕКИСТАН», 1987 г.

МИХАИЛ КОЗАКОВ И ЕГО «КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ» 1

1

ратурной средой добо неврем, которые при своей жизно оценнавлется дитературной средой добо неврем, добо дажем в печерпнаводие, даже будучи связаниями с ней очень теснивни узами. Ипогда как раз близость писателя к спосму профессиональному кругу, прочная общность интересов его с жизнью соговарищей по литературе порождаяту м нопога из ин их двечатальне, что он хорошо всеми изучен и оценка достоинств его общензвестна. Привычное мисин о таком блитно знакомом, как бы раз павсетап понятом писатель оснщает наблюдению за переменами, им переданиемыми, за ростом его худолественных качеств. Критика часто схупится на внимание ко всему развообразно вливых дитературных инка часто схупится на внимание ко всему развообразно вливых дитературных инка часто схупится на внимание ко всему развообразно вливых дитературнах няковий, Немалю полукому ценного мы труде сложившимих, общенруванным репузациям. Немалю полукому ценного мы трудем из выду в многощестном богатстве, создаваемом нашими писателями.

Так сложаваеь литературных судьбь Миханец Колаковае он был на редиссти медро надалей общественным темпераментом, был совершенно «своим» в делах и дних коллективной писательской работы, и слишком многих из его литературных ровесников, дорожавших этимы его выдажимнийся качествами общественныма, табываюм, что самым дорогим в нем всетда оставалось дело его жилии — труд по призванию писателя.

И как ин горько, но надо признать, что Козаков однажды в печати справедливо попрежнул критику невизманием к его «основной работе» — к роману, который теперь, вполне законченный незадолго до смерти писателя, выходит под названием «Крушение империи».

«Хотя первая часть этого романа вышла (начиная с 1929 года) пятью изданиями, все же она прошла при полном молчании критики...» — писал Козаков три года спустя после подвежиня книги.

Но, конечно, не без основания переиздавались отдельные части большого романа Козакова: произведению этому принадлежит свое особое место в нашей зудожественной лигреатуре, и советский читатель в мог не заметить, что в этой исизображена существенная полоса революционного развития нашей страны, взят важный мемент его истории и раскрыты характерные вравы вр-мени в образе нескольких отдиную выплеанных фигур.

В настоящем издании печатается по тексту: Федин Конст. Собр. соч., т. 9. М., Ууложественная литература, 1973.

Статъя написана Коист. Фединым для первого издания романа М. Козакова «Крушение империи» 1956). Впоследствии переизданалась исоднократно.

Жизнения дорога Михакиа Эмманукловича Козакова напоминает нам знакомые биографии советских писателей старшего поколения, встретившего революцию в коности или на пороге зредых лет, процессаного ражданскую войну, взявшегося за перо в разгар борьбы за утверждение рабоче-крестьянской вдасти.

Козаков родился на Украине, и если не считать раннего летства, часть когорого протексал в Краму, гле его отец работал весовщиком в порту, то Украине он обязан всем объщем познавани и представлений о человеке и обществе, приобретаемых на первых шагах жизни. Он учисся в Лубевской гимназии Полтавской гобернии, комичет се с золотой медалью во время войны, в 1916 году, тогда в соступил в Киевский университет и слушал курс сначала на мелицинском, потом на коризическом факультетах.

Еще до февральского переворота он участвовал в революционном движении киевского студенчества, и это ему осение схоро отпоженлось. Когда в 1918 году, после провозглащения «тетамном» Скоропадского, Когдако приехал из Киева к своей матери в Лубны, за ним устроили погоно офицеры тетманского «куреня» недавние одножащимих по гипначии. Ему удальсь бежать, пересовеннысь,

С этого момента начались для Козакова годы, полные приключений и опасностей, которые бывали так обычны, особенно на Украгие, и выпадали на долю не только профессиональных революционеров, но почти всех, кто им сочувствовал и помогал.

Козаков скрывался по городам и селам Украины. Встречаясь с законспирированиями коммунистами, летом 1918 года он был арестован по обвинению в большевизме, в агитации против соозиных гетамир гремыских вобск и выдолече в одиночку лубенской ткрымы. После револовии в Германии его выпустили. Но на смену гетамицам принци петлоровцы. Козаков снова подвертся аресту «за большевистское настроение и русофильство».

Он-не был часном партин. Оливо захват города Лубим большевистским ревкомом в инваре 1910 года застает его на одной из явок большевиков. Его привъевью кот к работе в ревкоме, он избирается в Совет рабочих депутатов, в исполнительный комитет Совета, изаначается комиссаром труда, становится членом редакции местной галети м корреспоизаетном РОСТа.

«В моем архиве остался документ — мандат Совета рабочих депутатов. Любовно храню эту встхую бумажку как память о боевом и ярком годе моей жизни»,—пишет Козаков в своей автобиографии спустя более трех десктидетий.

В ангусте 1919 года денижница зацимают Полтаву. Возникает угроза Лубцам. Козаков входит в штаб обороны города. Его назначают началником эмакулици рабочих с их семействами. Составляется огромный эшедого закрупуремых, въдочалщий в себя нагоны из разных городов Украины, и Колаков — комендант эшедона доводит его сперва до Москам, дтем до Казани.

доводит его сперва до Москвы, затем до Казани.

Здесь в 1926 году он возобновил занятия в университете и продолжал их до своего переезда в Петроград в 1921 году.

Этому городу, о котором Келяков говорил как о полобившемся сму еще в 1041 году, довское сътрать решвижую роль в биографии писателя. Ленниграл бал ему пяслой в дитературном труде, был истоинком воогражения в випрустанной общественной деятельности, тут позвядаеть его первая влига, тут оп сложился как инстаглы, и тут прошла без малото вся его жизны. Не было почти вы одного дитературного вачивания, в котором он не принях бы участия, после того как ввирсты, в 1924 году книгу расскаю ви стал известен в викаетностих кругах. Его инициатива и страсть организатора нашли свое выражение в создании журпала «Лигературный современния». За время пятилетиего участия в редактировании журнала ему удалось объединить вокруг этого издания писателей, ране входявших в различиве лигературные группировых дассь печатались Алексей толстой («Петр Первый»). Выс. Шишков («Емьслая Путачен»). От Тывияно, Н. Тъконов, А. Прохофьев, Олка Бергольца, В. Каверии, Юрий Гермац, Эльмар Гриц, пооты Украина — П. Тычина, М. Ральский и многие другие. Журнал сыграл очень заметиру росль в голь перестройки литературно-уздожественных организаций после заменации различного производительного произ

В то же время Козаков непрерывно продолжал писать. За первое пятилетие своёй работы беллегриста, в двадшатых годах, он выпустил восемь книг рассказов и повестей. К началу тридцатых годов были напечатаны четыре тома «Избранных сочинений», куда вълючена и первая часть его романа.

Но труду нал этим романом суждено было заивть долгие сроки и сделаться, свянию задажей всей писательской жинии Комакова. Первогиальный вършант романа (под названием «Девять точек») потребовал пелого десятилетия; последняя, четвертая часть выпода в 1939 году. Для самого авторы, однако, произведение на этом не было закончено — годы и годы возращался он к вереработке его глав и частей, пока наконец в 1934 году, многое исключив из романа и многое написав запоко, не счес свей труд завершенным.

В декабре 1954 года, в Москве, Михаил Козаков умер.

3

Из биографии Козакова видно, что жизнь дала ему богатые приобретения, и кладовая писателя была вереполнена, так сказать материальными запасами.

Но перед каждым пикателем в тчение всей творческой жизни — в конце ее енва ли с меньшей остротой, чем в начале, — стоит вопрос о средствях художественного выражения приобретенных жизненных познаний. Иметь что сказать в литературе сще не означает уметь сказаты. Борьба за вскусство выражения — труднам борьба. Итобы выйти и и ее победителем, тебустех не одно природное армоние, не только настойчивость, водя, не только обождине литературы — требуется предость понимания целей вскусства, редостьк, которам дагется опытом художника. Ответ на вопрое «как писать» не может быть дан без ответа на вопрое часие писать». Нельзя отыскать средство, не зная цели. Мы медим, что поиски ответа на эти вопрое и примательной дительное время, потому что решаются как всею коллективной практикой, исторней дительное время, потому что решаются как всею коллективной практикой, исторней дительное время, потому что решаются как всею коллективной практикой, исторней дительное время, потому что решаются как всею коллективной практикой, исторней дительное время, потому что решаются как всею коллективной практикой, исторней дительное время, потому что решаются как всею коллективной практикой, исторней дительное время, потому что решаются как всею коллективной практикой, исторней дительное время, потому что решаются как всею коллективной практикой, исторней дительное время, потому что решаются как всею коллективной практикой, исторней дительное время, потому что решаются как всею коллективной практикой, исторней дительное время, потому что решаются как всею коллективной практикой, исторней дительное время, потому что решаются как всею коллективной практикой, исторней дительное всемя премя пределение в пределение премя пределение премя премя

Козаков пришел к работе писателя с представлениями о литературе, распространенными среди молодежи в кануи первой мировой войны,— со своего рода обязательными вкусами законодателей декадентского течения в искусстве. Литература реализма была в глазах этого течения устарелым видом искусства. Если сказать, что являлось общим требованием всевозможных вариантов разветвленного декадентетва, то главное было в том, чтобы писать не так, как реалисты.

Отход от традиции классиков литературы прився модных писатслей в начале всек к персемотру русской стильствых во всех доленствах художественной филь-Это комулось сосбенно языка и ритивки и вылисось в необъезайную изысканизать всего строя речи. Само отношение к литературы енобходимо съспесь к отстанизать декадентами художественной формы зак самощени некусства. Подспорыем их оказались теорентым литературного формылизать.

Молодой Козаков в раникою пору своих поисков очутился в этих унасъслованных от дорежовощимного времени потемках искусства. Разуместся, он был не одинок. Многие молодые советские писатели в вназаде давадилатьх годов принесли с собою в литературу маскоро нахватанные клочы из дослещего модеринстского, «этстического насъедия буржуалной России и с долгими усильями висвобождались из его плена. Козаков принадъежал к тем из них, кто мучительно изгливалитьия процылого, и его первые книги могут служить примером подобных, довольно распространенных в тулому литературных явлений.

Большое число расскатов и повестей Козакова дают нам картину постепенного продвижения писателя от крайне усложненной и потому ступанный произ к ясному языку и реалистическому стилю. Если сравнить книгу, с которой он начал.— рассказам «Попутаево счастье».— с тем, что он писал через три-четыре года после нес.— например, с повестью «Мещании Адамейко»,— то и тогда можно говорить о двух разных его литературных кородастах.

Соблазнительная в те времена «каловая» форма речи безраздельно госполежная по коей перной, ав и не только в первой книге Колакова. Зассь были не то что следы, но даже явные сколак с элитрых изощрений стилидатора Алексея Ремилова и сто подмастърься. Зараза была прилигинав, и Козакову столко труда превозмогать манеру, которой он поддаск, и отучнаять себя от напевного, приченуческого ритма вперемежку с моготивачительно-кратими фразым из одного-двух осло. В книгах, предистепленающих работе над романом, от изсредсиенть обеспрать к языку и стило реалиста, значительно съвобщившие, от искусственного постреми фразы, надхранности в расточительности в метафорка, от вольного и пеколного населия над собой, негибежного, когда писатель во что бы то из стало стремится к тому, что Горький называя «фитуронство шехым».

Но дело не только в окладении формой, будь то форма какого утолно художественного стиля. «Форма никогда не существует без содержания»— говорит Гете в наброске скемы своей великой трателии, касаясь «спора между формой и бесформенностью». Всякое содержание может быть выражено санистенно в пресущей ему форме, и сели так, то форма выковает в национ праставлении вепрежденно присущее ей содержание. Произвольно разорявть этот двучлен невозможно. И как только писатель, уваскаясь определенной стилистикий, перенимает ввещние приемы и средства каких-нобуль художественных произведении, он не может инкуда уйти от подсказык, которая ему навевается содержанием — существом и смислом этих произведений, увасканих сто свого стилетиков.

Тут — закон, «его же не прейдеши».

В расскатах и повестих Козакова голоса и отголоски студенческих, коношеских, молодых его литературних божков, естественно, прозручали и тематикова и образним миром героев. Ми найдем у него не только сказовую ритимых Ремпионаили нервическую патетику с возгласами Леонида Андреева, но встретим и андраский демонилм, и его устращающих отмосимых у с которой, как издести, ЛеТолстой отозвался, что, мол. Анареев чнутает, а мие не стращно»), ватольнемся и на мифологически невероятных, отталкивающих уродствами ремизовских переонажей. Карлики физические и карлики духовные, несчастные, жальне, пригистенные люди или люди нагаме — предатели, властолобия, доносчики, воры, истяратели — мир. для гибиет человек с сершем и честной мысало», —обичный мир иворы, истяративной пром могодого Котакова. Его изобразительные силы, дитературный дар, само его горячее жизислобие и восхищение человеком — все это приносилось в жертву — чему? Созданию приграков, уже процедших по княгам модной беллетристики, ичелиущих вместе с модой на нее и оставляющих нового читателя в недоумении.

Колаков чем дальше, тем больше чувствовал безлизненность кових старых пристрастий. К счастью, в мужестве своем и действительно беззаветной предвиности литературе он нашел силы, чтобы сбросить с себя путы, мешавшие росту. Он понял зависимость свою от усвоенного стиля и сломал его. Понял, что выбор тот своих нестьем произведения, и отказался от своих мелких, киижных персонажей, обратив взгляд к цирокому миру борьбы общественных противоречий. Яснее стала цель литературной задачи, определениее ответ на вопрост — зачем я пишу.

Переход от одного качества работы к другому, разумеется, не был водшебным, в новый передод былы замесены из старого изместные вывыми и праемы письмы, в массе своей уже преодоленные. Козаков превосходно это видех, и потому так сложен был весы процесс труда над романом. Однако новое качество этого труда по гравнению с процидым было несегоромо для него, причанов было и читателем.

4

Роман «Крушение империи» задуман был сначала как произведение по преимуществу бытовое.

Помию, как на первой стадии работы Колаков узасчению рассказывал мие замесся бузущей своей бълзаной иняги. В центре ее должив бъла стотъв исторыя семын Калмыковых и фигура депутата Государственной думы Карабаева. Жизнь Калмыковых, делом когорых был совержатель поточного двора в глухой преминици, высърг судьба детей и вирхов вращалось действие повествовния, рисоколения, высърг судьба детей и вирхов вращалось действие повествовния, рисоколению времени. Чувствовалось, что в историю этой семын Колаков намеревался кложить свои коренние знании удасты двого должно и пределатовного и предуста предуста образа действие должна своей биографии. На биографичность воиго геров романа — Феди — ои сам впоследении указанама. Карабаев интересовал его в павне песькологическом, как должность из иного круга, исвесии Калмыковы, и только отчасти как выразитель формации ресского бутьогамиров собразание острои бутьогамиров собразание образа должно подаго пределательного отчасти как выразитель формации ресского бутьогамиров.

Историчность эпохи, в которой должны были развертываться сцены семейной жизни, автору казалась тогда лишь дополняющим центральные бытовые картины моментом.

Так думал Козаков и много позже, хотя финал первой части романа как бы привидения всии выголькум это из довольно замкнутих семейных отношений, личных коллизий героев и заставыт очертить некоторые фигуры, заятые из фактической истории времен первой мировой войны. Работая уже выд эторой частью. Козаков сите по, пр., у адамала явлоче, кожно оката примет в будущем его произведения.

говорил в 1933 году: «Роман мой не исторический в строгом смысле слова, однако события такого порядка, как распутивиала, деятельность оппозиционной буржуазии в военно-промышленных комитетах, кадетская партия и ес думская фракция накануне Февральской революции, «работа» охранки, а с другой стороны, полпольная революционная деятельность Пстроградского Комитета большеников все это требует создания в романе правильного исторического фона».

Важность исторического осмысления событий эпохи для Козакова была очевидной, но если бы сму сказали, что материал истории, в сущности, займет главное место в романе, он не поверий вы. Он утвержала, что исторические моменты в его цлане «лишены характера самодолжеющей объективной хроники и жестко подчински законам развития и показа судобы отдельных (и главных) геторов мосто романа». Он считал историю тольно обымо.

Но эстория заставяла его буквально погрузиться в изучение своих фактов. И когда он перечитал пакты всех направлений за годи 1913—1917, когда засел за труды Ленинва, принядел отведивать по Ленинвраду участнико свержения связоваться державия и взития Зищего дворца, процед по сждава подпольщиков бельшеников 1916 года, когда рабочий год кабинет предрагиться в библиотесу с сотимия мист музарка и документов по истории февральского переворота — тогда всех заммеет романа был пересмотрен изнове, и события истории и загранения общего фона стали выданияться на передний плава. Изменилась рама картины. Прежие намерение написать тримогих делётеме которой обиммен пятивациять или больше лет (Козаков предполагал довести его до 1928 и впосладствии даже до 1930 года), было оставление. Онивек границы романа с узавись до изображения непользки ятит, 1913—1917. Заго сосержание романа, уплотившись приобредо прочную идейную и компониционную опору: это роман о Феврал с

Является ли он в собствениюм смысле историческим? Несомненно. Все сто основание поконтся на подлинно исторических событиях, и весь строй служит изображению великого общественного перевала от России царской к России революции.

Примечательно одно ваблякаемие, сделанное Колаковым на встречах с читателями первой части романа. Он обваряжал, что историю-общественный материал романа, да и материал бытовой был мало известега ауаитории, и больше всего это относнось к молодым читательм, задававшим затору не один «наизнанія» вопрокуваков прищет готал к выводу, что ето княги оказалась канисанной для молодого читателя, желавшего основательно знать прошлее, из которого явилась к жизни революционныя досітатительность муружавшая и водитивленнам понук, осветьсть молодель. Вывод был верен для периода первой патилетия, том более перио будемистичность в перен для периода первой патилетия, том более перио будение завиля читателей воспримент роман Козакова как произведение историческое во всей сооквупности материала.

Фсвраль — это предыстория Октября. Даже старшее поколение, слушая в ранием детстве рассказ о Феврале от своих отцов, воспринимало его как давнее прошлое. Для нимешней молодежи свержение царизма — «преданье старины глубокой».

Для Козахова интерес читателей к событиям февральского переворота был силысийшим толуком к тому, чтобы перевсти возбо семейно-бытовой роман на рельсы романа исторического. Но Козахов далек от того, чтобы придавать повествованию характер исторической хроники. Тут он остадся верен первоначальной своей установае; роман должен быть подвижным, наполениям произвествимим. столкновениями, неожиданноствми. Скожетвость произведения, интрига, смена мест и обстоятельств действия, разнообразие характеров, контрасты положений это тоже требование читателя, любящего больщую, «толстую» книгу и всегда ждушего, чтобы она самы вовлекла его в создаваемую автором жизнь геросв.

Такому требованию читателя, и вместе требованию романиста, Козаков ответил хорошо: книгу читаешь с увлечением, сожет ее непроизвольно развивается из стольновений действующих лиц, фабульные моменты интересны разнообразием интриги, все время возобновляющейся на протяжении романа.

5

 «Крушение империи» — роман с очень большим числом действующих лиц. Главивые из них до типической вркости выражают существо определенных общественных слоев и классов России первой мировой войны и февральской революции.

Прежде всего это относится к образу Льва Карабаева — одного из лидеров кадетской партии в Государственной думс и затем министра Временного правительства. По меткости обрисовки и раскрытия образа Карабаев пока единственный в советской литературе тип «настоящего конституционалиста-демократа». Он дан полно, со всеми оттенками внутренних противоречий, - либерал-буржуа, добивающийся своей собственной, кадетской революции и носящий в себе свою же собственную, законченную контрреволюцию с фразами о «политической совести» и готовностью переуступить ее не только англо-французским союзникам в войне, но кому угодно, если дело идет об интересах своей особы. Уже будучи на министерском посту, он, чтобы сохранить свое реноме, старается замять дело Теплухина, тайного агента царской охранки, служащего на предприятии родного брата Карабаева — Георгия. Кадетский лидер со своей славой «чистой совести лучших слоев общества», по иронии случая еще при царе разделивший эту славу, сам того не зная, с агентом охранки, вынужден спасать его уже после Февраля, в ореоле кадетского господства. В эпизоде есть нечто символическое, хотя автор романа не думал о символике, а только вел героя по жизни, от одного этапа к другому, всматриваясь в лукавое и злос, иногда драматичное, иногда трусливое приспособление рыцаря российского либерализма к обстоятельствам времени. Фигура получилась рельефной.

Ей под стать рисуется образ Георгия Карабаева. Фабрикант и заводчик делоного плиза, почитавшегося среди успевающей буркузани прогрессивным, Георгий Павлович дела тее возможное, чтобы валадить предприятие на западный образец, не исключая умеренного заигрывания с рабочним. Избранный им путь должен был всеги тоже к своболе — ровво такой, которая облегчала бы быстрое продвижение сго к вожделенному миллионерству.

Вокруг братьев Карабаевых врашается плеяда самых разновидим теросы достройней и молодежы, игражная в романе важную роль. Новее поколение буржуданой инглагиении с наступлением реколюции гораздо глубже своих отцов ощущало неизбежность сделать решительный выбор между столкнущимися сенивальными загорями. Инстинат хизны обостра воспрактие тратедия войны, народное горе, распад правящей верхушки общества — все это тревожило сознание и чувства молодежи, понуждало исклать разладку причин иссчастья, обрушившегося на родину, толкатывающий облик тех чистых, прямых натур оной русской интеллитенции, котовые пация в себе волю порязать с отцами и отдать себя на службу народу. Мік кажется, Козаков в ріс. закончил роман на тем, чте Ирина рассказывает в пікаме свему другу ранік й кімести Феле Кальнькову о ветрече питерскім прилетариатом. Леніна пер. а Фіникицским вокалом в апраде 1917 года: кариссковню открывает перел меледей Рессей дероту к Октябрю, единственную пиркую доргу к стра испектую смесободленняго от валети Карабов вых моют, что

Не все, ксивчие, мелодые люди, выходии из зира старот, ступта и турргу, Флак Калонков (саниственной, кстати, из Калонковых, преходяций чтрез всек ромай показ так и статств на распутье, так и не может внобрать — нати ли сму с бълнисвикоми, эсерами или спи с какой-инбудю «самой» реколюций чтрез партисй. От природы увек какошийся, жив й, мечтательный, си тоже, как Ирина, интет правадь, и таке вступа теха высе, во стетремения неженые му свих му. Как в начал, в йны, си предолжават все свич истор дельние думать и талать о све см месте в мирае и иста крушения царского строи, когта му даже деля леке стролять при разгрь ме типстрафии чероесстены го диста «Люулавый орга».

Две антип, до — буржуалная интеллитенция с се либеральными вождими кастой парти в люди из аввигарав рабечего класса, организующие своих партию пр. четупата лизи предстоящих б св с буржуазней, — стоит на передих и план, весто обощиры г. пр. изведения.

Еслі Колаков ді стига т т. г., что читатля на притиженни семил сити двух глав є нарастажчими инт ресом са дат за спалствиями личнах суда ї гр., в и бистр. сченнув ися него ривеских себатиля, то сбявсивть то нала равниц вста жиля пичества: гавнику фитур р. мана. Дійствучинь на вавасціль, оні вядив тей не нів скл'ять данням (скл'явучнями тех дій друхих общі статьных классов, н. ходачуми ску мами мир везгречий и политических преграми. Постлітних ресерити характрик, будан тер: в следі сет и привязанисти, быт и собатия, думориумина дуневной склад чалокся.— стокав набират писатель чурна мают. сбраза, п эти чурты будят чататлясься да врих и кситиности рассказа, вовъклахи нас в воображаємую жизнь, как в дійств тельную:

В этом сумьсж. Льв Карабаля не вообите какой-то условный лижер кадетской партим, а определя иной чидевк, которого мы знам и который был кадетским ди- д ром. Он с быльные телями сумствы и св. и диневств, что таком кадетский лижер Если бы личнусть с стедуаль не раскрытой, то персонажу по имени Кърабаля можнь бълк бы принисты лижбуя партийность. Диму Павлевчу Карабаля и приница и то — с и мог принадлежать сдинственно к кадетской парти и прити и прети м не-

пременно к єє «левому» флангу. Он приближается к литературному типу, он именно формация рессийского либерала эпохи крушения империи.

Раскрывая образам, какальні писатель неизбежно, в той или вной мере, даст ни асстраенную моральную цену. Тот далается вистам маложи тимим приемами, илекть до сава узащимых оттенков сталя. Козаков чаще идет прямым путем, открито варажаю свое отношение в герою, сосбенно предвоматиля авторужую откриенно в характристиве враждебных сто чувствам действующих диц. Однако в собственно дитературном понимании герой — веста четори, даже сели то питсъвный, падащий или подлай человее в жизне. Писатель обязан и «огришетельную» дичность предвидоморять своими инструментами, выдолитически векрать се поклук. Заседества, как всимий постуром, вистами из дичном жистев геров, подалания убеждать читателя в своен реальности, как бы ин были низки и какого бы осудаления ин делуживали. Какажов следует этсям гравану реальстического из-бражения и, разоблачая своих отришетельных персонажей с нешадней ненавистых, показывает зани их преступнос существо во всей полюте.

Так, си расърка в романе предателя Теплухина, въдавитет тайну живськей подпольной организации охраникому отделению и ценой этой купившего себе досрочное освобождение из катории; оттальнающий путь былого «политическото» изключниото к наемному правозаторству вскрыт и вычерчен автором с убедительной витеритей точностью.

Колаков уделил очень большое месте описанию ненавистней нарелу царской оказания, этому меркому длу абсологима с его грязивами подовами. Засеь ми стальняемое с галереей минетольких мастерае мерного дела — ст жандарижких те и ралов, своего рода «нителлектуального» класса, до шпиков средней руки, с претензий на «пезкологию». Мог ли сбойти автор эту среду в таком романи, как «Крупилне минерии»? Я убельни, сбойти се было вклазя.

Чем стръмительнее в консчиску кразу катилась рессийская монаруми, так удорожнее она соцеротнажение утрежающей ей умаети. С другой стороны, чам выше подпималась вклив впроданой реждойци, тем мения, оказывалске у царских въще год пред средстве согруготнажения. Уже и на арчино и на парадите нельзя было тверда, подреться — почва утехновалася цельста ресс царя и его вершах и полуверных слуг. Оставался последний опорный пункт. жандармерия, съск, «поряна бинственной безнасленотта се с торомамии, каторогой, бийствали без суда, "Чудовища, дихорадонно деяствоявание на последнем опорным пункте монаруми, спасалы и етолько дари, но и слои шкурк. Им дучие, чем парку, было известно, как бастро израстат с ват режолюции и паскулько он уже высок. И они старались за царя и за себя.

Кольков выясл в своих картинах эпеки эти мрачные лики из тайникою охранка — отребье в мунцирах и без мунцирав. То т третья группа персонажей, моторая начинает действовать уже в первых главых ремана и исчезает є последними: предатель Теплуми, жанкармський ретмистр Басании, сминик Кандуша, жандармский генерал Глобусов, его правая рука — охраниих Губочии. Веж как бы венчает в кануи революции пресловутый министр внутренних дел Пре-

Таковы в основном три группы геросв, участивки котерых составляют фунзамент всего образиюто здания романа. Каждую из групп населяют много лиц, и вс всех трех выступают на передний план фигуры, органично связанные с темой проникальныя и представляющие собой выразиельные жи висимые образы. зать с миогостронисти магериала, въдениот в «Криени минерии», в издъл неречисанть всех действующих лин второго плава и общирате, фона, собрания го ггромного числа зничаюм. Лин этих — десятъм, и среди них становител в особий ряд дъбенительные участным встраческих собитий, описамимих Котаковим.

Царские министры, царь с паридей и Распутиным, председатель и депутаты домне — Росизикко, Мильков, Гучков, Керенский, авганиский посол Быоксиен и другие — не только входят составной краской в общий колорит истрической картины, но помогают читать по очны зриму уженить расставовау сил в борыбе за монаружие и притив нес. О степени исобходимости присутствия в картине именно того или другого реального дина истрии могут быть споры. Но липа эти были нужны в интересах общего замысла.

Для меня очевидно, что одним из достоинств, с квамми заммеся сеуществился, является правильная расстансява в романь обществляных сил, участвованиих в событиях эпохи, и верис представљиных стечение обстоятельств Февральской революции.

Ления в своих «Письмах из далска» так геверит об этой эпохс: «Если ревозовия победилат так скеро и так — по висиности, на перван поверхностный виллед — разпикально, то лины потому, что в селу чрезвыевайно оригивальной исторической ситуации силлео высеге, и замечательно «аружно» сплысь, свединого различное потом, сведеннико различное потому, сведеннико различное потому стой по потитически. и ссинальные стремсения» [—И дальне Ления различного далжное замене же высего потому систем потому стой сведит монархнести также же именно различения, высего комперия (— далжное замене) далжное замене потом систем высего потом интересах передела мира толькам Милокова, Гучкова и компания к заквату власт с целью уперието и врого продолжения войны — с свей стороны, и с другой стороны — «"тубокое предстарскее и мястового свободу» [—

Роман Колакова в насійно-общественном, историческом плане строится на этом леннисм и подменни сосіятні Ферральскої реколоции. Монаруми плав действительно оскоров, потому что у нее не сетавалось, комо вразе приленрими вивофилом, чернові сстин и окраним, викамих сторонников. Реколоція победналействительно лишь на поверхностний візтал і арадикальном, готому что, чаруадово, вали с престада цари, яся бура-удин выступіска за лютоє продолжения войны, в парод, во главає с продугатриму— за хеде, мор и против бразудатив и помещьмов. Но это уже был новыї периот реколоція, конст «предвежайно сригнальной истрическої стутации» Феврала, и этот периот не комат в предела романа «Крушение вмиерии», законченного Козаковым на встрече рабочими Ленниа, возвризнивистося из эмиграции в Петроград.

Достоинство ремана, как общирной картины воследних лет Российской монартии, заключается в тем, чте автор жне представил читателю свесобычность борьбы антатолистических классов русского общества в этот момьят истории. Классовые претиворечия не утихали в годи воёны и февральского взравы, а непреставие нарагали до крайной вражлы, и, однаю, к сверженное претова турсксоглетней династии Романовых враждующие классы пришли вак к общей задаче

¹ Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 31, с. 16.

f Там же, с. 17.

«оси страны. Царя сваливали с престола все вместе — рабочис, крестьяне, солдаты, ремесасиники, торговцы, промышленники, по сваливали с совершению разлыми перелами. И едва только престол рухиру и запорошил своей щегой изношенную машину царизма, как эти разные цели, руковадиящие усилизми классов в борьбе против него, вашили на свет с кобавалой оченциостью для народной массы. Буржуали не могал терпеть парской власти над своими интересами, требуя себе свободы рук для наживы на продолжении войны заодно с англо-французскими созмами. Но буржуалиме партии с радостью сохранили бы царскую власть над рабочном и крестьянами, открыто показавшими, что они идут к своей собственной вкасти над буржуалией.

Котаков, изображав «сринивальность ситуации» Февраля, проявля историческую точность въгляда, поставив вернива защенты на том, что същикало буразные партии с пролетариатом в разгроме империи, и на том, что их исторически разделяло с имы, вак въразителей интересов светот въдсеа. Приход к падети Мильковых и Карабасвых означал не побезу задетов, а подлинный конец их партин. Мильков на Миллионной удице, у князя Путятива, умолял думие сохранить мопархима, а по другую сторону Невы, на Петрограской стороне, в задани к Крошерьской бираки, денинны работали над стаочением рядов пролегариата вокруг Советок, против вохолькию [сеставрации империи во въмя победа социалнума.]

В одной рукописи Козакова, найденной у него в архиве после его смерти, есть такие строки:

 в поле моего зрения попал последний предвоенный и предреволюционный ряд буржуваной и мельобуржуваной, т. н. «демократической» интеллигенции. Вся она приняла Февраль, громадная часть ее была опрожинута Октябрем.

Октябрь — это начало конща старой, высалистически мыслящей «градиционной» русской интеллитенции. Поотому ее последний ряд, увидевший революцию, имеет наибольщие права занять виимание наших современников».

Полигически эту интеллигенцию шире прочих партии объединяли кадеты. Поэтому их партии и уделено главное внимание в романе «Крушение империи».

Роман построен на общественных фактах. Этого было бы недостаточно, сель на явтор не исследовал факты в их развитии и не оценил бы закономерности этого развития. Лисатель отправлялся не от сихмы, он шел от изучения действительности, документов политической борьбы, и в первооснове сто знавия зножи, оменено, заключени также воспомянания о времени, им лично пережитом. Роман стал историческим по жанру, историко-бытовым и социальным по содержания.

7

Долгий путь, пройденный Козаковым в работе над «Крушением империи», отразил не только этапы написания самого произведения, но и менявшиеся взіляды писателя на свою задачу, требования его к себе как к совстекому литератору.

В предисловии ко второму изданию первой части своего романа Козаков говорил, что он отдывается на прошлос, чтобы распознать и разоблачить его. «Но этого мало: я прощаюсь е им» — без какого бы то ин было сождаения. В лимяти это прошлое неуничтожаемо: уничтожить это прошлое в жизни — таково призвание наше — современников».

Тема прошания долго занимала его. Она, сетсетвенно, влекла к воспоминаниям личного характера, а это должно было призать психологическую окраску, всему роману. Котаков считал, что уже по оцному тому, каком материал зействительности выбран для романа, можно судить о вирооцупісним писатом — выбор как бы объясняет интересы автора, в отото в добом худомественном произведении в той ком другой степени звучит «вкепоедь». Я всетда был склонен тоже так думать, и когда рассматриваю роман Котакова, в отчетанию виду, селая влияния матриаль, выбранного им на первых порах работы: тут много заложем затобнографиренского начала, очень многое столкет автора в «вкепоеди», к процывное длично пережатами и оставленным в процилом. Если бы этот материал дичного житиенного полата вуки переже, роман с училае бы до истори отдельных дязней или сембетв, переалиной описательно либо «психологизированно», хотя бы и на фоне собитны похом.

Но Козаков постепенно менял свое отношение к задаче и в конце концов переоценил ее в корне, выработав и новые для себя средства повествования.

Общественная жизнь выступила в романе из слитного фона на крупный план, и явления ее показываются цельми главами. Связи героев с событиями укрепились. Уже не один кадет Карабаев со своим братом — заводчиком действует перед читателем, а кадетская партия, думские фракции, буржуазия. Не один Ваулин как революционер интересует автора, но и организующая революцию работа большевиков, рабочее движение, борьба пролетариата. Не в одном жандармском писаре, охраннике Кандуше, воплощается царская машина подавления революции, но вся эта машина, с ее тюремными винтами, кандальными, цепными передачами шестерен, рычагами в руках царских помощников, громыхает под каждой страницей книги, рассказывающей о тоске по свободе и борьбе за нее сильных, чистых героев этой повести. Больше стало в ней драматического напряжения, жизнь личностей уступила первенство противоречиям событий, общая проблема времени вобрада в себя проблемы частных судеб. Появилась народная, объективная интерпретация эпохи на смену «прощания» с прошлой жизнью героев и самого автора. Все меньше оставалось в романе исповеди по мере продвижения работы над ним, все больше занимала места история. И если взглянуть на писательский путь Козакова в целом, то и от прежней манеры его письма уже почти ничего не осталось в «Крушении империи».

Я говоры — «потить», потому что каждая авторская индивидуальность всегда сохраниется в основе стили, как бы его ин совершенствовать. Котаков освобащием от искусственности старых своих речевых конструаций, от умышленной распевности своих разним стилизаций. Он шел к простоте языка, в кеной фраве, в точному слову, без которого вельзю верево передать мысла, ослано, борах. Но его стилю присуща нервиость, сама натура его настолько подпижна, вхабудима, что ему совсем не с койственны были бы, например, обороты речи уравновещенные, рити спокойный, темп плавний. Он с гормчностью отдаласть перьвых острым влечатальнае, передаться в притивенные образоваться правых острым влечатальнае, всем передаться в передаться правиться правиться всем образоваться в передаться в манеру, в какой он воспроизводил их в письме.

Длительность работы должна была по-разному отразиться на романе. С одной стороны, она обогатила его широтою материала, разносбразнем контрастов. С другой поставила ерет более сложными требованиями в области композиции матернал пачал разрастаться измутри, и чем дальще, тем труднее становилось его распредолять. Вот почему в конце романа историческая тема, ваяв перемес, выпудная Колакова к бегдам развижам вазимостивносний между героми. Двихонсь жизнь гальных образов оказались стесненными, для полноты раскрытия характеров недоставляю эноплицация, скоже что бизть только досказана. Это все оченцация реализительно частей романа между собой, прежде весто — первой части с четнетили.

Основательная и усисшная переработка старой редакции романа, при которой Колаков исключия восемняцать дантов прежието текста и впинеда более десяти листов новяго, дала очень много для произведения, но не мегда дать всс. Есть в стиле заметы былих пристрастий то к отвъечениями повитиям, то к искоторой декамамционности или риторике. "Это касается отделяниях мест, но такие места сокранились и в последней, теперь уже посмертной реакции романа. Среди мномества для горого плана есть хороцои изображенияе, играющие необходимые рели, но находятся и такие, которые могли быть удалены, чтобы избежать пестроты зопизодов и прийти к большей ввератительности сцен.

Но то, что достигнуто произведением в художественном и конкретно-историческом плане, не может быть умалено в большинстве частными недочетами.

«Крушение минерии» — роман скособразный уже в силу свособразия пистыского видения мира и той страсти, с кажой доиссены во инятаела потремента эпохи, послужившей содержанием кинги. В художественной литературе нашей Февраль почти не ващел такого отражения, которое ставило би в центу тавинее претвюречии времьный и с широами охватом папитических обстоительств истории давало бы се картины. Поотому я и считаю, что роману Котакова принадлежит собое место среди советских произведений на историмо-революционных томы. С выходом его в сет читатель восполнит существенный пробел на своей книжной подже. Особенно читатель могадом:

Мы живем накануне сорокалетия со дни сверьения царизма в России, этого поменето акта революции. О нем не только не может инчето поминть советская молодель, по она сащимом мало знает о событии даже по книгам. Новое
поколение совершенно недостаточно знакомо с уславиями народной жизни при царе в период первой вировой войных и, параю, имеет черсему съематичные пределаления о старой российской интеалитенции во всех ее мастях и разновидностях.
А интерес к истории у нас большой, к истории, которая рассказывается не по схеме — от готовых выявация к тем же выводам. — но ведет к заключениям от фактов.

Художественная литература раздвигает раму исторического факта с помощью обобщенных образов действительности.

Жизнь, раньше неизвестная читателю, возникая перед ним из прошлого, помогает вернее оценить настоящее, смелее глядеть в будущее.

Роман Козакова хорошо послужит советскому читателю своими красочными, образными и познавательными картинами последних доб императорской власти в России и даей начальных новой России после февральского переворота.

Выпуском «Крушения империи» в свет исполняется то дело, которого не удалось довести до конца самому Михаилу Козакову. В роман он вложил лучшие свои силы, но книга эта далеко не вместила в себя весх его сил.

Козаков был, всоомненны, прирожденным литератором редкого темперамента. Проза плежда его к себе больше всего, и он жил в ней подолу и всегда с высшим для него подъемом. Но когда он увлежался другими жанрами, то эти въ-чения были тоже долгими, исполненными его обвенной страсти. Он очень любил театр и больше десизиления с маром отдаважера работе в дражатургии, часто спиктывая разочаро-

вания и опять возвращаясь к новым попыткам упрочиться на сцене. Некоторые его пьесы принесли сму успех.

Думаю, характеру его сеобенно близка была журналистика. Необыкновенно горячо это произдалось во всекоможных дискуссиях, в которых он выступал как литературный, театральный критки к публинисть. Большую полосу своей рабочей жизни он отдал спорым об искусстве, столь обильным и богатьм в первой половные транцатых горов. Это были голь, насклиенные миютостроинными замысламы Горького, переполненные невыми предприятиями в издалельском, дитературном, журнальном мире.

Тут Колаков обретался вссь великом со своим непотукающим, беспокойним интересом к акини дитературных коллективов, к разпоречивы, скваткам минений, вкусов, талангов среди долеей искусства. Кажется, от тех времен не осталось в эленнигралской пецита ин саного очетата о дискуссиях, в котором не было бы извано сто мил. Он заявил себя последовательным сторонизмом общественного, возвилают об последовательным сторонизмом общественного, возданильного заявиле себя и всем своим неутомимым трудом дитератора стремился показать правогу этого убеждения. У ието и бедьло инкакого разрыва между тем, как он понимал задачу висательского призвания, и тем, как действовал в коллективном кругу дитертором слово сто не раскольность се длом.

Он умел жить общественной жизнью, отдавать свою жизнь обществу, и плоды ее сохранились в том лучшем, что он оставил советскому читателю, закреплены и в его книге окрушения Российской империи.

1956

Конст. Федин

ОТ СМИРИХИНСКА ДО ПЕТЕРБУРГА



Глава первая

НА ПОЧТОВО-ЗЕМСКОЙ СТАНЦИИ ЗИМОЙ 1913 ГОДА

Извозчик въехал во двор и остановился у главного подъезда.

Из санок ввлез человек в длиннополой меховой шубе и сибирской шапке, глубоко надвинутой на лоб. Он торопливо расплатился с извозчиком и, сняв с санок туго увязанную багажную корзину, взошел на крыльцо. Дверь в стеклянный коридорчик была незаперта, так же как и из коридорчика в квартиру, и приезжий, неся впереди себя корзину, вощел в комнату.

Никто не слышал его прихода: дверь в соседнюю комнату была плотно прикрыта, другая вела в расположенную рядом кухню; оттуда доносился мерный, с посвистом, храп спавшей прислуги и шло густое тепло хорошо истопленной русской печи.

Приезжий поставил корзину на пол, снял шубу и шапку и положил их подле себя на скрипучем диване.

В течение нескольких минут он оглядывал незнакомую комнату.

Это была «комната для проезжающих» в доме содержателя почтово-земской станции Рувима Калмыкова. Назначение этой просторной комнаты полностью подтверждалось мебелью, в ней поставленной.

Два больших старинных, одинакового размера, дивана размешены были симметрично друг против друга. Как и они, тяжелые, широкие стулья-полукресла были обиты черной, уже истрепавшейся клеенкой; из-под клеенки торчали размотавшиеся спирали жесткой пружины и клочья материи волосяной набивки. Стульев было до десятка, и они вместе с дивавами заполняли почти всю комнату. В ней, казалось, разместилось немое, неодушевленное семейство, замечательное тем, что все члены сто — близнецы: тяжеловесные супруги-диваны и их такой же массивный и неподвижный черный широкоплечий выводок.

У стены, слева от входной двери, стоял такой же старый, как и вся остальная мебель, громозикий письменный стол; он тоже был покрыт черной клеенкой. В правом краю она была отогнута, и на этом месте была большая гербовая казенная печать, наложенная на свободные концы шпагата, продстого в ушко тяжелой переплетенной книги; она лежала тут же на столе. Это была установленная тралицией и законом «жалобная книга». Тот же закон повеная тралицией и законом «жалобная книга». Тот же закон пове-

левал вывесить на видном месте (над столом) оба промысловых свидетельства, выданных на имя куппа 2-й гильдии Рувима Лазаревича Калмыкова, арендатора почтовой станции и земского дорожного пункта в городе Смирихинске.

Желтые бумажки промысловых свидетельств висели в черных рамочках под стеклом, и точно в таких же рамочках — вышитые шелковистым пестрым гарусом изображения двух львов с нестественно загнутыми кверху хвостами. На этой же стене, над промысловыми свидетельствами и цветистой вышивкой, помещена была тусклая репродукция с картины неизвестного художника: тройка регивых вороных в нарядной упряжке и бородатый богатыры мяшка в залихватском облачении.

Наконец, что еще бросалось в глаза в этой просторной комнате — это массивные, шестигранные часы, висевшие в простенке между двумя окнами: длинные крупные стрелки имели форму копья, а циферблат был желтоватый, пергаментный.

Приезжий взглянул на часы, и они мгновенно вывели его из состояния умиротворенного созерцания, в котором он находился несколько предыдущих минут: шестигранная массивная коробка показывала ровно пять.

Приезжий вскочил с дивана и, не заботясь уже о сохранении приятной ему ранее тишины, громко крякнул и шагнул к кухне.

Он понял, что несколько утраченных бездейственных минут прошли впустую потому, что телу его, уставшему от долгой поездки в вагонах, необходимо было, хоть на краткое время, опуститься на этот мягкий чужой диван, откинуться на его услужливую спинку и застыть без движения.

 Эй, кто тут... сонное царство! — окликнул он храпевшего четовека, заходя на кухню. — Почтосодержатель мне нужен. Ну, отвечайте.

Храп на печи не прекращался.

 Да ну же, просыпайся! — еще громче повторил приезжий, заглядывая наверх.

— Га?— на полуслове осекся чей-то сон.— Га?

И приезжий сначала увидел медленно спускавшиеся с печи голые белые ноги прислуги, а потом и ее заспанное, раскрасневшееся лицо.

Кого вам треба? — спросила украинка.

Лошадей мне нужно. Зови хозяина или приказчика.

Подождить трохы, зараз поклычу.
 Она протяжно зевнула во весь свой молодой полнозубым рот

и потянулась, распрямляясь, сытым и теплым телом. Подавшись вперед, оно почти коснулось грудью незнакомого человска. Булущее, совсем близкое будущее, налыло в воображении

Будущее, совсем близкое будущее, наплыло в воображении приезжего таким же теплым и плотским, доступным и волнующим, как только что увиденная служанка.

 Ну, зови, зови там кого следует... – поглядел он весело, заигрывающе на молодую женщину.

- Зараз Евлантия позову... приказчика.

Она надела высокие мужские сапоти, полушубок, накинула на голову суконный платок и выбежала во двор. Через несколько минут она возвратилась в сопровождении хромого человека, у которого одна нога была сильно искривлена в колене. В левой руке он держал позваживающую связку больших амбарных ключей, правой опирадся на сучковатую толькую клюку.

Ось дид Евлантий. Балакайте з им, вин — приказчик.

 Здрастуйтэ, пожалуйста, сказал тот и посмотрел внимательно своим далеко упратанным, неуловимого цвета глазом на незнакомого пассажира. – А шо скажете?

Мне, дед, лошадей нужно.

По проездному свидетельству?

 То есть как это... по проездному свидетельству? — почемуто неожиданно пытливо спросил приезжий и заглянул с любопытством в серое, остроносое лице мужичка.

 Ну, як ездют казенны люди?— рассердился также неожиданно старик.— Чиновники и земские диятели имеют свидетельство, с печатью, по хформе. Это вам, господин, не биржа извозчичья, а земска станция! У нас все по закону, все хформальности соблюдаем.

Глаз смотрел по-ястребиному, настороженно и недоверчиво: всяко бывало на Евлантиевом веку,— приедет иной раз подкусная собака ревизор из губернии и прикинется друачком; не раскуси его сразу,— гляди потом, какой крик подымет, а хозяину от того ревизорского крика лишний расход и неудобство!

— X-хы... х-хы! Лошади у нас, господин, по закону идут. А закон...закон, х-х-и, есть закон, — как казалось самому, неоспо-

римо и вразумительно объясных Евлантий. Голос у него был громкий и всегда сварливый, слово шло чисто и коротко, хотя во рту недоставало уже многих зубов, но вслед за словом, во время пауз, из груди прорывалась одышка и сиплый, стариковский выдых — удвоенное сухое «х».

Так вы не по билету,— це другое дило... x-х! А куда вам

ехать? и куда подавать коней?

- Мне нужно в Снетин, ответил приезжий и присел у стола, возле которого примостился на кончике стула хромоногий приказчик. — Подавайте лошадей сейчас.
- Сейчас? Ни, сейчас нельзя. Нияк нельзя...— разочарованно покачал годовой.

Он посмотрел на туго завязанную длинную корзинку, стоявшую у дверей, и вопросительно сказал:

С поезда? С Полтавы чи с Киева?

 Нет, — уклончиво ответил приезжий. — Я, дед, много верст проехал... много... А теперь в Снетин мне нужно: всего восемнадцать верст не доежал. Восемнадцать, аг

С гаком! Як по-землемерному считать, так верстов полных

двадцать одна. С гаком восемнадцать... х-хы.

 Слушай, дед, вели запрягать да говори, сколько платить надо. Я сразу заплачу, ямщику на водку дам, — торопил присэжий, поглядывая досадливо на часы, незаметно накинувшие новые пятналцать минут.

 Сразу... Це уже, господин, у нас такое правило... x-x! Только коней — нема, все в разгоне. Одна пара, правда, стоит в конюшне... х-хы, да с двора я их не выпущу...

 Я хорошо уплачу! — усиливал свою настойчивость приезжий. - Ты спроси хозяина своего, дед...

Приказчик вынул из кармана черную маленькую табакерку и поднес шепотку острой нюхательной пыли к своим плоским. придавленным к хрящику ноздрям. Втягивая ими привычную понюшку табаку, он, как прислушивающаяся птица, попеременно наклонял голову набок и по-стариковски присвистывал заострившимся носом.

 Хозяина... хозяина. — без отчетливого смысла повторил он, кладя табакерку в карман. - Я и сам знаю, що говорю. Посидите тут, господин, я это дело выясню, — неожиданно изменил он свое первоначальное решение и поднялся со стула.

Ворчливо покашливая и шаркая по полу искривленной ногой, приказчик подошел к двери в соседнюю комнату.

 Придется, господин, как поедете, полтинник прибавить, бо кони для казны булы оставлены, - добавил он, прежде чем переступить порог. -- Сами понимаете, господин. -- И он потянул к себе дверь.

Приезжий увидел часть столовой: ореховую мебель, такой же диван с высокой спинкой, обитый красным плюшем, портрет знакомого, сразу припомнившегося старика и завещанный портьерой косяк другой двери, ведшей в соседнюю комнату.

Он видел, как прошел туда хромоногий, а через несколько секунд и услышал его покашливание и невнятно доносившиеся слова деловитой беседы.

Приказчик вернулся вместе с высоким длинноносым и гладко выбритым человеком, на ходу оправлявшим свою русую, слегка рыжеватую шевелюру волнистых, назад зачесанных волос. Он был без пилжака, в жилете,

 Вот вам хозяин, балакайте с им,— отошел в сторону Евлантий.

Блондин смотрел вопросительно, хотя он хорошо знал, о чем должен начаться разговор. Это был Семен Калмыков - сын и главный помощник старого почтосодержателя. Приезжий, не приближаясь к нему, повторил свою просьбу: нужны, сейчас же нужны лошали в Снетин, и будет уплачено столько за них, сколько потребует почтосодержатель; ямщик тоже будет доволен.

 Ну, так как по-твоему, Евлантий: можно ли им дать коней? советовался Калмыков с приказчиком .-- Еще, смотри, черт какой притащится; и доктор Войткевич уже два дня не заказывал?..

Приезжему показалось, не без основания, что все эти опасливые разговоры ведутся лишь для того, чтобы заломить с него большую сумму. Он с нескрываемым раздражением вынул, поспешно кошелек и, метнув в сторону резкий взгляд, спросил: В 14 г бат дам, возьмите. Или сколько?

— Нет, что вы! — растерянно усмехиулся Калмыков. Пять — это много. Обыкновенно мы берем за такую поездку тир рубля. Но вам, вы говорите, нужно срочно схать, да к тому же мы немного рискуем, отдавая последнюю, запасную пару лошадей.. В Сиетин — четыре рубля! — коротко оборвал он свое объяснение.

Такая уступчивость и добросовестность были неожиданны и для приезжего, и для станционного приказчика. Евлантий что-то пробормотал в свои шетичистые, неровно подстриженные усы и неодобрительно засопел: не умеет — как бог свят, не умеет! держать станцию в свюих руках молодой козяни. Куда твое дело старик Калыков, Рувим Лазаревич! Один только рост у Семена от отца да фамилия! А ум где?

 Господи! — не утаивая досады, сказал Евлантий, когда хозяин вышел. — Вы х-х... ямщику же не забудьте на водку: дешево... х-хы... коней взяли!

Постукивая о пол палкой и волоча больную ногу, он ушел от-

давать распоряжения. Приезжий остался один.

Как полчаса назад его предъплата сопливая тишина, осеншая зотом чужом теплом доме, так испытывал он подъем духа и радость оттого, что видел и слышал геперь вокруг движение, вихки, голоса. Из глубины квартиры приходили в столовую и уходили какие-то люды — члены семы Кальмкова; туда же несколько пробегала прислуга, и слышью было, как протяжно скрипит отворяемая ею дверца буфета и словно в мелком ознобе дрожит в се руках на чайном подносе звонкое стекло стаканов; в самоваре на кухне потрескивали сухне, горячие утли, отонь мелькал и гудел в просвечивающейся двиряюй тубе, просумутой коротким коленцем в печное отверстие, и крошились, выпрытивая на поставленный под самовар железный противень, отченные угольки.

Приезжий медленными и широкими шагами ходил по комнате, заглядывая то в одну, то в другую открытую дверь.

Он заплатил уже Калмыкову деньги, и через десять — пятнадцать минут станционные лошали умчат его, усталого путника, по долгожданной, последней дороге...

Приезжий посмотрел на свою корзину: она показалась ему хранилищем его туго завязанного прошлого. Кладь была тяжела.

Он вынул папиросу и хотел закурить, но вспомича, что в коробке не осталось спичек. Пришлось идти на кухню — прикуривать от уголька, упавщего на противень. Уже приседая на корточки, услышал, как съади нето из сеней открылась, клямкиув рызажком запора, обитая войлоком дверь и кто-то, переступая порог, сказал другому:

Осторожно, папа.

Приезжий выпрямился и обернулся.

В кухию входили двое: гонкий, худощавый гимназист в наброшенной на плечи старенькой шинели всл за руку плотного, выше среднего роста человека в черном пальто с каракулевым воротником и в каракулевой круглой шапочке. Господин был в очках, но по тому, как медленно и осторожно передвигал он ноги и инстинктивно, щупающе шарил впереди себя свободной правой рукой, приезжий понял, что вошедший лишен был зрения.

 Пусти... пусти, Феденька, здесь я уже совершенно точно знаю дорогу,— слабо ульбаясь, убеждал он сына.— Тут у меня уже все шаги сосчитаны... Направление выверено. Пусти... Я сам, сам...

Они прошли, не раздеваясь, в калмыковскую квартиру.

 Кто это только что пошел: в очках... слепой, кажется? спросил приезжий у прислуги, пришедшей в кухню за самоваром.

- Ось тот, що с Федей? переспросила она таким тоном, словно приезжий хорошо знал этого Федео. Так це ж сын нашего хозяина Мирон Рувимович! Хиба вы не знаетс?. словно он обязан был разбираться в родственных связах общирной калмыковской семьи.
- Анастаська! Неси чай, громко позвал из столовой чей-то грудной женский голос, и прислуга заторопилась.

В комнате уже заметно темнело, все предметы в ней поблекли. Приезжий нетерпеливо ждал Евлантия и его обычных традиционных слов станционного приказчика: «Лошади поданы», - когда можно уже будет поспешно одеться, взять свои вещи и усесться удобно в широкие почтовые сани, наполненные сеном и накрытые мохнатой овчиной в ногах.

Нетерпение и скука одолевали его. Медлительность, с какой делалось все на этой почтовой станции, раздражала его.

 Скажите, скоро подадут лошадей? — не утерпел он и постучал в столовую.

 Через пять минут все будет готово, пообещал выглянувший на стук хозяин. Корм засыпали.

Спустя минуту приезжему показалось, что прошли уже все пять; он хотел вновь напомнить о себе, но в этот момент он услышал в коридорчике чын-то уверенные шаги, крепкий короткий то-пот тяжелых ног, отряхивавших снег, а затем и увидел на пороте вошедшего.

Тот был одет в жандармскую форму, а погоны на его длиннополой шинели указывали на его унтер-офицерский чин.

 Крепчает! — бросил пришедший с мороза. — Недаром к рождеству Христову дело подходит.

Он крякнул, вытирая рукой заиндевевшие, полукругом нависшие над ртом усы, и улыбаясь, мельком посмотрел на незнакомого пассажира и на его корзину.

Приезжий насторожился: рыжеусый жандарм по праву и закону мог претендовать на запасную пару почтовых лошадей.

Нужно было действовать немедленно и решительно.

 Послушайте, хозяин... Я готов: пускай подают к парадному крыльцу! — приказывал он в слегка приоткрытую дверь.

Семену Рувимовичу почте-ение, ласковым протяжным голосом дал знать о себе унтер, подойдя к той же двери и отрывая ее перед шегдшим уже навстречу Калмыковым. Прият-

ного чаю вам!— дружелюбно пробежал унтеров глаз по лицам сидевших за столом и, возвращаясь, опять мельком задел незнакомого человека, облачавшегося в северную просторную шуск

— Здравствуйте... здравствуйте, Назар Назарович, протянул ему хозяин фамильярно, с высоты, свою длинную руку, но приезжий заметил, как лосадливая, искусственная усмешка легла нехотя в уголки калмыковского рта. Что скажете, господин Чепур? — Несетсетвенно любезно, пусто звучал его вопрос, хотя спрашивать не приходиосы цель унтерова прихода была ясна.

Ну... так как насчет лошадей: я — жду...— вмешался

приезжий в разговор, не обещавший ничего приятного.

— Насчет лошалей у них всегла заторно — сопусст

- Насчет лошалей у них всегда заторно, сочувственно ответил унтер, интимно и панибратски мигнув хозяину. Дело известное любите денежку наживать на казенных лошалях; ну, да я молчу, молчу... Мне, Семен Рувимович, по делу ехать надо, уже серьезно и сухо сказал он, усаживаясь грузно и небрежно в кресло, и казалось, любо было унтеру Четуру сознавать свое начальственно положение, дарованное ему законом. И сейчас ехать, Семен Рувимович. Обязательно! наслаждался он еще больше, видя явное замешательство на лицах Калммкова и пассажира.
- Так поздно, Назар Назарович? И почтосодержатель обменялся с приезжим многозначительным, красноречивым взглядом: вот видите, опасался в не напрасно, — пришел черт, и от него не отвязаться: и вам и мне неприятность...

— А далеко ехать?

 Лошадям корм — на сутки, а куда ехать — ямщику будет сказано.
 Зачем спрашивать, да еще при постороннем: разве не извест-

ны Семену Рувимовичу права, присвоенные чинам жандармской полиции,— не называть места своей поездки прежде, чем они там не побывают?... Унтер Чепур неодобрительно покачал головой.

— Простите госполи и завиштельно бълга

 Простите, господин...— извинительно, беспомощно развел руками Калмыков, обращаясь к приезжему.— Но тут выходит некоторое недоразумение.

Недоразумение? Я ведь вам уплатил уже...

 Пожалуйста, пожалуйста... Возьмите ваши деньги. Что жаслать... Может быть, за эти же деньги вас повезет в Снетин частный извозчик, с биржи. Я пошлю сейчас Евлантия, приказчика,— он найдет вам лошадей.

Ну, знаете ли, это безобразие!

 Ничего, к сожалению, не могу поделать. А с биржи, может быть, наймете.

Увлеченные спором, они словно забыли и не замечали жандармского унтера — единственного виновника происшедшей неприятности. Они не видели, как поднядля он с кресла и очутился

совсем близко, сбоку.

— Семен Рувимович! Пассажиру, вы говорите, в Снетин нужно?

— сказал он, и голос его звучал слегка удивленно и услужливо. — Так если вы, господин, желаете, может ехать со мной: я довезу вас до места назначения, — неожиданно предложил оп. — Это.. по дороге. Частный извозчик пока соберется, с... сын, — конец фразы потонул в хриплом, захлебывающемся кашле: унтер Чепуп был, очевилен, постужен.

Моршинка заботы на калмыковской переносице исчезла; гнев приезжего осекся, и резкий короткий взгляд его недоуменно и непонятливо остановился дольше обычного на хрипевшем жандарме. Тот с трудом, казалось, справился с душившим его кашлем; лицо его побагровело, жилки на плотных мясистых шеках посинели и взгулись а выпульные темные глаза слезлись.

К сожалению приезжего, он ничего нужного для себя не мог

- Вот хорошо! воскликнул Калмыков, неожиданно выведенный из затруднительного положения.— Вы ведь ничего не имеете против? Сани широкие, места хватит.
- Пожалуйста...— уступчиво пожал плечами приезжий и вновь посмотрел на своего случайного спутника: Чепур предупрелительно и вежливо кивнул головой.

...В ожидании лошадей они сидели оба на одном и том же диване и молча курили.

Через минуту-другую внимание обоих сосредоточилось на новом человеке, появившемся в комнате. Это был гимназист внук старого почтосодержателя, Федя Калмыков, которого приезжий видел уже раныше.

Он стремительно выбежал из столовой и, оглядев на ходу проструктерующих, быстро направился к телефону, *висевшему сбоку над писыменным столом. (Кстати, почему-то только сейчас приезжий заметил бурую коробку с зеленым шнурком и слуховой трубкой.)

Гимназист позвонил на телефонную станцию и громко попросил:

 Пожалуйста, квартиру Карабаева, а приезжий не без любопытства заметил в этот момент, как непроизвольно приосанился согнувшийся на диване жандармский унтер, как учащенией замигали его рыжеватые густые ресницы.

Карабаев — эта фамилия была знакома и приезжему, настолько, что и сам он чуть вздрогнул при ее упоминании.

Он, очевидно, мог и должен будет многое вспомнить, вернувшись сюла, в этот горол...

Карабаев вспомнился сразу, без напряжения.

 Простите, Георгий Павлович... здравствуйте, — степенно, не стелено с мущенно говорил с кем-то невидимым усевщийся на стол гимназист. — Да, да — Федя Калмыков... Можно Иришу к телефону?.. Хорошю, хорошо, — я подожду...

Ох, барышни... всегда они чем-нибудь да заняты! — пытался игриво улыбнуться неловко вмешавшийся Чепур.

лся игриво ульюнуться неловко вмешавшийся чепур Гимназист даже не обернулся на его голос.

имназист даже не обернулся на его голос.
 Лошади поданы! — услышал вдруг приезжий давно ждан-

ные слова: прислушиваясь к телефонному разговору, он не заметил, как вошел через кухню хромоногий Евлантий.

 Ну, кто ж поедет? — спросил приказчик, безразличным взглядом окидывая обоих пассажиров.

 Вместе... По дороге! — в один голос ответили они, шумно поднимаясь с места.

Жандармский унтер вышел первым. Приезжий, подняв свою корзину, последовал за ним.

Когда переступал уже порог стеклянного коридорчика, услышал неясные, сбивающиеся слова гимназиста:

 Могу... Никого нет, Ириша. Сейчас совершенно свободно могу... Знаете, это замечательная штука. Спасибо. Я буду очень рад...

Дверь захлопнулась, вернее — ее захлопнул шедший сзади хромой Евлантий, берегший тепло хозяйской квартиры, — и приезжий не дослушал конца фразы.

Он вышел на крыльцо. Лошади уже поджидали. Поверх сена и овчины лежала черная кавказская бурка. «Чья это?» — невольно подумал приезжий и тотчас же перевел взгляд на Чепура.

Это вам? — впервые заговорил он с ним.

 Моя, — ответил унтер, набрасывая на себя бурку. — Моя, а то как же? — повторил он, влезая в сани и давая место своему спутнику. — В шинели, сами понимаете, ехать холодно.

Приезжий уже не спрашивал, каким образом бурка оказалась в санях,— он понял: жандармский унтер еще до разговора с Калмыковым заявил его приказчику о своих правах на запасную пару лошадей. Он был предусмотрителен — унтер Чепур!

Может быть, и неожиданная предусмотрительность его не была случайной? Но об этом время будет подумать в дороге.

 Трогай! — ткнул рукой приезжий в широкую спину ямщика и потуже запахнул свою шубу.

Лошади свежей рысцой прошли узкий тупичок заезда в калмыковскую усадьбу, качнули сани на горбатеньком мостике, перекинутом над уличной канавой, и, свернув налево, побежали по утопанной снежной дороге.

Глава вторая

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ КАРАБАЕВ

Поезд уходил с Царскосельского вокзала в девять тридцать вечера. За полчаса до отхода поезда Лев Павлович Карабаев был уже на вокзале. Услужлевый посильщик подхватил оба его чемодана и понес их по мраморной лестнице на второй этаж к перрону. Лев Павлович на ходу, расстегивая шубу, вынимал билет, чтобы предъявить его перронному контролеру.

Лев Павлович проявлял поспешность и некоторую суетливость, хотя отлично сознавал, что причин для этого нет: времени до отъезда было еще достаточно, торопиться, чтобы захватить место поудобнее, незачем было, так как его заранее приобрела канцелярия Государственной думы для него — депутата Карабаева, одного из лидеров кадетской партии. Тем не менее хотелось поскорей добраться до вагона, рассчитаться с носильщиком и расположиться поуктией в теплом и сведтом купе.

И, вероятно, он был бы удивлен, если бы мог сейчас видеть себя: широкоплечий, немного грузноватый, в шубе с широким бобровым воротником и в такой же шапке, степенный и солидный человек — не то профессор, не то присяжный поверенный (если не знать еще более высокого общественного положения Льва Павловича) — суетливо и озабоченно расталкивал на лестнице толпу, стараясь обогнать идущих впереди, наступал кому-то на ноги, натикался на чи-то поставленные на дорогу вещи.

Он никак не походил сейчас на самого себя — человека со спокойной, уверенной походкой, с плавнами и четкими движення ями, неторопливыми, но, однако, достаточно настоятельными. Он изменил сейчас своей обычной манере держаться; тот, кто хорошо знал Льва Павловича, почувствовал бы сразу, что с Карабаевым происходит нечто такое, что заставляет его обнаруживать взволнованность гораздо большую, чем можно проявить ее в обстановке вок зальной сутолоки.

Что, собственно, произошло? Что нарушило его душевное равновесие? Известия из дому? Нет, в семье все обстояло вполне благополучно: все здоровы и ждут с нетерпением его приезда.

Его собственное здоровье? Правда, он очень утомлен, в эту сессию пришлось изрядно поработать, иногла пошадивало не совсем спокойное сердце, но ко всему этому, к работе и переутомлению, он привых уже давно, и, конечно, не в этом заключалась причина его теперешнего состояних, Как врач, Лев Павлович был даже доволен собой: в прошлом году и сердце и почки причиняли гораздю больше неприятностей.

Нет, нет — он понимает, что породило это болезненно-досадливое, нервное состояние, что повлияло на его психику!

В сотый раз вспоминая о случившемся (в сотый, потому что полдия непрерывно думал об одном и том же). Лев Павлович с одинаковой силой, как в первый раз, испытывал чувство гадливости и возмущения. Ну, и нравы! Ну, и государственная система!... Становится уже трудно отличить депертамент полиции от уголовщины. Боже мой, боже мой,— что делают в России, что позволяют себе делать с е енародиными представителями?!

Не ночевавший дома и приехавший днем из Райволы. Лев Павтович не осознал сразу смысла всего происшедшего: в обемх его комнатах все было перерыто, замки были взломаны, однако ничего не исчезло, если не считать кое-каких мелких предметов и пары желтах шеворямх ботинок. Это и удиваляю, потому что воры имели возможность выкрасть вещи более ценные, находившисся в этих же комнатах.

Как выяснилось, злоумышленники проникли в квартиру ночью, с парадного хода, когда все уже спали: обе комнаты Карабаева были

близлежащими к прихожей и отделены глухой стеной от всей остальной квартиры. Хозяева квартиры и прислуга приносили извинения Льву Павловичу, хотя они были виноваты только в том, что, как и всегда, крепко в эту ночь спали, - Льву Павловичу ничего не оставалось делать, как отнестись ко всему этому происшествию с добродушной и мягкой иронией: приближаются праздники, православные воры блюдут рождественский ритуал, он требует усиленных денежных издержек, - вот и причина ночного нападения!... Хорошо, что такой мелочью отделался: или воры чего-то испуга-

лись. или — ха-ха-ха! — они оказались снисходительными к имуществу популярного думского депутата?...

Но вот не успел свыкнуться с этой мыслью, как — спустя час почувствовал всю ее пустоту и неубедительность,

Журналист Фома Асикритов - неприятный человек, с «сумасшедчинкой», как думал о нем Лев Павлович, но он оказался на сей раз догадливей и умней, чем он, Карабаев, Пришедший попрощаться Фома Асикритов сразу сокрушил Льва

Павловича своей упрямой догадкой:

- У ваших воров, сердце мое, очень хорошие документы. Очень хорошие! — То есть?
- Не то есть, а тут суть великолепные кавалеры с Фонтанки, шестналиать!
 - Третье отделение? Да бог с вами...
- Он всегда со мной, ибо где мне, грешному, обойтись без него! Совершенно точно говорю, сердце мое, Лев Павлович: были у вас гости, да не простые. Опричники - вот что-о!
 - Какой смысл?
- Ха-ха! насмешливо сверкнул, перебежав с одного места на другое, маленький, словно клякса, черный зрачок.— Ха-ха! Чай, вы, Лев Павлович, в оппозиции, как выражаются, настоящему режиму? К кадетской партии принадлежите? Пусть она и не революционная... Личность вы известная? Речи в Думе говорите? И все документами настоящий режим изобличаете. Документами! -- многозначительно сверкнул опять маленький напрягшийся зрачок и быстро отбежал на свое место. — А интересно, откуда документы достали, кто дал их депутату, где крамола сидит? - в упор уже, настойчиво глядел Асикритов на опешившего Карабаева. - Ну, понятно? Бумажки искали, - вот потому и замки во всех ящиках взломаны. Денег не взяли -- на что им деньги! А мелочишку да обувь нарочно прихватили — замести следы, симуляция одна, да и только.

Лев Павлович пробовал возражать, пытался исправить асикритовскую догадку, но Фома Матвеевич был непреклонен в своих

Впрочем, Лев Павлович слабо защищался. Фома Асикритов прав, - в этом Лев Павлович уже не сомневался,

Ну, и нравы! Ну, и государственная система!.. Что позволяют себе делать с ним — народным представителем, членом Государственной думм! Выследили, воспользовались его отсутствием и... преступно, воровски пробрадильсь к нему на квартиру, разгромили его ядики, рылись в его бумагах... В его бумагах — известного общественного деятеля страны, члена российского парламента! Больно за Россию, за условия русской жизни, стыдно за правительство, потворствующее уголовщине...

В первую же минуту Лев Павлович почувствовал себя смертельно оскорбленным и в порыве искрениего возмущения решилкандалить, потребовать от полиции строгого расследования, сообщить оппозиционным газстам о всех подозрительных деталях ночного набега. Газеты сумели бы искусно оттенить их так, что русский читатель, эзопов ученик, сразу понял бы, кто и с какой целью взламывал замки у члена Государственной думы Карабаева!. Но Лев Павлович ничего этого не сделал.-

Весь остаток дня он провел в размышлениях. Сегодня прависълственными агентами было нанесено оскорбление ему, Карабаеву. А совсем недавно петербургские власти вознамерились ни больше ни меньше, как посадить в тюрьму депутата I соударственной думы Бадаева. И за что? За то, что на похоронах рабочих, погибших при взрыве минного аппарата, он сообщил собравшейся голпе, что взрыв произощел из-за преступной халатности администрации: нагоняли экономию и передали аппарат в работу без испытаний.

Бадаеву, как и остальным большевикам, Карабаев отнубль не оприствовал. Но беззастенчивое покушение на депутатскую неприкосновенность его возмутило. Нужно было срочно вмещаться, нужно было погребовать объяснений от министра внутренних дел. И он вместе с некоторыми другими друмами-кадетами поставил свою подпись под запросом социал-демократической фракции.

Но почему-то так получилось, что к моменту обсуждения запроса депутаты-кадеты, а с ними и он, Карабаев, сняли свои подписи. Запрос был сорван. Не дали боя министру-реакционеру, отступили...

Сейчас, садясь в извозчичьи сани, чтобы ехать к вокзалу, Карабаев не мог не признаться себе: да, спрятались в кусты, струсили. Да, боязно связываться с «охранкой»,— всяко ведь может быть...

Карабаев чувствовал себя беглецом, малодушным. Его охватила апатия, усталость. У него было одно желание: домой, к семье, к интимным радостям и печалям.

Он не уезжал, а бежал из Санкт-Петербурга.

...Куче было двуместное, в вагоне первого класса; Льву Павловичу прунадля для дажний диванчик.

Верхний запяла— за иссколько минут до отхода поезда молодая концека, вощелная в вагон в сопровождении двух мужчин.

Один из нех был в зеленой студенческой шинели и в такой же фуражке, другой — в гражданском, узком, старомодного покроя

пальто с каракулевым воротником и в картузе путейского инженера.

 Сюда... сюда, Людмила. Вот твое место,— мельком оглядывая Карабаева, говорил инженер.— А Леонид по соседству с тобой, в другом...

Он поставил чемодан женщины на пол и пропустил ее в купе. Студент с саквояжем в руке прошел мимо — в соседнее. Лев Павлович вышел в коридор, дабы не мешать своей попутчице расположиться.

Он не смог еще рассмотреть ее, но зато успел заметить брошенный в его сторону взгляд инженера, а минутой позже и взгляд подощедшего сюда же студента.

Глаза обоих едва скрывали почтение и некоторое любопытство.

Вначале он не понял, почему это так. «Неужели мы знакомы?» — подумал Лев Павлович, но потом другая, более точная мысль подсказала истину. Ну, конечно, его — известного, популярного депутата Карабаева — узнали эти люди, узнали по портретам, неоднократно помещавшимся в журналах, а может быть, и запомнили, видя его в кулуарах или на трибуне в Государственной думе. Вот, вот — он вспомнил даже: не так двно ему пришлось побывать в обществе петербургских либеральных инженеров, беседовать со многими из них, — разве не мог этот, с черными с Гоголевыми, — разве не мог этот инженер быть там, принимать участие в общей бесле?

И Лев Павлович уже не удивлялся тому, что его узнали. Не желая, однако, останавливать на себе внимание чужих людей, он отвернулся к окну, разглядывая сустившийся на перроне напод.

Дважды ударили в густой железнодорожный колокол, заметамись люди в толпе, за окном, заторопился провожающий инженер. — Ну, с богом! Поезжайте. Отцу передайте «последнее прос-

ти»... Напиши обо всем, Людмила... обо всем.
Он крепко расцеловалея с отъезжающими, надел перчатки, поправил соскользнувшую набок, во время прощания, инженерскую, с широкими полями, фуражку и, не глядя уже на обернувшегося Карабаева, вышел из нагона.

В окно Лев Павлович увидел, как инженер, медленно пробираясь в толпе, пошел к выходу. Лев Павлович инстинктивно, а затем и по инерции, следил за ним, пока хватало глаза. Вот видна только спина и фуражка инженера, еще секунда — и они исчезнут, и взор Льва Павловича сможет уже заняться чем-либо другим.

Но что такое? Инженер словно знал, что кто-то неотступно следит за его фурмажой: он слегка приподнял ее, обнажив на секунду черноводосое темя, затем снова опустил на голову п — уже не двигался. Вернее, не двигался вперед: инженер с кем-то поздоровался и остановился. С кем — Лев Падкович не видем.

Но вот толпа, вероятно, оттиснула инженера назад, вся верхняя часть его корпуса попала в поле зрения, Лев Павлович видит его

чуть усмехающееся подвижное лицо, сильно освещенное широкошеким фонарем и теперь,— инженер вновь попятился под натиском толпы,— маленькую фуражку его повстречавшегося собеселника.

 — Фу-ты! Неужели?..— Перед глазами Льва Павловича мелькнуло на мгновење знакомое лицо Фомы Асикритова.

Бом, бом, бом! — ударил колокол, и толпа на перроне отпрянула от вагонов; инженер и Асикритов растворились в ней. Картавый, произительный свисток обер-кондуктора — и вагоны осторожно качнуло. Лев Павлович отошел от окна.

Асикритов на вокзале? Зачем? Господи, ну что за странный человек! И со всеми знаком, знает почти всех в Петербурге... И вот с этим «гоголем»-инженером знаком...

Карабаев вошел в купе.

Виноват, — поднялся с диванчика студент, уступая место
 Льву Павловичу. — Разрешите остаться, пока я устрою сестру.

 Пожалуйста, пожалуйста, дружелюбно посмотрел Лев Павлович на обоих.— Устраивайтесь, как хотите.

Женщина тоже встала с диванчика, а брат ее принялся поднить верхнико полку. Он ушел к себе, как только помог сестре разместить ее багаж.

— До завтра, Людмила Петровна... до завтра, — прощался он с ней, и Карабаеву показалась, что он умышденно назвал ее подным именем-отчеством, дабы облегчить Карабаеву знакомство, которое так или иначе должно было состояться в течение долгого пути.

Женщина устраивала себе ложе и выбирала из коробка и чемодана веши, приготавливаясь ко сну. Делала она это молча и сосредоточенно. Присутствие постороннего человека ее, очевидно, не смущало. Лев Павлович читал вечернюю газету, закрывшись наполовину ее листом. Но время от времени он невольно подымал глаза. Да, он не ошибся полчаса назад: женщина эта, Людмила Петровна, была молла, красива, а ве сплавных, чуть замедленных движениях и во всей ее осанке Лев Павлович легко распознал то, что привыкли в обществе называть «породой», а он, доктор Карабаев — выхоленным организмом, не завощим изпурительного труда.

В раскрытом чемодане попутчицы лежало тонкое кружевное белье, аккуратно сложенное шелковое платъе, различные принадлежности изысканного дамского тудалета и между всем этим надушенные бумажные подушечки-саше, привозимые, как говорили, для петербургских светских дам непосредственно из Парижа.

Лев Павлович видел, как она вынула из чемодана узорчатый калат и обитый кожей новенький несессер; переложив все это в желтый коробок, она не спеша пошла в конец вагона. Воспользовавшись ее отсутствием, Лев Павлович наскоро приготовил свою постель, разделя и, накрывшись одеялом, улегся на диванчике.

Никакой стыдливости Лев Павлович не испытывал, однако неоторое неуобство ощущал: он предпочел бы иметь слутником мужчину (ну, хотя бы вот этого студента — брата Людмилы Петровны)... или женщину значительно старше, чем она, и менес светскую, то есть менес требовательную и обязывающую в вопросах этикета и барскум привычек.

Утром, когда проехали уже Витебск, состоялось знакомство с ней и ее братом — студентом, пришедшим навестить Людмилу Петровиу. Вчерашияя догадка Льва Павловича о том, что спутунки узнали его, подтвердилась теперы в первые же минуты общего разговора студент почтительно сообщил ему об этом. А Людмила Пстровна добавила, к немалому удивлению Карабаева:

 Мы — земляки ваши. Вот видите, — вы этого и не предполагали.

 Очень приятно, — ульбнулся Лев Павлович и вежливо заинтересовался фамилией своих спутников. — А-а, — продолжал он, что-то вспоминая, — так ваш батовика — тенерал Величко. Ска же, как же, земляки, настоящие земляки... Генерал Величко... так, так.

Действительно, он знал эту фамилию, ему приходилось как-то видеть и самого генерала, но сейчас Лев Павлович пцегно старался припомнить, от кого и когда в последний раз он слышал о генерале Петре Филадельфовиче. (Имя и отчество отца назвала молодая женщина.)

 Отец при смерти, — поведала она, и Льва Павловича поразило спокойствие, почти безразличие, с каким произнесла она эти слова. — Нас вызвали телеграммой. Радостей мало, как видите.

В голосе Людмилы Петровны была не столько печаль, сколько досада, недовольство даже, — или, может быть, Льву Пваговичу только показалось так? Большие, серые, в бахроме длинных темных ресниц глаза слутницы смотрели на все с и на все с холодным любопыстевом и с нескрываемой надменностью. Они каждый раз словно оценивали что-то, откровенно выбирали для себя нужное и.— выбирая, оценивая, — не торопились и смотрели беззастенчиво, бесстыцно.

Умирал ее отец, но, сообщив об этом, она тотчас же посетовала на «несвоевременность» этого события: ей приходится раньше предплоложенного временн покинуть Петербург, где она гостила у старшего брата, инженера Величко. Из Петербурга не хотелось ужать. Петербург развлекал, а это было совершенно необходимо теперь, по словам Людимилы Петровны.

Только четыре месяца назад она потеряла мужа, артиллерийского поручика, неизвестно почему покончившего самоубийством. Присутствовавший при этой беседе студент слегка нахмурил-

грисутствовавший при этоги осседе студент слегка нахмурился, услышав о поручике, с тревотой и коротким любонытством скосил глаза в сторону сестры и словно приготовился услышать из се уст что-то неожиданное для во кожком случае таксе, что должно было прозвучать неожиданно для их недавнего и случайного знакомого — Карабаева.

Лев Павлович заметил это и понял, что молодая женщина имсла, очевидно, основания не говорить подробно о причине, вызвавшей смерть ее мужа, артиллерийского получива Галагана. Весь остаток совместного долгого пути он старался теперь повести в молчании, избегая общения с Людмилой Петровной и ее братом.

В Жлобине, на узловой станции, сосед студента высадился, и В Кудмила Петровна перешла в купе к брату.— Лев Павлович неожиданно получил возможность остаться наедине с самим собой.

Он опустил верхнюю полку, и в купе стало свободней и шире. Теперь все выглядело уютней и приветливей. Эта внешняя перемена сказалась тотчае же и на самочувствии Карабаева. Он мог свободней держать себя, курить, не выходя в коридор, насвистывать, — что делал всегда, раздумывая о чем-либо, — наконец, вот думать, раздумывать без помехи, черт поберий.

Помянув в мыслях черта, Лев Павлович почувствовал облегчение и одновременно приток бодрости, душевный подъем: напряженное состояние вынужденного общения с чужими людьми разрядилось, вичто и никто не мешал теперь его поступкам и мыслям. И — вот странносты! — он только сейчас вспомнил вдруг то, что ускользнуло раньше из памяти как неважное и случайное — чужос.

Генерал Величко? Ну да, это у него брат, Георгий Павлович, собрался заарендовать или купить сахариный завол. Соня, жена Льва Павловича, сообщила как-то об этом в письме. А месяц назад та же Соня писала, что брат, Георгий, слишком внимателен, как сплетничают в обществе, к «тоспоже Галаган, хорошенькой и молодой вдове из местной дворянской семьм...»

«Значит? — Лев Павлович несколько минут что-то медленно и сосредоточенно соображал. — Так, так...»

Взгляд, усмешка и некоторые фразы Людмилы Петровны, казавшиеся раньше непонятными, когда говорили о Смирихинске и его жителях, были теперь разгаданы Львом Павловичем.

«Дела семейные», - улыбнувшись про себя, подумал он.

... Плавно покачивало вагон. Поезд стремительно пробегал каждый перегон, и, запыхавшись, фырчал, и утомленно дышал на обнесенных снегом остановках.

Еще один перегон, другой, третий,— поезд шел уже навстречу ранней зимней ночи — последней ночи, которую Лев Павлович должен был провести в вагоне.

Он закрыл книгу — перевод скучного немецкого романа и подошел к окву. Оно и днем было непроницаемо для глаза: наружное стекло было наглухо покрыто выожной деляной корой, тем реальней и острей представлялась сейчас Льву Павловичу и темная суровая ночь, и потонувшая в ней и в тяжелых снегах близкая его сердцу русская молчаливая равнина.

Он знал, что за окном все уныло, сиротливо, вдово — иначе он никогда и не думал о русской земле. Взор его, упавший на обледенелое окно, стал печален и залумчив.

Сквозь ледяную кору, мешавшую смотреть в окно, он мысленно видел теперь все отчетливо и безошибочно. Мутное зимие небо. Земля в тяжелых снегах: шатры сугробов, среди них —

прикорнувшие деревянные ящики мужичьих изб, лай недоверчивых мохнатых псов; завывает на ветру непонятная мужику телеграфная проволока, скрипит от мороза березовая роша,

Глаз Льва Павловича проникал за окно и видел то, что мог бы представить себе сейчас любой русский путешественник. Но Лев Павлович этого не сознавал: он был убежден, что воспринимает все

глубоко лично, по-особенному.

Он продолжал смотреть в непроницаемое окно, за которым мелькали темнота, вьюга и снежная угрюмая пустыня. Он делал это так углубленно, сосредоточенно и проникновенно, что на одно мгновенье им овладел внезапный испуг, - Лев Павлович стоял по колено в сугробе, метель сорвала с его головы шапку, засыпала всего колючим снегом, валила наземь, вдувала внутрь его судорожное дыхание, он замерзал, умирал... Он протянул руки вперед. и мимо него промчался, сбивая ветром с ног, безжалостный змеевидный поезд, сверкнувший перед запорошенными глазами изломанной искрой чужого исчезнувшего света.

О-ох! — непроизвольно простонал, вздрогнув, Лев Павло-

вич и инстинктивно отпрянул от окна.

В купе было тепло, тихо, электрические лампочки излучали в него мягкий приветливый свет, бархатный диванчик был уютен, удобен. В зеркале двери Лев Павлович, повернувшись, увидел свое слегка побелевшее липо.

- Слава богу...- прощептал он и опустился на дорожную постель.

Уже засыпая, он почувствовал, как сильно устал - и физически и душевно. Когда проснулся утром, узнал, что ночью поезд простоял на какой-то станции свыше двух часов из-за свирепой метели.

В общем, шли с запозданием на четыре часа. В Ромодан, где должна была быть пересадка на Смирихинск, прибыли уже после обеда; поезд на Смирихинск ушел два часа назад.

- А следующий когда? - спросил Лев Павлович у носильщика, поставившего вещи в зале первого класса.

Ночью, барин, Одинналиать лесять илет.

Старик носильщик искренне разделял досадное чувство своего пассажира. Подумать только - сорок минут езды на мащине, а тут изволь ждать чуть ли не полдня!

Когда понадоблюсь — прикажите, барин! — распрощался

он с не на шутку опешившим Карабаевым.

Лев Павлович остался сидеть на широкой скамье, стоявшей неподалеку от буфетной стойки. Станция была узловая, на скрещении двух огромных железнодорожных магистралей, и в часы прихода поездов и ожидания пересадок зал был полон народу. Сейчас же пассажиров было сравнительно мало (дневные поезда прошли уже во все четыре стороны), и Лев Павлович получил возможность в течение нескольких минут оглядеть всю публику. Среди всех этих лиц инстинктивно хотелось найти хоть одно знакомое лицо, и он искренне обрадовался, увидя вдруг вблизи, у буфетной стойки, недавних своих попутчиков: Людмилу Петровну в бархатной шубке и меховой шапочке и студента Леонида. Лев Павлович подошел к ним и посетовал на свое вынужденное ожилание.

 И у нас неприятность, — медленно и глухо сказала молодая женщина, опустив глаза.

— Что такое?

Отец умер сегодня утром.

Лицо Карабаева выразило удивление и — тотчас же — учтивое соболезнование, а сам он тихо, почти шепотом произнес:

— Ай-ай-ай... Действительно, горе. Но откуда вы знаете,

Людмила Петровна?

Она кивнула в сторону человека, стоявшего тут же у буфета: на человеке был кучерской тулуп, в руках — кнут и бараныя шапка в одной, Кучер, повторяя комроговоркой: «Покорно благодарю... покорно благодарю, барин», медленно подносил ее ко рту. Студент был занят тем же самым делом.

- Нас ждут здесь лошади, управляющий прислал из Снетина, пояснила Людмила Петровна. Вот и узнали сейчас. Печальная новостъ...
- Да-а...— протянул Лев Павлович и посмотрел в ее глаза: серые, большие,— они были сухи и холодно блестели, как новое серебро.— Да-а,— повторил он, не зная, что сказать.— Так вам в Снетин? Верно, верно. Отсюда совсем близко...

Когда распрощался с ней и студентом, опять уселся на скамью у стола с пальмами и фылоденаронами в деревянных кадках и заказал обед. Откушав, он только что намеревался пройти на телеграф — сообщить в Смирихинск о часс своего приезда, как был неожиданно остановлен незнакомым молодым человеком в порыжевшей студенческой фуражке, вежливо склонившимся перед Карабаевым.

- Очень прошу простить меня, Лев Павлович, не спеша водворяя фуражку на ее место, заговорил почтительно ее обладатель, и Карабаев удивнялся, откуда незыакомый человек так томи знает его имя и отчество. — Я не смел тревожить вас, покуда вы обслали, — продолжал студент, — но теперь я позволю себе предложить вам...
 - Что? прервал его Лев Павлович.
- "поехать вместе со мной в город на лошадях. Я ведь тоже еду из Петербурга домой, в Смирихинск. Я вот только что звонил по телефону в город, домой, и узнал, что сейчае здесь, в Ромодане, на заезжем дворе находятся наши лошади. Через полчаеа они отправляются пороживком в Смирихинске: к шести часам мы будем там. Я уже сговорился с ямщиком. Я очень прошу вас. Лев Павлович, не отказать...

Студент говорил гладко, без запинки; кончик продолговатого носо при этом вздрагивал несколько раз, а языком, едва высуную его, студент почти после каждой фразы облизывал то одну, то

другую свою губу. Он говорил гладко, не робея, но был заметно взволнован.

 Вы меня знаете? — спросил Карабаев, не отвечая прямо на неожиданное и приятное предложение своего любезного земляка.

— Ну, еще бм! — с непонятной гордостью ульбнулся тот.— Я часто слушал вас в Государственной думе, бывал на ваших лекшиях... Я читал вашу книгу о вымирающей деревые, я ссылался на нее у нас на семинарах... в институте. Как же! Помино ваше недависе выступление вместе с Максимом Максимовичем Ковалевским, знаю отлично вашу речь на пироговском съезде...

Ваша фамилия? — дружелюбно прервал его Лев Павлович

и протянул руку, освобожденную от меховой перчатки.

 Калмыков! — ответил студент и, вновь учтиво сняв фуражку, осторожно пожал протянутую руку известного депутата Государственной думы.

«Умный и серьезный молодой человек»,— думал Лев Павлович о своем новом спутнике, сидя уже вместе с ним в просторных с поднятым верхом санях, выехавших на смирихинский тракт.

Ехали молча; в поле было холодно и ветрено, и оба глубоко калимкова, знал старижа Калимкова, знал старижа Калимкова, знал хорошо его двух сыновей, земских врачей, своих бывших товарищей по университету и работе, и новое знакомство с членом той же семыи, младшим братом этих приятелейврачей, обещало оставить о себе такое же приятное впечатление.

«Калмыков...» — мысленно повторил он фамилию своего спутнам и вдруг невольно (а он вспомнил в этот момент что-то заинтересовавшее) повернул голову к студенту.

 Вы меня спрашиваете? — встрепенулся тот и отогнул край теплого воротника. — Простите, я не расслышал на ветру...
 Нет, нет, — покачал головой Карабаев, приняв прежнее

Нет, нет,— покачал головой Карабаев, приняв прежнее положение.

Однако через несколько минут он окликнул студента:

— Скажите, у вас есть еще один брат... младший брат?

СкажіНет.

Позвольте, как же это?.. Брат-гимназист у вас есть?

— В Смирихинске?

— Да.

— Это не брат, Лев Павлович. Это мой племянник... Есть, есть, Кончает вот вселой, — старался поддержать разговор Гриша Калмыков, не решавщийся, однако, спросить, почему варуг не известный никому Федька мог заинтересовать члена Государственной думы Карабаева.

Жена подробно, слишком подробно писала всегда о всех семейных делах,— оттого несущественное (то, что казалось несущественным по крайней мере там, в Петербурге, во время работы...) быстро забывалось, переставало интересовать. Другое дело— тенерь, когда через какой-нибудь час он, Карабаев, будет сидеть в кругу своих родинх, включится в этот милый сердцу круг семейных радостей, забот, интимика, домашим с новостей. О, тесемейных радостей, забот, интимика, домашим с новостей. О, теперь, нужно быть внимательным ко всему этому, нужно вспомнить кес то, о чем так подробно и старательно сообщала в своих письмах Софьы Даниловна, Соня — преданная, любящая жена и такая же любящая и нежная мать Ириши и Юрика!.. Иначе — можно незаслуженно обидеть ес а вместе — и всю семью.

Впрочем, Лев Павлович Карабаев без всякого принуждения к тому целиком отдал сейчас свои мысли предстоящей встрече: в его любви к семье была, как сам объяснял, не только здоровая биологическая тяга, но и то, что называл чувством «несобходимой связи с вечностью». Этой связью были его, карабаевские, дети. Если бы их не было или, боже упаси, он потерял бы их,— мир стал бы наполовину уже, короче, темней: словно кто-то выколол бы Льву Павловичу один его глаз.

Й сейчас он думал о детях. «Кальыков., так, так...» — вновповторил он про себя эту фамилию и, вспомнив, знал уже, почему вспомнил. Софья Даниловна писала: «...А у Ирки нашей роман. К ней неравнодушен один здешний гимназист-восъмиклассник, по фамилии Кальыков... Я не придаво пока особого значения...».

«Так, так... Ириша,— ах ты, дочка взросленькая,— любовь?.. Ну,— посмотрим твосго усханого Ромос... посмотрим, Иринушка! Уж от отпа скрывать нечего... А Юрка тоже, наверно, на гимназической парте перочинным ножиком имя своей Джульетты вырезывает? Любовы... 9

Лев Павлович улыбнулся долгой, добродушной улыбкой.

Мир, Россия, жизнь, желания— все покорно сбежалось в одии— вставший перед глазами и мыслью— светящийся приветливо фокус; все, раздробившись неожиданно, уместилось в нем.

Этой точкой, вобравшей в себя все отраженное и преломленное в сознании Льва Павловича Карабаева, была теперь семья.

Точка была теплой и мягкой.

 Въезжаем в город, прервал молчание студент и отогнул ворот шубы.

Лев Павлович высунулся из саней.

На углу какой-то домохозяин зажигал у ворот свой керосиновый фонарь.

Глава третья

ФЕДЯ КАЛМЫКОВ, БРАТЬЯ КАРАБАЕВЫ И ДРУГИЕ

* На двубортной гимназической тужурке уже не было маленьких серебряных путовиц — этих немых хранителей благо-образия казенной русской школы. Путовищь Федя Калмыков недавно срезал, и, к его немалому удовольствию, тужурка приняла цимильный вид. Сейчае вольность этого поступка била еще продолжена: был надате высокий гуттаперчевый воротичнок с полукруглыми отогнутыми концами; они высунули свои белоснежные, твердые, надломленные язычки, и, чтобы не стесиить дыхания, пришлось отстетнуть на вороте верхний крючочек застежки. В тот же час, когда надлевался франговской гуттаперчевый воротичнок, было учинено еще одно преступление против правил правил

министерства народного просвещения и высочайше утвержденного положения о форме воспитанников среднеучебных заведений: был споврежден, испорчен вколотый в темно-синий околыш фуражки старый гимназический герб... Жестяные, скрещенные внизу всточки одляки были, казалось вот-вот дру от друга отпасть: скреплявшие их в середине герба две буквы «С» и «Г» (Смирихинская гимназия) были выломлены и брошены на пол. Жестяные веточки на фуражке, как и лакированный пояс с медной, посеребренной бляхой, все же оставались принадлежностью туалета Феди Камыкова,

Традиция, этот не писанный, но священный закон, руководила теперь его поступками; за полгода до окончания гимназии можно срезать путовицы на тужурке, вызамывать буквы из герба; перед выпускными экзаменами должно уже оставить в гербе только одну веточку, сбросить пояс, демонстративно показать инспектору свой портсигар.

Золотые пуговицы с накладными гербами российской держави, синет-олубам фуражка должны были вскоре заменить собой опротивевщую гимназическую форму. В студентстве предвкушалась радость освобождения и недоступная до сего вольница жизни, суждений и поступков.

Золотые накладные орлы на пуговицах не представляли этому никакой угрозы; напротив, было теперь так, что этот сиявол державной империи на тужурках и косоворотках молодежи служил приметой «внутренних врагов» самодержавного престола. Федя Калмыков уже видел себя в их рядах, хотя не надевал еще студенческой фуражки.

Сегодня ощутил это с большей силой, чем всегда, хотя и без всегодна к тому. Вернее, повод — косвенный — был: предстоящее знакомство с Львом Павловичем.

Пусть Карабаев и не социалист (а он, Федя, считает себя социалистом), он даже не знает, республиканец ли Лев Павлович по убеждениям, но все же в своих выступлениях и в Думе и в печати, об этом всегда с гордостью говорила Ириша, он ратовал за «лучшее будущее» России и этим вызывал Федину приязи.

— Вот и все, — без всякой цели и смысла сказал Федя, не слыша своего голоса. Это был секундный перебой в мышлении, а мать, Серафима Ильянична, всегда принимала его за исключительную рассеянность своего безусловно нервного, — как уверяда всех.— сына.

Жизнь семьи сложилась так, что она, Серафима Ильинична, встад должна была с опаской и скрытым подозрением следить за каждым проявлением карактера своих детей и состоянием их здоровья: неразгаданная и неожиданная слепта мужа виушала боязнь перед возможным наследственным недугом. Оттого близорукие глаза сына — тревожили, а вспыльчивость его — казалась предтечей нервного заболевания. Повышенное самолюбие, какое проявлял в отношениях почти со всеми товарищами Федя, вызввало всегла потом — видела Серафима Ильинична — долгие часы упрямого тяжелого молчания и болезненной замкнутости, а такое душевное состояние сына больше всего пугало ее. К сыновней рассеянности она относилась тоже подозрительно.

 Чего это ты, Феденька, сам с собой разговариваешь? посмотрела она внимательно на бормочущего сына.

 Это он считает, сколько хорошеньких гимназисток сегодня встретит... улыбнулся слепой отец, молчаливо сидевший все время у горячей натопленной печки. - Покоряй, покоряй! - продолжал он улыбаться своими теплыми карими глазами, неуверенно перемещавшимися в узком продолговатом разрезе слегка собранных складками век.— Придешь, Феденька,— расскажи нам все: как Новый год встречали, какую наливку пили. Эх, и сам бы я выпил наливочки; попросить бы, Серафимочка, у Семена! У него гости сегодня будут, угощение припасено. Нас с тобой, Серафима, не приглашают...

Улыбка на лице отца быстро исчезла, теплые слепые глаза чуть сощурились и на минуту уставились в одну невидимую для них точку.

Начавшийся разговор ничего, кроме досады и огорчения, не мог принести, а этого больше всего опасался сейчас Федя. Не отвечая родителям, он заторопился.

Мать держала уже наготове носовой платок и помятую, как блин, Федину фуражку с оторванным в одном углу козырьком, конец которого небрежно свисал всегда на Федин доб: можно было аккуратно пришить козырек, но разве посмела бы сделать это Серафима Ильинична вопреки священной традиции восьмиклассников всея Руси?..

Федя поспешно прошел узкий калмыковский тупичок и очутился на улице.

В кармане пальто лежал листок за подписью инспектора, разрешавшего сегодня гимназисту Калмыкову «прохождение по улицам» позже восьми часов вечера, так как оный гимназист направлялся в гости, в «семейный дом господина Карабаева, проживающего на Завадчинской улице».

Биографии обоих братьев - Льва и Георгия Карабаевых существенно стали разниться с момента окончания обоими университета.

И тот и другой кончили курс на естественном факультете, и Льву было предложено готовиться к профессуре по кафедре ботаники. Но Лев Карабаев уклонился от открывшейся перед ним наўчной карьеры; он захотел быть врачом и сделался им, окончив курс медицинских наук. Вторично карьера приветливо улыбалась ему: знаменитый профессор Остроумов оставлял его при своей клинике. Но вновь Карабаев-старший отказался от этого многообещающего пути.

Он был в ту пору народником, его влекло к себе подвижничество, жертвенное служение «темному мужику», перед которым чувствовал себя виноватым и обязанным. Народ! Это слово было избранным, наилюбимейшим в русском словаре.

Отказавшись от научно-медицинской деятельности, Лев Павлович, женившись на Софье Даниловне Асикритовой, отправился в одну из южных губерний на вольную врачебную практику. В первые годы своей работы он даже отказывался от жалованья, предложенного уездным эжиством.

 Сколько тебе, батюшка, за труды твои? — спрашивала баба у карабаевского фельдшера Теплухина, готовившего микстуру, и фельдшер Теплухин отвечал строго и деловито:

Фельдшер Теплухин отвечал строго и деловито:
 Рубль, да не забудь доктору отдать пятачок!

Так начинал свое поприще будущий народный представитель в российской Государственной думе, ставший верно служить там отечественному капиталу.

Иной путь нашел для себя младший брат — Георгий.

По окончании университета он тоже женился— на бывшей гимназистке, дочери крупного железнодорожного подрядчим у которой был репентитором в студенческие годы. Тесть осталах доволен своим зятем: Георгий Павлович оказался человеком практического ума, с деловой сметкой и крепкой волей, нужной человеку его круга, как калык волку.

 Жоржа — молодец, — отзывался о нем тесть Аристарх Николаевич. — За два, три года так мое дело понял, что всю ли-

нию не бела на него оставить. Делок - одно слово!

Действительно, Георгий Павлович вскоре стал правой рукой своего тести, а сделавшись неизменным помощинком его, стал и участником в крупных делах и заработках железнодорожного работами перешло к Георгию Павловичу, а одноврежению перешло к нему и наследство тести, оставленное единственной дочери, Татьяне Аристарховие.

Федя Кальыков знал, что в то время отец, Мирон Рувимович, служил заведующим строительной контророй у Карабаева, однокольно службы материальный достаток Калмыкова составляло одно лишь жаловане, строго определенное деловитым Геортием Павловичем. Когда постройка последней в районе железнодорожной линии была закончена, Кальыков остался без службы, а Георогий Павлович переселился в Смирихииск, чтоб стать уже владельцем сначала одной лишь махорочной фабрики, а позже и выстроенного заново кожевенного завода.

С тех пор благосостояние карабаевское росло и увеличивалось с каждым годом, и городская молва не прочь уже была величать его «миллионером», котя такой суммы у Георгия Павловича еще не было. Но он был уже одним из тех немногих людей в городе, которые,— помимо лиц должностных,— значились в толстых министерских справочниках как руководители местной промышленности, торговли и финансов, как обладатели крупного имущественного ценза.

Культурность и многосторонняя образованность Георгия Павловича сообщили ему черты и привычки, резко отличавшие фабриканта Карабаева от многих людей равного с ним социального положения.

В среде местной интеллигенции он слыл «просвещенным буржуа», среди купцов и промышленников — «немцем», европейцем, и он сам всячески и во всем, но без какого бы то ни было бахвальства, подчеркивал и утверждал это мнение о себе.

Он одевался не так, как все, — на это прежде всего было обрашено внимание здешнего общества. Ему и Татьяне Аристарховне шилось все у лучших портных Киева, а иногда и Петербурга, куда оба время от времени наезжали. Шилось все из лучших заграничных материй, покупалась обувь, изготовленная там же по специальному заказу известными мастерами.

Но скромивий, невзыскательный Смирихинск не мог, однако, упрекнуть Карабаева в хвастовстве и нарочитом щегольское, костюм он носил так привычно непринужденно и умело, так внутрение небрежен был к своему платью, что, обратив винамание сразу на изящиро обновку Геория Павловича, забудешь о ней вскоре же, разговаривая с ним, потому что никакой костюм, никакая обновка не могли существенно изменить ни внешного облика Георгия Павловича Карабаева, ни представления о нем как о человеке и собеседнике.

Костюм, галстук, ботинки, превосходная заграничная панама— не столько украшали его, сколько служили ему: вещи рабы его желаний и вкуса. Служили ему— ну, вот так, как остальное в его доме: мебель, шкафы с киигами, белый двухтысячный рояль, мраморная ванна, домашние служанки.

Он сделал большие затраты на эту самую мебель, на оборудование дома, он сам выбирал каждый предмет для каждой из восьми комнат, он, как придирчивый к себе художник, смывающий по оих соответствии предназначенной цели, он проявил в этом деле не только педантичность и деловитость, во и вкус. И когда пришля тости в новый, заново обставленный дом, все были поражены удобствами оборудования и богатством обставленкий по инкто ис удивидся тому, что все это стоит, лежит, высит в таком именно члорядке, на этом именно месте, что все это принадлежит Георгию Павдовичу Карабаеву, служит ему, создает его, карабаевский стилы

Да ведь иначе не могло и быть! — казалось всем присутствующим.

У себя на кожевенном заводе он сделал то, на что вряд ли решился бы кто-либо из остальных смиркимнеких промышленников. В течение почти целого года он не получал никаких прибылей, напротив — вложил новые капиталы в завод, значительно загратился, переоборудовывая его, выписывая новые машины, дострачивая заводские корпуса: Георгия Павловича Карабаева не напрасно прозвали «немцем».

Проще и привычней было довольствоваться тем, что и так уже двал завод без тех новшеств, которые ввел Карабаев. Осторожные люди подсчитывали с карандашом в руках затраты Георгия Пав-

ловича и приходили к выводу, что все нововведения его в лучшем случае только оправдают эти затраты, не обогатив, однако, его. И если так, то стоит ли возиться со всем этим делом.

И уже совсем необычным и неоправданным показалось людям еще одно карабаевское мероприятие: он предложил своим кожевникам построить для них в кредит удобные, освещенные электричеством дома

Почти все рабочие жили вокруг завода, верстах в трех-четырех от города, в деревушке Ольшанка,— в избах многосеменных родных, в тесноте,— и предложение Георгия Павловича на первых порах казалось заманчивым. Новая заводская динамо-машина, впустую тратившая избыток мощности, должна была вскоре дать свет в близлежащие домики выросшего рабочего поселка.

Электричество не было разорительно для рабочих, но выплачивать стоимость домиков им предстояло жемесячно в течение ряда лет, и Георгий Павлович сообразил, что это и есть выпучший путь спокойного, экономического прикрепления кожевников к его, карабаевскому, заводу.

«Кому из рабочих придет на ум бастовать, рискуя быть выброшенным с семьей на улицу из теплого, уютного домика?» — так думал Георгий Карабаев.

Промышленник, умный и культурный делец, Карабаев был по-своему прозорлив во всех своих поступках. Он считал себя передовым человеком в среде того общественного класса, которому, искрение веровал.— должно было принадлежать будущее руководство страной.

Эх, ему бы, Георгию Карабаеву, не здесь, не в маломощном Смирихинске, быть, — ему бы распоръжаться рудниками и шахтами, сталелитейным гигантом или богатейшей мануфактурой гденибудь под Москвой или в самом Петербурге! Разве не хватит умены, разве не станет распорядительности, энергии и воли?. Ого-го!

Не мудрено, что дом Георгия Павловича стал самым интересним местом встреч тяготевших по-разному к нему знакомых друг другу людей. Однако и здесь все подчинилось незаметно отбору, строго и умело произведенному хозяином дома: он принимал тех, кто нужен был ему (по-разному нужен) или был приятен тем, что признавал его, Карабаева, ум и общественную значимость.

Он стоял в центре,— радиусами его влияния служили люди, составлявшие его, карабаевскую, среду.

И вот теперь, когда приехал Лев Павлович, — брат, знаменитый брат, «политическая совесть» русской интеллитенции, как, называли депутата Карабаева в буржуазно-либеральных газетах, Георгий Павлович сумел и сейчас сохранить за собой свое место в глазах собравшихся гостей.

Лев Павлович знаменит? Им льстит знакомство с таким человеком?... Но у кого другого, как только у Георгия Павловича, эта встреча может состояться?... К кому еще так бизок этот известный в государстве человек, как не ему — Георгию Карабаеву? Брат достони бората. Так или иначе приезд Льва Павловича, пребывание его в Смирихинске, доступность встреч с ним — все это лишний раз как бы подчеркивало исключительное положение в здешнем

обществе Георгия Карабаева.

Юноша, Федя Калмыков, меньше всего думал сейчас о человеке, в дом которого он пришел. Мысль его почти всецело занимал знаменитый депутат и... отец героини его романа — Иринуцики. Правда, он уже был знаком с Львом Павловичем Карабаевым, еще в самом начале вечера Ириша показала его отцу— но разве достаточно одного рукопожатия, десятка ласково сказанных слов и мельком брошенного доброжелательного взгляда?.. Да и вообще Феля чувствовал неловкость: во время знакомства с Карабаевым присутствовала Софья Даниловна, и ее насмешливые, «посвященные» глага невольно смущали Федло.

«Вот, молодой человек,— папа Ириши: так и знайте! — словно гворили эти глаза.— А вы думали, что все так просто, молодой человек?.» — И он почувствовал в этом неслышном вопросе зара-

нее вынесенный приговор, осуждение, отказ.

«Дурак! Сробел, как гимназист! — с досадой подумал он о самом себе, лищь только Карабаев с женой прошли в другую комнату.— Как я держал себя? Что-то бессвязно отвечал — как мальчишка, как гимназист...» — мысленно повторял он это сравнение, не чувствуя в этот момент его правдоподобности и неоспоримости.

римости. И теперь, когда Ириша и Федя, покинув гимназическое общество, вышли в гостиную, где сидело большиство гостей, Федя тотчас же заметил Льва Павловича. Он стоял, покуривая, у самых дверей в братнии кабинет, стоял, окруженный собеседниками, среди которых один был незнаком Феде.

 — Кто это? — спросил он свою спутницу, указывая глазами на круглоголового, гладко выбритого человека в рябеньком, несладно сидящем костюме и в черной, — как носят рабочие, — косоворотке, резко бросавшейся в глаза среди белогрудых манишек остальных мужчин.

— Политический! — шепотом ответила Ирина.— Дядин знакомый... политический, ей-богу! — повторила она и не прочь была дассказать о нем все немногое, что узнала сама час назад, но Софья Даниловна позвала ее в этот момент. и Феля остался один.

Чувствовалось, что человек этот сегодня не только не потерялся во внимании собравшихся, но и отвлек его столько же, сколько почетный гость в Смирихинске — Лев Павлович Карабаев. С особенным интересом и острым любопытством всматривались присутствующие в его лицо, слушали его речь, мноми льстила бы его дружеская расположенность к ним, но вместе с тем далеко не каждый решился бы открыто, на глазах у всего города, укреплять свою дружбу с этим человеком.

Присутствие его здесь, — как и Льва Павловича, — делало сегодняшний вечер необычным, волнующим, но... одно дело поддерживать общение с оппозиционным депутатом Карабаевым, другое совсем — принимать у себя в доме бывшего политического ссыльного социал-революционера Ивана Теплухина!

Близкое и открытое знакомство с ним может бросить тень на доброе, «лоильнос» имя доктора Коростальева — старшего врача земской больницы. Адвоката-сврея, Захара Ефимовича Левитана, наверно, уже после отого не утвердит судебная палата присяжным поверенным, и придется ему всю жизнь числиться в помощниках, а место городского инженера Бестопятова станет зыбким, ненадежным, как осевщий в прошлом году выстроенный им мост на засешней речкс...

Один лишь Георгий Павлович мог пренебречь всеми этими не без основания высказанными опасениями. Встретив сегодия в гороле Ивана Митрофановича Теплухина, когдатошнего репетитора карабаевских дочек — Кати и Лизы. Георгий Павлович не замедлил пригласить его к себе на вечер: бывший «политический преступник», к тому же легализированный теперь правительством, о, это могло быть интересным для гостей Георгия Павловича и прилать его вечеру некоторое своеобразие.

И невольно случилось так, что присутствие Льва Павловича и Теплухина не только скрасило, но в значительной мере и насы-

тило все разговоры в этот вечер политикой.

Мужчины продолжали уже свою оживленную беседу, перешагиув порог кабинета, а заинтересованияй Фсия заиял их место у тяжелой синей портверы. Некоторое время можно было не менять позиции: один из карабаевских пятиисто-серых догов разлегся тут же, у порога, и Федя, старательно лаская собаку, почесьвая у нее за ухом, искоса наблюдал в то же время расположившихся в кабинете собеседников.

-- ...Уж у нас, думцев, цифры... цифры. У нас сотни сообщений с мест, -- мягко гудел голос Льва Павловича. -- Если хотите. -мы вступаем в полосу оскудения. Правительство тупоумно, реакционно и - при нынешнем курсе - беспомощно предотвратить расхищение народных благ. Эта бюрократия — бездушная и поллая машина. Помните, Гончаров, лучший знаток ее, сказал о русской бюрократии: «Одни колеса да пружина, а живого дела нет...» Ведь замечательно сказано, правда? Эта бюрократия печется о сохранении полицейского государства — и только, господа! А вы приглядитесь, например, к деревне. (Вам, вам, говорю! Иван Митрофанович...) В деревне давно пропал внутренний мир: обезземеление привело к междоусобице, сын идет на отца, брат на брата, а крестьянская земля треплется на рынке. И это называется землеустройством?! Сын убивает отца за то, что тот продал надельную землю, - хорошо? Ведь это же факты, факты... А приходится продавать, потому что нечего есть: продают на хлеб, от голода. За два года, оказывается, продано до двух миллионов крестьянской земли...

Его никто не перебивал, и, выдержав вынужденную паузу, затянувшись папироской, Карабаев продолжал:

И вот получается... Куда идти этим несчастным людям.

у которых не осталось ни клочка земли, ни хаты? Ведь банк-то «крестьянский» последний пуд хлеба забирает за недоимки, Куда идти? На фабрику? В город? Хорошо... Но к чему может привести такое скопление ожесточенных людей в городах? Кто-нибудь над этим задумался? При таком положении можно ожидать всяких крайностей. У нас нет разумного социального законодательства по рабочему вопросу. А оно нам сейчас необходимо... (Лев Павлович многозначительно, доверительно посмотрел на своего брата.) Вот вам экономический «подъем». Все это плюс реакционная остервенелость политического режима - вот судьба России, если...

 Если? — подхватил кто-то и Федя узнал по голосу круглоголового, в черной косоворотке «политического», сидевшего в тени комнаты, на широком кожаном диване.

- ...если только наша общественность, Иван Митрофанович, не сумеет выступить энергично, объединенной против произвола,

Как это «выступить»? Выступит — посадят.

 Протестовать во весь голос... мобилизовать общественное мнение, все демократические элементы страны - все, что есть прогрессивного в населении. Меня удивляет, что вы залаете эти вопросы!..

- Ладно, не торопитесь удивляться, Лев Павлович... Я вот и спрашиваю: а если мобилизация прогрессивного да просвещенного не поможет, не подействует, бессильной окажется, - что тогда?

 Ну, тогда... Тогда двор и правительство могут дождаться такого, ого-го!

 А именно? — словно поддразнивал голос круглоголового, и Федя видел, как все сидевшие в кабинете привстали вслед за Теплухиным и, насторожившись, переводили взгляд то на него, то на сидевшего у стола Льва Павловича, словно вот-вот произойдет что-то такое неожиданное между ними обоими, что потребует вмешательства и всех остальных.

Это же состояние настороженности невольно передалось и Феде: он подался вперед, а рука, поглаживавщая дога, ухватилась за портьеру, раздвигая ее, чтоб лучше видно было все, что происходило в карабаевском кабинете.

Тогда... тогда...

«Революция!» — захотелось крикнуть Феде, но услышал тихий, размеренный, хотя и взволнованный голос Льва Павловича;

- Видите... история знает различные формы возмездия, и не всякого возмездия следует желать. Я не боюсь слов, не уклоняюсь от точных определений, понятий, - я говорю сейчас в кругу лиц, для которых родина одинаково дорога, так ведь? - и поэтому я скажу вам совершенно искренне: если Горемыкин, Маклаков и Кассо делают бессознательно все, чтобы вызвать в России революцию (а дела их подлы и преступны), это еще не означает, господа, что только революция может избавить Россию от этого режима! Да, вот так... Скажите, Иван Митрофанович, как здоровье вашего батюшки? Как у него с земством дела?... неожиданно прервал он разговор, подходя к Теплухину,

Все поияли, что Карабаеву захотелось переменить тему беседы: то ли он устал и не считал нужным продолжать ее — говорить все время о политике, то ли почувствовал, как и вес остальные, что она должна закончиться непременно спором, а спорить, очевидно, не хотел.

Это не огорчило и не разочаровало всех остальных участников разговора. Напротив, все они почувствовали, что обрели вдруг для себя, для своих поступков свободу.

Кто скажет, что трем-четырем провинциальным смирихинским интеллигентам не интересно было слушать час-другой знаменитого думского депутата или рассказы вернувшегося из Сибири «политического» — Теплухина? Разве не должен быть отмеченным день этот в памяти знаком цветным, фосфорическим на путях их обыденных встреч, забот, печалей и радостей, повторяющихся множество раз, схожих во множестве дней, как колья в знакомой, стоящей перед глазами изгороди? И тем не менее каждый в душе был доволен сейчас тем, что общая для всех бесела прервалась и разговаривать и слушать друг друга должны были теперь только оба приезжих гостя, отошедших в сторонку. Невзыскательны русские провинциалы! И так уж много впечатлений за этот час-другой, уже каждый из присутствующих чувствовал себя посвященным во что-то необычно важное, значительное, что никак неведомо простому смертному смирихинцу,- и этого было уже совершенно достаточно, по крайней мере для сегодняшней встречи.

Так чувствует себя молодой студент, побывавший на первой, затинувшейся, как показалось с непривычки, лекции профессора: сили, молчи, благоговей! И впрямь и заесь так было: вели все время разговор только Лев Павлович и Теплухин, да Георгий Карабаев вставлал иногда к месту свое спокойное, деловое, как всегла, замечание; остальные же слушали и запоминали. Теперь же обрели для своих поступков свободу. Этому помогла еще хозяйка дома, Татьяна А ристарховна, приглашая всех к ужину.

Федя не успел еще отойти от дверей, как услышал рядом с собой голос круглоголового, в черной косоворотке:

 Вот и вы здесь, молодой человек. Я вас знаю, видел вас недавно — познакомимся.

И он, улыбаясь, протянул Феде руку.

Федя поспешно пожал ее, с любопытством и недоумением глядя на никогда раньше не встречавшегося человека.

Где вы меня видели?

- У вас в доме. Вспомните, а ну-ка? На почтовой станции, ну, да, да... вы говорили с кем-то по телефону, с какой-то барышней.
 - А вы?...
 - А я... я, милый друг, дожидался лошадей.
 - Такой бородатый... и с усами?...
- Ну, да! рассмеялся Теплухин,— и все, и бороду, и усы, сбрил. Помолодел.

Вот оно что! — воскликнул Федя. — Так это вы были.

Теплухин, пожав его локоть, хотел уже отойти, но Федя, удержав его руку, быстро, сбиваясь, неожиданно для самого себя сказал:

— Я слышал ваш разговор с депутатом Карабаевым... Я знаю, вы его спрашивали, будет ли революция, а он не захотел... побо-ялся прямо ответить Я читал социалистические газеты... литературу. Я за социалистов... У меня есть знакомые товарищи, — они тоже за!

Резкий внимательный взгляд упал на Федино лицо, заполз в его раскраспевшиеся, возбужденные глаза. Заполз и несколько мгновений держал их испытующе в повиновении, так что им стало больно, как от резкого, близко придвинутого света.

 Вы — серьезный, должно быть, юноша, — вполголоса сказал Теплухин и, приветливо кивнув головой, отошел от Феди.

В том, что сказал это негромко, сдержанию и без улыбки, что посмотрел как-то по-сосбенному проинковенно,— во всем этом почудилась Феде неожиданная интимность, которая должна была сопутствовать, очевидно, дружескому расположению к нему Теплухина. И если это так, то должен ли был бы Иван Теплухин сомневаться хоть на один миг в том, каким искренним чувством симпатии и преданности отвечает ему в этот момент наш молодой герой?

Ах, бедная, ничего не подоэревающая Ириша! Если бы она склонна была проявлять ревность, если бы девичье сердше было слишком капризно,— то могло бы, по справедливости, упрекнуть Федю: весь остаток вечера мысли его были заняты встречей с теплухиным. Правда, знакомство с Львом Павловичем Карабаевым льстило юношескому самолюбию, но Карабаев казался недоступным, недослагаемым энстербурждем», а Теплухин — более простым и близким, и манера, с какой он держал себя на людях,— демократичней и эпровинциальней», как оценил ее про себя Федя. И, стоя в сторонке в гостиной, и позже, после ужина (во время ужина молодежь сидела в другой комнате за отдельным столом), он преданным взглядом следил за каждым движением, за каждым словом Ивана Митрофановича. Имогда их взгляды встречались, и всякий раз Феде казалось, что тайком от других Теплухин кивает ему или ульбается ульябкой друга и заговориция.

Глава четвертая

РЕЧЬ СМИРИХИНСКОГО ЗЛАТОУСТА В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

Перед каждым из сидевших за столом стояли наполненные вином бокалы, но никто еще не пригубил. Все дожидались традиционного торжественного момента, когда со стены раздастся бой часов, возвещающий наступление нового года. До прихода его оставалось всего лишь три неполных минуты, и этот короткий срок заполнился нетерпением и волнением присутствующих.

Дуня! — возбужденно отдавала приказания Татьяна Арис-

тарховна молоденькой горничной.— Станьте у выключателя и тушите свет, как только я вам крикну... Ради бога, не опоздайте, но и не торопитесь.

 Вы не находите, нагнулся Теплухин к своему соседу, адвокату Левитану, что нашим гостеприминым хозяевам вряд ли стоит желать в новом году чего-либо, чего не хватало им в этом?

стоят желать в нювом году чего-лиос, чего не хватадо им в этом уз-Левитан повел своими выпуклыми близорукми глазами и под очков в золотой оправе и, остановившись взглядом на пышной фигуре блиставшей драгоценностями Татьяны Аристарховны, односложно, загадочно буркнул:

Да. Утопают... Утопают...

Остаток фразы: «...в богатстве, довольстве, благополучии» — оторвался и застрял в мыслях. Впрочем, это, пожалуй, объясивлюсь тем, что Захар Ефимовия Левитан испытывал сейчас волиение, истинную причину которого знали только он да жена его Фаня Леонтьевна.

 Полторы минуты... минуты, господа, приготовьтесь! распоряжался поступками гостей сдержанный, как всегда, но ульбающийся сейчас Георгий Карабаев.

На его тарелочке все положено было с образцовой аккуратностью, и соседи украдкой поглядывали на эту тарелочку, следя за тем, что он делает, исправляли допущенные ими погрешности.

Минута, господа...— отсчитал он и протянул руку к бокалу.
 Словно наолектризованная этим ожиданием, жена инженера
 Бестопятова быстро, раньше времени поднялась со стула и увлекла этим всех сидевших за столом.

 Что ты, Машенька! — успел только укоризненно бросить ей лысый, двухподбородный муж, от неожиданности чуть не уронивший вилку на пол.

Все расхохотались, и смех, как всегда, согнал царившую до того условную чопорность.

- Дуня, тушите свет.
- Рано, рано еще, господа.
- Вот уж поистине таинство!
- Еще несколько секунд последний вздох тринадцатого года...
- Дуня! Тушите свет! раздался голос Татьяны Аристарховны, и все умолкли.

Столовая погрузилась в темноту, и только из соседней комнаты молодеж и на край стола падал молочный свет. Но и он через мтновение погас: молодежь делала то, что и взрослые. «Как бы не поцеловались еще в темноте...» — озабоченно думала в этот момент Софъя Даниловна о Калмикове и о своей дочери и в душе посетовала на Иришу, казавшуюся ей сегодня почему-то иесдержанной и легкомысленной.

Тс-с! — словно предостерегал ее шепотом кто-то неподалеку стоящий, но это короткое восклицание относилось к Ивану Теплухину, в темноте вышучивавшему торжественность, с которой все готовились услышать бой часов.

Последние секунды молчания, а затем короткий трескоток рычажка в стенных часах, и вслед за ним — первый, мягкий и глухой, бой часов. И когда пробило двенадцать, та же Дуня вернула всем свет и голос.

- С новым годом, с новым годом, с новым годом!... поздравляли все друг друга одной и той же фразой, и звон крусталя побежал вприпрыжку по столу. Каждый старался обязательно чокнуться со всеми.
- С новым годом, с новом годом! влетело из соседней комнаты, и на пороге показалось молодое поколение, держа в руках маленькие бокальчики — все, что разрешено было им выпить в сеголнящний вечер.
 - С новым годом! шумели гимназистки.
- С новой жизнью! выкрикнул Федя Калмыков, держа за руку раскрасневшуюся Иришу, и ему казалось, что все должны понять, какой смысл вкладывает он в эти слова.

Хороша молодежь, ясна... хороша, Соня, улыбнулся Карабаев рядом сидевшей жене.
 Иринка наша какая хорошая!

- Красивая...— И Софья Даниловиа опять озабочению иревнию посмотрела на дочь и ес спутника. «Ах, мадляницка! Неужели позволила поцеловать себя? Так и есть: наверню, позволила...» — сокрушалась она, заметив, что Калмыков держит в своей рукс Иришину руку.
- Ирина, поди-ка, голубка, на секунду ко мне! позвала она дочь, но та не услышала и вместе с другими вернулась к своему столу.
- Итак, девятьсот четырнадцатый, господа! сказал кто-то, осущая бокал, и по интонации его нельзя было понять, радует ли его новогодняя дата, или он выказывает тому свое сожаление.
- Что-то принесет он? заглатывая свежий бальчок, к которому питал пристрастие, спрашивал самого себя хирург Коростелев, обладатель круглых «шевченковских» усов, и думал: «Надо обязательно выдрать у земства десять новых коек и порвать связь с фельдшерицей Вольшской!»
- Господа! вдруг громче обыкновенного раздался срывающийся тенорок Левитана, и все повернули головы в его сторону.— Господа...— повторил он свое обращение и обвел присутствующих своими выпукльми близорукими глазами.

Он встал и уперся обеими руками о стол.

- Мне хотелось бы сказать несколько слов...
- Просим, просим...
- Мне кажется, Захар Ефимович волнуется,— не смогла не поведать своей тревоги жена его Татьяне Аристарховне.
- Что вы, что вы! ответила шепотом Карабаева.— Захар Ефимович — наш Златоуст. «Это я знаю, Заря мой — умница...— с гордостью подумала
- Фаня Леонтъевна, но ведь тут сидит депутат Карабаев известность, оратор...»

 Господа. начал свою речь Левитан. У каждого челове-
- 1. 10 40

ка бывают в жизни такие моменты, когда ему хочется жить не только днем сегодняшним — ступать ногой по знакомой, вымощенной буднями дороге, но хочется также занести свою ногу в стремена воображения, предчувствия. Ну, словом, желаемое становится на место существующего. Господа... (Он чуть не сказал по привычке: «судьи и присяжные заседатели».) В этом разрыве между настоящим и будущим и заключается, по существу, причина того, что и каждый человек в отдельности, и общество в целом испытывают необходимость борьбы, преодоления существующего. необходимость, иначе говоря, — прогресса. («Говорю скучно!» — прислушиваясь к словам, с неудовольствием, озабоченно полумал Захар Ефимович.) И вот, господа, есть ли у современного общества тяга, тенденция к тому, чтобы расстаться, - но расстаться не только на словах, но и на деле! - с косными, унылыми булнями сегодняшнего бытия? Есть ли духовный «порох в пороховницах» у всего русского демократического общества, чтобы стрелять им... это только вольный образ: «стрелять!» — словно испугавшись своих неожиданных слов, разъяснил адвокат, — чтобы пустить его, как в мишень, в эту самую косность воззрений и поступков? Есть ли это у всего современного демократического населения? Госпола. да позволено мне будет ответить на эти вопросы искренне и с полной ответственностью за свои слова; нет, нет и нет. Лучшие представители нашей радикальной и демократической мысли, лучшие рыцари-интеллигенты, как дорогой наш и уважаемый Лев Павлович...

 Браво! — захлопала опять, не сдержав себя, юркая, экзальтированная жена Бестопятова, и все вслед за нею обратили свои взоры на Карабаева и наградили его почтительными аплодисментами.

Ободренный тем, что сумел воздействовать на настроение собравшихся, ибо аплодисменты Карабаеву были в то же время, как думал, наградой и сму, Захару Ефимовичу,— адвокат Левитан, уже радостно поблескивая глазами и все больше и больше овладевая собой, продолжал:

— .. Лучшие люди страны, не щадя себя ни в каком отношени. в. вут Россию, се передовое общество на борьбу за право и справк_персть, против производа и насилия, к протрессу и процведанию. Это так. господа... А мы,— мы что делаем? И сели делаем, то в той ли мерс, в какой нужно делать? Horribile dictu!— не в вроническом, а в прямом значении употребил он, выкрикивах эти слова, и тотчае же поженил их, вспомиия, что дамы не обязаны ведь бали знать датинский язык: — Страшно сказать, но мы—российская провинциальная интеллигенция,— мы не только немы, но и глухи. Какая-то атрофия, полупаралич, безволие и, в лучшем случае, прекрасподушцичаные, порыв и гнев у себя дома, за самоваром,— и только. Не будем говорить об исключениях: всякое исключения слоько резче оттеняет общее, типическое положение. А это типическое, общее — вот каково… Господа, вы позволите мие дивести, как пример, наш уросствую интеллигенцию.

Где та вссиа чаяний, надежд... гражданское чувство самболы и любвик ней, в условиях которой только и возможно было самопомертвование и служение народу таких отважных и правдивых
голодей, как пострадавший Иван Митрофанович? (Все поверпули
головы в сторону Теплумина и награщим его печальной и доброжелательной ульябкой.) Тде это все? Тколевые занавским мелкото
себялюбивого увта заслоняют наш глаз от резких отневых вспышек народного негодования против того позорного произвола,
в который ввергнута после тысяча дваятьсот пятото года вся страна. Это так, господа, это жестокая правда. Вот сегодня, сейчас,
наступила еще одна «календарная дата»,— впеереци, может быть,
еще одии год кровавого беззакония. Да, господа,— кровь, кровь
обильно сочится из дан всех народов России...

Захар Ефимович сделал короткую паузу, в течение которой мысль слушателей должна была, по его менению опытного оратора, достичь зенита взволнованности и знитересованности, и пороведя аккуратно сложенным беленьким носовым платком по слегка вспотевшему маленькому выпуклому лбу и торопливо спрятав вновь платок в камран, сказал тище обыкнювенного. протажно:

- Простите меня, господа... Под новый год не принято говорить печальных речей, но лучше вспомнить свою настоящую печаль, дабы знать, где именно пролегает дорога радости и удовлетворения... Мы обязаны крикнуть друг другу это слово, ибо всей нашей безвольной, косной жизнью за «тюлевыми занавесками» мы способствуем тому, что власть имущие управляют в стране огнем и мечом, а всему нашему народу угрожает бесславная гибель. Вы понимаете меня... И потом я хочу закончить свое краткое слово («Краткое ли действительно?..» — переспросила осторожная мысль), свою речь выражением надежды, что наступивший новый год принесет нам сознание нашей подлинной ответственности. - лемократического, свободолюбивого общества, перед Россией, нашей родиной. Почувствуем же все так! И пусть присутствие в нашей среде глубокоуважаемого Льва Павловича, совести лучших слоев общества, и Ивана Митрофановича, - пусть булет символическим знаком того, что наши надежды оправдаются. Вот с таким новым годом мне хотелось бы поздравить нас всех в лице наших дорогих хозяев, Татьяны Аристарховны и Георгия Павловича, собравших нас в этот памятный день. С новым, новым годом, господа...
- Браво, браво... спасибо, Захар Ефимович! откликнулся первым Лев Карабаев и крепко, через стол, пожал мягкую теплую руку адвоката.
- Браво, браво! загудели все остальные, дружески рукоплеца.

Захар Ефимович сел и вновь вытер платочком свой лоб и — осторожно, едва прикасаясь, как учили тому приличия,— свои пухлые, как у женщины, уставшие губы.

В течение всего ужина он уже не переставал думать о том, касое впечатление произвела на всех его речь. Как и всякий оратор, он не помнил и не мог помнить ее всю. Но он старался перебрать в памяти если не все сказанное им, то во всяком случае то, что считал главным, что должно было запомниться слушателями.

«Сказал ли я про тюлевые занавески? Кажстся, не плохо...» думал он и, вспомнив, что сказал, остался собою доволен. Впрочем, он тут же поймал себя на том, что «тюлевые занавески» он упоминал уже раз и не так давно в своей речи в окружном суде по деу о мещанне Бегунцове, из ревности облившем свою жену серной кислотой, но тотчас же успокоил себя тем, что речи этой в окружном суде никто из присутствующих не слакал, и потому никто не упрекнет его, адвоката Левитана, в самоповторении.

«Ах, про Рошфора забыл... Рошфора надо было процитироваты: совсем бы кстати»,— укоризненно подумал Захар Ефимович и на митновение так расстроился, что не донес ко рту вилку с куском отличной, жареной, в яблоках, утки, пролившей (к счастью — на

тарелку...) тяжелую слезу жира.

Французский публициет, однако, пригодился получасом позже когда разговор зашел о молодом поколении, в котором, по словам Георгия Павловича, сильны теперь «вольные идеи», недостаточно привлекающие к себе внимание и родителей и общественного мнения. Захар Ефимович нашел момент подходящим и, улыбаясь, уверенно и авторитетно ввернул:

 Если верить, знаете ли, Рошфору, то нашему режиму опасаться этих настроений не приходится. Рошфор как-то так охарактеризовал обыкновенную эволюцию среднего человека: до тридцати лет — либеральствует, после тридцати — канальствует!..

Слово «канальствует» произнес, как-то по-особенному смакуя, жадно; зубы, коротенькие, плотно друг к другу поставленные, обнажились влажной желтоватой дужкой; золотистье густые усы, сбритые по уголкам, но не подстриженные и округлые, прятали в своем волосе добродушную, но и самодовольную улыбку, и она же беспеременно покоилась в близоруких выпуклых глазах, за стеклом очков, словно очки эти делали непроницаемыми для других откорвенные сейчас глаза Захара Ебмимовичу.

Самому Захару Ефимовичу было уже далеко за тридцать, и Теплухин подумал об этом, когда адвокат заговорил о Рошфоре... Новогоднее выступление Захара Ефимовича было признано

всеми удачным, как и весь сегодняшний вечер у Карабаевых.

Георгий Павлович и Татьяна Аристарховна справедливо оценил отт такт, с камим адвожая сумел упомянуть имена их обоих в самом конце своей речи, когда, казалось, уже передставлялось возможности это сделать без того, чтобы не вышло упоминание фальциявых

У Льва Павловича были свои соображения быть довольным: его все еще ласкала семейная обстановка, уют и отдых, вимание и любовь, которыми его окружали в этом тихом провинциальном городе, — это с одной стороны; другое, что удовлетворяло его, общественного деятеля и одного из вожаков политической партиц, — это то, что он услышал сегодня из ует скромного провинциального адвоката. «Хорошю, хорошю.— думал о чем-то неопределенно Лев Павлович, поглядывая на свои карманные часы, потому что немного устал и ждал, когда все начнут уходить.— Мы сще повоюем... да, да, Россия спит тревожным сном, спряталась, как он сказал, за тюлевой занавеской (словя Левитана, оказывается, не пропали даром). Но не издевайтесь над ней чересчур развязно и бессовестно (он вспомнил ядруг черствое, презрительное дино министра внутренних дел на трибуне в Государственной думе), потому что вы не знаете («Ириша вот сюда идет... голубка моз»,— перебил он сам себя...), не знаешь ты, прохвост!— перешел он неожиданно на «ты» с министром,— не знаешь, когда придет час твоего падения».

Лев Павлович даже кашдавнул гневно при этой мысли. Чтобы отпечень себя от политических раздумий, он, докурив немецкую сигарстку, предложенную ему братом, пошел вслед за всеми в гостиную, где гости слушали музыму Татьяны Аристарховны: умиротворяющий Шопен был любимым композитором Татьяны Аристарховны.

Войдя в гостиную, Карабаев обвел всех взглядом, заметил отсутствие жены и Теплухина (они разговоривали с молодежью) и, сразу же забыв об этом, опустился в кресло слушать Шопена.

Игра Татьяны Аристарховны должна была заключить сегодинний вечер: время было позднее, и притихшие, немного уставшие гости собирались уже уходить. С той же помтительностью, с какой была выслушана игра, они, каждый по очереди, подходили теперь к Карабаевым и благодарили за гостепримиство и винмание.

— Заря! — шепнула в прихожей Фаня Леонтьевна своему мужу.— Теплухину, кажется, с нами по дороге... Уйдем скорее без него! Пока он прощается со всеми...

Он молча посмотрел на нее и заторопился к вешалке, не дожидаясь услуг карабаевской горничной. Фаня Леонтъевна была уже олета, а он нижак не мог надеть свою правую галошу с мятким, загнувщимся внутрь задником, а нагнуться и придержать пальцем адник — в шубе было тяжел о и неудобно. Почти с ожесточением он тщетно старалея всунуть ногу в измятую галошу и тут же вспомнил, как летко это всегда удается в вестибюле суда седенькому аккуратному члену гражданского отделения Мгальцеру, у которого, — заметил он, — на задниках галош набиты дужки металлических пластинок.

Уж уходя первым (догадался поднять ногу и на весу отогнуть пальцем задник), перешагнув порог, он услышал вдруг позади продолжительный телефонный звонок и удивился, кто бы мог так поздно звонить Капабаеву.

Впрочем, удивление сказалось и на лицах оставшихся в передней — и гостей и хозяев.

«Новогодний звонок. Но нужно быть в очень коротких отношениях, чтобы звонить ночью»,— недоуменно посмотрела Татьяна Аристарховна, отыскивая глазами мужа. Георгий Павлович направился в кабинет, к телефону. Гости умышленно задержались, любопытствуя и строя догадки.

— Я у телефона! — снял трубку Георгий Павлович.— А-а. Благодарю, благодарю. Вас также... Никак не думал... счел бы своим долгом, приятным долгом это сделать при личном свидании. Да, никак не думал... Слушаю, сейчас это сделаю.

Он действительно не ждал, не мог предполагать этого звонка, и сейчас он был ему приятен, хотя этот звонок был сейчас, по мысли Карабаева, и неожиданным. Неожиданность еще заключалась и в другом. Людмила Петровна Галаган спрациввала, у него ди в доме ее «односельявин Теплухин» и может ли он подойти к телефону? Она встречала новый год у здешнего предводителя Масальского, «полувековое вино ее очень развессецило» («Больше, чем следует», — решил Карабаев), и она боится, как бы завтра ей не проспать весь день, а с «односельчанином Теплухиным» она ложив условиться о деле.

«Какое может быть дело?» — подумал Георгий Павлович и позвал к телефону Теплухина.

 Меня? — заинтересовался тот. — Подождите меня две минуты, — кивнул он уже одевшемуся Феде Калмыкову. — Я живу недалеко от вашего тупичка. — И он прошел в кабинет.

 До свидания... до свидания, уходили гости, и мужчины протягивали каждый заранее приготовленные полтинники карабаевской горничной.

Все Карабаевы вернулись уже в комнаты, причем Георгий Паялович поджидал в гостиной последнего задержавшегося гостя— Теллухина, а Ириша оставалась в прихожей с Федей.

Оглянувшись и не видя никого постороннего, он торопливо схватил ее руку и слегка привлек к себе девушку.

Ира...— шепнул он.— Завтра ты не уедешь еще в Ольшанку.
 Повтовии мне по телефону... Я хочу услышать твой голос. Твой! — повтовил он подческнуто и ульбичлея.

В этот вечер, час назад, они впервые сказали друг другу «ты». Ночь была лунная, морозная. Снег лежал сухой, легкий, коротко скрипевщий пол ногами.

Безлюдная, застывшая во сне узенькая улица, наполненная, посьещи в рост человека, снежными обледенелыми сугробами, казалась сще уже, сдавленной, и разобщенные друг с другом кособокими заборами низкие дома — еще мельче и незатейливее. Непорижная исполниксая серьта молодой луны — желтой, прозрачной — отсвечивалась на обледенелых сугробах голубато-фиолетовой, в дымже, тенью, и девственный тихий снег мерцал явали печальным фосфорическим светом. Деревья из-за заборов протягивали к улице вом причудливо длинные, мертвые ледяные кисти в изорванных кое-где, казалось, мохнатых снежных варежках. Лунный свет падал на дорогу прямо, отвесню, и сбоку деревья глядели угрюмо, по-кладбищенски, а прикотившиеся между ними, вдавленные в снег дома казались чуть-чуть приподнятыми моглывыми плитами.

Кособокие заборы и мертвые холодные сады были неприятны Феде, и он старался не смотреть по сторонава. І му никог да почти не приходилось видеть такую поздавою и безъявляенную зимнюю ночь, и поконящаяся на всем морозная тишина если и не наводила страха, то ощущалась теперь какой-то загадочной, колдовской.

Вначале шли молча, быстрым, деловым шагом, и Федя с трудом поспевал за своим спутником: Теплухин, слегка наклонившись вперед и втянув голову в заострившиеся плечи, далеко вы-

брасывал по тротуару свои крепкие ноги.

«Почему он молчит?.. Забыл о моем существовании,— сбоку посмотрел на него Феля и узнал на нем ту самую широкую меховую шанку, которую видел уже на Теплухине в комнате для присажающих на почтовой станции.— Не хочешь — не надо»,— обиделся в душе гимназист и вернулся в своих мыслях к только что оставленной Ирише.

Теплухии же в это время думал о своем. Ему приятно было сознаться самому себе, что краткое знакомство в Снетине с дочерью скоичаванетося помещика-генарала, две-три встречи с Людмилой Петровной в ее доме — привели к тому, что и здесь, в городе, где у нее есть свое давнее общество, он, Теплухии, не забыт. «Ла еще как! — улыбался он своим мыслям.— Среди бар была, другого барина почью потрезовила... и все для того... Любезно, любезно — что и говорить...»

Он живо представил себе, как завтра («Нет, это уже сегодня, выходит»— поправил он себя), воспользовавшись приглашением Людимиля Петровны, сядет в ее крытые «тенеральские» сани, рядом с ней, как два часа они будут вместе в пути и два часа он будет видетв болзяхо подле себя ее красивов перазгаданное лицо..

«Ну, Иван Митрофанович!.» — едва не крикнул он вслух. И крикнул бы, толкаемый радостным возбуждением, если бы не вспомнил в этот момент об идущем рядом с ним гимназисте.

- Я недалеко от вас живу, у тетки своей, вторично сообшил он юноше, тогчас повернувшему к нему свою голову. — Если таким шагом — минут через пятнадать будем дома. Как вам понравилась новогодняя встреча? — спросил он, не придавая значения вопросу и сще продолжая думать о своей поездке с Людмилой Петровной.
 - А я все-таки доволен...

 Чем? Кем? И что значит «все-таки»? — не уменьшая шага, коротко спрашивал Теплухин.

- Доволен тем, простите мою откровенность, что я познакомился с двуми людьми: с вами и депутатом Карабаевым.
 Так ли это важно?
 - «Скромничает, что ли?» подумал Федя и ответил:
 - Для меня интересно.
 - А «все-таки» к кому относится?

 «Все-таки»...— ко всем остальным. «Кроме Ириши, конечно»,— не сказал вслух.— Все это лица знакомые и понятные... Тюлевые занавески! — повторил он насмешливо чужие слова. Вы тоже слыхали речь господина адвоката?

«Ага, расшевелился!» — подумал Федя, заметив, что спутник сдерживает своей шаг и все чаще поглядывает в сторону.

Сколько вам лет? — неожиданно прервал его Теплухин, не

поворачивая головы.

- Девятнадцаты! прибавил себе Федя. «Какое значение имеет мой возраст? хотел он спросить.— Я достаточно уже со-знательный человек, чтобы понимать все. Какой странный. Дело не только в молодости, но и в убеждениях.— в меру вспылив, сказал Федя, а у таких, как Захар Ефимович, нет по-настоящему убеждений.
 - Это справедливо сказано вами.

 А речи, — о, их легко научиться говорить! Смотрите-ка, Иван Митрофанович: еле бредет человек. В таком состоянии он, пожалуй, еще замерзене на улице...

Они поворачивали за угол. Впереди них, качаясь из стороны в сторону, бессвязно разговаривая сам с собой, плелся в тулутнике солдатского покроя человек. На нем была шапка с свисающими наушниками, и он неверными, пьяными руками тщетно, казалось, старался почему-то подиять наушники и связать друг с другом болтающиеся тесемочки.

 Ишь согредся как! — почти поравиявшись с ним, пошутил Федя и незаметно для себя ощутил радость и от того, что в этот поздний глухой час повстречался наконец человек и что незнакомого этого человека встретил все же не один, а вместе с Иваном Митрофановичем.

Человек в тулупчике, по всему видно было, не расслышал Фединого замечания: он продолжал что-то говорить себе пой нос, не оборачиваясь на чужой голос. Пройти мимо пьяного, опередив его, не удалось сразу: неожиданно, переваливаясь то на одну, то на другую стороцу, он, плутая, заслонял узкий путь своим отяжелевшим, неповоротливым телом. Дощатый полуразрушенный в этом месте тротуди, из-под которого уже несколько лет как утащили поддерживавшее его поперечное бревно, протяжно скрипел под спотъкавшимися ногоми пвяного.

— Ну, ты... новогодний пассажир! — старался обойти его Теплухин, протискиваясь между ним и выпиравшим на улицу ветхим забором. Задетый плечом забор качнулся слегка и обсыпал затылок и щеку Теплухина холодной снежной пылью. — Э, не пропускает еще!... — вдруг рассердился он и с силой толкнул в бок плутавший тулупчик.

Под кожаным рукавом он ощутил неожиданно твердое, мускулистое плечо пьяного,— словно тот приготовился заранее к этому толчку, чтоб оказать сопротивление. Впрочем, назнакомый прихожий, секунду устояв на ногах после толчка, как-то неловко поскользнулся и, протягивая обе руки вперед, повалился на дорогу, в сугроб.

 — Ай-ай! — невольно вскрикнул Федя, в первую минуту нагибаясь над упавшим, чтобы ему помочь, но, увидя быстро зашагавшего дальше своего спутника, тотчас же изменил свое намерение и логнал Теплухина.

Чего это вы его так?.. Он и так едва на ногах держится...

 Чего? — зло усмехнулся Теплухин и оглянулся назад: человек уже вылез из сугроба и стоял неподвижно. Так, знаете ли... По заслугам. Падающего толкни! — не то шутя, не то серьезно ответил он.

Опять шли молча, не обращаясь друг к другу. Шли в ногу, мерным, одинаковым шагом, откидывая носком в сторону сухой и легкий снег.

- У моей тетки гимназисты живут. У вас есть там товариши? возобновил Теплухин разговор, когда они недалеко уже были от калмыковского тупичка.
- У госпожи Шелковниковой? оживился Федя, поняв тотчас же, что именно Шелковников могла быть родственницей Ивана Митрофановича, так как вторую в городе гимназическую квартиру содержала еврейка Бобовник. Да, там живут мои одноклассики. А что такое?
- Зайдите иной раз туда.— спросите меня. Буду в городе, приятно будет побеседовать. Хотя, наверно, неудобно будет моей тетке давать часто мне приют!— усмехнудся он.— Как бы квартиру ей не запретили из-за меня... Ну, до свидания, друг мой. Приятно было познакомиться.

Он крепко пожал Федину руку.

В уличке вашей не страшно, а? Скажите...

Ну, что вы, Иван Митрофанович!

— Ладно. Шагайте. А я не один пойду,— озлобившись, насмешливо сказал он.— Обернитесь-ка: пьяненький,— ведь тот самый! — смотрите. как быство догоняет нас., меня.

Неужели шпик? — прошептал Федя.

А вы думали! — И он, махнув рукой, пошел прочь.

По тупичку Федя пустился почти бегом. Он не считал себя трусливым, в эту минуту ничто, собственно, не могло ему угрожать, но необъяснимое и едва ли преодолимое в этот момент чувство,— если не страха в полной мере, то боязни,— погнало его к дому. Он знал, что никто за ним не гнался, не мог гнаться, но он несколько раз оглядывался назад, желая не столько успокоить себя, сколько, напротив, найти несуществующую причину своей боязни.

Но вот уже и дом.

И, не добежав еще до дедовского крыльца, **Ф**едя вдруг успокоился и устыдился минутного испуга.

Из конюшни доносилось мерное фырканье лошадей, стук о стену подтянутых на веревках яслей и отрывистый топот конских застоявшихся ног.

Братья остались одни. Дом постепенно затихал, отходя ко сну. Только из столовой еще доносились сюда, в кабинет Георгия Павловича, голоса и шаги служанок, занятых уборкой ком-

Карабаевы сидели в креслах за низеньким круглым столиком, на котором стояла в плетеной соломке четырехтранияя бутылка французского коньяку с двумя такими же четырехгранными ти жельми рюмками и горячий кофейник с белыми фарфоровыми чашечками.

И коньяк и черный кофе по-турецки, за умелым приготовлением которого следил обычно сам Георгий Павлович, были предложены сегодня Татьяной Аристарховной. Лев Павлович заметил, как счастливо улыбалась она от похвалы мужа, учтиво, по снисходительно, как показалось, отпушенной ей Георгием. «Самодержец в семес.» — шутливо подумал о нем Лев Павлович.

Й — об обоих пятинсто-серых догах, разлегшикся в кабинсте: «Телохранители самодержид!» Собаки лежали с боков кресл, полукругом, морда к морде, откинувшись на цветистом текниском ковре, выставив каждая напоказ свое одинаково гладкое брюхо, вытянув длинные мускулистые лапы. Доги дремали, по при каждом новом и потому неожиданном для них жесте Льва Павловича косили в его сторону свои сторожевые угрюмо-спокойные глаза.

 Поздно уже...— поглядел на часы Лев Павлович и перевел взгляд на кушетку под картиной какого-то художника, где устроена была ему, гостю из Петербурга, постель на сегодняшнюю ночь.

— Хороша? — кивнул в сторону картины Георгий. И, не дожидаясь ответа, тут же сказал: — Прелестная женщипа! Этот портрет я приобрел осенью в Киеве у одного маклера. Репин говорит: волосы надо писать так, чтобы видна была голова.

Умная мыслы! — оценил ее Карабаев-старший.

 Да. И скажу от себя, Левушка: платъе жепщипы надо писатъ так, чтобы умственному взору нашему видно было ее тело. Во всяком случае, я угадываю тело этой молдой незнакоми.

А ты? — улыбнулся брату Георгий Карабаев.

Краски крымского солнечного пейзажа — зеленого и багряного, кипарисы перед высоко поднятой над землей белой террасой, и на ней, в дачном плетеном кресле, — женщина в воліках легчайшей дегней одеждь, закрывающей наглухо круглолицую и краснотубую красавищу от шеи до кончиков ножек. И только в одном скромном, маленьком — месте не успеда она укрыть себя от жадного подглядывания Феба: лучи его проткиули легкие ткапи чуть пониже плеча этой женщины, — и уже можно было угадать не только ее загорелую полную руху, как бы ждушую прикосновения губ, но и веко силу ее скрытого телесного ожидация.

— Да, хороша...— скромно, конфузливо признал Лев Карабаев. Ему вспоминлась сейчас Людмила Петровна в купс пстербургского поезда. Вероятно, потому, что она тоже была хороша посвоему и всего лишь минут двадиать назад заявила о себе по телефону. Он нескладно заговорил о ней и, ожидая какой-либо дегкомысленной мужской реглики в ответ, услышал вдруг от брата слова деловитые и серьезные:

- Представь себе, Левушка, я теперь каждый день думаю о смерти генерала Величко. Приезд сюда его молодых наследников породил в моем уме некоторые... сладкие планы. Нужны, конечно, капиталы. Что ж...
 - Я тебе не понимаю, дорогой,— сказал Карабаев-старший.
- Сахарный завод, кратко пояснил Георгий. Глотнул коньяку и налил себе вторую по счету чашечку кофе. Надо думать, что вопрос о продаже завода будту решать не эти двое молодых. Людмила и студент, а старший их брат, который в Петербурге... Кстати, ты не знаком ли с ним? осведомился Георгий Павлович.
 - Нет.
 - Жаль.
 - Но если тебе это надо будет...
 - Ты найдешь путь к знакомству? Спасибо тебе, Левушка.
 А тебе под силу такой завод? заинтересовадся Лев Пав-
- лович. И подумал: «Видимо, Егор-то наш прорезывается в подлинные капиталисты. А? Делец, вижу!» («Егорка» — так называл некогда сына-гимназиста Карабаев-отец, преподаватель арифметики в четырежклассном городском училище.
- Силы надо подсчитать, вздохнул и потрогал свой смолянистый ус Георгий Павлович. Подсчитать. подсчитывать, брат, е с разной — осторожной и усилительной — интонацией повторил он, и Лев Павлович понял теперь, что именно этим-то был занят главным образом его бола в новогодний вечер.

Понял, что Георгию были глубоко безразличны, в сущности, все сегоднящиме гости, примостившиеся как бы под навесом его здешней славы и благоденствия, что потому он был сегодня скуп в общении не только с ними, но и со всеми домашними и даже с ими — Львом Карабаевым. И что вот сейчас, в тиши ночного кабинета, брат решил, видимо, «замолить свой грех» пред ним, оставщись для бесспы.

«Ничего, ничего, Егорка», — прощал его в душе Лев Павлович, называя брата давнишним семейным словцом.

Георгий, словно невзначай, спросил:

— Что ты скажешь о Теплухине?

Вопрос этот удивил Льва Павловича. Неужели брат перестал думать об единственно интересовавшем его деле, о предмете столь практических мечтаний? Почему вдруг справшивает о чужом, выключенном, казалось бы, сейчас из памяти человеке?

- А что такое? вопросом на вопрос ответил Карабаевстарший.
- Проверяю себя, сказал младший, но, что именно хотел проверить, не пояснил.
- Один из многих теперь, бесстрастно отозвался о Теплухине депутат Государственной думы.

Он снял с себя державшийся на резиночке черный шелковистый галстук, открепил от воротника белую пикейную манишку и вместе с воротником, манжетами и запонками положил все это на пуф возле братниного письменного стола. Сам удивился, почему раньше не сделал этого, не «рассупонился»..

Очень хорошо, что таких, как Теплухин, стали освобождать, продолжал он, зевзя. Чем меньше правительство будет метить революционерам, тем больше у него шансов теперь не бояться их. Ты согласен со мной?

 Меня меньше всего интересуют глупые, сказал насмешлю Георгий Павлович. За здоровье тех, Левушка, кто должны быть умным!

Он налил себе коньяку и широком глотком опорожнил рюмку: словно янтарная жидкость из маленького сосудика вылилась в огромный, с далежим дном.

 Вспомни, Левушка, что ты сам сегодня говорил о бездарном, глупейшем нашем правительстве. Вам там в Петербурге не потерять бы своего ума — вот в чем дело. Надо быть умными политиками, Левушка.

Георгий Карабаев встал и заходил по комнате.

Возвращаясь к своему креслу, он перешагнул через одного из раскинувшихся на ковре догов, и тот даже не пошевельнулся. Но стоило Льву Павловичу привстать и протянуть руку к никелированному кофейнику, чтобы отодвинуть его от края стола, как тот же дог вскинул свое срезанное, остроконечное ухо и медленно, предостерегающе повел по полу длинным тяжелым хвостом.

«Ну, это уж свинство... Это, зверь ты эдакой, прямо деспотизмі» — возмутился и, признаться, устращился Лев Павлович. Он решил потребовать у брата, чтобы тот избавил его от надзора этих чудищ» — собак...

Однако не прерывал сейчас Георгия и выслушал его до конца. А тот говорил, как всегда, очень точно и неутомительно.

- А той говориль, как всегда, очель точно и неутомительно, Государственная власть. Левушка, находится у Николая и его правительства. Но экономика России ускользает из их рук. Мы, деловые люди, мы, промышленники, это хорошо знаем. Отдавать Николаю то, что нами завоевано естественным ходом вещей, мы, конечно, не намереньы. Шиш! Мы, Левушка, как ты сам понимаешь, необходимы России. Чем скорей правительство приобщит нас... то есть вас, прогрессивных думицев... к государтеленной власти, тем лучше будет и для самого государя. Если только он... не окончательный болавш... Нам... и вам там в Думе! надо поугро-жать его величеству. Поугрожать всему правительству новым возрождением революционных настроений в России. А этим, Девушка, уже сильно опять попахивает. Не поручусь, что даже среди рабочих такой дыры божьей, как наш Смирихинск. Кто, брат, не слышит до сих пор длительного эха расстрелов на Ленских причсках. кто? Только глухой.
- Поугрожать, говоришь? оживился, как и всегда во врем политических разговоров с единомышленниками, Лев Павлович.— Мы, знаешь, иной раз и прибегаем к такой тактике, от кровенен был с братом один из лидеров думской кадетской фракции.— Мы икпользуем рабочне боложения в наших открытых и

конфиденциальных предостержениях господам министрам. Увы, эти чиновники мало внемлют...

- Ты знаешь, что я тебе скажу? прервал брата Георгий павлович.— Ты не удивляйся моей мысли. Ваших кадетских «предостережений» — мало! Я бы изменил стратегин и тактику... Тебе, может быть, смешно слышать это из уст «провинциала», а?
- Да что ты, милый!... искренне запротестовал Карабаевстарший.
- Ты послушай, Левушка. Рабочий класс в России нельзя нам отдавать всем этим социал-демократам, всем этим подражателям, сторонникам Карла Маркса, и прочим, и прочим. Пожалуйста, только не преуменьшай их значения, Левушка!... Почему умная, благожелательная интеллигенция занимается только своими узкими интересами? Почему?... Культурный промышленник это тоже, брат, интеллигенция. Такие, как в, знаем, как и куда следует направлять интересы рабочих. Надо их делать своими подчиненными союзниками в нашем споре с этой варварской, глупейшей монаркией.
- Подчиненными союзниками...— улыбнулся не то одобрительно, засопев в усы, не то почему-то жалостливо Лев Павлович.

Да, Левушка!

И вдруг Георгий Карабаев добавил:

— А почему теперь... ну, при нашей смирихинской обстановке... Теплухин, например, не может стать вот таким человском... подчиненным моим союзником? Тебе, кажется, пришлись по душе эти слова, Левушка?.. Ну, я вижу, ты, дорогой мой, устал не мало. Спать, спать. Девушка?..

— Теплухин... Гм... Ты, Жоржа, смелый человек! — поразмыслив минуту, сказал Карабаев. — Послушай, они что... они здесь так и останутся? — указал он на недвижимых собак, растянувшихся на полу двумя огромными тушами.

 О нет! — успокоил брат, улыбнувшись. — Да они тебе и шагу не дадут сделать без меня или кого-либо из моих.

Он тихо свистнул, и доги мгновенно вскочили, бия хвостами о кресла.

— На место! — не повышая голоса, скомандовал Георгий Павлович. — Выйти вон, на место! И собаки, не оглядываясь, ткичв мордами дверь, послушно

И собаки, не оглядываясь, ткнув мордами дверь, послушно покинули кабинет.

 — А пил-то, выходит, я один? — сказал Георгий Павлович, глядя на столик.

И верно: и первую рюмку коньяку, и первую чашечку черного кофе Лев Павлович так и иг допил. Можно было думать, что Георгий заметил это и раньше. Но нет. он, очевидно, цели-ком отдал свое внимание только собственным действиям, желаниям и мыслям.

РОТМИСТР БАСАНИН И ПАНТЕЛЕЙМОН КАНДУША

Ротмистр Басанин проснулся сегодня позже обычного часа. Маленькие карманные часы, лежавшие поверх брюк на стуле, показывали десять с половной. Но прежде чем взять со стула часы, ротмистр Басанин протянул руку к лежавшему там же серебряному портсигару и спичкам и закурил, по обыкновению, натошак.

Всегда почти случалось так, что эти пять — семь минут утреннего курения в постели определяли уже на целый день настроение ротмистра. Первые думы приходили неслышно, крадучись, словно не он сам зарождал их под влиянием каких-либо обстоятельств и впечатлений, а возникали они непроизвольно и, возникнув, как бы говорили ему, Басанину: «Ведь мы что?. Мы ведь только сообщаем тебе, обращаем твое виимание, а дальше — ты уж сам рассуди...»

Сегодня внимание ротмистра ни на чем долго не останавливалось.

Прямо перед его глазами висело большое овальное зеркало в коричневой раме. Оно было очень наклонено вперед, и ротмистр увидел себя лежащим на маленькой, почти детского размера, кроватке с высоко поднятым изголовьем; на подушке покоилась его, басанниская, голова, но сильно уменьшенная, игрушечная. Он поднял руку,— и рука в зеркале сделалась короткой, ребячьей. Высунул из-под одеяла теплую, согревнуюся за ночь ногу, поднял се,— но она не видна была в капризном зеркале, и ротмистр шутя пожалел своего игрушечного двойника, лишенного важнейших конечностей...

Он перевел взгляд в сторону, на стену, смежную с другой комнатой, и увидел на стене запакомые портреты родителей— бородатого полковника Басанина и давно скончавшейся матушки, а под портретом — двух мух: уснувших, едва подававших признаки жизни.

«Зачем мухи".» — пришла пустая, нечаянная мысль, и он скватил вдруг носок и бросил его на стену, но попал в портрет полковника. Родитель не обиделся и продолжал смотреть из-за стекла куда-то вбок, гордо и молодцевато подняв седую, коротко остоиженную голову.

«Обошли его, — вспомнил о нем ротмистр, — неуживчив больно старик, независим... Одна радость теперь старику, что в столице житъ». Здесь ротмистр умышленно заставил себя не думать больше об отце и сделал глубокую затяжку папиросой; как только вспоминался отец, невольно приходили в голову мысли и о совей не совсем удавшейся карьере, а часто возвращаться к этому вопросу ротмистр не любил.

Он слегка приподнялся и повернул голову к окну. Ясный солнечный день играл на затянутых морозным узором стеклах, тонкая ледяная слюда была в колодном золотом огне. «Умыться!»— приказал сам себе Басании, но не вскочил, а вновь откинулся на подушку, бросив докуренную папиросу на железный лист, набитый на пол у печки.

Приятно было чувствовать под одеялом сухую теплоту своего собственного тела, достаточно наскитившегося здоровым сном, но, как всегда, немного ленивого и избетавшего резких димлений. Полежал еще две-три минуты бездумно, полевывая сладко и рония на шеку пустую, истомную слезу довольства и безделля. Часы показывали без четверти одиниациать. «Специат, наверно»,— усомился ротмистр, хотя сознавал, что спал сегодня дольше обычного.

И потягиваясь в последний раз,— хрустя суставами и громко покряхтывая, так, что слышно было в соседней комнате,— он еще раз посмотрел на себя в зеркало и, улыбаясь забавному двойнику, отогнул одеяло.

 Ма-а-ка-ар! — крикнул он денщика, опуская босые ноги на коврик и стараясь, вытянув одну ногу, зацепить ею лежавший неподалеку носок, которым раньше стонял неудачно мух.

Здесь, ваше благородие! — раздался знакомый услуживый голос.

3. дверях показались сначала придерживаемые большущей уловатой рукой аккуратно начищенные ротмистровы сапоги, а затем и бесстрастное коротколобое лицо Макара.

Ротмистр Басанин, упираясь руками о кровать и подав все тело свое вперед, зацепил носок большим палыцем ноги и, вытянув ее, старательно приближал теперь ногу к кровати.

ее, старательно приближал теперь ногу к кровати.

— Не мешай, не мешай! — строго крикнул он денщику: тот сделал движение прийти на помощь барину.

Нога благополучно достигла середины своего пути, и тогда Басанин ловко подброски ею высоко кверху злополучный носок, упавший теперь на кровать.

 Видал?.. задорно смотрел ротмистр на непонятливого Макара.

 Рукой скорейше было бы дело. Не изволили б беспокоиться...— деловито возразил тот, опуская на пол сапоги.

 Чудак! — усмехнулся ротмистр и в душе презрел солдата за его неспособность понять спортивный характер его, басанинского, веселого каприза.

«Мужик и есть мужик,— подумал он о Макаре.— Прямолинеен в желаниях, расчетлив и скуп в своих поступках».

Мужицкая непонятливость чуть было не испортила ему беспечного настроения, в которое он пришел после удачи с носком. Но вовремя остановил себя — и к завтраку вышел со свежим, спокойным лицом и надушенный.

Жандармские унтер-офицеры, писарь и Макар знали уже, что господин ротмистр должен быть сегодня утром «в добрых чувствах»: только в таких случаях ротмистр Басанин употреблял крепкие английские духи. Рука медленно свернула по загибу сложенную вчетверо хрустящую бумагу, и так же медленно, в раздумые, ротмистр Басанин положил ее перед собой на письменный стол.

«...11 августа 1908 года происходило совещание о более рациональной охране города и производстве в Седлене повальных обысков: последнее требовалось телеграммой главного начальника края. Подполковник Тихановский тут же требовал указать ему несколько граждан г. Седлеца, которые хотя сами и не принимают активного участия в революционном движении, но так или иначе способствуют ему. Подполковник Тихановский высказал намерение посадить этих лиц в тюрьму, считая их заложниками, и хотел объявить им, что в случае покушения на кого-либо из государственных служащих они будут лишены жизни. На вопрос же, каким образом заложники будут лишены жизни, подполковник Тихановский обратился к полицмейстеру с вопросом, не найдется ли у него стражника, который, прикинувшись или фанатически приверженным престолу, или сумасшедшим, перестреляет заложников в тюрьме или подсыплет им в кушанье мышьяку. Если не найдется такого стражника, - говорил подполковник, - то можно будеть застрелить заложников «при попытке к бегству», «На террор революции мы должны ответить еще более сильным террором»,--добавил полп. Тихановский.

Так готовились мы к производству мирных обысков, а драгурские офицеры,— как стало известно затем уже,— в тот же вечер, будучи в обществе, потирали руки и с самодовольной ульбом заявляли громогласно: «Уж мы устроим им погромчик, пощады не булет».

Начальник жандармского управления полковник Выргалич на другой день... заболел и слет. Я же, бывая у губернатора, неоднократно обращал его внимание на настроение подполковника Тихановского и советовал не давать ему воли, открыто заявляя, что том ожет вызвать грабеж и ненужное кровопролитие, как это уже имело место в феврале после убийства полицмейстера капитана Гольцова. Губернатор, по-видимому, внимательно прислушивался к моим доводам и, делая заметки для памяти, обещал принять нужные мерьы (за три дия до погрома он также «заболел»).

В первую же ночь стрельбы в городе, около трех часов на 27-е, подполковник Тихановский с целью «поднятия духа войска», как потом сам объясния, вызвал из драгунских казары мор трубачей и песенников — и среди трескотни выстрелов, кровопролития, грабежа и пожаров в городе раздавальсь пение и трубный глас...

Началось же все дело так. 26 августа около восьми с половиной часов вечера в городе раздалось несколько револьверных выстрелов, в ответ на которые немедленно открылась беспорядочная стрельба войск. Пулями были побиты стекла в общежитии при местной женской гимначии, откуда уже, наверно, никто не стрелял по государственным служащим. Войска подполковника Тихановского беспощадно расправлялись с мирными жителями и рабочими, не вышещимим на работу. Я был свидетелем, как дарачими, не вышещимим на работу. Я был свидетелем, как дарачиявился за патронами и подполковник Тихановский сказал ему: «Мало убитых».

Остановить подп. Тихановского порывался, кроме других лиц, также молодой подпоручик артиллерийского полка Галаган, кричавший потом: «Позор, позор для русской армии!», но на все свои доводы получил ответ: «Не ваше дело».

27 августа, с наступлением сумерек, отряды подполковника окончательно разнуздались, перейдя к грабему мирного православного населения, а также пивных и винных лавок.

...О том же свидетельствует приказ по гарнизону за N_2 77, с надписью: «Не подлежит оглашению».

Ротмистр Басанин».

Да, все это он писал в свое время... Пять лет назад он послал этот докала, своему высшему краевому начальству. «Дурак!» — насмешливо и горько подумал он потом сам о себе. Его поступок оказался непростительно наивным и роковым для карьеры. В официальном документе начальство усмотрело, хотя и сдержанное (как подобает офицеру жандармской службы), чувство возмущения тем, что пришлось наблюдать в разгромленном польском городе и что было, — понял, — не только неуместным, но и вредным для его собственной судьбы.

Подполковника Тихановского хорошо знали и ценили в Санкт-Петербурге: подполковник был произведен в полковники и переведен в особый корпус жандармов, а на докладе ротмистра Басанина была,— передавали враги,— начертана интимная резолюция: «Пошли дурака богу молиться...»

Он был назначен на юг, несмотря на то что просился в Центральную Россию (полковник Тихановский зорко следил за его судьбой), а год назад переведен в Смирихинск — ротмистром на три смежных уезда.

«Глупо. Все вышло очень глупо»,— неоднократно думал он о своем поступке и в душе сам себе признавался, что былое возмущение седлецкими событями — досадная оплошность и только. Служить — так служить, делать карьеру — так делать по-настоящему! Кому и чему служить, акакую карьеру делать,— ведь он это отлично знал, вступая в жандармский корпус...

Возмущаясь Тихановским и донося на него, он, жандармский офицер Басанин, уподобился неловкому кучеру, который стегая лошадей, бьет нечаянно кнутом по лицу седока, сидящего сзади в коляске

...Словно подстегнутый кнутом этой насмешливой мысли, ротмистр Басанин, очнувшись от минутного раздумы, схватил копило своего доклада и швырилу бумагу в глубь выдвинутого ящика. Беспечное настроение, в котором пребывал с утра, уже исчезло. Золополучная бумага, попавшаяся на глаза в то время, как рыслед в ящике, ища служебную секретную корреспонденцию, омрачил настроение ротимства, и то, о чем он меныше всего любил вспомнать, - но если вспоминал, то всегда с горечью, - озлобило его сейчас и сделало придирчивым. Вместо того чтобы погасить в себе это настроение, он сознательно, нарочито поддерживал его и так же сознательно подыскивал теперь в уме лиц, на которых мог бы сорвать это настроение.

 Кандуша! — крикнул он писаря к себе в кабинет и услыхал, как в тот же момент пишущая машинка умолкла на полустуке. и в канцелярии раздались мягкие, торопливо шепчущиеся шаги писаря, обутого в глубокие кавказские сапоги.

 Я здесь, Павел Константинович, — сказал тихий услужливый голос, и ротмистр увидел сбоку знакомое, изученное хорошо лицо писаря.

 Да...— начал Басанин,— вот что, милый человек...— но он не знал, как продолжать начатый разговор, потому что и сам не понимал, зачем, собственно, позвал служащего. «Спросить разве, почему Чепура и Божка нет, -- но откуда он может знать?..-- подумал ротмистр.- Хотя... этот прохвост, кажется, все знает,тотчас же возразил себе, оглядывая писаря. — Ведь догадывается мерзавец, что никакого дела у меня к нему нет». - Я хотел спросить, Кандуша, насчет того...

 Пакет, Павел Константинович, еще вчера послан, если об этом изволите напомнить, - почтительно перебил Кандуша и, выждав секундную паузу, в течение которой не последовало никаких возражений ротмистра, уже смело и уверенно добавил: --Пакет за № 31/2007 по делу о пребывании здесь члена Госу-

дарственной думы Карабаева.

 Да. да...— обрадовался Басанин подсказанному разговору. но в то же время чувствуя, что на аккуратном и предусмотрительном Кандуше ему не излить своего дурного настроения.

Больше того: Кандуша был именно тем человеком, с которым (ротмистр вынужден был в этом сознаться) ему было интересно иногда не только разговаривать, но и часто советоваться, и не только по служебным делам, но и в делах личных, интимных, Причем и в том и в другом случае ротмистр осторожно наводил только на разговор, а сообразительный и словоохотливый Кандуша уже вел его так, что Басанину оставалось лишь слушать и делать для себя выводы.

Но это возможно было только тогда, когда хотел того ротмистр Басанин, когда он молчаливо позволял своему писарю выходить из рамок его прямых служебных обязанностей. Так во всяком случае считал ротмистр. Другого мнения (для одного себя) держался Канлуша.

Он, - как и предполагал Басанин, - безошибочно понял сейчас, не зная причины, душевное состояние своего начальника: духи-то духами, но вот упрямо, тщетно старается же Павел Константинович поймать передними зубами и откусить махонькую заусеницу на скорчившемся мизинце, а глаза смотрят исполлобья также упрямо и растерянно, словно негодуя на то, что он, тихий советник Кандуша, не облегчит ему борьбу с куценькой заусеницей... Да и слова-то Павла Константиновича — не собранные чтото, нетвердые:

 Пакет отослан, значит... Да, да — важный пакет... Надо иметь в виду... важный.

— Господи, боже мой! — с таниственной важностью сказал Кандуніа, чувствуя, что вот сию минуту он сможет заговорить о том, что в последнее время его так живо интересовало. — Господи, боже мой, этот ли не важный? Дело, — позволю высказаться, павел Константинович, — государственное, ответственное. Вот верите? — позволю себе сказать, — трепещу ведь. Господи, боже мой! Мие ли не оценить? Дураком надо быть, дураком, чтобы не уразуметь. Уитер, скажем, — одно, а Кандуша — другос... О-о! Сами вы, Павед Константинович, отличите, смем радежться?

Болтать много любишь,— насмешливо, но беззлобно по-

смотрел на него Басанин и отнял палец ото рта.

— Беседовать? — осторожно подменил Кандуша пренебрежительное слово «болтать» и подошел к столу. — Но с кем? — позволю себе спросить:

— Со мной хотя бы, — тем же насмешливым тоном ответил ротмистр и не решил еще: прервать ли ему словоохогливого писаря, или слушать его болтовню, которая, знал, должна, как всегда, таить в себе что-то новое, не высказанное еще Кандушей.

Он, не вставая с кресла, отодвинул его вместе с собой от письменного стола и, откинувшись на мягкую высокую стинку, закинул широко ногу за ногу: шпора на весу тихо, нерешительно шевельнулась.

Умышленно выждав эту секунду, покуда ротмистр поудобней усаживался, Кандуша совсем вплотную подошел к столу и легко облокотился на него одной рукой.

— Правы, Павел Константинович, — виновато ульбиудся онно я — для пользы дела, посильный долг я исполняю. Тут, положнолю себе высказаться, большой микроб в здешний организм всунулся, козырной туз к маленьким картишкам привалил. Козарной туз пришел, — тут тебе, Павел Константинович, и семерочка и восьмерочка на одной руке заиграют! Неправду говорю? Оснощь, боже мой! — захлебнулся он этими словами. — Вель трепещу, трепещу! Фельдшера Теплухина сын — микроб? Микроб! А туз в членах Государственной думы ходит. Например, поднадзорный Теплухин если с тузом известным соберутся, политический разговор между собой, конечно, имеют и все такое. А? Которые значатся в адвокатах — речи, понятно, навстречу, то да се, про народ, конечно, беспоколтем.

— Ты о ком это? Откуда все знаешь? — встрепенулся ротмистр.

— Речи кто говорил? Господин жид Левитан, который по доброге вашей и доверчивому благородству клички даже у вае не имеет!. Битой семеркой считали, а при тузе тоже козырем смотрит! Вот ведь и унтер и филер — что молотобоец при кузне: учись еще только, а Кандуша хоть и писарь только при государственном

человеке, но, позволю себе сказать, с полной душой служит... У кого какие чувства, Павел Константинович,— а у меня все пять верноподланные!

- Погоди, погоди! выпрямился в кресле ротмистр, и нога, быстро опущенная на пол. громко звякнула потревоженной шпорой. Да ты рассказывай все подробно. Значит, пол Новый год речи говорились... да? И ты все знал и не говорил мне? Почему? Ты понимаещь значение всего этого? рассердился ротмистр, отплевываясь и бросая недокренную папиросу, от которой вдруг начало горчить во рту. Брось ты реновать к унтерам и филерам. Твоя преданность делу известна, милый человек, в губериском управлении; я оплачу ее дополнительным месячным жалованием... Ведь етуз», как сам понимаещь, не простой. Это один из тех, кем интерсеуется правительство!
- Золотые слова, золотые мудрые слова, Павел Константинович. Ведь подумать только, позволю себе высказаться: за что деньги некоторым людям платите? Приходит и сообщает: день есть день, ночь есть ночь. Тьфу! Изобретатели! Скучно, позволю себе сказать, живем. Никакого тебе волнения на струнах душевных, И вдруг, Павел Константинович, событьице приходит - вознаграждение за скуку нашу... Господи, боже мой, да разве можно не трепетать от восторга, когда нежданно орел на болото сядет?! Незримо... незримо, Павел Константинович... отметить себе поведеньице орла, перышки пересчитать, незримо одно-другое перышко выдрать, и - удержать, удержать при себе. Полетит орел в гнездо, в Петербург, - тут-то перышки куда след дослать, доставить в известный вам адрес. И, позволю себе сказать, выйдет, что незримо... незримо, Павел Константинович... за крылья сего орла державшись, прибыть можно в Петербург - сразу чин заслужить, жизнь веселую.

— Ты, я вижу, не плохой птичник! — усмехнулся ротмистр.— Только, Кандуша, данные... данные надо иметь, понимаещь?

Факты в коробочке... Вот где факты — в коробочке все собраны! — мягко ударил себя несколько раз по лбу Кандуша... Прошу разрешения вашего — официально сообщить, письменным документом, за полной своей подписью, позволю выразиться? За полной, как есть: Пантелеймон Никифорович Кандуша.

Как хочешь!

— Так лучше будет. Имею наблюдение,— сознаюсь,— почти постоянное и для умственных заключений вполне полезное и отличное. Разрешите восвояси вернуться? — закончил Кандуша разговор и снял руку со стола.

 Иди, — кивнул ротмистр. И он с любопытством посмотрел на писаря.

Кандуша был такого же роста, как и Басанин,— выше среднего, широкоплечий, но плечи казались уж больно широки и мягки: мешковатый пиджак лежал на них немного свисо и топорщась. Копна под скобу подстриженных темно-русых длинных волос, разделеных сбоку пробором на две неравных части, была тяжела и густа: волосы были смазаны какой-то пахучей маслянистой жидкостью и аккуратно приглажены щеткой. Покрытая длинными тяжельми волосами голова казалась непомерио большой и раздуюто-крутлой.

Землистый, эеленоватый цвет лица никогда не пропускал сквозь себя иной краски, и хилый, редкий волос на щеках и подбородже пробивался меж овальными прыщами и прыщиками, как выжженный вереск среди камней и кочеъ. Но прыщи не всегда были сухи: то под ухом, то на скулс синся кровяной след.— это вчера еще, наверно, Кандуша выдавливал прыщики, а сегодия присыпал их тальком.

Темные глаза были мутны, как разбавленные чернила, а зрачок мал и совсем незаметен.

«Прохвост, ах, какой прохвост,— подумал Басанин, отпуская от себя писаря.— Ну, пойми ты что-нибудь по таким глазам египетским!»

 Погоди! — окликнул он Кандушу, подходившего уже к дверям, и оглянулся быстро.

Слушаю! — обернулся тот.

Взоры их столкнулись: Кандушин блеснул на мгновенье короткой отсыревшей спичкой усмешки и радости.

— Мечтаешь слишком,— сказал вдруг ротмистр холодно, неприветливо.— Далеко залезаешь, брат. Ты не о Петербурте мечтай,— слышишь? Ты — об Ольшанке, слышишь? Об Ольшанке думай! — сбрасывал ротмистр с небес на землю своего писаря.— Ты мне нащих кожевников подай — вот что. Их! Их! — стал покрикивать Басанин.— Ты что: батьку своего родного Кандушу... ольшанского Кандушу не можешь там приспособить? Не можешь, что ли? Можешь. Теперь время такое. Собрать мне все дела об Ольшанке! — распорядился ротмистр. Он не хотел повторять ошибок прошлого.

Унтер-офицер Чепур не знал истории, унтер-офицер Чепур обязан был знать только служебный устав.

Это ротмистр Басании кончал в Петербурге жандармские курсы и потому должен был изучить законы и поведения всех императоров; унтер Чепур, былой кавалерист, знал поведение только одного существующего — в России царствующего шци, следи, унтер-офицер Чепур, за недругами момим внутренними и доноси о них по начальству, и жизнь тебе тогда, Назар Назарович, — калач с маслом и мед ковшому.

Летко уверовал в это поведение Чепур, и жизнь пошла с тех пор теплая, добротная — как царева шуба. Под горой, у самой реки, стоял крепко сколоченный, небольшой и немалый дом Назара Назаровича; сал в полдесятины давал сладчайшую вишню на варенье, вишню эту продавала жена на базаре. По двору Назара Назаровича бродила без счету всякая живность, и свинья и порося-

та — отправь их на выставку — могли бы принести славу своим весом и тучностью. Весной и летом приносили немалый доход мужская и женская купальни, выстроенные тут же у дома, на реке, и десяток лодок для катанья; купальнями и лодками ведал тесть-приживал, рыбак, прибылью - унтер Чепур.

Жена была тихая и покорная, в дела мужа не вмешивалась и только оставила за собой право следить за обоими детьми мальчиками — и воспитывать их. И гордостью Назара Назаровича был старший сын Ваня — темный рыжик, низенький, близорукий, в очках, приносивший каждый год похвальные листы и награды и кончавший теперь смирихинскую гимназию. Учился Ваня бесплатно, на казенный счет, благодаря тому, что отец числился в табеле государственных служащих, которым повелено было давать всякие льготы, и был особенно любим инспектором гимназии как юноша «чистосердечный и патриотически настроенный». И то что, начиная с пятого класса, Ваня носил очки, как у инспектора Розума, аккуратно ходил на все гимназические молебны и мало с кем дружил из товарищей, - все это казалось Назару Назаровичу лишним предзнаменованием того, что сын — умница, в недалеком будущем станет не то инспектором, не то каким-нибудь ученым человеком, а может быть, пойдет и дальше в своей карьере: важным чином в министерстве. Для младшего Петьки — второгодника и буяна — о большем, чем служба околоточного надзирателя, Назар Назарович и не мечтал.

Унтер Чепур любил своих детей, семью, свой дом, поросят, вишневый доходный сад. Родная страна, Россия, была для Назара Назаровича Чепура не столько отчизной его народа, сколько необозримо-великим хозяйством его царя. И если вспоминал о ней в будничном разговоре и говорил слово «Россия», - разумел искренне государя (верней - портрет его, так как самого никогда не видел), власть имущих государственных чиновников и офицеров, православную церковь и себя самого. Выше этого понятия мысль никак не возносилась: как выпускающий воздух, утерявший свою форму мяч, не перелетающий больше через забор.

Унтер Чепур знал и видел только Смирихинск да два смежных уезда — ротмистровы владения, почитал людей высшего зва-

ния и строго нес службы русского жандарма.

«Чур! Наше место свято!» - в исступлении, в испуге крестился и кричал на всю Россию из года в год призраку революции синодский и министерский Санкт-Петербург; «свято, свято...» зловещим предостерегающим шепотным эхом словно откликались гробницы-усыпальницы сторожевой Петропавловской крепости: «чур, чур — наше место свято!» — одержимый падучей и безумием страха надрывался тогда санкт-петербургский Зимний дворец и крестил Россию острой казацкой шашкой.

Тогда вставал ночью унтер Чепур, брал земских лошадей, выезжал в уезд и привозил оттуда в ротмистрово управление малокровную, с горящими глазами, сельскую учительницу, мужика, плюнувшего в бороду волостного старшины, или заводского парня, читавшего товарищам запрещенную литературу.

Привозил, сдавал их господину ротмистру, закручивавшему при встрече упавший, книзу растопыренный, как у кота, жесткий ус, и отходил в сторонку, дожидаясь приказаний. Ротмистр подзавал к столу арестованного, всматривался, шурясь, в растерянное, взяюльованное лице. И, нервно играя приподнятым плечом, шевеля им серебряный с красным просветом погон, начинал медленно допрос: «Сознайтесь во всем для облечения своей участи...»

Потом, вспомнив, что унтер-офицер Чепур ждет распоряжений, ротмистр поворачивал в его сторону голову и милостиво кивал

Можешь отдыхать, Чепур.

 Слушаю, ваше благородие! — признательно и с достоинством (чтобы оценил арестованный...) отвечал Назар Назарович и выходил из комнаты, легко, почти на цыпочках ступая по полу,

Уже по канислярии управления и по коридору он шагал; полную ногу, четко позванивая шпорами, но еще сохраняя свою походку, выверенную и созданную долголетней солдатской службой,— походку прямую, грудью вперед, твердю ставя ступню. Но когда выходки из управления,— по четырем ступенькам с крылыца спускадся замедленно, самодовольно и лениво покачивая тяжелое тело,— невольно подражая тем походке свюего начальника ротмистра, кривил отгого каблук, и шпоры звенели коротко, но громко и внушительно.

Возвращаясь домой, съедал целую миску жирного борща с пшенной кашей и сладкой фасолью, потом пил чай с вареньем и медом и, взглянув на икону, но не крестясь на нее, ложился в теплую, со свисающей к полу пышной периной, постель.

«На бога положишься — не обложишься», — учил и себя и свою семью обласканный жизнью унтер Чепур.

Возвращение в смирихинский уезд «политического» Ивана Теплухина несколько нарушило обычное течение жизни Назара Назаровича: вот уж когда пришла нежданно-негаданно забота и служебная ответственносты!

Департамент полиции сообщил, что в вверенный ротмистру Басанину район направился отбывший ссылку сын фельдшера смирихинского уезда — Иван Митрофанович Теплухин, за коим учинить бдительное наблюдение со дня его прибытия на место жительства, донося впредь все относящеся к жизни сего Теплухина по принадлежности в Третье отделение. Ротмистр отдал Теплухина под усиленный надзор унтер-офицера Чепура и его секретной агентуры.

В душе Назар Назарович подосадовал, что «политический» этот поручен ему, а не унтер-офицеру Божко, который, казалось, всегда избелает длительной и хлопогливой работы; но мысль о том, что эта работа принесет в случае успеха награды не унтеру Божко, а ему, заставила Чепура с первого же дия наладить наблюдение тшательно и,— по оценке ротимстра Басанина,— добросовестно.

В течение полутора месяцев каждую неделю ротмистр Басанин получал подробную рапортичку о жизни Ивана Теплухина в Снетине, у отца, и в городе, куда иногда приезжал. Поведение и занятия «Неприветливого» (такова была кличка Теплухина) также подробно освещались ротмистром в донесениях, которые посылал к пятому числу каждого месяца в губернское жандармское управление и в департамент полиции.

Последнюю свою рапортичку, прежде чем отнести ее ротмистру, Назар Назарович внимательно просмотрел несколько раз, вспоминая, все ли он вписал в нее, что стало ему известно о жизни

поднадзорного за истекшие лни.

«...Еще сообщаю, - читал он про себя, - что бывал Неприветливый много раз в снетинском доме покойного его превосходительства генерала Величко, Петра Филадельфовича, с каковой дочерью Галаган видали их также вдвоем гуляющими по величкиной экономии. Первого сего месяца февраля Неприветливый с указанной выше госпожой, а также житель города фабрикант Карабаев ездить-ездили на сахарный завод и обедали там на квартире г. управляющего. Про что разговор был, установить точно не удалось. Житель города Карабаев поехал из завода на станцию Ромодан. к поезду, двое же остальных лошадями вернулись в Снетин. На заводе Неприветливый со служащими разговора не вел и держал себя вполне конспрактивно...»

На этом месте своей рукописи Назар Назарович задержался глазом дольше обычного: начертание последнего слова, которое должно было так точно говорить о существе всегдашней его, унтера Чепура, службы и занятий, каждый раз тем не менее вызывало в нем сомнения. Вместо «конспиративно» писал то «конспрактивно», то «конспрективно». Хотя сын Ваня учил писать правильно.

«Еще сведения про Неприветливого давали бессознательно родичи его, а именно, что желает будто проситься на официальную

службу, по какой специальности — неизвестно». Кладя рапортичку в карман и одеваясь, чтобы идти к ротмистру, Назар Назарович с надеждой подумал о том, что хорошо было бы, если бы Иван Теплухин устроился где-нибудь на службу в городе: не вызывал бы такой тщательной заботы. Чепур знал, что в городских учреждениях у ротмистра Басанина имеются «свои люди», которым и будет передан надзор за «конспрактивным» Теплухиным... Назар Назарович искренне желал им удачи.

Ротмистра не застал в управлении.

 Куда? — кратко спросил Назар Назарович, обращаясь к писарю.

 Эстафеты позади себя не оставляют, Павел Константинович... - иронически усмехнулся Кандуша, недолюбливавший ротмистровых помощников. - Но, между прочим, предполагать могу. Умозаключаю, что ушел по делам не официальным и прямо противоположным.

 Не егози, брат! — поморщился Назар Назарович. — Я послужебному спрашиваю: где могу видеть господина ротмистра?

- Срочно?
- Мое лело!
- Новости?
- Господина ротмистра дело!

 Э-эх! — вздохнул укоризненно Кандуша и подошел поближе к унтеру Чепуру.— Вот вы всегда так, Назар Назарович... Я к вам вполне с чистосердечием, а вы до меня,— извиняюсь за выражение, -- унтер-офицерским тылом. А я не такой, амбиций не строю. На амбицию, говорят, чина не спросишь. Да-а... Вы меня про Павла Константиновича спрашиваете? Ну, почему действительно не сказать своему человеку. Ушел господин ротмистр по делам не официальным, а прямо даже противоположным. Мог бы потому не говорить, а скажу. Вам скажу: по делам женским,

 Фью-фью! — свистнул Чепур и свистом этим сорвал свой официальный до того тон беседы. — Среди бела дня да по женским? Ну да. С известной вам дамой. Потому фигурировала эта

женщина однажды в донесениях ваших Павлу Константиновичу. Господи, боже мой! Чему удивляетесь... Сказать бы — новичок вы... На машинке кто донесения по принадлежности переписывает?.. кто? Я! Доверие имею - сами знаете. А раз доверие - значит, могу умозаключить, какие голуби в чьей голубятне. Так?

 Я зайду еще к господину ротмистру,— сказал Чепур сухо. — Прощай. Часы дослуживай! — И, не оглядываясь, он вышел

из управления.

 Эх. дурак! — уронил громко Кандуша, как только захлопнулась за унтером дверь. Мысленно он обругал жандарма еще крепче.

Впрочем, так он относился в душе не только к Чепуру. Он недолюбливал и другого унтер-офицера - Божко, он почти презирал и своего начальника — ротмистра Басанина.

Двое первых казались всегда Кандуше приспособившимися к делу служаками, без инициативы и без внутренней преданности идее своей службы, и к тому же людьми, ограниченными по своим умственным способностям и немало жадными к благам, дававшимся им этой самой службой. В его представлении это были ремесленники, иногла умеющие, а иногла и не умеющие выполнять работу «на заказ».

К ротмистровым унтерам Кандуша и не хотел, в сущности, предъявлять больших требований. Но другое дело — жандармский ротмистр Басанин...

Ротмистр Басанин разочаровал Кандушу: он оказался таким же ограниченным, лишенным инициативы человеком, как и оба ему полчиненных унтера. Он тоже представлялся только ремесленником — старшим по чину, а скрытая мысль Пантелеймона Кандуши, еще никем не оцененного сотрудника провинциального и заурядного охранного отделения, искала и ждала не будничного ремесла, а таинственного, волнующего искусства.

Он видел явную несправедливость судьбы.

Дворянское происхождение? Да, он — Кандуша — должен

был родиться дворянином, сыном какого-нибудь полковника, а не мальчишкой в семье ольшанского мужика, отдающего теперь всю жизнь свою чужому кожевенному заводу.

Образование и служба? Он мог бы, как и ротмистр Басанин, кончить корпус и специальные курсы, получить чин жандарыского офицера, а не учиться только в четырежклассном городском училище и служить теперь писарем и машинистом в бесталанном ротмистровом управдения.

И если бы все это басанинское было у него, Пантелеймона Кандуши,— о, как смог бы он показать свое старьнье и таланты! Правда, он не отчанвался: то, что не было дано ему до сих пор судьбой, могло быть завоевано жизнью. Можно завоевать — но не здесь, не в тихом и скучном ротмистровом управлении!

Сыскная служба представлялась Кандуше наиболее острой и интересной из всех иных. Она требует изошренности и ловкости, хитрости и коварства и — полного проинкновения в настороженную психику врага. А враг казался притаившимся, расползающимся по всей России, и находить сто, угалывать и обсзвреживать — для этого требовалось своего рода искусство.

Ротмистр Басанин не владел этим искусством, по мнению Кандуши,— он не старался даже постичь его,— и не оцененный постичь его,— и не оцененный поставанного и ленивого начальника.

«Филером... филером не годится — не то, что начальником района, — думал с досадой о нем Кандуша. — Куда ему ротмистром быть: на кота широко, на собаку узко».

И он вспоминал департаментскую, хорошо заученную инструкцию по организации наружного наблюдения. Господи, боже мой, — да разве такой ротмистр Басанин, каким филер должен быть по департаментской инструкции?!

«Филер должен быть,— писалось там,— политически и правственно благонадежный (Кандуцы, облумывая, загибал один палец), твердый в своих убеждениях, честный, смелый (одной Кандушиной руки уже не хватало), ловкий, развитой, сообразительный, выносливый, терпеливый (обе руки сжались в слабый, беззлобный кулак), настойчивый, осторожный, правдявый, откровенный, но не болтун, дисциплиированный, выдержанный, уживчивый, серьезно и сознательно относящийся к делу и принятым на себя обязанностям, крепкого здоровыя, в сообенности с крепкими ногами, с хорошим эрением, слухом и памятью, с такой внешиностью, которая давала бы ему возможность не выделяться из толпы и устраняла бы запоминание его наблюдаемыми. Но при всех достоинствах чрезмерная нежность к семье или слабость к женщине— качества, с филерской службой несовместимые и вредно отражающиеся на службо...»

Двадцать три качества насчитывала инструкция для простого филера, а было ли их хоть пяток у ротмистра Басанина?!

У него не было нежно любимой им семьи, но слабость ко многим женщинам он питал чрезмерно и без разбора... И сколько уже раз аккуратный и услужливый писарь был бескорыстным помощником в этих неловких интимных делах?..

Но иногда презрение его распространялось не только на одного ротмистра и его сотрудников, но и на весь ротмистров район, на все три города и уезда, отданные ротмистру под надзор.

Кому знать еще, как не Кандуше, тихостную и неспешливую жизнь трех одноликих Смирихинсков. Господи, боже мой, сколько пюдей втихомолку думают противоправительственно, но ни один не действует.

И когда время от времени унтеры привозили какого-нубудь-«политического», Кандуша с жадностью всматривался в его лицо, в его одежду, в его походку, ища во всем этом чего-то необыкновенного, еще не виданного, что должно было отличить этого человека от всех остальных знакомых и понятных людей. Но незнакомцы ничем не разнились по внешнему виду от сотен других горожан и мужиков,— и Кандуша уже с озлоблением думал о том, что тихостные ротмистровы уезды, неспешливый, пританвшийся Смирихинск ловко обманывают его, Кандушин, глаз, его догадливость тайного людые человеков.

И каждый раз после привода нового «политического» Кандуша с удвоенным вниманием и упорством, долгими часами рыдув громалном, во всю стену, плоском шкафу, в котором помещалось атвине тайных весго ротинстрова управления. Кроме Басанина, только он один имел право, по обязанности своей службы, обозреваять заключавшесея в шкафу. Это было последнее изобретами охранного отделения — «дуга сведений о домах и лицах наблюдаемых».

На дугу надевал Кандуша листки трех цветов — в порядке номеров домов по каждой улице. На первый — красный — заносились все сведения о доме по агентуре и делам. Второй — зеленый — служил ротмистру сводкой всего наружного наблюдениях на нем аккруатный Кандуша отмечал отдельно, кто, когда и кого посетил в этом доме. А на последний — белый — были нанесены фамилии лиц, живущих в доме. Все три листочка накладывались по порядку один на другой. Сотни человеческих жизней, тысячи подских поступков отмечались — неведомо для этих людей — на таикственной дуге, собравшей на себе всю ловкость и рвение пролажных доносчиков и шпиков.

Ротмистров сотрудник, Пантелеймон Кандуша, занимался этой дугой, как настройщик — клавиатурой рояля. И как тот по нескольку раз проверяет чистоту и правильность звука, так и Кандуша неустанно следил за клавиатурой доносов.

Стоя у шкафа, он отгибал и просматривал каждый цветной листочек.

«А... вот, вот: о тебе, голубок, и забыли! Нехорошо, нехорошо...— неслышно разговаривал он с кем-то, почему-то вдруг начинавшим интересовать его..— А мы напомним... мы про тебя, пипль-попль, напомним. А мы пощупаем, пипль-попль, проверим...» Слово «пипль-попль» было выдумано самим Кандушей. Что точно оно означало — он и сам не знал, но употреблял его часто (особенно в разговоре с самим собой) и по самым различным поводам. Произносить это слово вошло уже в привычку, но тем не менее он все же вкладывал в него то тайное, не подлающееся пониманию со стороны содержание, о котором можно, при каждом отдельном случае, только догадываться по той интонации, с какой произнесено это слово.

И на следующий день Кандуша говорил готмистру Басанину:

— Позволю себе сказать, Павел Константинопич, давно что-то
о господине Ставицком из городской управы ничего не известно...
Не освещается, позволю себе выкказаться... Как у покойничка
будто благоналежность получается. Хорошо бы сию «могилочку»
открыть... да провериться.

Ты думаешь? — встрепенувшись, спрашивал Басанин.

— Умозаключаю так, Павел Константинович, по личному «делу» господина Ставицкого. Не прозрачен человек и соминтелен все же. А вежого человека, позволю сказать, надо сквозъ кребет просмотреть, нервик каждый выузнать, слово на пластинку взять — во!

Когда на сикофантской дуге появился новый, свежий листок Ивана Теплухина, а на белом листке фабриканта Георгия Павловича Карабаева появились отметки о брате его — члене Государственной думы, Кандуша ощутил ядруг такое возбуждение и радость, каких не испытывал уже очень давно.

— Трепещу, трепещу ведь. Павел Константинович! — говорил он рогмистру Басанину и был искренен в своих чукствах. — За крылы сего орла (он разумел депутата Карабаева) державице, прибыть можно в Петербург... да, да! Господи, боже мой! Чин заслужить можно, жизнь весслую.

Все это относилось как будто только к ротмистру Басанину, на самом же деле в этот момент Кандуша мечтал о своей собственной улаче.

Он был спокоен и не ждал сейчас этой встречи, хотя все это время предполагал, что рано или поздно она может произойти.

Он заканчивал свои служебные дела,— как в этот момент в кориворе постышались чы-то пезнакомые шаги, и спустя секунду в канцелярню жанадэмского управления уверенной быстрой походкой вошел человек и, сделав несколько шагов от двери, остановялся посреди комиаты, медком отлядывая ес. Он увидел тотчае же настежь распахнутые двершы дубового канцелярского шкафа, межу которыми стоял Кандуша: внизу, за дверцей, видны были только его близко поставленные одна к другой ноги, не спеша повернувшие теперь носок в сторону.

 Могу я видеть господина ротмистра? — заметив движение этих ног, спросил вошедший.

Левая дверца медленно, с гнусавым скрипом захлопнулась, и Кандуша, повернув голову в сторону вопиедшего, натолкнулся на его встречный любопытствующий взгляд. Пантелейка!.. Пантелеймон... ты? — вскрикнул вошедший человек, шагнув к Кандуше.

И как камень о камень высекает короткую, мгновенную искру, так память обоих, столкнувшись друг с другом, уронила ее брызгами первых сорвавшихся слов.

- Что? Как? отступка слегка Кандуша. Здравствуйте... Совершенно верно: это я. Иван Митрофанович... я, заставляя себя успокоиться, сказал он, прящурившись, скрывая свои встревоженные глаза. Я... я, повторил он опять, и это «я», как он произносил ето сейчас, усиливая каждый раз, каждый раз все тверже, как будто служило ему средством не то самозащиты и сопрании самото себя, не то наступления в одно и то же время на так неожиданно появившегося здесь противника Ивана Теплухина.
 - Ты... в охранном отделении?
- Письмоводительствую... всего лишь, Иван Митрофановис Служу по бедности, а распоряжаются другие, как вам известно...
- Однако...
- Упрекаете? Что ж, упрекайте, Иван Митрофанович. Презирайте. Не всем в Сибирь мучениками ходить: мы люди маленькие, нестоящие... Сломило... сломило нас, силенки надорвало,—сознаюсь, конечно. Да вы шапку... шапку снимите: жарко тут... Да и портотет царский, пиплы-полы. обязывает! Не так?

Он уже в полной мере овладел собой и всл свою привычную игру, как всл ее почти с каждым собеседником, подсовывая ему, как силки птине, сразу несколько фраз различного содержану, чтобы тот, растерявшись, не знал, на какую ему в первую очередь ответить. И тем временем всматривался в нерешительности топтавшегося на олном месте Ивана Митрофановичу.

Да вы садитесь... садитесь, пожалуйста. Честь и место.

Нет, не очень изменился за эти годы Иван Теплухин. На приланной из департамента фотографии обыл бородат, и борода, обрамлявшая все лицо, настолько преображала его, что Кандуша в первый момент не узнал тогда своего близкого знакомого, земляка. Но сейчаст. сейчас Теплухин был таким, каким знал его четыре года назад.

Тот же резкий короткий взгляд серых глаз, круглое лицо с маленьким, слегка вздернутым носом и чувственные, расстегнутые губы — большеротый человек...

 Честь и место!— повторил он, садясь за стол и приглашая туда же Теплухина.— Эх, пипль-попль, долго не виделись! Судьба

играет человеком, позволю себе высказаться.

Откуда столько наглости у тебя — у Пантелейки?— не скрывая нарочито насмешливого и недружелюбного отношения к нему, подошел поближе Иван Митрофанович и, секунду поразмыслив, сиял шапку и опустился на стул.

 Оттуда же, Иван Митрофанович, откуда у вас теперь покорность и натуральное, как говорится, спокойствие, — также подчеркнуто невозмутимо ответил Кандуша. — Зачем пришли к господину ротмистру? Давно мы не видались — это верно...

 Доложи ротмистру Басанину, что мне нужно выяснить с ним один вопрос.

— Касательно?

Касательно того, что может интересовать только меня.

— Не доверяете... мне не доверяете? Господи боже мой!—
как-то неожиданно печально и серьезно вздохнуя Кандуша и перегнулся через стол к Ивану Мигрофановичу.— Воля ваша, конечно, а напрасно не доверяете. Теперь можете доверять Смысла
мне нет вас обманывать: вы мою планиду видите, а в — вашу. Так?
Вражды,— как, например, вражды личной,— нет у меня к вам?
Нет. Уважал я вас? Уважал. Эх, вспомните только, Иван Мигрофанович... Постойте, не перебивайте... Верил я вам? Верил. Пипльпоплы Атаманом своей души считал драгоценного Ивана Мигрофановича! Может, вру? Сами знаете, так оно было, так... Брошюрки, прокламации по всем углам разносил, нелегальные листки чуть
не городовому на спину накленвал...

 Вот именно — городовому. Наверно, в руку ему совал да называл тайком наши фамилии.

— Не сместе!— вскрикнул Кандуша, и черные фитили его глаз зажглись на мгновение неподдельным гневом.— Не сместе так говорить, слышите? «Пантелейка»! Презрительно теперь назнавате,— а раньше? Кто раньше не шалил себя, позволю себе высказаться? Кому важную, опасную работу поручали? Мне, Пантелейке. Только называл тогда так — с дружбой, с любовыю даже...

Напрасно, значит.

— Нет, тогда — не напрасно. Не перебивайте, дайте досказать. Если уж встретились, выслушайте до конца. Вас и весх ваших товарищей по каторжной дорог увезли, а я остадся. Кто знал меня? Никто, никогда. Что я есмь, что был тогда? Ну, что? Ну, ноготь с пальца ващего, Иван Митрофанович.. Не больше. Кону ноготь срезанный во вред пойдет, — не так? А срезали тогда всех начисто, под самый корень... Революция или послабление государственной власти? Не будет ничего такого в России нашей крышка! Выдуло сие помышление, как пыль с камня. Видали теперь Россию? А-а... то-то же!

 Мне нужен ротмистр, — перебил его Теплухин, хмуря брови и нетерпеливо поглядывая на плотно прикрытые двери в соседнюю комнату. — Болтай, болтай, — на язык пошлины не ставят.

- Доскажу, доскажу вам, Иван Митрофанович...

Хорош охранник, который так исповедуется!
 вдруг зло усмехнулся Теплухин.
 Смотри.

Кандуша выпрямился на стуле, но через секунду вновь перегнулся через стол и, прицурившись, посмотрел вызывающе на собеседника. Иван Митрофанович увидел близко перед собой очень реденьяме и жесткие, как мочало, Кандушины сероватые усы словно не живые, не расстущие на губе, а натыканные в нее каждым волоском порознь, и среди усов — свежий выдавленный прыщик. «Гнилушка какая»,— невольно отодвинулся Иван Митрофановия

- Господин Теплухин, медленно выговаривал слова ротмистров писарь. — Госполин Теплухин, глупо и напрасно пугаете меня государственного верного служащего. Понятно? Заблуждения своего молодого прошлого не имею надобности скрывать от своего начальства. Понятно? А вам говорю: выдуло всякие болезненные помышления, потому вижу и убеждаюсь, как ваше собственное, Иван Митрофанович, буйство умертвилось. Умертвилось окончательно и с пользой для вашей личной жизни... Не так разве? Выходит, буйство всякое требуется своевременно пресекать, и польза будет и человеку этому и нашему государству. Жалею, что так гордо отвергли, позволю себе сказать, душевную нашу беседу по-приятельски: в противном случае мог бы пояснить вам свою исправленную биографию. Пожелаете когда - не откажусь. Вот и все! Господина ротмистра нет, кстати, а когда придет - доложу: приходил господин Теплухин Иван Митрофанович -- не то за советом, не то...
- Но продолжать было уже бесцельно: услышав, что ротмистр отсутствует. Теплухин, не говоря не слова, поднялся со стула и быстро вышел.
- Пипль-попль!— проводил его непонятно звучащим словом ротмистров писарь и в сильном раздражении переломил надвое попавшийся под руку карандаш.

Глава шестая

обел в чиновничьем клубе

Как условлено было с Людмилой Петровной, ротмистр Басанин защел в чиновинчий клуб и заиял, поджидая ее, отдельный столик в боковой комнате. Днем в клубе бывало сравнительно мало посетителей, так как почти все члены его обедали дома и приходили сюда к вечеру — к эеленым карточным столикам, чтобы «записать пульку», или сыграть в макао, или иногда посмотреть спектакть на устроенной здесь же сцене, или — по вокресным дням — послушать концерты, даваемые смирихинским «Обшеством культуюм и разхумных развлачечий».

Ротмистр заказал обед для двоих, но попросил повременить с ним, покуда не прикажет.

Толстый седой буфетчик Семен Ермоланч, тридцать пять лет кормивший сначала дворян, а после — чиновников и всех именняться и благонамеренных горожан, знал не только вкус каждого, но и капризы его желудка, почек и печени так же хорошо, как и материальные и личные дела посетителя. Многие из них были, тайком от других, его постоянными, а иногда и долголетними должниками, но старый буфетчик никогда не давал им этого чува-ствовать. Проигравшемуся в карты он вручал поспешно золо-

тую пятирублевку — так, словно он сам был должником неудачника:

Прошу прощения, прошу прощения, Иван Андреевич. Мне

бы, неучу, и самому бы след догадаться...

И нетсрпеливый и благодарный в душе Иван Андреевич брал ложотую монетку и быстро, двумя пальцами, опускал ее в нижний кармашек своето потертого, с зодотыми чиновичными путовицами жилета и этой же рукой похлопывал потом по плечу добрейшего буфетчикат.

 Так вы не забудьте, Семен Ермолаич: теперь пять да в прошлом месяце десять...

 Уж вы не надейтесь, — отвечал старик. — Забуду, обязательно забуду: на такие дела памяти нет.

Он, старый буфетчик, считал себя близким, тесно связанным всем ее прочным укладом со всей этой средой бар, помещиков и чиновников.

В свое время, многие годы назад, благодаря балам и кутежам этих людей он составил себе приличное состояние. Но, составив его, он не стремился к дальнейшему обогащению; к тому же обмельчание и значительное материальное оскудение обслуживаемого им сословия сказалось и на делах самого Семена Ермолаича, Он не искал уже прибылей и потому не ушел купечествовать, как сделал бы другой на его месте. Он остался верен не только своему первоначальному занятию, но и той традиционной среде, неустранимым свидетелем жизни которой он был в эти годы. Он жил ее интересами, потому что они стали как бы его собственными. Иное отношение ко всем этим Иванам Андреевичам он почитал бы недостойной изменой со своей стороны. Он никогда не проявлял к ним угодливости и лакейского низкопоклонства, а они, начиная от старшин клуба и кончая случайным посетителем, были всегда с Семеном Ермолаичем учтивы и доброжелательны, — и потому он считал свое долголетнее занятие почетным и несомненно полезным.

 Обед изволили, Павел Константинович, заказать на двоих?— спросил он медленно, не спеша подойдя к столику.

Стросил он медленно, не спеша подойдя к стол
 Да. ла... но не сейчас.

— Уведомлен, уведомлен официантом. Однако позволю себе доложить: закодил часом раньше господин студент один, сынок покойного его превосходительства Величко, и заказал сервировку на четверых, пригом сказал: «Обедать будет с нами господин ротмистр». Просил передать, пусть самостоятельно, значит, господин ротмистр не заказывает. Как прикажете теперь, Павел Константинови?

 Четыре нас будет? А кто же это четвертый? — недоумевая спросил ротмистр, отбрасывая в сторону последний номер «Нивы», который читал здесь, чтобы убить время ожидания. — Вам не называли?

Никак нет, Павел Константинович, не упоминали.

Что ж... ладно, — согласился ротмистр, пожав плечами.

Считал обязанностью, считал долгом...

Семен Ермолаич так же вперевалку, не спеша, как подошел раньше, двинулся к дверям.

Ротмистр Басанин мог предполагать, что вместе с Людмилой Петровной придет ее брат — студент, но еще об одном своем спутнике она не предупреждала Басанина, и он теперь тщетно пвитался предположить, кто бы мог оказаться этим человеком. Уже было три часа, а Людмила Петровна не появлялась. Он вязл опять журнал и углубился в чтение какого-то неизвестного до сего романа; идлюстрации он бегло просмотрел еще раньше.

Во владениях Семена Ермолаича царила тишина. Только из биллиардной компаты доносился сухой, костяной звук шаров да изредка позванивала, вздрагивая от провалившегося в нее шара, дряблая луза; то упражнялся в игре скучающий здешний мапкер.

За дверью, в театральном помещении, шла репетиция какой-то пьесы, и десяток раз одии и те же, неестественно взведенные голоса повторяли одни и те же — очевидно, плохо понятые актерами — фразы. И Басании, невольно прислушивавшийся к инм, запоминал почти каждюе громко произвесенное слов. Несколько раз
он котел вникнуть в их смысл, но его мысль и внимание были все
время отданы другому: читая журнал, слушая репетирующих актеров и прислушиваксь к каждому новому голосу, раздававшемуся
в вестибколе клуба, он думал только о предстоящей встрече
с Людмилой Петровной.

И когда он услышал неподалеку уже ее голос, быстро встал, сделал несколько шагов, но тотчас же остановился, сдержанный лукавой и осторожной советчицей мыслью: «Подождем, подождем. Излишняя инициатива вредна-с... Да. да».

Он сделал вид, что не предполагает даже о ее присутствии дассь, и приняв небрежную позу,— широко расставив ноги, заложив руки за сгину и сцепив их там пальцами, покачиваясь на олном месте и посъявстывая,— он слетка закниул голову, уставился в зеленую афици, извещавшук об очередном спектакле. Времени было достаточно, чтобы пробежать ее глазами всю, но Басании только и видел перед собой то, что бездумию, бесомысленно повторял сейчас про себя: «Рюи-Блаз», драма Виктора Гюго... «Рюи-Блаз», драма Виктора Гюго...

Да вот ведь где господин ротмистр!— громко сказал, переступая порог, студент, и тогда только ротмистр Басанин оглянулся, выпрямился и шагнул к входившей Людмиле Петровне.

Она протянула ему руку, и он чуть задержал ее, прикладываясь к ней губами.

— Вы, кажется, знакомы? — улыбались глаза Людмилы Петровны, и она, не оглядываясь, прошла вперед, давая дорогу своему спутику.

Это был Георгий Павлович Карабаев.

Знакомы, Людмила Петровна.

Так точно. Встречались раза два-три в присутственных местах.

 Два раза, — поправил и уточнил со свойственной ему привычкой Георгий Павлович, здороваясь с ротмистром.

Басанин сначала коротко пожал теплую, слабо ответившую руку Карабаева, потом — длиннопалую и порывистую студента и направился вместе с ними к столу, за который села Людмила Петровна.

Официант проносил на ладони кому-то в соседнюю комнату открытый судок, из которого шел пар: запахло томатом, кореньями.

- Голодна, голодна ужасно!— живо, простодушно говорила Людмила Петровна, по-ребячьи хмуря брови и вытягивая свои тонкие, вырезанные серьгой ноздри, словно хотела вобрать в себя запах всей кухии Семена Ермолаича.
- Я заказал... поспешил сообщить о своей распорядительности ротмистр Басанин, но студент перебил его:
- Все уже готово: Людмила Петровна как хозяйка выбрала уже меню... вот видите, господа, уже несут, несут тарелки, ложки... Действительно, есть хочется...

Официант нес сервировку, а следом за ним, плавно переваливаясь, плало тяжелое, медлительное тело старого буфетчика. Да, тут требовалось его, Семена Ермолачиа, непременное участие: разве суметь простому официанту примирить и сочетать вкусы на вина етоль различных Господ. как эти?

Вина предлагал и выбирал Георгий Павлович: он заказал наиопесе дорогие. Буфетчик спокойно, как всегда, по с сосбым вииманием и поитенеме прислушивался сейчас ко всем указаниям Карабаева. Георгий Павлович сидел вполоборота к нему, по Семен Ермолани смотрел не на него и ин на кого из присутствующих, а в сторону, на белый кафель печки — как будто там, на ней, запечатлялись кем-то подробные распоряжения барина-заказчика. Георгий Павлович Карабаев говорил повелительно, мерно, не повторяя дважды свюих желаний, — и неприятно и совестно было старому буфетчику ошибиться перед ним.

Нечто схожее испытывал сейчас и ротмистр Басанин.

Он с досадой подумал о том, что фабрикант сумел так незаметно и неоспоримо руководить сегодняшими обедом и, следует ожидать, предстоящим разговором в эту встрему. Ясно было, что Карабаев решил оплатить весь этот обед и потому выбирал самое дорогое вино и фрукты,— и ротимстр Басанин не мог счесть для себя возможным как-нибудь вмешаться в этот выбор,

Присутствие здесь этого, независимого по своему положению, богатого человека некоторым образом подавляло ротмистра. Это состояние подавленности, неудобства он всячески старался скрыть от Людмилы Петровны.

«Зачем пригласила меня?» - досадовал ротмистр.

Мы немного задержались, — говорила Людмила Петровна.
Дела, дела! Тяжело быть наследниками какого-то хозяйства, какойто земли, завода. Ни я, ни Леонид, конечно, абсолютно не приспособлены заниматься всем этим. А вот приходится.

Если не ошибаюсь, — вставил ротмистр, — Георгий Павлович может предложить вам свою авторитетную помощь?

Да, да. Это верно. Он мог бы лучше распорядиться заводом.
 Надо еще подумать надо еще посоветоваться с Михальом Петровичем, со старшим братом. Леонид уезжает сегодня в Петербург.
 Ну а там посмотрим... Ведь правда, так лучше будет? — обратилась она к Карабаеву, отпустившему уже буфетчика.

Простите, я не слышал. Людмила Петровна, вашей беседы.
 Это все продолжение сегодняшних наших деловых разго-

воров. Все о том же заводе.

— А-а...— протянул Георгий Павлович.— Завод хорош, может давать прочную прибыль, но требуется коренная реорганизация всего хозяйства его и руководства. Основное: свекловичные плантации должны быть собственностью завода, а не в аренде постороннего человека. И чем умней и предпримичивей этот человек, тем по существу опаслей он для заводского хозяйства.

— Почему?— спросил студент, хотя он меньше всех интере-

совался этим разговором.

— Очень просто: он, заготовитель сырья, будет всегда держать вас в зависимости от своих собственных расчетов. А если еще договорные отношения с ним оформлены не слишком строго...— Карабаев мягко, но иронически ульбиулся в сторону обоих наследников...— если не совсем предусмотрительно, то..

 Ах, боже мой, все верно, верно!— словно отгоняя от себя какую-то неприятную мысль, воскликнула Людмила Петровна.— Нало прямо сказать: никуда наци помещики не годятся. Никуда.

Вы так серьезно думаете? – вмешался ротмистр Басанин.
 Он был задет сейчас не сутью признания, а тем, что оно сделано в присутствии человека, откровенно и умно насмехавшегося

над чуждым ему дворянским сословием.

 Однако кто же, как не ваш почтенный покойный батюшка, строил этот завод? Наша отечественная промышленность зачалась именно на дворянских, помещичьих капиталах. И другое дело, конечно...

Ну-с?— внимательно и выжидающе смотрел на него Ге-

оргий Павлович.

Это был предостерегающий вопрос. Ротмистр Басанин собирался сказать, что другой вопрос — почему этими капиталами овладевают теперь люди другого сословия (в этом заключался бы выпад против фабриканта Карабаева), но, поизв сразу, что тем самым обязательно заострит разговор и вызовет недовольство присутствующих, продолжал фразу не так, как раньше думал:

— И другое дело, госпола, надо сознаться, было создано в России теми же людьми: это — несусство, литтература, просвещение. Есть какая-то духовная прелесть в этом петербургском, господа, периоде нашей истории. Именно — петербургском! Настолько все это было хорошо, что обазние этого... да, Георгий Павлович, обаяние, — ну, как бы это лучше выразить... незримо (почему-то вспомнидся писарь Кандуциа, словно он подсунул сей-

час это слово...), незримо прелесть и обаяние всего этого вошло в душу культурного привилегированного общества... А тени этого Петербурга, так сказать, вызывают мистическое, что ли, состояние преклонения...

— О, вы — пост, господин ротмистр! — одарил его черствой улыбкой Георгий Павлович. — Но, простите, — традиционный поэт и эпигон. Вы не обижаетесь, конечно, лобезный Павел Константинович? Ведь не Аполлон же ваш шеф?! Я потому позволил отнестись критически к вашим поэтическим эмоциями, что не они суть ваших повесдневных, деловых занятий, — не правда ли?

Я вскользь упомянул о Петербурге...

— Совершенно верно. А я говорю: представление об этом прекрасном ученом и промышленном городе как о быстчотом рассаднике какой-то мистики и прочих измышлений пора сдать в архив. Петербурт так же реален для нас, как вот и маленький Смирихинск: и там и здесь фунт сахару стоит одиниадцать с половиной колеех.

- Прозаично...

 Не спорю, Людмила Петровна. Я позволил себе привести этот житейский грубый пример в доказательство своей, отнодь не порочной, с точки зрения современной культуры, мысли... Отнодь не еретичной, господа. Кто это решится сказать, что для нас, для России, не существиет общих законов экономику.

Но Петербург символически, так сказать...

В первую очередь он ведет эту экономику. И если говорить «симолически», как вы, то следует сказать: вы целляетесь за Елагины острова, Петергофы и живописные Стрелки и музеи: вы прикладываетесь, расслабленные, к нежной ручке прошлого, а у того же Петербурга давно уже, — вы этого почему-то не замечаете, — у Петербурга давно уже, говорю я, выросли эдоровенные мускулистые руки и плечи промышленности, техники, исследовательских лабораторий.

 Боже мой, да и вы поэт, оказывается!— не утерпела Людмила Петровна, принимая из рук официанта наполненную тарелку.— вот, вот, я так «взволновалась», господа, что чуть-чуть не пролила сейчас суп...

 Никак не претендую на это звание. Я не поэт, не мечтатель. Я — только русский промышленник.

 И вы гораздо лучше знаете те западные доктрины, которые были сотворены не столько в интересах промышленииков, сколько для «просвещения», так сказать, работающих в промышленности? решился ротмистр перейти в наступление против Карабаева.

Георгий Павлович хлебнул супу, положил ложку на нижнюю, мелкую тарелку, как будто ложка мешала ему сейчас, и, ухмыляясь, посмотрел на Басанина.

Тот поднял голову. «Да, да...— я жандармский офицер, черт побери, а ты не смеешь игнорировать мое положение!— пришла вдруг своевольная, упрямая мысль.— Язык твой попридержи...»

И он не отвел, как раньше, своих выжидающих глаз.

— Видите, — ухмылядся уголками рта Георгий Павдович, — я лишен (от природы, очевидно, и благодаря своему занятию) тех способностей, которые в такой, право, лестной мере присуши вам, любезный Павел Константинович. Я не умею догадываться и читать в сердиах. Не знамо — равно как и того, каке источники питают вашу уверенность — что эта доктрина господ европейских социалистов оспарывает пользу и значение промышленности.

очнаемие по менера и высоков подачения проявилисть басании:

он, в котором отвечал фабрикант, был подчеркнуго вежливым, но самый ответ заключал в себе немалую долю неприязни и колкости.

— Я не понимаю никаких доктоин, и мне становится скуч-

но, — сказала недовольно Людмила Петровна. — По крайней мере сегодня мне не хотелось бы слушать такого спора.

— Виноват, Людмила Петровна, но в этом «доктринерстве» я, право, не повинен. Свюю же мысль позволю все же вывсказать до конца. Я так привык, господа. Вернемся к «символическому» Петербургу... Я уже сказал: некоторым любы Стрелки и музеи,— и я большой поклонник весто этого. Но что такое музей? Музей — это застывшие в истории шати нации. Застывшие, господа. А нащи яидет вперед и во главе своего движения ставит в каждую эпоху новое общество, новые, так сказать, производительные силы. Вот и все, господа. Но если это положение мое может вызвать спор, и согласено оставить его сейчас без защиты... дабы не омрачать нашей встречи. Вино неплохое,— тотчас же переменил он тему разговора. — Разрешите. Людмила Петровна, ваш бокал?

Конец обеда прошел в ничем не примечательной беседе о местных, смирихинских делах, и ротмистр Басанин тщетно старался понять, для чего, собственно, его пригласили сюда. Единственно, что было ему приятно — присутствие здесь Людмилы Петровны. Ротмистр давно уже определил свое отношение к ней. Красота и женственность Людмилы Петровны всегда волно-

красота и женственность Людмилы Петровны всетда волновали Басанина — притятивали к себе своей недоступностью и воспаляли его воображение. Ее молодость и бог атство дочери крупного помещика судили немало радостей и удобств в жизни, а ее неожиданное вдовство и независимый характер облегчали задачу сближения с Людмилой Петровной.

Если бы ротмистр Басанин узнал ее только сейчас, если бы этот обед был бы их первой встречей, Басании с одинаковой, вераятно, силой испытывал бы желание этого сближения. Он никогда по-настоящему — преданно и глубоко — не любил, у него не было ни к кому раныше интимной привязанности, которая располасть к чувству длительному и внутренне оберетаемому, и, сойдясь с женщиной, он стремился прежде всего сделать так, чтобы остаться независимым от нее и свободним. Встречаксь же с Людмилой Пстровной, он думал. Людмила Пстровна его, ротмистра Басанина, жена — вот что было его конечной целью!

Его страстное, но внешне скрытое желание обладать этой женщиной сочеталось в то же время с трезвым и верным расчетом: женитьба могла принести удачу и в карьере.

- Я хотела вас кое о чем попросить, словно вспомнив о чем-то, обратилась к нему Людмила Петровна.
- Приказывайте!— И ротмистр поднял плечом свой серебряный с красным просветом погон.
- Вот видите. Георгий Павлович, какая у меня власть, рассмежлась она.— Вы мне так не отвечали! А моя просьба, милый Павел Константинович, состоит в следующем. Господи, как бы это проще сказать Словом, вот чтс... Вы имеете представление о господине Теплухине? Да или нет?

Ротмистр быстро обвел глазами всех присутствующих: Людмила Петровна и студент смотрели на него с нескрываемым любопытством. Карабаев, закурив папиросу, старательно пускал колечки и, казалось, только и был поглощен этим занятием.

- Да,— медленно ответил ротмистр, тихо пощелкивая пальцем наконечник своего серебряного аксельбанта.— Имею представление о господине Теплухине. «Ага, вот оно в чем дело. Но почему это так интересно ей?»
 - Господин Теплухин имел желание явиться к вам.
 - Вот как!
- Да. Но после нашего разговора с вами этот визит, я думаю, будет излишним. Дело в том, что Теплухин имеет возможность поступить на службу,... на завод Георгия Павловича.
 - Это обоюдное желание? подчеркнул ротмистр.
- Теплухин ищет заработка, я имею возможность предоставить ему службу,— спокойным и безразличным тоном ответил Карабаев.
- Кто же запрещает уважаемому Георгию Павловичу благодетельствовать?
- Я говорю не об этом,— сощурились серые, обещающие, ульбиувшиеся глаза, и, на минуту загипнотизированный и обласканный ими, ротмистр перева свою разгоряченный взгляд на капризные губы слегка наклонившейся к нему Людмилы Петровны.— Теплухин понимает, что он находится под надзором полиции,— так он говорил мне.
 - Он никому не опасен, вставил Карабаев.
- Совершенно верию. Я того же мнения,— продолжала она.— Но вы, господин ротмистр сосбого корпуса жандармов (Людмила Петровна с нарочитым и шутливым пафосом произнесла титул Басанина), вы должны мне откровенно сказать: вы против того, чтобы Теплухин служил в Ольшанке, или нет?
- Господа, вы как-то превратно судите о моих официальных обязанностях, — попробовал уклониться ротмистр.

Он протянул руку к бокалу с вином и безмолвно чокнулся им с Людмилой Петровной. «Для вас... для вас я все могу сделать, знайте...» — говорил его взгляд.

 Право же, это так, господа. Разве мы кому-нибудь запрешаем или мешаем заниматься законным делом? Напротив, мы призваны оказывать наиусерднейшее содействие таким подданным империи. Мои слова не нуждаются ни в каком полтверялении.

потому что они говорят о том же, о чем говорит высочайше утвержденный указ о характере нашей службы... И я думаю, что, например, Георгий Павлович не откажется засвидетельствовать пользу этой службы. Кто у вас работал в той же Ольшанке под фамилией Сенченко? Бежавший и долго разыскивавшийся преступник, калишский рабочий, стрелявший в своего хозяина. Мы его обнаружили.

Ротмистр Басанин уже не скрывал того, насколько приятно ему сознание своей силы — жандармского офицера, которому вверена охрана имперского режима хотя бы и на столь незначительной территории.

Пощелкиваемый небрежно наконечник аксельбанта подскакивал все выше и выше.

И от сознания ли своего, ротмистрова, положения, или, может быть, от того, что крепко играло выпитое, лукавое вино и хотелось — инстинктивно — казаться красивей, лучше и значительней перед Людмилой Петровной, - Басанин именно таким почувствовал себя в эту минуту.

Свой собственный голос показался ему необыкновенно плавным и выразительным. Улыбка, все время не сходившая с лица, блуждала по нему так легко, как безукоризненно ловко пудрящая пуховка, и, как она, была мягка и нежна ротмистрова улыбка. Кисть левой руки, непринужденно лежавшая на ослепительно белой, выкрахмаленной скатерти, нервно и быстро играла всеми пальцами, -- он испытывал сладостное, почти осязаемое, возбуждение; оно должно было или передаться другим, или подчинить их себе...

Ротмистр почувствовал, как тело его, весь он, от головы до пят, стал мускулистей, подвижней, свободней и плавней в своих движениях, -- и ему невольно захотелось встать во весь рост и показать всего себя наблюдавшей его женщине.

Он с радостью подумал о том, как отлично лежит на нем темно-синий двубортный сюртук с красным кантом по воротнику и общлагам, гордо выпячивающий его, басанинскую, грудь; как туго и ровно натянуты на штрипках безукоризненно выглаженные диагоналевые брюки, как обманно-небрежно волочится по полу спущенная на серебряной портупее скосаревская шашка в притупившихся — да, притупившихся! — в конце ножнах и нежным колокольчиком звенит великолепная савельевская шпора с чарующим малиновым звоном.

- Господа! Я говорю вам: ничто нам не страшно, ничто не поколеблет нашу государственную власть. И поэтому, Людмила Петровна, если вы почему-либо хотите протежировать Теплухина, - пусть поступает на службу, пусть... Я не хочу вмешиваться в это дело. Не имею формальных оснований для вмешательства. Тем паче, господа, что Теплухин досрочно помилован и возвращен на родину.
 - Досрочно? удивленно поднял брови Георгий Павлович.
 - А почему это вас так поразило?

Ну, да... ему было зачтено предварительное сидение, вероятно?

Ротмистр Басанин вдруг сдержал себя, остановленный быстрой и короткой мыслью: «Ага... Ты мне Ольшанку подай, Кан-душа!»

 Словом, Теплухин освобожден теперь, прав не лишен и следовательно...

Ротмистр не закончил фразы и развел только руками.

Вот и хорошо, — спокойно сказала Людмила Петровна. —
 Мне очень приятно, что вы не оказались чиновником. Скучна... ах, как скучна у нас, господа, эта пресловутая обуква закона»!

 Но если я оказался вам приятен, — спасал себя Басанин, то только потому, что я в данном случае никак не нарушал ее.
 Я пока не имею никаких формальных оснований для вмешательства в дело господина Теплухина.

 Только потому?— иронически смотрели теперь отдалившиеся серые глаза.— А я, грешным делом, думала, что моя просьба... Леонид, ты, голубчик, ужасно много куришь. Вы не находите этого, Георгий Павлович?

«Ч-черт! Я поскользиулся на апельсинной корке»,— с тревоподумал ротимистр о своем неловком ответе. Улыбка еще оставалась на лице его, но была уже ненужной, лежала на нем, как неряшливо оставщийся после бритья, прилепившийся волосок из облезлого помазка.

Резко приподнятое настроение Басанина так же резко изменилось: он несколько раз пытался вернуться к утраченной теме, но, как только начинал этот разговор, Людмила Петровна искусно отводила его.

Ему стало душно вдруг, не по себе в отлично сшитом мундире, который показался теперь почему-то узими, а рукава — безобразно короткими; он с досадой заметил сейчас, что стул под ним немного расшатан и при нерассчитанном движении скрипит и, вероятно, издавал все это время молопонятный окружающим звук. Глядя исподлобыя и скосив глаза в сторону небрежно расплачивавшегося с официантом Карабаева, он увидел свой закрученный кверху, растопыренный рыжсватый ус, на котором торчала — предательской свицетельницей его, басанинской, небрежности — не забранная салфеткой жирная крошка пирожного. Он сиял ее незаметно длинным ностем мизищаго

«Для чего пришел сюда?— спрашивал себя.— Ну, захотелось им вместе после деловых разговоров пообедать... А меня зачем позвала? Чтоб о Теплухине узнать, просить меня о нем? Этот миллионцик-либерал взятку мне обедом дал... или как?»

Он тяжело поднялся из-за стола вслед за другими.

 Вы разрешите мне к вам приехать в имение? — спросил он, прощаясь с уходившей Людмилой Петровной, и почувствовал, как грустно и виновато смотрят сейчае его глаза.

 Конечно, я буду очень рада: у нас так скучно, — приветливо улыбнулась она, подавая руку для поцелуя. — Вы давно уже ко мне не приезжали и потому не имеете права желать, чтобы я о вас помнила. Но вот видите: когда решила увидеть вас, Павел Константинович, я нашла способ это сделать.. Не правда ли? Господа, я сию минуточку иду!— крикнула она стоявшим у вешалки Карабаеву и брату.

— Вы знаете, — тихо сказал ротмистр, — что я котел бы вас

видеть всегда.

 Да? Фу, какие здесь грязные ступеньки в чиновничьем собрании,— смеялась она, спускаясь к вешалке.— Вы, значит, остаетесь здесь, господин ротмистр? До свидания!

Басанин остался один. Растерянность уже исчезла, но оттого, что не мог еще разобраться во всем, что произошло в конце обеда и после, был зол и придирчив, как и сегодня утром, когда наткнулся в столе на свой давнишний неловкий доклад.

«На улицу, черт побери! Душно мне...»— быстро сбежал он в вестибюль.

 Шинель!— громко крикнул он глуховатому здешнему швейцару, заметавшемуся у вещалки.— Живей, старик!

 Резвости, резвости-то сколько, ба-а-атенька! — услышал Басанин знакомый, погружающийся в одышку голос и оглянулся.
 Здоровенный, тучный исправник Шелудченко стоял в другом

элоровствый, тучный исправник шелудченко стоял в другом конце вешалки, протирая запотевшие стекла очков большим красным платком. Синие маленькие глазки исправника добродушно посмеивались.

 Драгоценному Павлу Константиновичу — мое искреннейшее почтение, уважение, красотой восхищение, любовь моя без сомнения, примите заверения и всякие томления...
 Исправничья туша подвигалась на Басанина, протягивая мягкую

руку и расточая на ходу привычные шутливые приветствия.

В другое время ротмистр Басанин ответил бы, как всегда, схожей шуткой, но сейчас ему было не до этого.

- Здравствуйте, Иван Герасимович,— сухо сказал он, влезая в подбитую ватой шинель, поддерживаемую швейцаром.— Тороплюсь.
- Вижу, вижу, тем же тоном продолжал исправник. Ну, а все-таки, что нового? Тишь да гладь, да божья благодать... а? Да вы что это на афишку загляделись, словно императорский театр на ней помечен?

Он был прав: ротмистр Басанин смотрел каким-то странным взглядом на зеленую афишу, висевшую на стене.

- Тишь да гладь? вдруг, обернувшись, насмешливо и зло сказал он. — А-а. — уже поити застонал он, чувствуя неожиданную радость от того, что может сорвать сейчас свое раздражение. — Я не видел раньше этого безобразия... но вы полюбуйтесь, что это такое.
- Что?— недоумевал Шелудченко, вскидывая голову кверху и вглядываясь в афишу.
- Вот вам ваша тишь да гладь... Сорвать, заклеить эти афиши! Это черт знает что!— не унимался уже ротмистр.— Читайте-

ка, Иван Герасимович, если раньше, давая разрешение, не читали...

 Ну, читаю... читаю, — не совладая с одышкой, взволнованно сказал исправник. — «Рюи-Блаз», драма Виктора Гюго...

— Гюго!

— Ну Гюго... «Рюи-Блаз». А что есть этот «Рюи-Блаз»... а?

— Да не в том дело!— презрительно смотрел на него рот-

мистр. — А дальше... помельче шрифт... вот... сбоку...

Сбоку? Ага... вижу.

«Так вот они, правители страны, министры бескорыстные народа, так вот у нас дела какого рода...»— медленно, с расстановкой, обдумывая каждое слово, читал исправник, оглядываясь по сторонам.

Ну? — процедил ротмистр, чувствуя удовлетворение после

приступа гнева.— Ну-с, Иван Герасимович?
— Думаете?— односложно спросил исправник и мигнул смешливо Басанину.

— А по-вашему, как же?

Думаете, присочинили актеры... а? Или научил кто?

Не присочинили, а напечатали нарочно. Цитату напечатали «со смыслом». Оштрафовать типографию на сто целковых да проверить паспорта у актеров! Это ваше, ваше дело, Иван Герасимович... Губернатор бы увидел сию минтту афишку...

— Так вот у нас дела какого рода...— повторил, пыхтя, Шелуденко.— Изречение! Действительно! Виктора бы мне схода этого Гого — поизрекал бы у меня! Да ведь не в моем уезде, прохвост! Распоряжусь, распоряжусь насчет типографии, Павел Константинович. Что говорить — деткое упущение!

Ротмистр Басанин козырнул и выбежал на улицу.

Глава седьмая

друзья ФЕДИ КАЛМЫКОВА

Последние месяцы гимназического курса пробежали в подготовке к выпускным экзаменам, начинавшимся в конце апреля. И по мере приближения экзаменов Федей все сильней и сильней овгадевало новое чувство, отодывизние в его сознании все существовавшие до сих пор интересы и даже влечение к Ирише Карабаевой, с которой — по той же причине — редко теперь встречался. Это было чувство ответственности перед самим собы перед всем продолжением своей жизни будущего российского интеллигента.

Получить золотую медаль, пропуск в университет — это стало уже вопросом чести для Феди,

Часто он уходил после обеда к товарищам, жившим в гимназических общежитиях Шелковниковой и Бобовник, и просиживал там долгие часы за тригонометрией и физикой — науками, неохотно постигаемыми и никогда не привлекавшими его внимания.

Дома, в семье, все было по-старому; будни вывязывались мерно, одним цветом, как неразличимые петли в чулке.

Райка утром отправлялась в гимназию, слепой, скучающий отец — на смежную половину старика Калмыкова, а Серафима Ильинична занималась хозяйством и уборкой своей маленькой квартиры.

Из ее окон были видны стоящая напротив просторная, широкая яминикая изба, плотию прижавшаямся другой стороной к станционному амбару, и почти весь большущий кальмыковский двор, уставленный летом фаэтонами и шарабанами, а зимой — саизми различных фасонов и размеров; во всю ширину двора, в конце его, поставлены были высокие конюшни, за которыми уже шел фруктовый сад.

Как докучливо знакома Серафиме Ильиничне картина калмыковского двора!

Весной раскрываются окна в ямщицкой избе, и вывешиваются на подоконники грязные, блошиные зипуны и тулупы, на которых укладываются кошки с котятами или старая дворовая шавка с подбитой ногой. Из избы потянет кислым запахом щей из котла и опарното теста и удушлявой целью. Вспотет на солные навоз, горой набросанный возле конюшен, и пар от него тяжело пойдет сизыми теплыми клубами по двору, в раскрытые окна кадмыковского дома. Зажужжит у навоза густой хоровод больших и жирных зеленых мух. Мушиные стани заполнят все комнаты в доме и только под вечер утихнут, покрыв сплошной черной сыпью выбеленные стены.

От первых дождей вспухнет и размякнет земля и утонет станционный двор в многопудовой жидкой грязи — иссиня-черной, маслянистой, как колссная мазь. Лошади, проваливаясь не кажутся низкорослей и мельче; двор засыпают жужелицей и кирпичами, но пройдет новый дождь — и насыпи эти смываются. Ямщики ссорятся из-за очереди на дальние поездки, пъянст-

Ямщики ссорятся из-за очереди на дальние поездки, пьянствуют, грозят прибить сварливого, хромого старосту Евлантия, скачет по двору крепкая и свободная ямщицкая ругань. Не остается в долгу и молодой хозяин— Семен Калмыков.

«Что видят, чему здесь научиться детям?»— скорбно думает Серафима Ильинична.

Она терпеливо живет здесь с тех пор, как ослеп муж. И когда это случилось, приехали из сосседних уездаю братья Мирона Рувимовича, оба врачи, — устравять судьбу его семьи. В то время старик Калмыков отошел уже от дел и всем ведал Семен — старший сын от второй жены. Старуха и он, боясь участия слепого Мирона в общих станционных доходах, поспешили выделить ему долю: были куплены лошадь и фаэтон, был нанят ямицик, который стал выезжать на извозчичью биржу и кормить тем самым семью Мирона. Теперь ее существование зависело от ямицика — Карпа Антоновича. Старый, благообразный Карп Антонович, с шелковой седой обородой, приезжал под вечер чаще всего пъяным и неразговорчивым. И еще за час до его возвращения домой Серафима Ильинична, ведя под руку мужа, выходила на улицу и усаживалась на скамеечку во ожидании своето кормильца. Вот следом за десятком других извозчиков показывался и он из-за поворота. Боже, с какой тревогой и надеждой вожатривалась она в его лицо, в то, как крепко сидит он на козлах, как держит в руках вожжи, — рысью, или понуро бредет взымаленная или сухая лошара.

Он, словно не замечая своих хозяев, взлетал на горбик мостика и въезжал по уличке во двор.

- Карпо вернулся, сообщала она тогда невидящему мужу и торопила его домой.
- Да, да... мне так и показалось. Ей-богу, Симочка, мне эти новые очки, кажется, помогут,— неожиданно оживлялся он.— Я тебе правду говорю: я смутно заметил его длинную бороду. Скажи, у него ведь борода длинная?

Да, да, родной... длинная, — печально улыбалась она: «О, если бы он видел!»

Слепой — он жил только памятью. Иногда она ласково обманывала его, и ему казалось мгновениями, что он прозревает. Тогда его уверенность была особенно болезненной для окружающих.

 Смотрите, смотрите...— задыхался он от непостижимой радости.— Вот... вот смутно я вижу свои пальцы... очертания... очертания. Вот указательный... особенно указательный ясней всего. Смотрите, смотри, Симочка,— вот ведь он. Я вижу!— почти безумный, гиннотизирующий шепот вырывался из его уст.

Он держал перед своими открытыми мертво-лучистыми глазами дрожащую руку с растопівренными пальцами, а другойосторожно ловил эти пальщы, нежно притрагиваясь и скользи рукой по ним, словно боясь, что от прикосновения к ним они могут исчезнуть. И как будто их можно было вклупнуть громким голосом, и они могут уплыть из его неподвижно, настежь открытых глаз,— он уже только тихо, перекватывая дикамие, шентал:

— Я вижу... Вижу туманно... Я могу, я хочу прозреть...

Он ничего не видел.

 Хо-хо-хо!— смеялся кто-нибудь из дворовых, наблюдавший такую сцену.— Хиба так видют?.. А вы скажить, Мирон Рувимович, чи стриженый я, чи бритый? Не-ет, ни дули вы не видите!

 Уходите вон!— налетал на того Федя.— Как вы смеете вмешиваться?

 Тю! — плевал дворовый. — Хиба можно обманывать человека? Человеку свою судьбу не переспорить.

Калмыков бледнел и низко опускал голову.

 — Феденька... не надо. Я видел,... видел,... подкатывалась спазма... А теперь... я разволновался, я опять слеп. Мне нельзя волноваться. Мне профессор Гириман сказал еще.

 Ты видел, отец! — горячо, не понятным самому себе убежденным тоном говорил Феля. ...Надо было ждать, покуда Карпо Антонович распряжет лошадь, засыплет ей овса в конюшне и отнесет свою извозчичью одежду в избу. Потом оп приходил в кухино Серафимы Ильиничны и приносил, как всегда, на сохранение снятую с лошади упряжь, вожжи и свой «батнот»— кнут, которым больше всего дорожил. И опять с тревогой и надеждой смотрела молуча на него Сера-

И опять с тревогой и надеждой смотрела молча на него Серафами Ильинична: «Хоть бы два рубля привез,— Архип два десять

привез Семену...»

— Выручка, барыня, одно дело... простите за выражение. Кобыла моя подкову потеряла! Ну, в кузню пришлюсь, конечно, час и пропал, да и деньти тоже. Околоточный на два часа кзял в долг, конешно. Не везет! Прямо говорю вам — не везет! Веръте не веръте, а вот больше, как рупь сорок, не заработал. Н-да!

Хмельной — он трыс своей длинной шелковистой бородой, добрыми глазами смотрел на хозяйку: «Н-да...» Он выворачивал в доказательство грязный широкий карман своих штанов, и оттуда падали на подставленную ладонь сребряные гривенники и пятилатинные вместе с мелким мусором черно-серой махорки, облом-ков стичек и кусочков измятой папиросной бумаги. Половину вы-ручки Карпо Антонович крад.— но разве можно было его проверить?

И Серафима Ильинична покорно говорила:

Рубль сорок пять... спасибо. Вы уже завтра, Карпо Антонович, постарайтесь... пожалуйста, постарайтесь...
 Да, конешно, тряс он бородой. Понимаю положение...

это верно.

И случалось иногда так, что, сдав уже выручку, он вновь приходил через несколько минут и — удивлял:
— Хозяйка... а хозяйка! Изиняюсь за ошибку, недосмотред;

пятнадцать копеек еще ваших у меня завалялось. Получайте.

И никто не понимал: упрекнула ли ямщика его совесть, или дарила пятиалтынный ямщицкая хитрость.

Жизнь жужжала надоедливо, докучливо, как зеленая муха на теплом перегоревшем навозе. Серафима Ильинична все эти годы была в ожидании: вырастет, окрепнет Федя — увезет ее и всю семью из этой калмыковской улички, так символически загнавшей всех ее обитателей в семейный калмыковский тупичок... Она мечтала переехать с семьей к своим родным в Петербург, где Федя станет врачевать, женится и начнет подлинно культурную жизнь хорошего российского интеллигента.

 И, прячась от калмыковских будней, она часами читала мужу рассказы Короленко, газеты и «Русское богатство» и застенчиво играла на рояле Мендельсона и «Молитву девы».

Парода на рожие инправлена и этотом у девая.

Она уже любила свою грусть, потому что ее больше всего было в смеси чувств и ощущений, наполнившей уготовленный стакан ее, Серафимы Ильничины, судьбы.

Давнишние мечты ее обманули, и она покорно приняла свой жребий. Согласовать судьбу со своей свободной волей — это было недоступно для нее, человека минувшего века. Максим Порфирьевич был педагогом, математиком смирихинской гимназии. Внешне угрюмый, иногда и придирчивый в классе, он был добродущен у себя дома.

Эту черту характера математика Токарева, как и многое другое, что было ему присуще, Феля и некоторые сето товарищи хорощо узнали за последний месяц своего пребывания в гимназии.

Максим Порфирьевич тайком от начальства «натаскивал» по математике группу гимналистов-выпускников, которых вел в этом году не он, а другой педагог. Тайком приходилось это делать не потом, что Максим Порфирьевич брал за это зантите деньти («натаскивар» совершенно бесплатно), а из опассния перед начальством. Оно строго следило за тем, чтобы не поддерживалось между гимназистами и педагогами какое-либо иное общение, кроме предусмотренного гимназическим режимом и особыми, секретными наказами господина попечителя учебного округа.

Поэтому и случилось так, что вместе с Федей приходили к Токареву на квартиру еще только двое, которым Максим Порфирьевич и Федя могли довериться,— братья Вадим и Алеша

Русовы, кончавшие гимназию в один и тот же год.

Для «натаскивания», собственно, было достаточно двух-трех посещений математика (гимназисты быстро постигли все каверз-ные премудрости, которые могли встретиться на экзаменационном испытании), но так уже сложилось, к их удовольствию, что встречи с Максимом Порфирьевичем превратились в встречи «духовные» как назвал их Вадим Русов.

В доме Максиму Порфирьевичу мешала его многочисленная сесмья, и он у водил гимназистов в сад, к полуразрушенной бесецке, посреди которой стоял вкопанный в землю круглый стол на толстом трухлявом столбике, а вдоль стенок — такие же старые, подукругом, скамейки с выползшими из дерева — крючковатыми, проржавевшими — гвоздями. Все усаживались осторожно, стараясь не зацепиться брюками об эти предательские гвозди, и Максим Порфирьевич начимал занятия.

 С логарифмами совсем плохо орудуете, господии медалист без пяти минут!— насмешливо говорил он Калмыкову, засматривая сбоку в его тетрадь.

 Не люблю вашей математики, ваших логарифмов... Ох, не люблю, — вздыхал Федя. — Мозговая сухость и только.

Скажите, пожалуйста!

 Вы не смейтесь, Максим Порфирьевич, подхватывал старший Русов, Вадим. Разве можно симпатизировать, так сказать, этому слову... понятию, которое вкладывается в это слово?..

 — А ну, что есть сия скучная ерундистика — напомни, я всегда забываю этот замечательный выверт! — насмехался, в свою очередь, Алеша, подталкивая доктем брата.

 Мозговая сухость — верно сказано. Вы подумайте только, Максим Порфирьевич... Показатель степени, — глядя в одну точку перед собой, стараясь не сбиться, вспоминал Русов, — ...степени, в которую следует возвести число, принятое за основание, чтобы получить данное число... Вот чертовщина! Кому это надо, Федя... а? Кому?— сбегались одна к другой сердитые брови математика. - Кому? Образованным людям, молодой человек,

- Не всем, сказал Федя, предчувствуя, что сейчас начнется, как всегда, спор, в котором злополучные логарифмы уже будут забыты. - Я вот, например, буду врачом, стану заниматься к тому же общественной (хотел сказать, «политической») работой, - зачем же мне тратить время на всю эту ерундистику, простите, когда я лучше буду изучать то, что меня действительно интересует? Не так, Вадя?
- Врете вы, молодой человек, упрямствовал Максим Порфирьевич. - Всем это нужно: инженеру, физику, архитектору, математику...
- Это еще не значит, что всем!— в три голоса прерывали гимназисты. - Вот, например, вашему соседу - адвокату Левитану, -- на кой ему черт помнить о логарифмах? А таких примеров vйма.
- Нас, кучку привилегированных людей, учат всяким ненужным тонкостям, а от простого народа прячут начальную грамоту!-Алеша Русов откинулся к стенке беседки и хмуро посмотрел на присутствующих.
- Наивничаете! Книжничаете! разгорячился Максим Порфирьевич, вскакивая и шаря инстинктивно рукой по брюкам: «слава богу, не порвад...» — Да, да, молодой человек... Я вам говорю; книжничаете и... и провоцируете на спор! Какая уж тут математика?!
- Верно, верно, посмеивался старший Русов, складывая тетрадь. — И грянул бой — Полтавский бой, Максим Порфирьевич.
 - Ах. вот что, господа? Значит, провокация... Действительно? - Допустим,
- Из искры пламя!— многозначительно подмигивал Федя своим товарищам, и оба они отвечали ему таким же многозначительно-таинственным кивком головы.
- Какие искры? ворчал Максим Порфирьевич. Никакие искры вас не должны увлекать, господа хорошие. Ибо искра играл он словами, — может казаться яркой в каком-нибудь погребе, а на свету — пропадает... блекнет — вот что! А сами вы — люди необразованные, на фуфу люди и, как все интеллигенты, падки на всякие словесные фейерверки.

Так начинался спор, в котором исчезал уже ворчливый педагог Токарев и появлялся перед тремя юношами Максим Порфирьевич: друг, но не признанный ими проповедник и учитель.

 Вы интеллигентщина, я — настоящий, лучшего волевого образца (волевого, молодые люди!) россиянин — человек, — говорил он, обводя строгим взглядом своих слушателей. — Меня фейерверком не соблазнишь, — шутишь! Мой батько и сейчас еще крестьян-ствует, а братуха самый младший — дубильщиком на карабаевском заводе. Не верите? Хотите — позову? В квартире у меня сидит. Жена моя просвещением его занята... Вы — интеллигентщина необразованная, мечтатели. А я образованный мужик... Ага! Никто из вас, господа, не думает о самом простом, но и самом важном: как правильно устроить свою личную жизнь.... Чтобы она не была праздной, неряшливой и некультурной. Вы совсем не думаете, какими вы должны быть инженерами или врачами, но заго отлично болтаете об «общественном долге», о народе, о политике. Ерумаете Служение народу?— грозно вопрощал Токарев.— Пустая, фальшивая фраза! Я вот, мужникий сын, заявляю вам: мужик, гослода хорошие, идет другим путем. Кто живет на гимназических квартирах? Мужицкие дети. А для чего мужик тратится на них, последние деньги и сало посылает своим сыновьям? А вот зачем... Пускай Иван да Трифон одолеет науку, пускай Иван да Трифон одолеет науку, пускай Иван да Трифон одолеет науку, пускай потом нужное мужику дело делает. Для мужика разный там фурьеризм, позитивям, марксим, вся эта интеллитентщина — пустой звук.

Но и братья Русовы не оставались в долгу. При всем уважении и приязни к Токареву — ну и «костили» же они его во время таких домашних споров!

Особенно старался суровый острослов Алеша Русов. Федю всегда удивляли его исключительные по объему познавия — будь то литература, политика и даже философия. И его-то Максим Порфирьевич решается причислить к «необразованной интеллигентщине»? Кото, — Алешу?

Или Вадима? Да имеет ли понятие Токарев о его благородной, мягкой душе поэта?

Недавно Вадим читал в дружеской гимназической компании свои стихи — «Невеста сокольничьего»:

Закричали в поле кречеты,

А на серпце — смерти тень. С мальма другом нежной встречи ты Ждешь напрасно цельній день. У царя рука гнеяливая, Умоли ты болько мать, Встала угром ты счастливая. Горькой ляжешь почивать. Принесут его застольники, Встра вжет дляю въль.

И расскажет, как сокольнику Грудь произил царев костыль.

Федя предполагал, что стихи эти написаны не без влияния колотов (в поэзии Федя Калмыков мало разбирался), но разве сма-то Вадя не настоящий талант? Да и за словом в споре он в карман не полезет. А Алеша — тот безжалостно припирал в спорах к стене Максима Порфирьевича. Беретитесь. Максим Порфирьевич!

— Так, как ругаете вы нашу интеллигенцию, поносят се теперь литераторы и философы, испутавшиеся насмерть недавней русской революции. Они — возвеличители нашей буржуазии, они перья кадетской партии, они — зазывалы церковного и помещичьето мовкобесия. Да, да, да, Максим Порфирьевич! Почитайте-ка их писания в разных сборниках, выходящих в Петербурге и расхваливаемых кадетами и октябристами. Не читали? Напрасно. К сожалению, вы, Максим Порфирьевич, иной раз говорите нам то же самое, что и авторы этих сборников. Ей-ей.

Когда господа Бердяевы, Струве, Будгаковы, Гершензоны. («Откуда Алеша знает веск их? Я убежден, что Максим Порфирьевич о них понятия не имеет!»— думал Федя.)... выступают против интеллигенции, они ополчаются на самом деле против демократической части е с. Против той интеллигенции, которая вместе

с рабочими участвует в освободительном движении.

Поминте ли вы, Максим Порфирьевич, письмо Белинского к Гоголю? Поминте. Ну, так вот: разве страстность Белинского и вависела от возмущения крестьяи крепостным правом? А нынешние предатели освободительного движения называют письмо Белинского ени к чему». Вот ведь какая гадость, Максим Порфирьевич. Знаете, что пишут теперь люди, которые, как и вы, наемскаются над материалистическими чизмами»? История нашей публицистики после Белинского, в смысле жизненного разумення,— сплошной кошмар!— говорят они... Ну, так вот: интеллигенщия интеллигенщии — рознь. Максим Порфирьевич.

Да, мы станем интеллигентами в Алешином смысле,— по-

давал свой голос и Федя Калмыков.

— Вы хотите нас убедить. Максим Порфирьевич — не унимался Алеша Русов, — что самое важное — это, став врачом или инженером, устроить свою личную жилы, как чеховский Ионыч, например. По вечерам вынимать из всех карманов кредитки, добитие за день от пащентов, покупать дома и имения...

— Я вам совсем о другом говорил, — негодовал Максим Порфирьевич.

— Ну конечно, конечно о другом,— смиренно язвил Алеша.— Вы громили бескультурые. Личиую жизнь надо устроить культурио. Чтобы в гостиной на столе стоял бронзовый Мефистофель, лежали переплетенные комплекты «Нивы», а на стенах развешаны репродукции Бёклина. У Ионача, наверное, так и было... А на ницую, бедственную жизнь масс — наплевать, а с несъпъканным произволом — мириться.

Да, Федя преданно любил братьев Русовых. Он целиком полагался на их вкус, знания и суждения.

...В доме Максима Порфирьевича Федя познакомился с его

братом — Николаем Токаревым.

У молодого рабочего были такие же, как у Максима Порфирьевича, густие и колючие, словно подстриженные, рыжеватые брови и глубоко уползшие светлые глаза. Они всетда были направлены на собеседника, всегда с некоторым любопытством рассматривали его.

От Николая Токарева всегда пахло кожей. Запах ее пропитал всю его одежду. В руки въелся дубильный экстракт, с которым приходилось иметь дело на заводе, и на пальцах, на сгибах суставов, оставались и после работы зеленовато-желтые заеды-

С одной поры дубильщик Токарев приобрел известность на заводе, стал популярен среди рабочих. Это случилось тогда, когда приехала днем в Ольшанку полиция и арестовала нового рабочего, Сенченко, - такого же дубильщика, как и Николай.

Рабочего увезли, но в тот же день Токарев созвал в своем отделении несколько рабочих и подбил их пойти к Карабаеву.

— Что вам нужно? — заинтересовался Георгий Павлович, невольно обращая свой вопрос к Токареву, выдвинувшемуся вперед. Николай стоял посреди директорского кабинета, нервно зачесывая наверх растопыренной пятерней свои непослушные, растрепавшиеся волосы.

 Пришли насчет товарища нашего узнать: за что под бляху попал? Родни у него нет тут, никто за него не побеспокоится,

Просим, Георгий Павлович, объяснить.

 Да, Сенченко арестован. За что — не могу сказать, не знаю. Георгию Павловичу неприятно было посещение полиции, но еще неприятней то, что на его запрос по телефону о причине ареста — исправник не пожелал ему ответить. Теперь, когда пришли рабочие, ему еще более неприятно стало оттого, что в их глазах он мог уронить свой авторитет всесильного смирихинского фабриканта, перед которым должны были быть открыты все двери. А вы, может, узнаете? — напирал Токарев. — А потом вы-

зовете кого-нибудь из нас и скажите. Может, Сенченко помощь какую сделать, — так мы, рабочие, скупиться не будем. Верно я говорю, старики? - обратился он к молчаливо стоявшим товарищам.

 Правильно он говорит, Георгий Павлович... На чужой стороне человек работал. Не здешний он, Сенченко.

Через некоторое время Карабаев узнал: арестовали скрывав-

шегося «преступника» Ржосека, стрелявшего в Калише в хозяина фабрики, где раньше работал. Георгий Павлович вызвал к себе Токарева и рассказал ему

А за что стрелял? — насупился Токарев. — Может, по за-

слугам пуля. То есть как это? — возмутился Карабаев и строго посмот-

рел в озабоченное лицо Николая. - Ты мог бы оправдать его за убийство человека?

 Не знаю, — упрямо сказал Токарев. — Убийство бывает разное. Эх, да в судьи нас не позвали еще!- повернулся он к выходу. — Так и скажу заводским нашим, арестовали, мол, политического человека, - запомните, значит, товариши... Однажды, при встрече с Федей, он немало поразил его.

 У меня к вам просьба есть, — оглядываясь по сторонам, сказал он и уставился, уже улыбаясь, в лицо гимназиста. - Читаете, знаю, литературу. Мне бы на денек — верну непременно в сохранности. Уж у меня не пропадет.

Вам, Николай, роман дать или отдельные рассказы?

Да нет же!— хитровато заулыбался Токарев.— Мне политическую литературу — вот что!

Почему вы у меня просите? — растерялся Федя и, в свою

очередь, госмотрел теперь по сторонам.

— Да вы не беспокойтесь, не подозревайте. Я — рабочий! как показалось Феде, с гордостью проговорил Токарев. — Для меня ведь это писано. Да вы не беспокойтесь: мне про это Иван Митрофанович... ну да. 7 егидухин сказал. На заводе с ним встречаемся, У меня, говорит, к сожадению, ничего нового нег, да и получить неоткуда. А вот. говорит, у тимназиста Калмыкова должно быть. Будто вы ему хвадились. Если, говорит, знакометво какое с ним имеещь, — попроси. Знаком, говорю. И брат мой, говорю, ему хорошо знаком. Так что прошу вас: дайте почитать.

У меня нет сейчас, но я вам достану... непременно достану,
 прощаясь с ним, пообещал Федя.

ну, — прошаже с ним, пообещал осди.
«У Вадьки Русова возьму», — сказал он сам себе и обрадовался, что может оказать эту услугу знакомому рабочему.

Токарев был тем единственным «настоящим» рабочим, с кем

удалось познакомиться Феде Калмыкову.

Рабочий был известен ему до сих пор лишь по книгам, по литературе. Этот источник сведений, однако, не давал ясного и поного впечатления. Искомый образ двоился, рассекался надвое в Федином представлении: в политических книгах писалось о целом классе рабочих, художественная литература, которую читал Федя, мало говорила о рабочем, живущем интересами своето класса. Так по крайней мере казалось Феде.

Внутренне считая себя верным социалистическим идеям, Федя по тем же книгам знал, что всякий социалист должен вести политическую работу среди рабочих. Он готов был ее вести, готов был, как только станет студентом, сдружиться с какиминибудь рабочими, но как это сделать — он точно не представлял себе.

Всю жизнь он видел вовне людей иных занятий и профессий. Некоторые сразу стали ему чужды. Это был мир чиновников, средник и мелких купиов и городских мешан; он знал эти семьи, потому что в них воспитывались его товарищи по гимназии. Иные люди вызывали симпатию и казались ему близкими по духу. Помоста тому дружба с детских лет с братьями Русовыми.

Отец Вадима и Алеши был земским врачом и местным общественным деятелем. Но еще больше, чем он, Николай Инколасии у была общественным деятелем его жена — Надежда Борисовна. Сестра знаменитого адвоката и публициста, вынужденного после поражения революции эмигриоравть, она, как и брат была недожинно талантлива и умна, культурна и духовно активна, и эти качества Надежды Борисовны быстро завоевади ей широкую популярность не только среди врачебного мира в уезде, но и в среде местной интеллигенции и среди местного населения. Почти ни одно культурно-просевтительное и общественное начимание не обходи-

лось без ее участия, никто и нигде не принимал решения по этим вопросам, не посоветовавшись с Надеждой Борисовной. А уж когда случался врачебый съезд или земское собрание — квартира Русовых переполнялась съехавшимися из уезда, и многие, многие дела решались здесь до официальных заседаний. Здесь творилась в значительной степени уездная земская «политика».

Надежду Борисовну любили и уважали сще и за другое. Она часта быть серье-тым и внимательным до мелочей другом и советчиком для весх этих врачей, учителей, землющеров, закопавшихся на всю свою жизнь в тяжелый сугроб русской деревни. Всем им— врачам, учителям, землежерам— было приятию и радостно, что в доме Русовых не только помнят о них, не только оказывают каждый раз широкое гостепримитель, он и проявляют живой интерес к их человеческой судьбе. Все чувствовали себя обласканными.

Туберкуле-вному учителю Николай Николаевич доставал десятки порошков тиокола и при случае досылал еще какое-нибудь заграничное патентованное средство. Землемеровых детей вестар усгранвала в гимназию и следила за их успехами Надежда Борисовна, и она же деловито ходила по магазинам с молодыми и старыми сельскими врачами — «бирюками», отыскивая им наиболее
модный галстук или шляпу, а газаты и журналы (литературные
и специальные, медицинские) они получали в деревно неожиданно для себа.

— Я решила выписать вам, потому что все это для культурного человека и врача необходимо, — говорила она некоторым при встрече. — Сами небось поленкимсь бы потратиться: лучше в копилочку класты Вам бы курицей да поросенком обжираться. У, фирюки! — журила Надежда Борисовна. — Бироки! Что будет, если вы не будете просвещаться и народ вокрут себя не будете просвещать? А еще «прогрессивный элемент»! — укоризненно смеялись ее черные живые глаза.

Это «просвещать и просвещаться» стало внутренним знаком для всей семьи Русовых и в первую очередь для их обоих сыновей. Уже в средних классах тимназии Вадим и Алексей хорошо знали старую и современную литературу, позже познакомлиць с рядом философских и политических течений, чему немало способствовал отец — незаруяльный эрудит.

Семья Русовых духовно воспитала и Федю Калмыкова — их частого гостя и закадычного друга их сыновой. Больше того: считая своих другей даровитей и образованией, чем он сам, Федя иногла жил ограженным светом их мировозэрения, устремлений и вкусов. И подобно тому, как родители Русовы, воспитывая своих княсти и подобно тому, как родители Русовы, воспитывая своих и значительней рамок уезлыби жизии, так и он, Федя, видел своих будущность примыкающей к будущность своих другей. Но, как и они, он не видел сще ясно е контуров. И сели ее можно было бы изобразить графически какой-вибудь фигурой с каким-нибудь условным центром, то этой дасйной, смыстовой и целенап-

равляющей точкой в жизни должна была стать политическая и общественная работа.

Нет, нет! Не убедить насмешливому Максиму Порфирьевичу мололых русских социалистов, готовящихся плыть к далеким, но

уверованным берегам...

Знайте, уважаемый, но консервативный Максим Порфирьевич, что у вас есть брат — Николай Токарев — рабочий, социалист, что крепнет, к вашему удивлению и неудовольствию, столь осмеянная вами российская демократия!

И однажды он, Федя, принес Николаю Токареву (пришлось илти в Ольшанку) обещанную литературу. Но прежде чем успел вручить своему другу взятый из русовской библиотеки томик Салтыкова-Щедрина, Токарев с торжествующим видом протянул

Феде какую-то газету и сказал:

 Новое название «Правды». В петербургской газете «Путь правды» напечатали мою заметку. Здорово? Моя, моя, только подписи не поставили. Но вот видите - мне же прислали!

 Какая же ваша?— разглядывал Федя малознакомую, очень редко попадавшую ему в руки газету социал-демократов большевиков.

— Глядите — «Песня под запретом». Это — моя. Мне брат рассказывал об этом случае - я и написал в рабочую газету. Читайте.

«Академия наук, -- читал про себя Федя, -- послала в Полтавскую губернию комиссию для изучения народной песни. Но по пословице: «Куда ни глянь — всюду начальство» — комиссия наткнулась на него и около песни. («Не очень грамотно тут», - подумал гимназист Калмыков.) Оказалось, что за пение Коляды и песен на Купалу певцы попадают в... холодную. А на станции Ромодан начальство разрешило послушать песни, но только... в уелиненном помещении и при закрытых шторах.

Пожалуй, скоро выйдет такой приказ:

«...лиц, поющих «сухой бы я корочкой питалась», подвергнуть денежному взысканию не свыше трехсот рублей или аресту до трех месяцев».

 Мололец!— одобрил Федя.— «Куда ни глянь — всюду начальство». Мололец!

- Эти слова редакция написала,— сознался Николай.— Может быть, потому и нельзя было мою фамилию печатать? Как скажете. Феля?
 - А я думаю это по другой причине.
 - Какой?
- Я думаю, не хотят вас подвергать риску. «Охранка»— она ведь за всем следит. Смирихинск?.. Николай Токарев?.. А ну, кто такой? Так. Рабочий. В социал-демократическую газету пишет. Запомним!
- И то резон, согласился счастливый автор печатной заметки.— Из Петербурга просят присылать корреспонденции. Шикблеск, - а?

 И хорошо. Не надо оставлять это дело. Стиль надо немножко улучшить. Я бы только дал вам, Николай, один совет, — Какой, Федя?

 Надо быть в таких делах осторожным, — сказал назилательно Федя. — Охранка... она ведь такая... — Щука — что и говорить!

 Щука, вот именно. Во-первых, выберите себе какой-нибудь псевлоним

Ага.

Например: «Т. Николаев». Понятно? Наоборот.

Ага. Подходит.

- А во-вторых, корреспонденцию бросайте в почтовый ящик только на вокзале. Там вынимают почту перед самым приходом киевского поезла.

 Сами отправляли куда? По опыту знаете? – дружелюбно улыбнулся Николай, не осознавая всей наивности калмыковского совета

Федя промолчал и тоже заулыбался. Никуда он, конечно, и ничего не отправил скрытно, но если иное подумал сейчас Коля. — пусты! Чем больше доверия будет питать он к Феде — тем легче будет крепнуть их дружба.

 Вот! — И он вручил Николаю книжку Салтыкова-Щедрина. — Завтра, кстати, исполняется двадцать пять лет со дня смерти этого великого писателя-сатирика. Прочтешь — увидишь, в самую точку бъет!- добавил он, вспоминая слова Алеши Русова. Ну, и смеха и разговоров было, когда в одной из рабочих хат

собрал Николай Токарев человек пятнадцать кожевников и стал читать им щедринский рассказ «Торжествующая свинья, или Разговор свиньи с правдою»...

 Вин, ты кажещь, помер двадцать пять рокив назад?— недоверчиво спрашивали Токарева. - А не брешешь?

- Нет, не брешу. Рассказ этот, знаете, когда написан? Еще в тысяча восемьсот восемьдесят третьем году он написан, - рассказывал рабочим Николай Токарев. — Есть такая рабочая газета «Правда». Наша это газета. В Петербурге издается.

 Читав я. У позапрошлом году читав. Но не больше, чем два раза, — подал реплику дубильщик Вдовиченко — человек с добродушно-лукавыми темными глазами и краснощеким нетускнеющим лицом, не сдавшимся еще отраве карабаевского завода. - Но, говорять, «Правду» эту саму жандармы прихлопнули. Чи нет, Коля?

— Она печатается теперь под другим названием... Писатель Салтыков-Щедрин этот будто многое предвидел еще тридцать один год назад. Царская Россия-матушка. Она и сейчас такая.

Собрались в ольшанской хате и второй раз, другие рабочие и среди них — опять Вдовиченко, — и Токарев вновь читал им с равным удовольствием полюбившийся всем сатирический рассказ великого писателя.

«Свинья (кобенится). Правда ли, сказывают, на небе-де солнышко светит?

Правда. Правда, свинья.

Свинья. Так ли, полно? Никаких я солнцев, живучи в хлеву, словно не видывала?

Правда. Это оттого, свинья, что когда природа создавала тебя, то, создаваючи, приговаривала: не видать тебе, свинья, солнца красного!»

В ольшанской хате грохотали так, что казалось, от сотрясения воздуха вот-вот погаснет жестяная керосиновая лампа, висевшая над гольм, почерневшим от времени столом.

Токарев продолжал:

«С в и н ь я (продолжает кобениться). Правда ли, будто в газета печатают: свобода-де есть драгоценнейшее достояние человеческих обществ?

Правда. Правда, свинья... Так ты и читаешь, свинья?

Свинья. Почитываю. Только понимаю не так, как написано... Как хочу, так и понимаю!.. (К публике.) Так вот что, други! в участок мы ее не отправим, а своими средствами... Сыскивать ее станем... сегодня вопросец зададим, а завтра — два. (Задумываетси.) Сразу не покончим, а постепенно чавкать будем. (Соля, подходит к Праваде, хватает ее за икру и начинает чавкать.) Вот так!

Правда пожимается от боли. Публика грохочет. Раздаются возгласы: «Ай да свинья! Вот так затейница!»

Свинья. Что? Сладко? Ну, будет с тебя!.. Теперь сказывай: где корень зла?

П р а в д а (растерянно). Корень зла, свинья? Корень зла... корень зла... (решительно и неожиданно для самой себя) в тебе, свинья!

С в н н ь я. А! Так ты вот как поговариваешы. Ну, теперь только держись!.. Точно ли, по мнению твоему, есть какая-то особенная правда, которая против окологочной превосходнее?.. Сказывай дальше. Правда ли, что ты говорила: законы-де одинаково всех должны обеспечивать?..

 Одинаково обеспечивать... Держи карман — «одинаково»!
 Одинаково меня, тебя, Вдовиченко да нашего Георгия с догамисобаками!— зажег кто-то острой репликой давно созревший и не раз повтоорявшийся разговор.

Слово «одинаково» было в этой среде наиболее раздражительным и неуместным, коль скоро заходила речь о жизненной справедливости. Слово это произносили поэтому иронически и озлобленно. Какая, к черту, справедливость тут!

И не только с жизнью хозяина, фабриканта Карабаева, сравнивали они свою собственную жизнь (фамилия Георгия Павловича упоминалась, естественно, чаще других), но и вели речь шире, переступив очерченный для них самих круг смирихинской жизни.

Так, например, из газет,— в частности, из петербургских телеграми в «Киевской мысли»,— они узнали о недавнем приезде в Россию известного бельгийского социалиста Эмиля Вандервельде. Писалось, что он приехал для ознакомления с русским рабочим лвижением. Цензура ни разу, ни в одной из газет, не выбросила информации о суждениях Вандервельде (в противном случае на газетной полосе оставалось бы белое место — столь выразительный след вмешательства государственной власти...) — и карабаевские рабочие рассудили справедливо и не без юмора:

У этого Эмилия не опасная царю фамилия. Факт!

Два года назад, когда залны Ленского расстрела разбудили сместь и гнев во всех закоулжа Российской империи, смирихинские кожевники, махорочницы и мельничные рабочие вслед за питерцами, москвичами и соседями-полтавчанами бастовали один нь, з аработки второго дня пожертвовали семьям расстрелянных на Лене.

В маленьком, уездном Смирихинске не существовало никаких партийных обществ или групп, кроме официального, черносотенного «Союза русского народа», возглавлявшегося вечно пьяным стариком, штабс-капитаном в отставке Сливой. Политикой в чистом виде карабаевские рабочие, по сведениям жандармского ротмистра Басанина, не занимались, партийных связей с иногородниям подпольными кружками, а тем более — организациями, упаси бог, не имели, профессионального, ремесленного соду жества — для защиты свях экономических интересов перед Георгием Карабаевым — тожс как будто для себя в искали.

Везде, казалось, тишь да гладь,— а вот-вот иной раз задумаются вкупе ротмистр Басанин и тугодум-исправник Шелудченко об этой тиши да глади: да подлинно ли это так?

Нет, нет, тишина здесь, слава богу, подлинная, без начальственной ошибки — тишина, но... следить все же надобно!

Во-первых, как-никак эта история с защитой карабаевскими кожевниками бетлого польского рабочего из Калиша. Во-вторых, конечно, приосединение их к протесту всех российских пролетариев против кровавых ленских событий.

Правда, с тех пор в общественной жизни смирихинских рабочис вичего не произошло, но на примете и у ротмистра и у исправника остались не без причины брат гимназического учителя — Токарев (первым номером в списке), дубильщик Вдовиченко, однажды давший почитать газету «Правда» старику Кандуше, старик Бриних — мастер кожевенного завода: потому что — чех, а чехи все свободолюбивы, — и ряд других ольшанских рабочих, из тех, что пришли слушать теперь шедринский рассказ о свиные.

Заводские рабочие Ольшанки — люди в основном деревенского уческую адас полукрестьянской психикой — проявляли еще малую политическую активность. Но завод все больше и больше делал их пролегариями по образу мыслей, и ясно было, что в какой-то общий для всех рабочих — час эти мысли приведут их к необходимым классовым, революционным поступкам.

И часто приходило на ум Токареву:

«Ничего, ничего... Пусть это еще «малая закваска». Но ведь говорят: малая закваска, а квасит, однако, все тесто?..»

Глава восьмая

выпускной экзамен

Первым выпускным экзаменом была письменная работа по русскому языку — сочинение.

Сквер, разделявший обе гимназии — мужскую и женскую, уже с самого раннего утра был наполнен гимназистами и гимназистками. (У семиклассниц в этот день была письменная работа по математике.) Еще по старой привычке, созданной годами стротого школьного режима, юноши и девушки держались сначала порознь, по скверу плыли живые сцепляющиеся пятна серых гимназичсских курточек и праздинчимых, свежих и белых перединов гимназисток. Но вкоере эти пятна смешались: все были друг с другом знакомы, и волнение, царившее сейчас в молодых серщах, вымилось в общую шумную беседу, растекшуюся теперь в разные концы гимпазического с скверика. Гимназистки вслух, наперебой, вспоминали в последний раз заученные формулы, и чему равен злополучный «П», или разговор на возможные темы предстоящего сочинения: из Тургенева бучет или из Гоня арова?.

Еще почти час оставался до начала экзамена, но каждую минуту друг у друга проверяли время и напряженно всматривались в обе стороны улицы: не идет ли уже кто-нибудь из сегодняшних экзаменаторов — один из вершителей их судьбы.

Некоторые уединялись на скамесчках или, прислоинящись к дерев и держа перед собой учебник или «подстрочник», жадно передистывали его, стараясь наспех вобрать в себя коварную, ускользающую из памяти науку. Но стоявший кругом шум возмужденных громкик толсоев мешал сосредоточиться, отвъекал и тогда уединившийся закрывал вдруг книгу и бежал к товарищам. Эк, читай не читай — все равно теперь: перед смертью не надвишищься!

В сторонке оставались одиночки: это были экстерны, все—
врен; их было всего лишь два-три человека, и можно было сразу
отличить среди всех остальных экзаменующихся. Они были значительно старше обычного гинивазического возраста и нескли штатские косткомы. Перед этими людьми закрыли в свое время двери
казенной средней школы, потому что пятипроцентную норму для
школьников их нации уже заполнили другие. Это случилось лет
пятнадцать назад, и за это время они успевали делаться фармацевтами в аттеках, конторшиками и букталтерами в кредитных
обществах, но мысль об «аттестате зрелости» упорно не покидала
их. Они становились экстернами.

Они знали свою судьбу: на экзаменах их нещадио «резали», но через год и еще через год они вновь приходили, чтобы персепорить свою судьбу. Так навещают и тревожат иногда призраки убиенных совесть непокаранного преступника. Убийца иногда сожалеет о содеянном,— царская казенная школа лишена была и этого минутного чувства. Упрямых экстернов пропускали на всех экзаменах, но «резали» уже на последнем — на Тите Ливии или Овидии!

Придя в сквер позже других, Федя тотчас же начал разыскивать среди отдельных группок Иришу, но ее не было среди присутствующих.

— Ты не видел... вы не встречали Карабаеву?— спрашивал он почти каждого, обходя все аллеи.— Ну да, Ирину Карабаеву, чего вы так смотрите?

— Кому что, а ему Ириша на уме!— смеялись ему вдогон-

ку.— Нашел время, брат, играть в Ромео и Джульстту, Федул ты лучше скажи: по Тургеневу будет или по Гончарову?

Ему мало беспокойства: медалист — за год все пятерки.
 Словесность — конек его...

 Федул!— подтрунивали над ним другие.— Может, тебе инспектор Иришу заменит: вон, гляди,— идет Розум!

Идите к черту, парни! — беззлобно отмахивался он.

В душе ему было сейчас приятно. Это чувство имело двойную причину. Он был сегодня уверен в себе, не в пример очень многим своим товарищам, боявшимся важнейшего экзамена, за исход которого он, Федя, был спокоен. Он ловил себя на том, что даже умышленно играл перед всеми своим легким, небрежным отношением к предстоящему сегодня испытанию. Это не было бахвальством или кичливостью «первого ученика», какую нередко, например, проявлял в классе тихий во всем остальном Ваня Чепур,этому воспротивились бы натура, характер Феди. Но сознание своей отличной подготовленности к предстоящему испытанию позволяло уже быть уверенным в себе и проявлять свою уверенность в легкой игре ею. Но, может быть, не было бы и этой свободной, непринужденной игры, если бы в то же самое время, в те же минуты он не испытывал и другого чувства. Ему было приятно сейчас еще и оттого, что он мог не скрывать перед своими товарищами и подругами Ириши свое интимное отношение к ней, свое откровенное желание встречи с ней. Они любили друг друга,и пусть знают теперь все об этом!- думал Федя. Наконец он увидел Иришу: она только что подъехала к скве-

рику на заводской, карабаевской линейке, всегда доставлявшей ее и брата из Ольшанки в гимназию. Федя пошел ей навстречу.

— Здоавствуй. — сказал он нежно полуммая селостой оне

 Здравствуй, — сказал он, нежно пожимая ее руку. — Я соскучился по тебе.

— Вот как!— лукаво улыбиулась она.— А я — ничуть. Ну, ну... вот уж и поверил. Пойдем, пойдем туда, ко всем. Федик, я так волнуюсь сегодня. Воображдю, какие задачи придумал для нас макким Порфирьевич? Ай-ай, он уже пришел. Смотри, как окружили его все наши... Федик, доргой, — я не провалюсь сегодня?

Схватив его за руку, Ириша увлекла его в сквер, где, окруженный гимназистами и гимназистами, беспомощно тоитался на олном месте математих Токарев. Он старался казаться, как всегда, хмурым и строгим, но сегодня это ему мало удавалось. В зволнованность молодежи передалась ему.

- Да чего вы, в самом деле, пристали ко мне? говорил он нарочито грубым тоном.- «Намекните, намекните!» Да разве, господа, я имею право это делать? Вот еще выдумали... Пропустите меня. - я пойду в учительскую.
 - Ни за что не выпустим! шумели гимназистки.
- Нам с вами спокойней, Максим Порфирьевич, созналась Ириша.

Токарев оглянулся.

- А-а, спокойней, добродушно усмехнулся он, глядя на Иришу. - Со мной, говорите, спокойней? Так зачем же вы, мадемуазель Карабаева, так уцепились не за мою руку, а за руку сего молодого человека? Или он вас не отпускает, а?- мигнул он в сторону Фели.
- Поймались, голубчики? расхохотались товарищи. Отпусти, отпусти, Калмыков! Вот так, так...
- Намекните, ну, хоть немножечко намекните, Максим Порфирьевич. - умоляюще смотрел на него десяток девичьих глаз. — Не могу! Не имею права! Да, наконец, комиссия будет вы-
- бирать задачи, чего вы пристали? Отстаньте! А то дам вам нарочно такую задачу, что и в сутки не решите. Правда?- поймал он взглядом стоявшего вблизи Калмыкова. - Вот подшучу над ними и — оскандалю, — обороняясь от настойчивых гимназисток. старался он отвлечь их внимание. - Иные прочие серьезные «умы» уже оскандалились, господа. Спросите Русова или Калмыкова... Залача как будто простая.
- Максим Порфирьевич, скажите... ну, скажите, пожалуйста.— Многим показалось, что Токарев решился все же «намекнуть», выдать частицу экзаменационной тайны, но не сам, а устами названных им гимназистов, которым, очевидно, уже приходилось решать эту или аналогичную задачу.
- Калмыков! Русов! Где вы? Да скажите скорей, в чем дело... Вель это свинство же, господа! Раз Максим Порфирьевич разре-
- Не волнуйтесь, разоблачал Федя математика. Максим Порфирьевич пошутил. Он напрасно ссылается на меня и Русова.
 - Как не стыдно скрывать! возмутился кто-то.
- Ерунда, господа! вспылил Алексей Русов. Федя правду говорит.
- Сущую! У вас будет экзамен по тригонометрии, и никто не будет задавать вам таких задач, как предложил нам однажды Максим Порфирьевич.
- А вы скажите... ты скажи все-таки!- не унимались гимназистки и растерянно посматривали на посмеивающегося Токарева. Извольте, — сказал Федя. — Пожалуйста, проваливайтесь
- сейчас, как и мы раньше! Это задача не математическая, а скорей психологическая... То есть как это? — нарочно поддевал Максим Порфирье-
- вич. А ну, ну...

Он, воспользовавшись так искусно созданной им суматохой,

выскользнул из толпы и через минуту исчез в подъезде женской гимназии.

 Удрал Токарев! — крикнула одна из гимназисток, но всех уже занимала Федина задача.

— Это, конечно, интересио, но сейчас для вас, ей-богу, не существенно. Вот смотрите... Подложите-ка книгу под мой листок... неудобно иначе писать, — распоряжался он. — Ну вот, теперь смотрите... Даны девять точек, расположенных вот так.

• • •

 Если их соединить по краям, получается, господа, прямоугольник,— поспешил кто-то высказать свою сообразительность.

 Совершенно верно, продолжал Федя. Но не в этом дело. А вот требуется... требуется соединить все эти точки — или зачеркнуть — как хотите! Надо это сделать только чстырьмя линиями... не отнимая карандаша от бумаги.

Построить в прямоугольнике два треугольника с одним

основанием, -- очень просто!

 — Попробуй, — иронически огрызнулся Федя и вышел из замыкавшего его круга гимназисток, ища глазами Иришу.

Через три минуты выпускной класс смирихинской мужской пинавани должен был наконец узнать, кому в этом году попечон тель учебного округа отдал предпочение: Тургеневу, Гончаров или Гоголю,— тема сочинений присылалась всегда в запечатанном пакете непосредственно из округа.

В громадном актовом зале были расставлены черные столики и стулья (каждый на три шага от другого, как предписывала спениальная инструкция), а за каждым столиком сидел гимназист. Уже задолго до прихода экзаменационной комиссии гимназисты эккуратно разложили перед собой большие листы бумаги с отогнутыми полями, проверили перья и чернила, с максимальной тщательностью потом надписали именем и фамилией свой первый лист и — притихли в напряженном ожидании.

Минуты текли медленно и напряженно, как собранные со дна капли из наклоненной горлышком вниз бутылки.

 Идут!— крикнул кто-то, заслышав шаги в коридоре,— и зал, тяжело и протяжно вздохнув, застыл, онемел...

Быстро, не глядя ни на кого, вошел директор, держа в руках белый товкий пакет. Оба словесника, инспектор и классный наставник почтительно следовали за своим начальником. Весь зал встал, выпрямился, подчиняясь бессловесной, неслышной команде.

И, словно следуя той же команде, вышел из-за столика вперед маленький темный рыжик в очках — Вави Чепур — и начал читать громко и прочувственно молитву. И, кончая ее, широко перекрестился, а глядя на него, — и весь почти зал. Садитесь, господа, — сказал директор и весело обвел глазами бледные лица гимназистов.

Он имел право распечатать пакет еще полчаса назад, но не сделал этого, точно ему доставляло удовольствие держать в неизвестности не только гимназистов, но и всю экзаменационную комиссию и себя самого. Теперь он надорвал уголок конверта, осторожно просунул в него мизинец и прорвал им конверт по ребру. Он вынул оттуда плотный, вдвое сложенный лист и развернул его. Быстро прочел его и молуча протянул лист и конверт с сургучовой печатью ожидающим и переминающимся с ноги на ногу членам комиссии. Лист подхватил словесник Матвесв, ведший экзамен.

 Позвольте? — недовольно сказал инспектор и, в свою очерель, протянул желтую и дряблую свою руку.

Матвеев и двое остальных через инспекторское плечо смотрели на вскрытую тайну пакета.

«Да скорей же, черт возьми, объявите!»— неслышно кричал зал, но члены комиссии, словно забыв о нем, обменивались уже тихими, короткими словами и такими же встречными улыбками.

Наконец раздался голос инспектора:

 Господа экстерны, извольте сесть в первом ряду; поменяйтесь местами. Вот так. Иван Чепур, Вадим Русов, Алексей Русов и Федор Калмыков. пожалуйте поближе. Сюда. во второй ряд; поменяйтесь местами.

 Это чтобы у нас не списывали!— объяснял, покидая свое место. Чепур.

место. чепур.
Он был прав: инспектор разрушил надежды многих, ждавших помощи от «первых учеников».

— Господа. — начал Матвеев. — приготовьтесь записать тему сочинения.

Он подошел к переднему столику одного из экстернов и оперся на него свободной рукой; в другой, слегка дрожавшей, он держал присланную из округа бумагу.

Диктую, господа, тему.

И очень медленно, делая долгую паузу после каждого слова, покуда оно будет записано, он продиктовал:

— Лучше... Не жить... Иль вовсе... Не родиться... Чем... Чужой... Стороне... Под власть... Покориться...

...Прошло добрых четверть часа, но никто из гимназистов не начинал еще писать. Не начинал еще и Федя Калмыков.

Для него, как и для других, тема сочинения была неожиданна и маловразумительна. Растерянность, охватившая всесь зал, в первую минуту передалась и Феде. Но у него она быстро перешла в какую-то апатию, в такое же внезапное, но спокойное чувство безразличия к тому, над чем. казалось бы другим, обязан уже был думать горячо и напряженно.

Все — и по-разному — отвлекало сейчас его от основной и главной мысли. Минуту он следил (забыв о всем остальном), как ходит вдоль первого ряда столиков — медленно, заложив руки за спину.— низенький, кругленький директор, как саркастически пот-

лядывает он на безмолвно сидящих экстернов, которым это хождение директора взад и вперед перед их глазами в достаточной мере, вероятно, мешало думать, сосредоточиться.

И, словно в первый раз он видел этого всесильного начальника гимназии, Феля с пустым любопытством всматривался в его одутловатое розовое лицо с маленькими смеющимися глазами умициы и самодура, в его жесткие и курчавые селые волосы, разделенные на голове двумя боковыми проборами и спускавшиеся до половины щеки широкими выющимися бачками;

Когда уже всмотрелся и изучил это лицо, так же пусто и безразлично перевел вягляд в сторону, наткнулся им на рыжую лысеющую голову одного из экстернов с большими оттопыренными ушами и, скользиув небрежно глазами по этим ушам, посмотрел в открытое окно.

Верхушки тополя и акаций заглядывали издалека, из притихшего сквера, в скованный трепетом актовый зал. На зеленых, густо поросших листьях лениво, неподвижно покоился утренний солнечный луч. Федя не отводил от него глаз, но мысль сейчас вопреки всяким возможным ассоимациям и впечатлениям деловито и хлопотливо подсказывала: «...тема больше историческая, чем литературная... Начать с Ивана Сусанина, что ли?..»

А верхушки акаций скрывают от глаз угол большого светлозеленого здания; в этот угол заперт другой актовый зал — женской гимназии, в этом зале, тоже за столиком, сидит Ириша. — и Федина мысль неожиданно переносится туда.

Он вспоминает зал, в котором столько раз бывал на гимназических балах... И не Ириша встает в памяти, а почему-то лезет сейчас в глаза громадный, во весь рост, портрет царя, заключенный в вызолоченную тяжстую раму.

Царь в военной форме, в белых перчатках. Перед ним — маленький столик, накрытый свисающим до пола зеленым сукном, правая рука царя легко опирается на этот столик,

Федя старается вспомнить все детали портрета, старается восстановить в памяти каждую черточку в лице неподвижно стоящего царя, но память вдруг до крайности ослабевает, и царево лицо расползается, расплывается в Федином воображении, и он — в испут уже — начинает чувствовать, что так точно расползается, далеко убегает от него его мысль о другом.— о самом главном сейчас, об обузательном, данном ему. Феде, в исплатание сегодия...

Он оторвался от окна и растерянно посмотрел вокруг себа, на весь зал смотрел голубой портрет царя. Портрет был точно такой же, как и в женской гимназии, и висел здесь те же два десятилетия, но Федя сегодня его не заметил. Забъл о нем.

Он обозлился на свое легкомысленное отношение к экзамену, на свою растерянность, обозлился на неприятную тему сочинения и... на царский портрет; не подымая головы, он видел только на портрете черные царевы сапоги, упрямо наступившие на красную бархатную подстилку. Он вспомнил теперь ясно, отчетливо и лицо царя, но не пожелал взглянуть на него. «Патриотическая тема».— заставил он себя вернуться к экзаменационному сочинению и слово «патриотическая», как он сказал его самому себе, отождествилось в сознании с другим словом, со словом «политическая». Это уже дало направление его послегующим мыслям.

«Патриотизм... Да, я могу свободно написать о патриотизме, следовал уже за своей мыслью Федя, в десятый раз перечитывая заданную тему.— Я — патриот, я люблю Россию, русский народ, русскую культуру. Быть патриотом — не стыдно, но каким?»

«Конечно,— вилась рядом другая мысль,— а вот Ванька Чепур тоже «патриот»... и такую черносотенную гадость по этому поводу разовьет».

Ему опять стало не по себе. «Нет. нет. Надо опираться только на ушедшее... на историю». И вдруг цепкая память подсказала ему слова Белинского: «Любовь к отечеству должна вытекать из любви к человечеству...» Так, кажется? Как это я сразу не вспомнил? Точка! С этого начну. Эврика!

Он оглянулся: как будто еще никто не начинал писать.

Товариши вопросительно, с широко открытыми глазами смотрели на него, отжимали растерянно губы и недоуменно пожимали плечами: что делать, друг Калмыков? «Вот те, бабушка, и Юрьев лень!»

...Он обмакнул перо в чернила и наклонился над своим листом.

Глава девятая

начало тайны

В летнем саду играла музыка. Она услаждала слушателей во время антрактов, когда на сцене переставляли досрации и толпа бросалась из театра к клубному буфету пить ситро и кушать мороженое. Публика, толкаясь и теснясь, прохаживалась по аллеми. Те, кто постепенией, не доходили дальше последних зажженных фонарей; простонародье отдыхало в глубине сада, беспечно раскинувшись на теллой ночной земле.

Сад, как и весь город, стоял на горе. Он кончался высоким откосом. Вниз шли дикие яблони, орех и кусты лозника. Там пел прощальную песнь последний июньский соловей. Крадучись спускались туда люди по узенькой, обваливающейся тропинке. Там любили — робко и мятежно; в театр уже не возвращались.

Вдалеке — темная, заросшая водорослями, бельми и желтыми лилиями река. Вадоль берега — бельми и желтыми лилиями одинокие рыбачы огоньки. За рекой — влажные, сытые травы лугов. Кричат вдалеке лягушки, — бормочет и ворчит во спе река. У откоса стоит мечтатель. Он нашел глазами Большую Мел-

ведицу, но не знает, где Малая. Млечный Путь лежит в черном небе, как наследившая по земле мука из дырявых мешков.

Вдоль откоса прохаживается городовой. Звезды не увлекают его взора. Он будет дежурить сегодня в саду до поздней ночи: до

поздней ночи, вероятно, в летнем клубе Семена Ермолаича будут веселиться молодые студенты. Вот сколько их суетится по всему саду! Новенькие зелено-синие фуражки, новенькие штатские костюмы, цветные косоворотки с золотыми пуговицами, а в руках модные стеки или отцовская непривычная палка. Еще никто не пьян. Но будут: городовой приставлен для ограждения порядка.

Каждый год бывает так: напьются на радостях - сбрасывают с откоса садовые скамьи, портят резедовые клумбы, ругают известных в городе чиновников. Вдоль темного откоса ходит городовой. Здесь ему спокойней: на освещенных аллеях приходится часто козырять начальству.

У откоса еще назначают друг другу свидания. Влюбленных городовой не смущает. Напротив: его спрашивают, не видал ли он здесь такого-то или такую-то, -- городовой всех в городе знает, Антракт окончился: музыка перестала играть. Аллеи на время

опустели, откос — тоже. Городовой потянулся за всеми,

Словно выждав, покуда он скроется за поворотом, торопливо выбежала из-за деревьев низенькая полногрудая женщина в черных ботинках и белых чулках. Она побежала к тому месту, где, опершись на палку, стоял человек, любовавшийся июньскими 30лотыми звездами.

Пантелеймон Никифорович!— окликнула она.

Мечтатель быстро оглянулся. Это ротмистров писарь Кандуша тщетно искал в небе Малую Медведицу.

Они сидели теперь чуть пониже края откоса — за кустом. Кандуша лежал, опустив голову на мягкое колено тихо посмеивающейся женщины. Четверть часа назад они были в овраге.

- Очень вы, Пантелеймон Никифорович, сегодня нежный, Очень вы сегодня ласковый. Спасибо за удовольствие, что доставили... прижималась к нему Дуня, карабаевская прислуга. Пюбовь промеж нас полная, хотя и не официальная. А отчего всетаки, миленький, хочется официальных чувствий? - гладила она его волосы и вкрадчиво засматривала в его темные, наполненные ночью глаза.
- Вот уж не скажу, Дунечка. Полный я в этом деле граф. Витте...
- Необразованная немного я, Пантелеймон Никифорович. - Граф Витте, говорю... Сказал это я для интеллигентного объяснения. Значит — за всякие я реформы в этом самом деле. Понятно? Ты, Дунечка, воображай и поясняй себе в уме. Вот, например, ночь, кустик, птичка поет. Молодые люди целуются, милуются. Кустик, значит... Ноченька, пипль-попль, и все такое наслаждение, желание... А почему желания, Дуня..? Желаець того, чего не хватает, -- вот что-с! Официально если -- значит, все уже на месте, всего уже хватает. Ноченька уже тогда не нужна, птичка может и не петь, за кустик — зря прятаться. Господи боже мой, да разве это любовь, когда поцелуешь, скажем, прижмешь, например, и не удивишь никого?! Целуй, прижимай, подумают, - хоть и самое стыдливое на людях изображай, - удивления

нам совершенно мало! Раз официально, — желай не желай, — все равно, что заблагорассудится, можешь... Тайна-с, вот что для всямих чувств небеспременно необходимо... волненье-с, как масло для капии!

- · Не могу я так понимать, как вы, Пантелеймон Никифо-
 - Пипль-попль, Дунечка!
- И пиплю-полого вашу не понимаю. Сместесь все, кажется, и дразните. Я вам все дочиста рассказываю, даже чужне разговоры передаю, а вам ствыно будто, что вы мне ласку делаете... Велите все тайком да крадучись. Хоть бы раз прошлись со мной на людях... Обидно мне! Маня вот инженерная, бестоятковская прислуга все меня спращивает... Что это, говорит, ты, Дуня, кавалера вовсе не имеець? Такая, говорит, хорошеньсяя, а в польмо одиночестве. Или, говорит, гордости у своей богатой барыни набралась? Обидно мне! Хотела я ей сказать; уж я такого миленького имею, такого... да вспомнила про ваше приказание, да только и усмехнулась той Маньке. А мне хочется официальных чувствий!
- Я могу пройтись с тобой на людях, сказал бездумно, лениво Кандуша.

Он вновь мечтательно запрокинул голову и смотрел молча на путаный и мерцающий звездный путь.

- Можете? обрадованно подхватила она. Пускай мои господа увидют! Они здесь, в тиятре... Пойдем, ситром угостите.
- Погоди, едва скрывал он свое недовольство, ты иди сейчас. Ну, да — одна. Иди, иди, пока никто не видит откуда ты выдезаеци. А я...
 - А вы как же? приподнялась она.
- А я минуты через три приду. Понятно? Будто только что встретились.
 - Не обманете?
- Ревность Арцыбашева, пипль-попль! Подойду через три минуты... вместе домой пойдем.

Он ущипнул ее за ногу, и эта ласка показалась ей двойным обещанием.

- Хорошо. Иду, Пантелеймон Никифорович.
- Он остался один.
- И, как только она ушла, он забыл о ней. Он ни о ком уже не думал, да и не хотел думать. Разнеженный и расслабленный любовной встречей, он раскинулся теперь на земле, спокойно и бездумно глядя в темную, причудливо забрызганную звездами высь.
- Он созерцал. Кругом— не шелохнется, ничто не коснется тончайшей паутины ночной тишины. Только вдалеке журчит и бормочет лягушечым голосом река да из глубины сада изредка доносится чей-то быстро пропадающий возглас. Но в кустах — все

И вдруг Кандуша услышал сначала чьи-то приближающиеся шаги, похрустывание песка на аллее, затем вполголоса роняемые слова, становившиеся все явственней. Он поднял голову. Два человека приближались к откосу, к тому месту, чуть пониже которого за кустом лежал Кандуша.

В этот момент он сам еще не знал, что сделает: останется ли лежать или подымется и уйдет, досадуя на пришелыцев, нарушивших тишину, но через секунду он принял уже первое решение. Он услышал знакомый голос Ивана Теплухина. Но... но кто это второй с ним?

Кандуша медленно, осторожно опустил голову на землю, словно боясь, как бы не хрустнуло что-то в шее и не услышали б этого Теплухин и его спутник. Кандуша оставался лежать а спине, с широко откинутыми в стороны, неудобно положенными руками.

— Вот скамейка, сядем здесь,— коротко и тихо сказал незнакомый голос.— Отсюда — великоленный ландшафт, вокруг ни души: отличная обстановка для тихой и дружеской беседы. Вы не находите?— продолжал, очевидно, усмехаясь, тот же голос.

 Сядем. Пожалуйста, отвечал безразличным тоном Теплухин,— о, зачем такие предосторожности?..

В руках его спутника блеснуло круглое выпуклое стекло, и в то же мгновенье свет от электрического фонарика пробежал по краю откоса.

 Да, здесь никого нет,— деловито сказал незнакомец, засматривая вниз.

Кандуша вздрогнул, но не пошевелился. Густой куст лозняка скрыл его от фонарика.

— Теперь закурим,— тем же тоном продолжал теплухинский собесединк.— Хотите, Иван Митрофанович, моих? «Лаферм», высший сорт, по заказу, Вы как будто удивляетесь. Нет? Или вы недоумеваете, почему я так медлю? Ха-ха! Друзья могут позволить себе роскошь и мелких приятных разговоров. Впрочем, вот я уселся \, себе доскошь и мелких приятных разговоров. Впрочем, вот я уселся \, сес закурил.— и мы можем начать... Ну, дорогой мой, разговор вот какой...

Кандуша не знал точно, сколько времени он пролежал в таком положении. Он позабыл уже о неудобной своей позе, он перестал чувствовать свое распластанное, отяжелевшее тело, занывшее от неподвижности. Он слушал.

Нет, это не совсем верно. Кандуша вбирал, впитывал в себя каждое услышанное слово, наполняя ими свою память, как скряга — случайно найденными монетами свой жадный кошелек. Боже, кто это рассыпал на одном месте столько их — бистающих, новеньких и никем еще не поднятых с земли?! А бот еще одно, еще и еще, они откатились в сторонку, они утонули почти в пыли и лежат незамеченными и притавшимися. Нет, нет, счастливый скряга поспешно подберет и их — все, все — и найдет им местечем, всунет в уже наполненный туго, тяжелый и незакрывающийся кошелек... Всякая — даже махонькая — денежка напрасно не чеквинится!

Кандуша походия на этого счастливца — скрягу. Но если находку скупого счастливца можно было оценить и он сам всетда мог бы заменить без ущерба груду монеток несколькими большего достоинства, то совсем иная ценность заключалась в том, что услышал в этот вечер ротмистров писарь, 0, ее не постичь сразу, уму чуразуметь се сокрытое сверканье!. Нет, никому не скажет ои (никаким ротмистрам Басаннизм!) того, что сейчас узнал.

Господи боже мой, да не причудилось ли все это? Нет,- ис-

- тина, явь чудсеная...
 ...Запишите мой адрес, дорогой Иван Митрофанович,— вполголоса повторил незнакомец.— Ах вы чудак... ву, чего нервиичаете? Не ожидал от вас. Зачем целую пачку вынимать из кармана... смотрите. Омуажки пастепряли!
- Не беспокойтесь, громко сказал Теплухин. Не беспокойтесь, я вам говорю. Я сам... сам подыму. Ну, вот и все. Записывать незачем, и так запомню, переменил он решение.
- Ладно, так не забудьте. Ковенский переулок, дом номер... О, если почему-либо забыл бы этот адрес Иван Теплухин, ротмистров писарь Кандуша сможет ему напомнить. Пипль-попль,
- сударики!

 «Уходят», понял он, когда голоса обоих стали вдруг в меру полными и громкими, а слова ненужными и пустыми, как скорлупа, из которой вынули уже зерно.

Монетки были уже все собраны: рука жадного счастливца напрасно искала бы новых среди мусора и пыли. Кандуша осторожно приподиялся, несколько секунд прислушивался (из театра выходила публика, глухо прибиижался шум) и вскочил на ноги. Теперь только оп почуветовал, как затекло его тело. Он сделал несколько движений и, опираясь на палку, быстро выкарабкался, минуя дорожку, наверх.

Вот эта скамейка, где они только что сидели, вот белеют брошенье окурки... Кандуша опустился на скамейку, чтобы тотчас же вскочить. А, так, так... он должен тайком настичь их на аллее, рассмотреть лицо этого «незнакомца». («Незнакомец» ли он уж теперь.— хо-хо!)

Кандуша радостно, озорно ударил концом палки по земле и... осторожно, нерешительно поднял ее вновь: звук от удара был мягкий и что-то коротко зашующало.

Ротмистров писарь нагнулся, вглядываясь в бумагу: это был синий почтовый конверт. Кандуша поднял его: он был распечатан, но не пуст. В нем лежало какое-то плотное письмо. Конверт был грязен: на нем были следы чьей-то неосторожной ноги.

Кандуша чиркнул спичку — неудачно, но при мгновенном отблеске огня он успел прочитать:

«...трофановичу Теплухину».

«Потерял он!» — едва не крикнул на весь сад.

Сунул письмо в карман и побежал к выходу на улицу.

...Карабаевская Дуня металась, ища его среди хлынувшей из театра публики.

А он, стоя уже под фонарем, на боковой от сада улице, читал: «Любезный Иван Митрофанович...»— писал кто-то неровным, угловатым почерком. (Нетерпеливый Кандуша заглянул в конец писыма, нашел там подпись и, словно предваущая что-то отменное — интересное, примиокнул и ульйбудуся.)

Да, письмо было от женщины. Да еще от какой! Письмо от

Людмилы Петровны Галаган.

«Любезный Иван Митрофанович,— писала она.— Чтобы внести раз навсегда ясность в наши взаимоотношения, я решила написать вам. Запомните, что этим я никак не могу себя скомпрометировать. К тому же я уверена, что вы сами захотите уничтожить это письмо, и это целиком совпадает с моими желаниями. Да, возможно, что в начале нашего знакомства я дала вам повод думать, ... наши встречи приведут к чему-либо большему, чем то, на что только и могли надеяться остальные мои знакомые мужчины. Затем я исправила свою ошибку, но вы, я видела, отнеслись уже к этому недоверчиво, заподозрив с моей стороны обычную «женскую игpv». Напрасно, Иван Митрофанович. Если и была «игра», то только в самом начале и по причине, вряд ли могущей вас удовлетворить. Не обижайтесь, мой друг. Здесь такая утомительная скука, в душе я так презираю все здешнее серое общество, в котором приходится мне вращаться, что невольно я обрадовалась вашему приезду. Вы для меня, естественно, должны были показаться человеком «экзотическим». К тому же вас все почти здесь чуждались, а для меня это было совершенно достаточно, чтобы поступить всем наперекор. Отсюда - наши частые встречи в Снетине. Койкому они могли показаться «подозрительными», как, например, жандармскому офицеру Басанину — глупцу и животному («Ага, выкуси!» — показал Кандуша фигу кому-то невидимому), который не прочь в любую минуту «осчастливить» меня своим предложением. Ну, будем искренни, Иван Митрофанович. Я совсем не порицаю вас за то, что и вы -- осторожно и умно, правда, -- искали во мне женщину... Слава богу, я не стала вашей «idée fixe». Мне передавали, что традиционная «солдатка» на селе с большим успехом выступила в свойственной ей роли... Я, кажется, немного груба, но я терпеть не могу светского жеманства и ханжества. Ну. вот — теперь мы друзья, Иван Митрофанович. И, как другу, скажу вам еще раз. Я как бы утратила компас в жизни, я не вижу для себя пути, кроме... кроме того, по которому идут женщины нашей среды. Но меня этот путь не устраивает. Что делать? Впрочем, советов не ишу. Я сама решу, когда надо будет. Я говорила вам уже, почему это так случилось. Да, если бы не застрелился Сергей, все было бы по-иному. Басанин одно время служил с ним в одном и том же городе и знает, что это был за человек... Если бы я знала кому метить за эту смерть, - о, я жестоко, кажется, смогла бы отомстить,

Желаю вам удачи в жизни и всяческих успехов. До осени проживу в имении, а потом поеду в Петербург. Можешь мстить! — тихо засмеялся ротмистров писарь, пряча письмо в карман. — А мне разве жалко! Только у Пантелеймона Никифоровича разрешеньние получи, сударынька. — вот что-сі.

...Он опять нашел в небе Большую Медведицу, но не знал, где лежит Малая. А, наплевать на вас, недосягаемые звезды, на земле поважней теперь дела творятся!

Глава десятая

хмельной июньской ночью

Феля Калмыков вспоминал...

Это было еще только вчера: за несколько часов до попойки в летнем клубе Семена Ермолаича Федя был в гостях у Карабаевых в Ольшанке.

Семья Льва Павловича жила во флигеле, расположенном в саду и отделенном от заводской территории заборчиком.

Под вечер, когда умолкал завод, в саду, в карабаевском флигеле, оседала тишина, и наступала к тому же часу суспокоенность — наседжа, подобравшая под свой теплый уютный пух и крылья мелких цыплят житейской заботы и будинчиой суеты. В доме Софы Даниловы воцарялся тот плавный и ленивый час сытой провинциальной жизни, когда приходит вязкое, спокойное бездумые, а тело испытывает сладостную тяжесть отдыха. У тела не хватало движений. Количество их словно было рассчитано не на этот медленно тянущийся солиечной черепахой июньский день, к ясному золотисто-желтому предвечерью время шло нетороплом, оставив далеко позади себя погоню земных, человеческих дел и поступков.

Да и устраивать ли погоню за временем?

Семья, дети — этого было не только достаточно, нет — в этом заключалось то неизмеримо великое, что сделало ее, мать и жену, такой безгранично жадной к жизни — счастливой и безропотной рабыней.

В этом ее чувство было схоже с чувством мужа, Льва Павловича, Но оно было еще более полным и обостренным.

Она не требовала от жизни большего, чем было отпущено ее семъе. Семейное счастъе стало ее религией. В этом заключалась невзыскующая простота верования: милосердный боже, пусть ничто злое и сильное не заглянет в чашу жизни моей!..

Так и видела самое себя Софья Даниловна: молитвенно-гихо и осторожно нест она в руках хрупкий сосуд с неоценимо-драгоценной влагой жизни, и каждую капалов в сосуде бережно хранит она при неминуемых всплесках, когда шагает по ступенькам времени.

Она вообще не умела скрывать своих чувств и меньше всего умела внешне уйти от тревоги, которую испытывала всегда, когда дело касалось детей. За последний год это чувство все чаще и чаще посещало ее. Софья Даниловна не опасалась того, что новый, чужой человск заставит Ирину забыть или отодвинуть в пыяти всю и скрепленную любовью семью. Во-первых,— справедливо подсказывал рассудок и материнский инстинкт,— Ирина еще очень молучтобы решиться на какой-либо самостоятельный поступок, и первоечувство — словно коркь оно почти всегда не опасно, без неоживаных последствий, а во-вторых,— и что Софья Даниловна считала безуслояным,— Ирина если польбой к гого-нибудь, то уж, конодакого человека, который будет во всем духовно близок и родственен их, карабаевской, семье.

Условия воспитания, духовные качества дочери, наконец наследственные черты характера — все это должно же будет предопределить Иришии выборг. И если этот выбор когда-нибудь будет сделан, — о, как рада и счастлива будет Софья Даниловнаг. Случится то, что семья только увеличится еще на одного близкого, понятного и понимающего человека, и он уже может не сомневаться в материнской любви к нему софы Даниловны.

Она инстинктом своим угадала, что отношения между Иришей и Калмыковым значительно разнятся от обычных «гимназических» увлечений.

Кто виноват в этом? Может быть, частично и сама Ириша, но главным виновником Софья Даниловна считала Калмыкова. Почему? На сей раз ее доводы, по внутреннему ее убеждению, отличались точностью и несомненностью.

Из разговора с дочерью, да и по наведенным справкам она знала, что Калмыков — юноша настойчивый и самолобивый (вероятно, и тщеславный, — прибавляла она), что он не по воэрасту серьезен, ищет всегда общества старших, заражен политическим идеями (господи, того и гляди, в подпольщики готовится!.), и на до думать, как и все такие люди, полуутопист, подущиних во взглядах на семью, привазанность и чувство. А если он внутрение честен и искрение увлечен Ириной, то это еще опасней.— рассуждала Софья Даниловна,— так как в этом случае Ирише трудене будет разомароваться в нем, а она сама настолько хороша,— с гордостью думала мать,— что ему ли первым уходить от нее!.

...Федя беседовал с Иришей в саду, а вдали, сидя на нижних страневьках террасы. Софья Даниловна с ложкой в руках присматривала за первым вареньем из роз, варившимся тут же в медном тазике, помещенном на новеньком, наполненном углями треножнике. Над пенившимся вареньем кружклись осы, и Софъя Даниловна ревивво отгоняла их, замахиваясь просторным широким рукавом своего капота.

Ириша глубоко сидела в гамаке между двумя распускающимися тенистыми вишнями и, откинувшись назад, заложив руки за голову, слушала Федин рассказ о предстоящей сегодня вечеринке новичков студентов.

 Ну, вот и все,— заканчивал он свое сообщение.— За ужином нацепим на себя, все двадцать семь человек, серебряные жетоны на память об окончании и дадим обещание друг другу съехаться здесь через шесть лет. Ведь любопытно; кто кем окажется?..

- Любопытно, соглашалась Ириша, внимательно всматриваясь в него. На ее лицо набежала какая-то неясная мечтательная улыбка.
- Знаешь, очень любопытно. Ты, вероятно, будешь врачом, будешь сотрудичать в каких-инбудь журилалах... еще такой молодой, но «подающий надежды» доктор! Федулка, чего ты застенчиво усмехаешься? Тебе не верится? Ведь ты сам говорил мне об этом...
- Ну, ну, гадай! радостно улыбался он и, словно мешал сам себе слушать ее, слегка раскачивая гамак, — отнял от него руку и опереря ею о дерево.
 - Это ведь вполне возможно, Федя.
 - Допустим.
- Ну, вот я и говорю... Через шесть лет мы о тебе услышим что-нибудь такое интересное.
- Кто ж это «мы»?— неожиданно нахмурился Федя.— Отдаете вы себе, сударыня, отчет в этом слове?..— попытался он стать шутливо-строгим, но глаза смотрели тревожно и серьезно.—
- Кто же это «мы»? Ты тоже объединяещься этим словом?

 Ой, какой ты бываещь... смешной! Конечно, все мы знакомые: и папа, и мама, и я... Федулка, отчего ты позеленел так
 впруг? Что с тобой?
- Ты просто поймалась на этом слове, Ириша,— не отвечал он на прямой вопрос и уже почувствовал, что действительно позеленел, потому что в этот момент кровь отхлынула от его лица.— Ты выдала себя, Ириша.
 - Чем? Как?
- Очень просто! смотрел он печально. Через шесть лет ты, как и все другие, только услышишь обо мне? Только? А ты сама где будешь? Не там, где я? Не со мной? А я, дурак, думал...
- Ах, вот что! тихо засмеявшись, покраснев, высунулась она из гамака и тотчас упала в него, приняв прежнюю позу. — Ох, и придирчив ты!
 - Я не придирчив, я верен своему чувству.
 - Я тоже, Федя!
 - Так зачем же ты сказала?
 - Я не придавала в тот момент значения...
 - Ириша! А если я тебя вновь переспрошу?..
 - О чем?
- О том, где ты будешь не только через шесть лет, а... через четыре, три?

Он испытывал не только сильное волнение, но нечто, как ощутил, гораздо большее, с чем уже не мог совладать.

Он любит. Он ждет сейчас ответа на свое чувство, хотя давно уже его получил.

Я хочу,— ответила Ириша,— быть там, где ты.
 И вместе со мной, значит?

Он упрям, жесток, эгоистичен в своей настойчивости,— но ведь он любит и живет сейчас только этой любовью! Кто осудит его?

 И... вместе с тобой. Ну, Федулка, разве можно меня так смущать! Поди ты, право! Сам все знаешь, а нарочно так делаешь, чтобы я покраснела.

Ириша... Ира... Любишь? Крепко?

Она медленно, чуть кивнув головой, смыкает ресницы, а ее светло-карие большие глаза льют горячий, притягивающий свет.

Тогда Федя хочет броситься к ней, сесть с ней рядом... но издали смотрит с крыльца Софья Даниловна— и он останавливает себя, хватаясь обенми руками за сетку гамака и с силой притягивает его к себе вместе с полулежащей в сетке Иришей.

 Не раскачивай сильно, у меня голова кружится... Отпусти, родной!— почти шепотом молит она,— и он, торжествуя, выпускает из рук сетку.

Через минуту они ведут обычный разговор. Но так ли просто забыть, что любишь? Любовь! Что хранит в себе для Феди это древнее, но никогда и никем не забываемое слово?

Сейчас, в эту минуту, все забыто Федей, все подчинено этому чувству, и вся будущая его жизнь, всеь мир зарождаются, ведут свое начало с этой самой минуты, на этом самом месте, где сейчас находится он и Ириша...

Казалось бы, что он опьянен своим чувством, что, подчинив себя ему, он, как это бывает со многими, не отдает себе отчета в своих поступках и словах, что мыслъ его хмельна и безрассудна. Однако это было не совсем так, и он, — хотя и бессознательно, — но сам это чувствовал.

Как и все коноши его возраста, Федя не мог не испытывать сетсственной физиологической тяти к любимой девушке. Он вполне сознавал это при каждой встрече с ней, но эта тяга значительно уменьшалась, бала почти неощутима, когда не видел Ириши. Его отношение к ней не носило платоинуеского характера, но в то же время чувство его — любовь — не до конца было насыщено теми упримыми, ведущими за собой человеческую волю желаниями, какими полон человек, познавший уже однажды полноту любовной, интимной близости.

Он мечтал о том, что через несколько лет Ириша станет его женой, и тем самым должна будет наступить в их жизни эта самая предельная физиологическая близость, но он никогда не предвкушал ее, не заострял в этом направлении своей мысли и своего инстинкта. К девушке любимой он хранил чувство целомудренное и внутрение застенчивос.

Он сам провел черту, за пределы которой его чувство к Ирине могло, оказывается, и не идти.

...Утром, после пьяного ужина в клубе у Семена Ермоланча, Федя вспомнил все, что произошло накануне и после попойки. ...Он вышел из летнего клуба поздно ночью. Кто-то из озорничавших товарищей тянул его в глубь пустого сада, где молодые студенты назло оторченному городовому опрокидывали скамейки и сбрасивали их под откос. Городовой и сторож бегали из одной аллеи в другую, ловили студентов и тщетно угрожали им полицейским протоколом, Федя не помнит, принимал ли он участие в этой озорной возне, не помнит и того, почему, собственно, он решил раньше других отправиться домой и как он очутился в знакомом калмыковском перехлочке.

Он понимал, что пьян, что хмель крепко сидит в его теле, и ему хотелось поскорей дойти до своей квартиры. Вот он уже миновал парадное крыльцо. Еще несколько шагов — и второе, дедовское, крыльцо, а за углом дома — уже и его, Федина, дверь...

Но в этот момент, когда он поравнялся с черным калмыковским крылыцом, дверь тико заскрипела и кто-то в длинной белой сорочке быстрыми, но сонными шагами вышел во двор. Это была прислуга Калмыковых, Анастасыка.

— Ишь ты... куда? — окликнул ее Федя и протянул к ней руку. Она не предполагала илти дальше крылыца, но, увидев Федрого побежала, тихо засмежваниеь, к погребу, за на «нью которого и скрылась на минуту. Федя осторожно вошел в сени. И тут он неохиданно столкнулся с дедом.

Незадолго до полного рассвета старик Калмыков, проснувшись, встал с кровати и, надев халат, вышел на веранду.

Еще не ушла поздияя луна, но быстро, с каждой минутой, она теряла свой матово-желтый лак. Лиловое облачко торопливо пробежало по зардевшемуся краешку неба: там разольстся вот-вот первый нежный румянец еще недобежавшего солнца.

Кальмьковский двор спит. Но вот-вот польмется в конюшить какой-либо залежавшийся за ночь конь, ударит тяжелым копнатом по деревянному настилу и потянется мордой в пустые ясли — и разбудит своих чутких сосседей; какой-то из них заржет, другой порезвей — шарахнется задом в сторону, событ наземь непрочно укрепленную перегородку и протянет свои теплые, влажные губы в встрененувшемуся уху кобылы. Пойдет глухой шум по конюшие, и спросонок прикрикиет безэлобно на лонадей чутко спящий по-близости, на сенювале, ямщик; и все же перевернется на другой бок — удержать в приятном забытьи последние минуты неполного сна.

Конюшия первой предчувствует утро. А тотчас же за ней встрепенется наверху голубятия, и заворкуют нежные пары спачала коротко, словно для того только, чтобы перекликнуться, проверить друг друга, а потом клопотливей и уверенней.

В саду, за коінюшней, вспорхнет шустрый воробей, каркнет и прохлопает шуршащими крыльями бездомная кочевіница галка, в душном сарайчике встрепенутся бессчетные куры, индюки и гуси, и, как всюду и везде в этот час, ворвется озорно в чуть поколебленную тишину троскратный петушный клич.

Бегут в норы, под амбар с овсом, рыскавшие у помойки крысы.

Потом проснется человек: в ямщицкой избе, на сеновале, на кухнях.

Проснется первым хромоногий староста Евдантий. Он спит в амбаре, где овес и вся ценная упряжь станции, спит — летом не раздеваясь, не снимая шапки и тяжело пропахших дегтем сапот, со связкой ключей под головой. Он выйдет со своей клюкой, запрет амбар, поковыляет в конкошню. Обойдет, просмотрит все стойла, поворчит, пожурит, поразговаривает на одном ему понятном ззыке с хозяйскими лошадьми. И, выйдя из конкошни в сопровождении уже неизвестно когда примкиувшей к нему, такой же хромой, как и он, двороой собаки, пойдет будить ямщиков на сеновале, в избе,— чтоб вели они препорученных им коней на водопой к колодшу, чтоб зесыпали им корм.

Ямщики, потягиваясь и зевая, высыпают на двор босые, в исподнем белье, вспотевшие в теплом сене, взлохмаченные. Ведут лошадей на водопой, и сами тут же, у длинного и широкого желоба, добродушно и беспредметно матершинясь, обливают друг друга водой.

Умывался ли когда-нибудь старый Евлантий, — того никто не вилел.

Выкатится из-за безмятежно-тихого сада, прорвав тонкую, розовую паутину неба, раннее, еще незлобивое солице: сначала батряный полукруглый лоб его, быстро, вслед, через минуту — издалска пылающие щеки, и, словно залив их жидким, легким золотом, выйдет из-под лба громадный и лучистый глаз. Так будет спустя короткий час.

...Старик Калмыков сидел, не шевелясь, на веранде, вдыхая теплый свежий воздух.

Так он часто поступал: не хватает дыхания в душной маленькой спальне,— проснется, выйдет во двор, подышит свежим воздухом и вернется к своей постели, чтобы крепко поспать еще часокдругой здоровым утренним сном. Так должно было бы случиться и сегодия.

Возвращаясь в комиаты, Рувим Лазаревич услышал чей-то неосторожный короткий стук. Скорее машинально, нежели заподозрив что-либо, старик на ходу тихонько толкнул дверь и заглянул в сени. Вихрем мимо пронеслась Анастаська. Растерянно усмехаясь, стоял у стены внук.

«Поди сюда»...— молча поманил Рувим Лазаревич к себе пальцем Федю, и внук на цыпочках последовал за дедом. Старик вернулся на веранду и сел на свое прежнее место.

Басяк!— без гнева ругнулся Рувим Лазаревич и, улыбаясь одними глазами, посмотрел на стоявшего перед ним внука.

внука.
Они оба не знали еще, к чему должен привести так случайно начавшийся разговор. И в столь необычное время.

«Дома небось волнуются»,— вспомнил Федя вдруг о матери, которая с полуночи, вероятно, ждала его прихода, и в первый раз в эту ночь забеспокоился.

И он шагнул с веранды на ступеньку, но тут же в нерешительности остановился, боясь своим быстрым уходом оскорбить дела.

Рувим Лазаревич, неслышно посмеиваясь, смотрел на внука.
 Ему казалось, что внук смущен, побаивается его, и ему было это приятно.

Уже давно никто из близких не делится с ним. Рувимом Лазаревичем, ни радостями своими, ни горестями, уже давно он — словно забытый, покинутый людским вниманием столб, с которого сняли провода семейной жизни и протянули их над ним, поверх него. И оказалось, что провода оттого не оборвались, не упали, семейные интересы не остыли, жизнь вокруг течет и гудит, но все это в стороне от него, Рувима Калмыкова, не задевяя его.

Между ним и Федькой возникают теперь какие-то новые, близкие отношения — вог с этим самым синеглазым, слегка скуластым, как все прародители-калмыки, смуглым Федькой.

И Рувим Лазаревич, не зная еще, как и с чего должно сейчас проявить свое чувство к покорно стоявшему внуку, несколько минут журит его, добродушно повторяя свое любимое, по-своему произносимое слово:

 Басяк... Ах ты басяк такой! А если я твоей матери, Серафиме. скажу?

Феде неприятна, хотя бы и шутливая, угроза. Дел замечает это, и, вдруг испугавшись, что своими словами может вызвать со стороны внука неприязненное и подозрительное отношение к себе,— он,— никогда и никого не боявшийся в своей калмыковской семе, е и перед кем не отступавший, властный и черствый в своих требованиях,— ощущает сейчас свою собственную слабость и покорность перед этим неведомо что думающим, молчащим моношей.

— Нет, нет, я не скажу, Федька, — уже серьезно и ласково сворит он и, словно затем, чтобы придать своим словам еще большее значение, настороженно оглядывается по сторонам, вытягивая голову, и снижает свой голос до шепота: — Иди сюда, посиди с дедом минутку...

Феля салится:

— Как ваше здоровье, дедушка?

А тебя это в самом деле интересует?

 Ну, конечно, — искренне отвечает внук, секунду до того и не думавший, что его обычный вопрос будет нуждаться в какомлибо подтверждении.

И он спрашивает.

— Почему вы задали мне этот вопрос? Разве вы сомневаетесь в моих словах?

— Нет, нет, — поспешно сказал Рувим Лазаревич и положил слегка руку на плечо внука. — Мое здоровье — восьмдесятилетнее... хм! Вот доживешь, бог даст. Здоровье, здоровье...— тихо повторил он. — Только никто меня про него по-настоящему не спрашивает.

Он, очевидно, подавил в себе набежавший вздох, потому что рука, лежавшая на Федином плече, на секунду сжала его, и старик глухо и стесненно откашлялся. Федя почувствовал неожиданную жалость к нему, хотел сказать что-то утешающее, ласковое, но, зная, как и все в кальмковской семье, что дед не терпит — из гордости — всяких семейных соболезиюваний, считая их всегда услужливостью и заискиванием перед ним, смолчал, не желая быть дурно понятым.

 — А ты спросил по-настоящему! Я знаю: ты — по-настоящему!— продолжал вслух свою мысль Рувим Лазаревич и, отыскав на бледном лице боровшиеся с сонливостью глаза Феди, заглянул

в них своими серыми пристальными.

Он как будто в эту минуту проверял себя и внука, и какая-то нечаянная вначале мысль словно ждала только этой короткой проверки, чтобы потом уже овладеть полностью им. Рувимом Лазаревичем. Спокойно выжидающий взгляд Феди, его ответное молчание бъли тем наилучишим, чего желал сейчас старик: каждое слово, произнесенное в доказательство чувств, питаемых к нему, он счел бых как и подумал Феля, фальпиным и понинженным.

— Ай, босило!— впал он в прежний тон в разговоре, хлопнув осторожно внука по затылку и сдвинув его фуражку козырьком на нос.— Скубент! Гуляка! Молоко на губах не обсохло, а к девкам лезешь... Не моргай, никому не скажу, Федька,— неожиданно лукаво подмигнул он.— Чтоб ты поверил, что не скажу, я тебе один свой секрет открою.

И прибавил:

— Наследство — дело спорное, завещание в тайне должно быть. Ох, важное дело — завещание...— словно стараясь подтолкнуть, навлечь на себя Федино внимание, повторил Рувим Лазаревич слово «завещание».

«Если спросит сейчас, значит корысть у них есть,— рассуждал он. «У них» — это означало: в семье сына Мирона.— Мальчишка обязательно должен выдать все!»

Но внук молчал. Усталость и сонливость одолевали его. Он уже почти ни о чем не думал: все словно притихло в сознании. И вдруг — кто-то встрахнул его.

— "а тебе вот скажу, Федька!— услышал он и осознал конец какой-то длинной и недоходичной вначале фразы (это прорвалось теперь наружу брошенное в азарте интимное и сокровенное желание Рувима Лазаревича).— Ты только не болтай никому— не смей! Половину всего я твоему отцу оставлю— слепому, обиженному... Там... там у меня подробно написано, что и как. В общему не коколи половина. А после нето тыл. ты — наследник. Никому не смей мою тайну... Узнаю, что проболтался ты,— порву все, переничну!. Там... там все сказаню,— протянул он руку к темным окнам своей квартиры и сурово блестящими глазами всматривался во внука.— Никто, никто не знает... бумага у меня спрятана — там мое слово последнее, Федька. Сам я сказал, сам! Хочешь — покажу— неожиданно запетата он. — Хочешь?— поднялся старик,— Ты посили здесь тихонько. Я бумагу... бумагу только покажу— всего не довею!— покажу — всесто не довею!— покажу — всесто не довею!— покажу и можещь или спать. Я илу...

Федя вскочил и оторопело посмотрел на дела.

- Нет, нет...— уже переменил тот свое решение.— Иди спать.
 Завтра, когда-нибудь потолкуем... Иди и не смей болтать, слышиць?
- Хорошо, ответил Федя и, оглядываясь на деда, сошел с веранды.

Старик стоял на пороге в стеклянный коридорчик, вполоборога к внуку. Сквозь стекла коридорчика струился ввърачимо матово-розовый отсвет рождающегося угра, набросивший свои мяткие светящиеся пятна на плечо, на обнаженную шекь, на часть большой, еще не расчесанной седой бороды. Словно упавшая горячая слеза — блестела на сорочке маленькая перамутровая путовичка. Халат распактулся на стариже, сухзя, длинияя нога бызовынася чато в предед, из прорванной в носке красной туфли высовывался наружу кончик большого пальца.

Старик протягивал вперед руку: она дрожала, и пальцев оттого казалось больше, чем было, и все они словно болтались, по-

качивались, едва связанные с повисшей кистью.

Иди!— махнул он рукой, и Федя побрел к своему крылыцу...
 Ночь уже прошла бесследно, как высохшее на соляще бесцветное пятно. Ах, эта странная, полная неожиданностей, хмельная ночь!

Федя уже не хотел, не в силах был разобраться ни в чем, что случилось.

Он возвращался домой, нагруженный впечатлениями, как несильщик — беспорядочно сунутыми в его руки различными, крупными и мелкими вещами: лишь бы не уронить ничего, донести и сложить в одно место, а там уже каждый предмет найдет по указанию хозяина свою полочку и угол.

С этой мыслью он заснул.

Проснувшись, Федя узнал: сстодня на рассвете с дедом случисто удар. Никто не понимал истичной причины тэжелого заболевания старика. Никто — кроме его жены и сына Семена.

Старик Кадмыков не нашел в потайном месте, между отставшку друг от друга досок в шкафу, своей упрятанной пертаментной бумати. И он не знал, сколько месящев назад она унесла на себе в огонь Семеновой печки его, Рувима Лазаревича, последнюю земную волю.

Прилив гневной крови отнял у него дар суровой, карающей речи.

Глава одиннадцатая

НЕДАВНЕЕ ПРОШЛОЕ ИВАНА ТЕПЛУХИНА, «КОЛЕСУХА»

Каторгу Иван Теллухин отбывал в Александровском централе. С апреля и по осень гнал Александровский централ сотни каторжан на знаменитую «колесную дорогу»— к Амуру. Это прокладывали уже почти два десятилетия тысячеверстное шоссе от Благовещенска до Хабаровска. «Кому нужен этот путь, проходящий по голой, никем не населенной, утонувшей в тайге и болотах земле?!»— задавал себе вопрос Теплухин.

Ответ был прост и ясен, как прост и ясен был и сам старший конвойный надзиратель Гвоздев.

— Нам не дорога нужна, а ваша кровь, — сказал он однажды в присутствии Теплухина, и того поразила в ту минут не столько обнаженная откровенность надзирателя, сколько поистине дововитый тон, с каким это было сказано. И еще — гвоздевское лицо в этот момент: оно было покойно и безалобно, а большие янтарно-желтоватье, как у филина, глаза из-под реденьких седых бровей смотрели задумчиво и пороникновенных.

Он отвернулся и закричал уже, как всегда, своим визгливым и сухоньким голосом ретивого старичка:

 Тачки сломаны? Жалуетесь, каторжье чертово! На то и каторга, чтобы тычки были сломанные,— с целыми не мудрено!

каторга, чтооы тычки оыли сломанные,— с целыми не мудрено! Марш!..

Но сейчас он был уже менее страшен, чем минуту назад. Жестокость сильна скупым и тихим словом.

...До Иркутска от централа идут семьцесят пять верст пешком в кандалах, нагружены каждый полуторапудовой тяжестыю, голодиы,— и потому проходят не больше четырех верств час. Идет вместе со всеми и Теплухин. На голове узенький арестантский «пирожок», за плечами скатанная в халат казенная кладь, свое одеяло и белье, на ногах неуклюжие, грубые башмаки, натирающие на пятках нестерпимо ноющие пузыри. Ноги болят: несвобляме, укороченные кандалами шаги расшатывают и расслабляют и без того усталую поступь, и оттого все тело тянеств книзу, к земле. Но это желание запретно и наказуемо, нужно идти, не нарушая рядов, иначе случится то, что было несколько дней назад с шагающим вядом товарищем.

Этот товарищ, низенький желтолицый Загермистр, не вынес ормсной пытки: покрытые кровоточащими воддырями ноги отказались служить, не защищенная от солнца, одолеваемая им голова перестала соображать, настороженность, свойственная всем здесь, покинула его.— и Загермистр, забыв обо всем, опустился в изнеможении на землю. Ряд был нарушен.

 Товарищ Моисей!— оглянувшись на него, зашептал Теплухин.— Вставайте... дайте руку. Ведь бить будут!

лухин.— Вставайте... дайте руку. Ведь бить будут!
— Не могу больше!— И Загермистр уткнулся головой в зем-

лю, держа в дрожащей руке снятое с носа запыленное пенсне. И, может быть, спустя несколько секунд, опомнившись, он и сам бы поднялся, но было уже поздню.

 — Ага!— крикнул сбоку конвойный, и, врезавшись в ряды каторжан, растолкав их, он ударил упавшего высоко занесенным прикладом.

Раз, другой, третий — в бок, по руке, по плечу.

И, обернувшись, Теплухин видел, как сжавшийся в комок обороняющийся Загермистр старался подставить под удар висев-

ший за плечами мешок с вещами и как прятал от солдатского приклада свое маленькое, уроненное на землю пенсие, прикрывая его сгорбившейся, поставленной на пальцы кистью судорожно шарящей руки...

Довольно!— сорвалось у кого-то в толпе, и конвойный, услы-

шав это, бросился на голос.

Ага! Вон что!... орал он... Ага-а!.. Застрелю... И он метался вместе с другими солдатами по торопливо удаляющимся рядам, ища «виновного».

Он не найден, он никем не выдан, но тем хуже: ответит за это вся партия!

— Ага-а!... несется со всех сторон, сзади и с боков, разъяренный, азартный хрип конвойных.

Они щелкают затворами, подталкивают и бьют в спины прикладами, и десятки беззащитных, избиваемых каторжан, пуще всего боясь споткнуться и упасть, бегут, — держась своего ряда, быстро и неловко семеня закованными в сталь, израненными ногами.

Клубится пыль, хрипят и скрежещут мерно звеневшие раньше капалы, плывет по голой, необъятной земле стоустый, унылой запевкой, стон.

Так — до Иркутска, а оттуда до Сретенска везут по железной дороге.

Кто, побывав на Амурской колесной дороге, утеряет в своеи памяти сретенского капитана Лебедева, местного начальника конвоя?

Шапки долой! Смирно, окаянные!

Он ждал, с нетерпением ждал каждую партию амурских каторжан. Он встречает их тут же, на вокуале, принимает рапорт конвоиров, обходит понуро выстроившиеся ряды, пробетая по ним своими мутными и бегающими, как ртутные шарики, глазами. Кривая, весслая улыбка еще пуще растяпивает и без того большой жадный рот, и губы, сполашие каждая в сторону, набок, открывают подбитые золотом плоские передние зубы. Рыжие рогали нафоренных усов подняты кьерху, до самой скулы, и маленькая жирная ручка капитана Лебедева, поддерживая ус. нежно сворачивает кольцом его упругий, жесткий кончик.

Слу-ушай! Сознавайся, у кого кандалы распилены!

Еще раз обегают глаза молчаливую, насупившуюся толпу, и крутленький капитан Лебедев, стоя перед строем, приподнимается, вытячвается на цыпочках, заглядывая в глубь рядов.

 Р-равняйтесь на меня! Гляди честно в глаза цареву офицеру. Бунтовщики, отребье!
 Он долго не отпускает толпу, мечется и бегает по перрону все

с той же кривой, веселой улыбкой, но видно, как все чаще и чаще брандая судорожная тень набегает на его лоснящееся, розовое лицо: этот сброд застыл, окаменел,— ни одного звука, черт побери!

А он, капитан Лебедев, так ждал эту очередную партию! Вот ослушайся кто-либо, заговори, пожалуйся, и уже долго будут

помнить сретенского начальника конвоя. О, капитан Лебедев не позволит в своем присутствии бить прикладами,— в Сретенске наказывают розгами, но бьют только по голому животу: любит причуды темная царская каторга.

Сорвалось сегодня у капитана Лебедева... Но вот мелькает одна последняя надежда:

 Слушай команду, конвойные! Кто найдет распиленные кандалы, получит четвертак за пару. А у кого найдет — двадцать пять на пуп горячих!

Бегают по кандалам ощупывающие солдатские руки.

После обыска ведут всех к пристани. Баржа невелика, палуба огорожена высокой сплошной решеткой, и в узкие дверцы ее гуськом проходят каторжане.

Залезай в трюм!

Люк открыт, и в черный зев его вползают, ссутулившись, скованные цепями люли.

Трюм невелик и тесен; низенький, нависший над головой чернай потолок, маленькие, узенькие окна, пропускающие скупо ползущий и словно упершийся в тупик искривленный свет. Не погляди в окошко, и не знаешь — едешь или все стоишь на месте: крошечный пароход медленно тянет на буксире тяжелую баржу, как снатужившийся муравей — хлебную крошку.

За стеклом мягкий маслянистый плеск воды. Далеко от окошка на реке — опрокинутый в нее, рассыпавшийся диск предвечернего солнца, и на воде в том месте — растопыренный пучок вызолоченного света.

Теплухин не отводит от него глаз: он боится отвернуться от окажа, как будто позади уже — зияющая кромешная тьма, подкарауливающая его глаза, чтоб навсегда ослепить их

В последнее время, во имя сохранения самого себя, он развивал в себе бессердечность и сдержанное, скупое отношение ко всему окружающему. То, что в первый год тюремного заключения могло производить сильное впечатление и вызывало повышенное и обостренное реагирование, теперь уже совсем по-иному доходило до его сознания.

Внешне он сочувствовал страданиям своих товарищей по заключению: он делал все, что обыкновенно делается, когда испытываешь чувство сострадания. Он ободрял заболевших и умирающих, подавал им воду, оправиял их постстви, но делал все это потому, что именно так надлежало поступать в условиях тюремной жизни, а не потому, что его побуждало к этим поступкам внутреннее, душевное чувство— прийти на помощь другим узикувство.

Он сам никогда не считал себя мягкосердечным, а испытанные им самим страдания, борьба за самого себя — все это еще больше огрубило его, — он защищался,

Каторга была создана для умирания, для смерти. Людей бросили в тайгу, в болото, к сопкам, где смерть, забыв азарт мгновенной казни, расчетлиро копила для себя ее сапизм и сладострастье.

Кусает мошкара в болотах, бьет по темени тяжелое и жадное

солнце, душит в исступлении жажда в безводной пустыне, скрючивает, переламывает каторжанина дикая лесная амурская земля.

А позади него и рядом с человеком каждую минуту, днем и ночью,— такой же одичавший, исступленный, приученный наймит смерти — человекоподобный зверь с винтовкой в лапах и с эсленой кокардой на картузе.
Питерский рабочий, большеник Власов, попросил дважды за

Питерский рабочий, большевик Власов, попросил дважды за ночь выйти из палатки.— и, рассвиренев, быет его часовой прикладом, валит на землю и разбивает ему два ребра. И говорит наутро часовому конвойный начальник, подмигивая рапортующему помощнику.

 Плохо, что сломал ребра, в больницу проситься будет,— но молодец, что верен присяге!

Смотрят все люди исподлобья и знают, что присягали человекоподобные смерти. Одна надежда на время убежать от нее — попасть снова в тюрьму, в больничный околоток. И люди залезают по горло в наполненные водой рвы, калечат ноги, пыот махорку с солью, продевают иголки с шерстяными нитками сквозь одеревеневшую кожу.

Так собирает смерть на каторге свой хмурый оброк человеческих жизней. Дань велика и обильна.

Ах, помнит, часто вспоминает Иван Митрофанович и так же часто отгоняет прочь воспоминания о «колесухе», о централе, о худощавом и близоруком Загермистре, о питерском рабочем Власове, томящихся еще в недрах великой, темной каторги...

Но «колесуха» неумолимо вновь встает перед глазами, и тогда Иван Митрофанович, невольный данник своему прошлому, возвращается к нему, опять глядит во все его углы и тайники отъксивая в прошлом.— как в чужом обвалившемся доме, из сторого успел выскочить и спастись,— наиболее памятные, запечатателнимеся места.

Сидя в тюрьме, в одиночной камере, он по временам, в полосу поремного мертвого штиля, испытывал приступы тихого, медленно душившего отчаниия. Он знал, что это предтеча душевного заболевания. Крепкий телесно и до его времени не менее сильный психически, он чувствовал веру угрозу, более стращиую, чем смерть Тогда он напрягал всю свою волю и заставиял себя упрямо и подолу думать о том, что существовало сейчас далежо, за стенами тюрьмы, и не только об этом, но и о том, что было задолго до настоящего момента.

Будущее в такие минуты он не пытался постичь: он жил, как сам говория, во обратном направлении». В строгой последовательности, день за днем, он перебирал в своей памяти, собирал кропотливо все звенья пережитого, и.— словно цепь минувшего опущена была глубоко вниз, а сам он повис в конце ее, — он подымался теперь по ней осторожно, боясь сорваться на дно реальной, осязаемой жизни. И с каждым шагом вверх мысль становилась радостпей и спокойней, котя пережитое и не всегда было приятней и легче настоящего. Но каждый минувший день был ближе к тому последнему, утро которого было еще счастливым и свободным!..

Не с горечью ли и содроганием подумаешь о первом прикосновении кандальных браслетов, наброшенных на ногу умелым тюремным кузнецом?.. Не проклянешь ли час тот?

Вот рябой, одноглазый кузнец вынимает из кожаного фартука заклепки и приказывает сесть на пол:

 Держи ногу рядом с наковальней, — слышь! Да так, чтоб кольцо ей не касалось, а то ноге больно будет!

И кажется: вот-вот кузнец, заклепывая кандалы, промахнется и ударит молотком по выступающему горбику кости,— и страшно становится, вздрагиваешь, и закрываешь глаза, и боишься шевельнуть напряженно вытянутой ногой.

Остро пахнут сыромятной кожей поджильники. Еще не зная, как прикрепить их к поясу, растерянно берешь их в руки, поддерживая тем волочащиеся по полу кандлал.

 — Эх!— улыбается и прячет свои инструменты одноглазый кузнец. — Вы не смотрите, что на их ржа: недельку поносите, так очень даже серебром блестеть будут, отбелятся!

И вспоминаешь первые звенящие шаги в них — чужие, неуверенные шаги: точь-в-точь такие шаги у актера на сцене, когда, передавая чье-то страдание, горе, внезапное безумие, как призрак, медленно пошатываясь, идет он куда-то.

 Шагай! шагай!— хохочет кузнец, потешаясь над тем, как неловко старается Теплухин найти свой новый, рожденный кандалами шаг. — Тпру! Не торопись, а то щиколотку нажмешь!

Кажется, что упадешь, невольно тянешься за ремнем и отвешиваешь всем туловищем приниженный, робкий поклон.

Нет, не страшен памяти Теплухина этот первый кандальный день ведь ближе он, ближе к тому последнему, утро которого было еще свободным!..

А за спиной этого последнего вырастают все больше и больше, как поставленный чьей-то заботливой рукой, ряд фарфоровых, приносящих удачу слоников,— поистине счастливые дни далекой, неомраченной молодости.

И, взбираясь наверх по цепи дней, мысль Теплухина, уже выбравшись словно на поверхность, быстро бежит теперь мимо последних его годов и — утомленная — ищет приюта в далеком доме теплухинской семьи.

Вот... вот. его вдруг начинает умилять то, что раньше было даже неприятным и чуждым. И, перебряв в памяти каждую деталь, он синсходительно и добродушно вспоминает и ге настоящие форфоровые фитурки слонов, которые мать почтительно ставила на подзерждымик — на вышитой баркатной дорожке.

В памяти его живут не только люди, но оживают и вещи; мысль воскрешала былое спокойствие и уют.

А часто, когда воспоминания о былом не могут в полной мере отвлечь от беспощадной действительности одиночного заключения, приходит на помощь причудливая игра воображения — фантазия, Иван Митрофанович иногда, в моменты пребывания в общих камерах, встречал людей, которые, как и сам он, жили этим наркозом мысли.

Была своя фантазия и у Теплухина.

Он видел уже себя свободным от насилия тюрьмы. Мысль делая прыжок через пропасть незаполненных дней и годов, оставля далеко позади тяжелые, темные будни реальной жизни. И, перепрыгнув, она продолжала свой безудержный, фантастический бег, не видя уже никакой другой цели, кроме одной: безотчетной выдумки, неограниченного сочинительства.

Его собственный мир объят был пламенем гипертрофии; она сжигала все реальное, существующее и, полгоняемая встром фантазии, неимоверно раздувала его самого — Теплухина. Гипертрофировались честолюбие, воля, ум.— и все это в мечтах приносилось к подножию славы и самовозвеличивания.

Кем только не видел себя Иван Митрофанович! Но только не тем, кем стал в жизни...

Полтора года назад, зимой, в общей камере эсер из Полтавы,

студент-филолог, радостно сообщил:

- Иван Митрофанович? Вам, как эсеру, могу сообщить: я встретился на прогулке с товарищем из новой партии ссыльных присланы соода по киевскому делу, Вот видите оказывается, не всю еще Россию усмирили! А вы говорите!. Рана затягивается, растет новая кожа. Она еще тонкая, молодая, но все-таки рана вылечивается.
- Вы думаете? Вот эту молодую «кожу» опять содрали: пополнили централ еще несколькими людьми.
- Ну, и что же? Так было и так будет если хотите знать!
 Да, да! Но в Киеве все-таки работает подпольная организация. Она хорошо законспирирована, она будет медленно, но верно делать свое дело. Есть люди, которые ей искренне сочувствуют.
- Сочувствие не браунинг стрелять не будет!— угрюмо покосился Теплухин.— Одна метафизика — это сочувствие.
- Я не хочу с вами спорить, Иван Митрофанович, Я хочу поделиться с вами радостью. У кневлян — настоящая организация. Они налаживают свою типографию, у них есть даже связь с военными. Да, да, представьте себе: с военными, с некоторыми военными. Эти люди дакот им денью;
 - А не охранка ли дает? А потом провал?
- Идите к черту, Теплухин!— возмутился вдруг студент.—
 Слышите к черту, я вам говорю!
 - Ну, допустим.
- Не допустим, а факт! У организации есть деньги. Но этого мало. Они тонко и по-настоящему работают. Эти товарищи случайно провалились, но там остались такие, которые удержатся! Вы знаете Голубева?
 - Киевскую знаменитость? Монархиста?
- Ну да, студента Голубева о нем теперь часто слыхать.
 Так этот Голубев...

- ...член подпольной организации, скажете?
- Ваша ирония, Иван Митрофанович, может вам показаться не совсем беспочвенной. Ей-богу! Нет. этот Голубев имеет товарища по университету... Так вот этот студент — наш! Вы понимаете?
 - Пока по-своему только.
- Как хотите! Только я вам должен сказать, что этот студент, который эдружить с Голубевым и ходит при шпаге, умеет выкрадывать из типографии «Двуглавого орла» шрифт, а по ночам читать молодежи замечательные рефераты.

Этот разговор происходил зимой в конце 1912 года. А в начале весны следующего года иркутский генерал-губернатор «совершенно секретно» сообщал в Санкт-Петербург, в департамент полиции:

«Начальник Александровской каторжной тюрьмы при допесении своем от 8 марта сего года представия мне завъление государственного преступника Теплухина Ивана Митрофановича, социалиста-революционера, и донес, что Теплухии, осужденный на каторжные работы по делу о беспорядках в Полтавской губернии, обратился через него ко мне с просьбой о переводе его в Иркутский торемный замок, где бы од, будучи удален от сотоварицей, подлежащих вместе с ним вторичной отправке на Амурскую колесную дорогу, мог бы сделать важное сообщение.

Вследствие этого я предложил Теплухину через особо доверенного чиновника Губонина представить мне более подробное объяснение по сделанному им заявляенню, а перевод его в Иркутский тюремный замок назначил после высылки всех его товарищей, чтобы он, не стесняясь присутствием их, имел возможность сделать обещанное разоблачение.

Но Теплухин этого не сделал, чем полал повол предполагать, что ходатайство его о переводе в Иркутск имело другие побудительные причины. Однако спустя неделю мне было вновь представлено прощение Теплухина, в коем он просит дать возможность ему в обстановке, не вызывавшей бы подозрений у его сотоварищей, сообщить уполномоченному мной лицу подробные сведения, обнаруживающие лиц, участвующих в революционном движения.

Мною вновь был откомандирован г. Губонин, имевший с Теплухиным подробную беседу в больничном околотке. Сообщение, сделанное Теплухиным в форме подписанного им заявления в департамент полиции, при сем препровождаю.

Глава двенадцатая

ЧТО УСЛЫШАЛ КАНДУША

Уже почти вся публика хълычула из сада в театр досматривать спектакль, когда Иван Митрофанович, задержавшись в буфете, горопливо вышел оттуда в сад. Едва он сделал несколько шагов, как кто-то, поравнявшись с ним, вежливо и тихо окликиул его:

На одну минуточку, Иван Митрофанович...

Он приостановился и повернул голову в сторону говорившего, Тот приподнял вбок свою панаму, обнажившую наголо выбритый шишковатый череп, учтиво поклонился и, пристально улыбаясь одними только глазами, сказал:

Добрый вечер, Иван Митрофанович. Припоминаете?

И Теплухин узнал тотчас же: черная, густая и круглая бородка и тонкая, совершенно лишенная усов верхняя губа, гладко выбритые щеки. — такое необычное распределение растительности на лице делало его быстро запоминающимся, знакомым,

 Губонин!.. Вы здесь? — воскликнул Иван Митрофанович и оглянулся по сторонам, словно убоявшись того, что кто-нибудь мог услышать эту фамилию.

 Я вполне понимаю ваше удивление, но я — здесь. Здравствуйте, здравствуйте, Иван Митрофанович.

Панама покрыла голый шишковатый череп, секунду примашиваясь на нем аккуратно, затем освободившаяся рука медленно вытянулась вперед, поджидая встречную,

 Это не обязательно! — отступил на шаг Иван Митрофанович, не отводя взгляда от губонинской руки. Она не отдернулась сразу, но спокойно загнулась кверху, и сухие тонкие пальцы два раза щелкнули с отдачей, выдержав короткую паузу.

 Тэк-с. Однако, господин Теплухин, это не может помещать моему решению: я должен с вами поговорить кое о чем. Вы отлично меня понимаете, налеюсь, Пойдемте, Стоять на одном месте не рекомендуется: зря только привлекать к себе внимание... Вот уже добрых полтора часа я издали наблюдаю за вами — и здесь и в театре, и мне не хотелось вас тревожить. Но, посудите сами, я ведь для этого и приехал сюда!

Они уже медленно, останавливаясь почти после каждой фразы и поглядывая друг на друга, шли по саду: у обоих была сейчас одна и та же походка. Они оба были равного роста и телосложения. Со стороны оба походили на мирно, деловито беседующих людей, которым некуда торопиться, у которых нет сейчас никакой заботы.

Они еще не вышли из полосы света, падавшего с разных сторон от двух больших шарообразных газовых фонарей, и Теплухин хорошо видел своего неожиданного собеседника.

Губонин бросал исподлобья внимательные косые взгляды, коротко задерживавшиеся на теплухинском лице и сразу же соскальзывавшие с него и пропадавшие где-то в стороне, как только Иван Митрофанович замечал их.

Губонин вертел в руках маленькую помятую веточку сирени. Он каждую минуту подносил ее к носу, а Иван Митрофанович думал в этот момент, что Губонин делает это нарочно, чтобы закрыть веточкой свой годый, незащищенный рот, вокруг которого, как показалось, блуждала неясная, едва сдерживаемая улыбка внутренней несобранности.

Приезд Губонина и встреча с ним поразили Ивана Митрофановича, тем более что он не представлял себе точно, в качестве кого, с какой целью приехал сюда этот человек. Цивильный костюм и панама Губонина скрывали ето принадлежность к акому-либо ведомству. Но что неожиданная встреча с этим человеком таила в себе опасность для него, Теплукина,— он инстинктивно почувствовал это тотчас же и потому насторожился.

 Там, у откоса, я высмотрел удобное место, продолжал разговор Губонин. Сейчас там пусто, и нам никто не помещает.

Не правда ли?

 Как вам угодно. Мне все равно, — сдержанно ответил Иван Митрофанович и свернул круто на боковую аллею, которая была

кратчайшим путем к откосу.

Ему действительно было безразлично в этот момент, где произойдет их разговор; он хотел только одного: чтобы разговор этот как можно скорей вскрым цель губонинского приезда, чтобы наступила наконец какая-либо определенность, потому что ему казалось, что Губонин станет хитрить, присматриваться к нему и проверять свои наблюдения, а Иван Митрофанович ждал сейчас точных вопросов и предложений.

«Да, вот именно — какие-то предложения хочет сделать Губонии, чего-то обязательно хочет добиться!»— решил Иван Митрофанович и пожалел, что в аллее темно и он не может в эту минуту увидеть как следует губонинского лица.

Он ускорил шаги. Аллея показалась темней и уже, чем была на самом деле. Теплухин почувствовал себя словно сплюснутым, сжатым разросшимися с обоих боков деревьями. Он потерял свободу движений, он ощутил внутреннюю скованность.

Подошли к откосу, сели на скамью. Когда забетал ощупывающе, со стороны в сторону, губоннекий электрический фонарик, Иван Митрофанович инстинктивно чуть-чуть отклошидся порывисто от своего соседа, как будто бы тот намеревался сейчас бросить и в его лицю резкий пумо недоверчивого света.

 Начнем, пожалуй...— иронически пропел Губонин. Он держал в руках папиросу и вынутую из коробки спичку, но не зажигал их.

Что вам надо? — прервал его Иван Митрофанович.

 Вы правильно, но поспешно ставите вопрос. Не торопитесь,— тем паче что ответ... ну, ближе, скажем, чем вы сами пред-

полагаете. Простите... Одну минуточку.

Спичка высекла о коробок хилый, робко вспыхнувший огопск. Схинда— и он, мортиув печально, умрет. Но Губонии, умело держа спичку, заботливо и осторожно закрыл е стубоким и плотным полукругом друг к другу сдвинутых ладоней. Палыцы легонько повертели спичку, — фиолетовый огонек медленно схватил ее кончик и вдруг жадно побежал по ней вверх.

Губонинские ладони светились изнутри восковатым ровным светом. Он поднес — уже небрежно — сгорающую спичку к торчащей во рту папиросе, зажет ее и отбросил спичку на траву.

И покуда он все это делал, Иван Митрофанович, против своей воли, сосредоточенно и с любопытством следил за судьбой огонька.

- Ну, вот... я и готов,— тем же спокойным тоном продолжал Губонин, затягиваясь папиросой; сухой табак потрескивал и ронял крохотные искорки.— Я вовсе не хочу затягивать разговор,— если вам это могло показаться почему-либо. Ни в коем случає! Но когда люци собираются говорить интимно и проникновенно...
 - Ого-го!
- Не иронизируйте, Иван Митрофанович! Повремените. Прошу верить: наша бессаа должна быть интимной и задушевной. А вот в таких случаях люди стараются устроиться поуютней и — внутренне — поближе друг к другу.
- Что вам угодно? вновь повторил Теплухин свой вопрос и озлобленно посмотрел на собеседника.
- Губонин сидел сгорбившись, подавшись корпусом вниз, упираясь локтями в широко расставленные колени. Это была поза бездельника, ничем не озабоченного мечтателя, но ни в коем случае не человека, собиравшегося вести осторожный, строго конспиративный разговор, и Теплухин недоуменно подумал об этом и еще пуще разозлилося.
- Мие угодно,— не меняя позы, сказал Губонин,— довести до вашего сведения, что я переменил место службы и живу теперь в Петербурге. Затем: по роду своей службы я уполномочен в числе прочих своих обязанностей интересоваться вашей судобой. Вы меня, надсеюь, понимаете? Еще одно замечание: последний год вашей жизни известен всего лишь трем официальным лицам, считая и меня. Знал кое-что еще один человех иркутский генералубернатор, но, как вам, вероятно, известно из газет, он скончался недавно.
- Меньше одним прохвостом!— не утерпел Иван Митрофанович, но совсем, совсем не это захотелось выкрикнуть сию минуту; он уже догадывался о цели губонинского приезда!..
- Напротив, все тем же невозмутимым тоном возразил Губонин. — Старик был ревностным и честным служакой. Впрочем, не в этом дело. Объезжая юг, я заехал в Смирихинск повидаться с вами и просить вас об одной услуге.
 - Никакой!— все более и более ожесточался Теплухин.
 - Не торопитесь с ответом, Иван Митрофанович.

Подброшенная щелчком папироса полетела в траву, Губонин выпрямился и поправил сползшую набок панаму.

- Вы сами поймете, Иван Митрофанович, тихо, но настойчиво произнес он, что есть вещи, которые каждый из нас уже обязан сделать. Не правад ли?
- Я не буду служить в охранном отделении,— знайте это!
 Я отказался от борьбы с вами, это не значит, что я буду служить вам.
- Формула ясная, но не устраняющая возможности нашего с вами соглашения. Я отнюдь не предлагаю вам служить в охранном отделении.
- То есть... как же это?— сбился в мыслях Иван Митрофанович и перевел взгляд на своего врага.

Густав чернав бородка медленно поползла навстречу, всля за собой голый, тонкий рот с острыми, приподнятыми кверху уголками. Бородку эту Теплухии видел и раньше сще, на каторге, но сейчас, на ночном свету, она показалась ему почему-то неживой, нарочитой. Бородка путала, сбивала с толку Теплухина, а вот, казалось, сорвать ее с губонинского подбородка, оголить его, и Губонии сразу станет совсем понятным, разгаданным.

— Служитъ у нас я вам не предлагаю, Иван Митрофанович. Прекрасно понимаю, что вы не можете стать таким «профессионалом», каких у нас много. Надо быть глупым и некультурным жандармом, чтобы на это рассчитывать. Прелышать вас золотыми копейками, сделать вас платным осведомителем.— это не входит в мои планы.

- Вы пытаетесь быть «умным жандармом»?

 Не надо колкостей, Иван Митрофанович, умный я или глупый — на это я вам потом отвечу. Ну, так вот. Вопрос ставится не о службе у нас.

Короче, пожалуйста. Какой подлости вы ждете от меня?
 Какой еще подлости?— легонько засмеялся Губонин, но

- Какой еще подлости?— легонью засмеялся Губонни, но тотчае же принял евой прежний, спокойный и бесстрастный тон.— Вам угодно употреблять это слово? Какой услуги? Меньшей, во всяком случае, чем та, какую вы уже однажды оказали государство, бесего со мной в Икругском тороемном заммес. Вы, консретьо, все помните? Та-ак... Условимся, значит, что вы все помните. Благодаря вашему показанию остатки кневской организации спустя несколько месяцев...
- Можете не сообщать, прервал его Иван Митрофанович и сам удивился тому, что голос его, сорвавшись, прозвучал ядруг громче обычного, хотя слова еще за несколько секунд до того были наготове для ответа, так как предчувствовал уже, о чем станет говорить Губония.

Черная бородка вновь приблизилась:

— Вы меня простите, Иван Митрофанович, мне было бы прият-

ней вести беседу в другом тоне, но... вы сами виноваты.

Он заметил в этот момент на теплухинском пилжачке прилепившийся к вороту грязный, завернутый в паутину лист, упавший, очевидно, когда шли темной аллеей, и, не прерывая своих слов, осторожно и предупредительно снял его и бросил наземь. Иван Митрофанович инстинктивно скосил глаза к вороту и потер его рукой, но там уже ничего не осталось.

— Можно смело сказать, продолжал Губонии, — что киевская организация была ликвидирована исключительно при вашей неожиданной помощи. Смешно отнекиваться, Иван Митрофанович! Правда, вас никто не может в этом заподозрить. Арестованные и по сей день думают, что их провалил голубевский «приятель». Увы, он убит при попытке бежать из-под ареста.

 Я ни на кого не указывал, я не знал ничьей фамилии, защищался уже Иван Митрофанович и сам понимал, что обороняется от собственной своей памяти, что успокаивает ее, старательно скрывается от нее, как делал все это время после приезда из катопги.

Правда, он умел совладать с собой, он умел, когда нужно бымуершвлять свои воспоминания, и яд в таких случаях оказывался почти всетда испытанным и сильно действующим. Этим ядом была его собственная сеободная жилле. Она была сильней всего. Перед самим собой он не бозяся сознаться в том, что чувствует себя ее бесконечно обязанным холопом, до фанатизма преданнейшим рабом, в душевном исступлении падающим ниц перед каждым се мельчайшим, но доступным ему проявлением. И он имкогда не покаядкя быс

 Совершенно верно: вы не знали ни одной фамилии, кивнул головой Губонин,— но факт остается фактом. Вы не со-

гласны разве со мной?

Иван Митрофанович чуть-чуть отодвинулся: Губонин глубоко положил ногу на ногу, ступню на коленку, и неловко зацепил носком лакированной туфли его брюки.

«Даже не извинился», - подумал Иван Митрофанович.

Губонин, придерживая обемми руками ступно закинутой ноги, мерно раскачивал свой корпус. Голова его была немного откинута назад и глаза устремлены в сторону Теплухина, но не на него, а куда-то выысь.

Неподалеку раздалась хриплая, кряхтящая трель дергача. От неожиданности оба вздрогнули, и Губонин быстрей обычного сказал:

Я знаю: вы не откажетесь выполнить нашу просъбу. Тем паче что требуется в конце кондов сущая еруила. Хотите — прямо? Извольте! Вы должны будете поделиться с нами вашими впечат-дениями о «делах и днях» небезызвестного вам человека. А может быть, и не одного, а двоих.

О ком вы говорите? — не без сильного любопытства спро-

сил Иван Митрофанович.

Одну минуточку, Иван Митрофанович. Что касается первого, то он займет у вас не так уж много времени, ей-богу! Ну, летние месяны, ниогда — в середине года. А второй не столь важен, но при известных условиях — любопытен. Ну, теперь изволите догадываться, что я говорю о братьях Карабаевых?

— Они опасны вам? Вы их боитесь?— насмешливо посмотрел на врага Иван Митрофанович: слова Губонина его по-настоящему удивили, и в эту минуту он был занят только мыслью об этом, забыв даже коварный и обидный смысл губонинского предложения.

Почему-то стала забавной одна мысль о том, что всекльная русская охранка, справившаяся с *боевыми* рядами революции, трусит, оказывается, перед еще более трусливыми и совсем беспомощными в политике, по его мнению, людьми, какими считал общественных деятелей типа Льва Карабаева.

Вот те на! Пуганая ворона и куста боится... И, неизвестно отчего, он вспомнил вдруг не обоих Карабаевых, а самодовольно ульбающиеся, спрятанные за очки глаза красноречиво вздыхаю-

щего адвоката Левитана. «Видали такого... словометателя, ха-ха-

ха!»- И Теплухин невольно рассмеялся.

— Неужели они опасны?! Нет... ну, о чем же тут разговариваты! Спите, госпола хорошие, спокойно. Никаких таких «впечатлений» я вам не буду докладывать. Не собираюсь и не буду, — уже твердо и облегчение сказал он. — Ну, пора нам расстаться, — спелал он попытку встать, но в тот же момент почувствовал, что этом бессал их не окончится, не может окончиться. И он остался на месте, неловко заеравн на скамые.

 Не будете? — качнулось назад губонинское плечо и — застыло.

Н-не хочу!

— Ах., Иван Митрофанович, Иван Митрофанович! Темперамента в вас много. Но, впрочем, ближе к делу!— оборвал Губонин себя и выпрямился на скамые. — Еще раз напомню вам: кнеплянето — ваших рук дело, а? Ведь «просвещенные, демократические слюнтяи, если бы узнами, немедленно объявлил бы вас предателем.— не так? Одну минуточку, Иван Митрофанович,— спохой-ней. Я не угрожаво. Я только помогаю вам проданализировать создавшееся положение. Далее: кое-кто имет бы полное основание считать вас виновыком смерти близкого человеко.

 Вы — убийцы, — глухо сказал Иван Митрофанович. — Я лично не знал никакого голубевского студента.

 Но потому, что нам стало известно о его существовании, мы и открыли все. Но не в нем дело. Вы не знали также офицера Галагана!

— Я?.. Erò?..

Да, вы — его!

 Я ничего не понимаю, господин Губонин. Вы просто клевещете и приписываете мне подлость, в которой я неповинен. Это, конечно, «стиль» охранки!.. При чем здесь Галаган? Какой офицер?

В голосе Ивана Митрофановича появилась хрипота придушенного гнева.

Упоминание фамилии Галагана было самым неожиданным из того, что случилось в сегодняшний тяжелый вечер.

Еще только час назад он думал о Людмиле Петровне, он вспоминал каждую фразу ее письма, лежащего сейчас в боковом кармане, обсуждал письмо, подыскивал решение... Еще только час назад, читая в письме о поручике Галагане, он меньше всего обратил внимание на это место в послании Людмилы Петровны, потому что никогда и ничего не знал подробно о ее муже, за исключением того, что он застречлился, но поему — Людмила Петровна не считала нужным рассказывать, а сам он, Теплухин, не испытывал такого интереса, чтобы разузнать и даруг Губонин,— кто же?— Губонин!— напоминает почему-то о поручике Галагане!.. Что за неделость!

Иван Митрофанович искренне недоумевал.

 Я понимаю: для вас эта история действительно неприятна,— продолжал уже Губонин таким сочувственным тоном, как будто бы собесседнику все было ясно, хотя он всем своим видом доказывал противоположное, в чем сам Губонии и не сомневалсм.— Подумать только, Иван Митрофанович... Вы в очень хороших
отношениях с женщиной, муж которой застрегился потому, что ым
послужили тому... ну, что ли... существенной причиной. Хоть кому
это отравило бы настроение! Одну минуточку.— спокойней! Я
объясню все. Поручик Глагата — порывистый и увлекающийся
человек, о котором мне случайно пришлось слышать еще в Царстве
Польском, где я был в служебной командировке. Этот человек не
плохих душениях качеств и не плохой дворянской крови был
причастен к подпольной кичекской организации.

— Что-о?..

 Да, Иван Митрофанович, так оно и было. Но биография Галагана - это не биография революционера. У него и психика, конечно, была совсем, совсем другая. Беспочвенный, неуравновешенный романтик, он хорошо декламировал революционные стихи, отдавал все свои деньги каким-то проходимцам, которые гипнотизировали его своим «аскетическим» видом, и в то же время... очень любил свой полк, свою молодую жену и вообще своих дворянских папу и маму! Он застрелился, когда узнал, что его должны арестовать вместе с остальными участниками организации. Ведь впереди - крах, Сибирь, потеря всего, что по-настоящему только и было ему близко, -- не правда ли? Словом, впереди -позор. Ни один Галаган не попадал еще в тюрьму... вы понимаете. В общем, это может служить хорошим сюжетом для Леонида Андреева. Однако в этом сюжете мы должны с вами «похитить» одно звено: вдова поручика никогда не должна узнать, какое отношение имел Иван Митрофанович Теплухин к смерти ее мужа. «Мертвый в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий». Правильно, кажется, поэт рекомендовал,- не так ли?

Иван Митрофанович уже все понимал. Губонин бросил игру,— она была не нужна. Губонин угрожал и принуждал. Он сделал уже свое дело и смотрел теперь на своего пленника с едва скрываемым любопытством. «Я ведь тебя хорошо изучил,— говорил словно его взгляд.— Тебе не уйти от меня,— потому что уходить-то некуда. Ты не уйдешь и от самого себя: «жизнью поль-

зуйся живущий», - ха-ха!»

Иван Митрофанович молчал. Губонии вновь закурил и уже не обращал внимания на своето соссал. Он энал, что сейчае надо дать время Теплухину подумать, взвесить все, учесть, оценить и его, губонинские слова, а каково будет решение — он не сомневался.

Он курил, любовался непривычным для его глаза бархатным южным небом и сосредоточенно, как будто только этим был сейчае всецело поглошен, оттоивл от себя комаров, суя им навстречу горящий кончик папиросы. Иногда ему удавалось смертельно обжечь комара, тот быстро сгорал на отоньке, Губонии поносил к себе папиросу поближе и следил за казнью насекомого. И вдруг он опять заговорил, и Теплухин даже обрадовался теперь этому, потому что тягостно стало думать в присутствии

молчащего победителя-врага.

— Разъезжаю я по России, Иван Митрофанович, и всматриваюсь в нес. Вы не думайте, что люди мого «ведомства» все уж такие тупицы, прохвосты и негодяи, Ведь так привыхло думать так называемое «прогрессивное» общество? Я сам, конечно, интеллиент, но по совести говорок презираю громадиую часть этих российских культургрегеров. Не уважаю, Иваи Митрофанович!. Вот съезды теперь всякие устраивают: шумим, братцы, шумим! Что ни съезды, то всякие легальные либералы, вроде думского Карабаева, стараются исподтивика протавшить кусочек «политической» революции. Гинскологи ли съезжаются, агрономы — все равно! Жим мол, еще либеральный курилка. А посметс? — На то и зайцы! А могли бы полезное дело делать в нашей азматской стране. А дело делаль и нашей азматской стране. А дело делаль нашей азматской стране.

 Какое дело?— поспешно спросил Иван Митрофанович. Ему показалось, что неожиданная словоохотливость Губонина вот-вот себя исчерпает и в разговор, как в затухающий костер, следует

подбросить сухие сучья новых слов.

— Ясно, какое... (Папироска, как и в первый раз, подброшелчком, полетела в траву.) Стране нужны квалифицированные работники, а наш массовый интеллигент не знает своего дела и не любит его. Он — плохой инженер, непрактичный техник, необразованный врач, некультурный учитель... Пусть занимаются своим делом, а не провощируют «обиженный» народ.

Он несколько минут еще говорил, но Иван Митрофанович не вслушивался хорошо в его слова, изредка подхватывал только какую-нибудь фразу, и тогда ему казалось— вопреки первому впечатлению,— что Губонии не так уж умен, что в мыслях его нет ничего оригинального и что все это ему, Теплухину, давно уже знакомо, и, заметив, что Губонии умолк, он озабочению сказал:

 Ну... а дальше что? — и сразу же понял, что спросил невпопад: Губонин закончил свою речь сообщением о неудобствах

в здешней, смирихинской, гостинице.

— Вы меня не слушали, оказывается!— громко расхохотался он, но тотчас же поинял голос и стал, как несколько минут назад, серьезен и настойчив.— Итак, мы договорились,— не правда ля? Мы друг друга хорошо поинямем. Я буду поддерживать с вами письменную связь, язык — имакем. Я буду поддерживать с вами письменную связь, язык — условный, конечно. Иногда (не беспо-койтесы: не часто, не часто!) я буду руководить... вашими впечатлениями и, в свюю очередь, ставить вас в известность о том, что может и для вас представлять интерес. Уверяю вас, это не так скучно бывает подчас. Запишите мой адрес... Ну, и.у.. зачем нервичать, вот уж не ожидал. Смотрите, не уроните чего-инбудь. Адреставкой: Петербург. Ковенский персулок, тринадиать, квартира дващать один, инженеру В ячеславу Сигизмундовнуу Межерицькому. Ну, чему удивляется: это моя квартира!

Он встал, оттянул, потоптавшись на одном месте, немного наползшие наверх брюки, поправил на голове франтоватую панаму. Над ней, пьяно качнувшись в сторону, пронеслась, едва не сбросив, коротко посвистывающая летучая мышь.

Издалека доносился шум выходившей из театра толпы.

Пойду в ресторан — поужинаю, Иван Митрофанович... Попрощаемся здесь, что ли?

Иван Митрофанович молча последовал за ним.

Входя в темирю авлею, он оглянулся и посмотрел на откос. Чут пониже края его, причудливо, по-человечески согиувшись, стояло толое сучковатое дерево, нахлобучив на себя чертую мохнатую папаху листьев. Он не знал, как близко от дерева неподвижно лежал уставший, изумленный человек.

Глава тринадцатая

ПОСЛЕДНИЙ МИРНЫЙ ДЕНЬ НА ЗАВОДЕ Г. КАРАБАЕВА

Сегодня новая заводская динамо-машина должна дать свет в красные домики рабочего поселка.

Георгий Павлович Карабаев пожелал придать событию некоторую торжественность: рабочие были отпущены раньше на час, а сам он в этот день приехал к торжеству не один, а вместе с Татьяной Аристарховной.

Она никогда почти не бывала на заводе; она даже не посетила его после переоборудования и расширения, проведенного в прошлом году; собралась посмотреть, но занемогла в то время и с тех пор не искала случая съездить в Ольшанку, Карабаев же не предлагал. Он мог однажды только пригласить, порекомендовать, но навязывать что-либо жене, а в данном случае эту поездку — это никак уж не входило в его привычки и не было свойственно его характеру.

Так было и во всем в их совместной жизни.

Георгий Павлович полагал, что достаточно уже одного того, что жене известно его мнение по тому или иному вопросу, и оно тем самым должно стать и ее мнением.

Его роль и значение в семье хорошо усвоены были всеми близкими, а интимней и лучше всех — Татьяной Аристарховной.

Она любила его и была преданна в своей привязанности, но он приучил ее к тому, чтобы любовь эта замкнулась в самой себе и всегда таила для любопытства посторонних остроту и свежесть неразгаданности, а привязанность лишена была бы малейшего провяления сентиментальности.

Он внушкл ей мысль, что при ином поведении может постралать в глазах других ее достоинство и женское обаяние, а Татъяна Аристарховна была самолюбива и дорожила своим завидным положением жены такого человска, как Георгий Карабаев, и потому приняда без труда и это его указания.

Георгий Павлович умел по заслугам вознаграждать всякого

своего союзника — тем более он был щедр в отношении такого интимного и верного союзника, каким была для него в жизни Татьяна Аристарховна: жена, мать его детей, хозяйка его дома. Он очертил ее жизнь широким, просторным кругом материальных и культурных возможностей, желаний, удовольствий; она могла считать себя счастливой.

Он завоевал себе право на свободу и на независимость своих поступков: это было то преимущество, которым, по его мнению, должен был пользоваться. В частности, короткая связь с женщиной в Киеве, в Петербурге, где приходилось бывать, или совсем случайная тут же, в Смиримиске, о чем, кстати, никто никогда точно не мог знать, была ему наградой за приятный, но бесстрастный и однообразный рити семейной жизни. (Так, в последнее время он не прочь был осторожно приволокнуться за вдовой поручика, Людимлой Петровной...)

Другое, во что не допускал ничьего вмешательства, — было его занятие промышленника

Фабрика и завод, всякие промышленные и коммерческие дела, которые вел с большим умением и недюжинной изобретательностью,— все это оказалось его призванием в жизни!

Из двух своих предприятий он больше любил кожевенный завод. Фабрика также была доходной, по вырабатываемый продукт — крестьянская махорка — казался Георгию Павловичу каким-то простепким, невиушительным, мелколавочным и недостойным того, чтобы помечать на своей упаковке его высокомерную карабаевскую фамилию. Он не позволял печатать ее на колеечных пачах, раскуриваемых мужиками, извозчиками и солдатами!

Фабрика давала немалую прибыль, но все же к махорке своей Геортий Павлович не переставал в душе относиться иронически, с непонятным презрением, про себя называя ее почему-то «нюхательным табаком».

Другое дело — завод! Выросший, заново созданный им, механизированный, «мускулистый» завол!.

В нем словно заложено волевое, мужское начало самого Геоотия Павловича, часть энертии его и силы (часть, потому что вся не нашла еще своего воплошения!): завод управляет здесь, диктует свою волю, держит в повиновении присятиувшую ему покоренную крестьянскую земляю.

И Карабаеву было приятно сегодня показать жене своего любимца, еще издалека посылавшего ему наветречу отсвечивающуюся на солнеце, приветливую ярко-зеленую улыбку своих свежеокрашенных крыш, самодовольный дымок трубы и строгое спокойствие каменных широких корпусов.

Он приехал с Татьяной Аристарховной, когда работа еще не была приостановлена.

В заводской конторе их встретили служащие и в том числе Теплухин.

Довольная, что увидела здесь знакомого человска (а по-настоящему «знакомыми» считала тех, кто бывал у нее в доме), Татьяна Аристарховна приветливо поздоровалась с ним за руку, удостоив всех остальных бесстрастным ответным кивком головы. Она решила, что иначе и не должна поступать, не уронив в их глазах свой авторитет хозяйки завода.

Она прошла вместе с мужем и Теплухиным в директорский, карабаевский, кабинет. Ей казалось почему-то, что здесь перестанет преследовать ее этот острый зловонный запах кожи, отравляющий вокруг себя воздух на далекое расстояние.

Неужейи же и здесь, в его кабинете, такой же слкий запах?. Ведь должна же быть, — обязательно должна быть, — какая-то разница межау ним и всеми здесь работающим?! И, убедившись сразу же, что и в кабинете тот же запах, какой и во всей конторе, Татьяна Аристарховна торько улыбирулась:

- Какая неприятная и грязная должна быть тут работа! Не-

ужели нельзя избавиться от... этого воздуха?

 Никак! — отвечал Георгий Павлович. — Пойдем на самый завод, не то еще придется обонять.

— Но, может быть, лучше — закрыть здесь окна? (Она уже пыталась проявить навыки своей обычной домашней распорядительности)

 Закупорим — совсем душно станет. Садись, пожалуйсть Сейчас в распоръжусь принести тебе халат: не запачкаться бы на заводе, — и он позвал одного из служащих и отдал ему соответствующее распоряжение. — Иван Митрофанович, — обратился он к молчаливо стоящему Теплухину, — сегодня новостей никаких?

--- Нет, ничего особенного на заводе.

Между ними завязался короткий, малозначащий деловой разговор.

Татъяна Аристарховна не садиласъ: ей представилось почемуто, что если здесь такой тяжелый, неприятный воздух, то, вероятно, и на кожаном диванчике и на стулькх должно быть пыльно и грязно. Проходя мимо диванчика, она, оступившись (подогнулся высокий каборк туфии), наткнулась ногой на угол его и тотчас же озабоченно посмотрела на подол своего платъя: не запылилось ли оно... Это была излишням предосторожность,— в карабаевском кабинете всегда было чисто.

 В нашем распоряжении сорок минут,— сказал Георгий Павлович, передавая ей принесенный чистенький халат.— Пойдем, Таня,— успеешь кое-что посмотреть. Иван Митрофанович, а где Бриних?

Леопольд Карлович на заводе, он встретит вас там.

Теплухин помог Татьяне Аристарховне надеть халат и вместе с Карабаевым вышел в заводской двор. Они направились к ближайшей постройке.

Татьяна Аристарховна знала, что чех Бриних — заводской мастер, крупный знаток своего дела, которым Георгий Павлович очень дорожит, считая его свосй правой рукой в производстве. Значит, и она, жена Георгия Павловича, должна быть соответствующим обратом внимательна к чеху, должна быть приветлива.

Она подумала поэтому о том, что при встрече надо будет подать мастеру руку, но тотчас же вспомнила, что у него, вероятно, руки не первой чистоты, так как «возится где-то там», — и чуть брезгливо поморщилась.

Если уж пришлось приехать сюда, то лучше бы сидеть у Софы, а так — и то и другое придется сделать... Она недолюбливала Софью Даниловну, но, дорожа родством с таким известным человеком, как депутат Карабаев, всячески скрывала свое чувство.

Она посмотрела на рядом шагавшего Теплухина и вдруг подумала о нем так, как раньше не приходилось думать.

И чех Бриних, и служащие в конторе, и вот эти встречающиеся на пути рабочие, и муж - властелин на заводе, присутствие всех их здесь не вызывало и не могло вызывать никакого удивления. Мужу все здесь принадлежит, все служит; все эти люди живут, приходят сюда, работают, как делали и раньше и как будут делать и впредь, потому что это — их место в жизни и другого они не искали и не ищут. Но как удивительно, что среди них оказался теперь вот этот человек - Теплухин!

Татьяна Аристарховна знала, как и все в городе, его тюремное прошлое, его испытания на каторге. Жизнь Теплухина никак не походила на жизнь всех остальных и тем самым выделяла его

среди окружающих.

В первый раз увидев его по возвращении из Сибири, она с любопытством смотрела на Ивана Митрофановича, с большим интересом слушала его необычные рассказы, и рассказанное так не походило на все знакомое ей из жизни окружающих и ее собственной.

Его биография никак не давала основания предполагать, что он очутится здесь, на заводе Карабаева. Иван Теплухин исправно нес обязанности старшего конторщика-корреспондента. Он был уравнен со всеми в глазах Татьяны Аристарховны, он потерял свои отличительные черты, свою особую «окраску»,— он стал безразличен Татьяне Аристарховне, как и все служащие ее мужа.

...У корпуса, где происходило золение, их встретил мастер Бриних. Он учтиво поздоровался с Карабаевым, дольше обычного, но все же мельком задержал свой взгляд на Татьяне Аристарховне и повел их в отделение. Пожимать ему руку не пришлось, потому что руки его были в кожаных черных перчатках, которых при

встрече не снял.

Чех понимал, что его обязанность сейчас — давать пояснения почтенной «madame», и он, идя впереди, вдоль стены, говорил размеренно и монотонно, с акцентом, а Ивану Митрофановичу казалось, что, должно быть, сухонькому старику Бриниху скучно это делать, что он сам не слушает своих слов, но отказаться от своих обязанностей не может.

 Мы практикуем, madame, круговую золку. У нас много ям с известью. Отработанный раствор из последней ямы спускается вон, и в этот яма разводится свежий раствор. Теперь в этот самый яма перекладывается кожи из предыдущей, где были, madame, кожи самой старой загрузки. Затем из предыдущей и предпоследней яма, и пощел так дальше. В яме номер первый бывает самый старый раствор, и в ней заклальваются самый свежий шкура. Когда шкура объежала все ямы, ее вынимают — готово, madame. Эпидермие и шерстъ легко отделяются от кожи. Дегко, очень легко делается это. Ну, какой пример... ну, пример? Вроде как отделяется кожа со свежей жареный окорок...

Окорок Татьяна Аристарховна без труда представила себе, но всего остального, о чем говорил аккуратный мастер, она не понимала, да и не старалась вникнуть в его пояснения.

Она осторожно шла за Бринихом по узкому дощатому наститустараксь не запачкать гуфс.л. о какис-то отборсы, валявшиеся на пути. Когда Бриних останавливался у какой-либо ямы, останавливались и вес, и тогда Татьяна Аристарховна, не заботясь на минуту о туфлях, подмала голову и оглядывала зольник.

Как мало интересен был ей этот осмотр завода, как неприятны зловонные, грязные ямы, наполненные вымачивающимися в извести шкурами, как безразличны все эти рабочие, приумолитем при появлении Карабаева, и как досадует она, что приходится слушать объяснения исполнительного и исторопливого чежа... Татьяна Аристарховна смотрела вокруг пистым, рассеянным взглядом.

Они подошли к промывальному барабану. Он вертелся с относительно большой скоростью, щумя и отбрасывая то себя прохладные волык короткого ветра. Татьяна Аристарховна старалась держаться подальше от барабана: она инстинктивно боялась его движения, которое, того и гляди, причинит какое-инбудь увечье. Но в то же время он заинтересовал ее — к удовольствию Карабаева, которого первоначальное безразличие жены несколько коробило.

- Здесь, Таня, промывается кожа.— почти выкрикивал он, чтобы заглушить шум.— Барабан польй, с перегороджами внутри. В нем вода и кожи.— понимаеще. Выстрая и сильная встряска и вся соль извлекается из кожи. Раньше двое рабочих вертели, и скорость не та была, а теперь, смотри.— машина! Один человек за двумя барабанами следит только и дела!
 - Голова тут может закружиться, слабо улыбнулась она.
- Пустяки, барыня!— не утерпел надемотрщик-рабочий и хитро подмигнул остальным.— Вот кабы в самый барабан кому сесть — тогда другое дело! Верню: закружить вполне может...

И глаз его, чуть-чуть тронутый бельмом, перебежал вдруг на Карабаева и украдкой нацелился на него: «Черт его знаст, может, хозяин еще рассердится за вмешательство в их разговор?!»

Но Георгий Павлович не выказал признаков недовольства. Когда они прошли в дубильный корпус, оборудование его показалось Татьяне Аристарховие уже знакомым, так как во всю ллину отледения растянулись такие же ямы, как и в зольнике.

Ямы издалека были похожи на открытые, незасыпанные могилы. Между ними были укие проходы, по которым, ловко уступая дорогу друг другу, шныряли рабочие. На стенах висели длинные крюки: ими опускали и вынимали из ям дубильные кожи. Вдоль ям стояли — в половину среднего человеческого роста наполненные какой-то мутной жидкостью насосы.

В дубильном отделении рабочих было гораздо больше, чем в зольнике, и Татьяна Аристарховна почувствовала на себе множество любопытствующих, но почему-то угрюмых и настороженных взглялов.

Зловоние душило ее. Вынув из сумочки надушенный батистовый платочек, Татьяна Аристарховна поминутно подносила его к носу.

- Ишь ты, без духов и минуты не может,— негромко сказал костлявый Вдовиченко, работавший у ямы рядом с Николаем Токаревым.
- Надышалась бы нашими «духами» хоть неделю, буркнул Токарев. — А мы всю жизнь так.

Слова их до Татьяны Аристарховны не долетели. Внимательно как согособила инфинательно

- но, как «способная ученица», она вслушивалась в слова мужа.

 Волокна кожи жадно поглощают танин, соединяются с ени— в этом, Таня, и состоит дубление,— рассказывал Георгий Павлович.— От соединения волокон с этим желговато-серым по-
- рошком танином свойства их изменяются. — Как? Почему?— забрасывала она вопросами.
- как: почему?— заорасывала она вопросами.
 Они делаются, Таня, нерастворимыми в воде, более прочиными и стойкими по отношению к гниению. Понимаець?
- Конечно, все понимаю!— говорила она, улыбаясь, и не обманывала.

Уже нет времени осматривать весь завод, так как через десять минут — гудок, но она уже многое, знает, она, ей-богу, «способная ученица»...

Ну, хочет Жоржа,— и она может повторить все то, о чем вот рассказывал ей сейчас медлительный Леопольд Карлович! Хочет? ну, пожалуйста...

И Татьяна Аристарховна повторяет, как хорошо выученный урок.

— Ну вот... Кожа выдублена... ее помещают в сушильный сарай. Там ее вешают на жерди и просушивают. Так, Жоржа? Когла она несколько просомиет, ее прокатывают на особых катках. Ну, конечно, так, господа! Кожу нужно хорошо прокатывать на особых станках или на вальщах, и они придают коже мяткость и окончательную отделку. Разве я не понимаю, господа? Я все, все хорошо понимаю... Но самое ценное, Жоржа, тании! Верню?

Она тихо и ласково смеется, засматривая мужу в глаза.

— Та-нин!— весело, вполголоса говорит она Георгию Павловичу и многозначительно повторяет:— Таня — танин — самое главное, правда?

Она случайно набрела на эту выигрышную игру слов, и ее это забавляет и радует. Как удачно — «танин»! И как нельзя без этого вещества обойтись здесь, на заводе, так нельзя ему, мужу, обойтись в жизни вообще без «Тани», без нее, Татьяны Аристарховны, -- жены, матери его детей, устроительницы их совместной семейной жизни. Все, все в его, карабаевской, жизни должно быть пропитано, насышено этим замечательным «танином»... И она жертвовала уже ударением на первой гласной в этом слове, ибо разве не все здесь - ее, Танино?..

 Да, танин, — усмехнулся игре слов Георгий Павлович и подумал с удивлением, как это ему самому ни разу не приходило в голову это любопытное словесное совпадение.

Да, сейчас он испытывал сложное, двойное чувство удовлетворения. В одно и то же время он рад был двум разным, казалось, обстоятельствам. Жена прониклась наконец робостью и уважением к его детищу - заводу, а стало быть, еще лишний раз почувствовала сиду, власть и независимость его самого — Георгия Павловича. мужа. Он горд был победой завода.

Но вместе с тем он гордился перед заводом своей женой. Дома он привык и сжился с ней; здесь же, в обстановке необычной для Татьяны Аристарховны, ее внешние качества он увидел и оценил

как бы вновь и ярче.

Ему было приятно, что она еще женственна и красива, что v нее свежие, молодые глаза и такие же губы, что долгое замужество почти никак не сказалось на ее статной фигуре, а смех все еще звучит волнующе и весело.

Да, он показывает, демонстрирует почти с надменностью перед всеми свою красивую, «удачную» жену, как только что ей показывал, демонстрировал — с такой же гордостью — свой завод, своих рабочих, свою удачу. Ибо и завод и жена — это его неотъемлемая собственность, ибо и завод и жена принадлежат только ему одному - Георгию Карабаеву.

...Он самодовольно смотрел поверх окружающих в одну точку, роняя сытую, спокойную улыбку в свой смуглый цыганский ус.

Электрический ток был дан в красные домики рабочего поселка, но ожидавшийся эффект не последовал: вспыхнувший желтоватый свет в лампочках под потолком потонул и растворился в еще не угасшем дневном свете природы, широко все объявшем вокруг.

Лампочки припали к потолку безжизненными, хилыми и ослепленными.

Татьяна Аристарховна была недовольна. Ей хотелось бы видеть праздничную иллюминацию, а внешне получилось все как-то скучно и совсем уж без торжественности. Неужели же он, Жоржа, не мог этого предусмотреть?

Она искоса поглядывала на окружающих, и ей казалось, что одни из них сдержанно улыбаются, другие смотрят исподлобья, третьи только делают вид, что благодарны Георгию Павловичу. Да как они смеют не выказывать сейчас же, открыто своей признательности ему?!

Гневный, раздраженный взгляд Татьяны Аристарховны натолкнулся в этот момент на Теплухина.

Иван Митрофанович стоял в сторонке, спиной к ней, и разго-

варивал с каким-то молодым рабочим. И, словно почувствовав на себе ее острый и пристальный взгляд. Иван Митрофанович обернулся. Он не знал, что приобретает в эту минуту если не активнето врага, то во всяком случае неприязнь и недружелюбие человека, со стороны которого эти чувства к себе считал бы менее всего возможными и заслуженными.

Но так случилось. Татьяне Аристарховне вдруг показалось, что эти развернутые, «расстетнутые» теплухинские губов сще не успели полобрать злой, насмешливой улыбык, которой, оченидно, отвечал на замечания своего собеседника: тот с серьезным выражением лица, сосредоточенно говорил о чем-то и время от времени протягивал руку то в сторону завода, то по направлению к новым домикам рабочих. «А он его еще разубеждает, — у-у, неблагодарыный!— полумала Татьяна Аристарховна о Теплухине. — Зачем сму Жоржа протежирует? Вероятно, исполтишка еще настранвает против нас рабочих... Змея на груди!»

И уже никто бы сейчас не мог разубедить ее: она всегда и во всем доверяла только своему инстинкту, а на этот раз он явно вооружился против Ивана Митрофановича.

— Доказательства?— спросил Георгий Павлович жсну, когла они сидели уже в окипаже, отвозившем их в город.— Ну, что значит «впечатление», Таня? Ты сама говоришь, что не слышала, о чем он говорил с этим рабочим Токаревым. Так ведь?

 Я твоего Токарева и не обвиняю. Он, может быть, и ценит тебя, но Иван Митрофанович...

Дался же он тебе сегодня!

 Мне сердце подсказывает, Жоржа. Он злой, завистливый человек. О, поверы! Мы, женщины, умеем тонко чувствовать и распознавать людей, если они почему-либо нас заинтересуют.

 — А в данном случае в качестве кого может интересовать тебя Теплухин?

 — В качестве... ну, как тебе сказать? В качестве... твоего, нашего недоброжелателя.

 Доказательства? — вновь переспросил Георгий Павлович и лукаво посмотрел на жену.

Рессора мягко сплющилась и разогнулась (дорога изобиловала выбоинами), и их обоих покачнуло и слегка подбросило на экипажной полушке. Лукавая улыбов, на мгновенье сломавшаяся от толучка на карабаевском лице, вновь аккуратно разместилась на нем, встречая растерявшийся, несобранный взгляд Татьяны Аристарховны.

 У меня одно доказательство, Жоржа,— сказала она,— это моя преданность тебе! Ты доволен?

- Спасибо, Танин!

Искренне растроганный, он взял ее руку и, отогнув у кисти шелковистую перчатку, неслышно поцеловал женину руку.

Но эта награда ему самому показалась недостаточной. Он счел нужным ответить на ее подозрения, ответить и разбить их, успокоив тем Татьяну Аристарховну.

- Ты не беспокойся, Таня. Я хорошо знаю таких людей, как Теплухин, и ему подобных,— уверенным, чуть-чуть флегматичным тоном сказал Георгий Павлович.— У них испорченная биография. Жизиь подвергла их своеобразной эпитимии: коситься, угромничать и самоотравляться своим же, каким-то золотушным ядом...
- ...недоброжелательства и зависти! упрямо подсказала Татьяна Аристарховна и тотчас же испуталась, что перебила мужа, так как он этого не любил во время серьезной беседы, а по его тону поняла, что Георгий Павлович собирается посвятить ее в нечто значительно.
- Зависти? Пожалуй, согласился он и добавил: Припадков зависти, сказал бы я, и еще мелкого скепсиса. Конечно, это и есть у Тенлухина. Причина ясна, друг мой: революции уже нет, да и вряд ли теплухинская революция будет в наш век... А люди стеглухины живут, да и жить им надо биология! Надо примриться, покладистей, оказалось, надо быть. Чтобы понять и члать Ивана Теплухины надо оббишть вопрос овсех «теплухиных». Я говорил об этом, между прочим, с нашим Левушкой зимой, когда он приезжал сода. Я Теплухина отлично разунара, понял и всего вижу насквозь. Он человек способный, и этот бывший сер-каторжны будет служить можу делу не хуже, чем когдато бесформенному делу рекуме, чем когдато бесформенному делу векуме, чем когдато бесформенному делу векуме, чем когдато бесформенному делу векуме от делу векуме служе, чем когдато бесформенному делу векуме от дел
- С какой?— удивилась Татьяна Аристарховна и от неожиданности протянула руку к прямой, вытянутой спине кучера, словно быстрая в этот момент езда мешала ей расслышать и понять слова мужа и хотелось, чтобы кучер сдержал лошадей.
- На днях Иван Митрофанович заявил мне, что хочет уйти со службы,— не отвечал на прямой вопрос Карабаев.— Я, должен сознаться, был удивлен и спросил его о причинах.
 - Ну, и что же?
- Он отвечал мне как-то невразумительно, ссылаясь на какое-то неломогание... Словом, ерунда, конечно! Не в этом дело. Но я понял: Теплухин хочет лучшего места, чем он у меня имеет.
 - Но ведь на казенную его никто не примет!
- Совершенно верно. Значит ли это, что его способности должны загинвать на службе у меня? Я прямо ему сказал об этом и тем самым... покорил его, Таня! Доказал ему — понимаешь? Я предложил ему место моего доверенного лица... Ну, вроде личного секретаря.
 - Ты... ты не шутишь, Жоржа? Почему это вдруг?
- Я не шучу, серьезно и деловито сказал Георгий Павлович. — Я намерен вскоре поручить ему дело... вести предварительные разговоры в Петеббурге.
 - В Петербурге?!
- Да, в Петербурге, Таня. Я отправляю его к Величко получить у него согласие на продажу сахарного завода. О, как еще наш Иван Митрофанович покажет себя! Это — благодарный человеческий материал. Но помии, никогда не надо напоминать ему,

без серьезного основания, о его прошлом: воспоминания — вещь ревнивая и капризная!

Георгий Павлович вдруг оборвал беседу и замолчал.

По тому, как он смотрел сейчас вперед себя — немым и долгим взглядом,— Татьяна Аристарховна поняла, как всегда в таких случаях, что он начал о чем-то думать, и прервать его в эту минуту она никогда бы не решилась.

Она хорошо знала привычки мужа. Она никогда не могла ему противоречить и мешать.

В тот день, когда Теплухин впервые очутился в Петербурге с поручениями к инженеру Величко, в тот самый день впервые горити Павлович Карабаев почувствовал виру, что допустил некоторую ошибку; переговоры о покупке сахарного завода следовало, по всей видимости, отложить Вег полученные сегодия в Смирихинске газеты изобиловали крупным шрифтом, тревожно возвещавшим близкую, немицуемую войну:

В этот вечер Георгий Павлович созвал всех своих дружей. Большой географический атлас Ильина подробно был изучен присутствующими. Все уже знали, где Сараево и Белград и сколько верст от австрийской границы до мирного Смирихинска.

Ночью, лежа в постели, Георгий Павлович подумал уже о том, чего вслух никому бы не высказал.

Сухая и точная, как цифра, мысль сменила и подытожила все впечатления и разговоры: «Во время войны потребуется много сапот и очень популярна махорка!..»

Он протянул руку к ночному столику и закурил туго набитую сигаретку: это помогало думать.

Глава четырнадцатая

ТАК БЫЛО В ПЕТЕРБУРГЕ

Ни ротмистр Басанин, ни исправник Шелудченко не уследили, когда и каким путем выбыл в июле из Смирихинска Савелий Францевич Селедовский, находившийся под надзором полиции.

Газетный кноск его отца. Франца Юзефовича Селедовского, занимал особое место в жизвии смирихниских горожан. Старик выписывал газеты весх политических направлений — киевские, петербургские, московские, и у его магазинчика на центральной гимназической улице собиралась в час доставки с вок зала газет немалая толпа покупателей. Распространял Селедовский по преинемалая толпа покупателей. Распространял Селедовский по преиноблодые всего читало население, но и потому, что ех консчио, больше всего читало население, но и потому, что стим выбором газет старик воспитывал, как признавался друзьям, общественное мнение жителей города. Да, да, пускай и члены окружного суда читают только эти газеты, и все чиновники, которых так много в Смиркиниске, и тимназические учителя пусть читают, так много в Смиркиниске, и тимназические учителя пусть читают,

и военные, и даже сам исправник, и жандармский ротмистр пусть... Правда, последним двоим он обязался доставлять шульгинский «Киевлянии», «Новое время» и погромное «Русское знам», но старик с удовлетворением отметил, что в последнее время оба представителя правительственной власти не берут этой черносотенной газетки, а присылают городового за «Русским словом» и «Речью».

У старика были свои счеты с русским правительством и его чиновниками. После революции 1905 года, когда в киевской судебной палате слушалось нашумевшее тогда дело «смирихинской республики», три сына Селедовского и он сам сидели на скамые подсудимых. По приговору суда он отбывал двухгодичное тюремное наказание, а сыновья получили по четыре года тюрьмы.

Эта польская, обрусевшая социал-демократическая семья даже за обеденным столом была разделена на фракции, самый старший сын был плежановцем, средний — Савелий — большевиком,

а третий - Геннадий - признавал только Мартова.

С Генналием Францевичем дружил Феля Калмыков и этой дружбой гордился. Это потому, что ни с кем из гимпазической молодежи Геннадий Францевич не якшался, был замкнут, ходил одиноко по городу — очень высокий, длиниорукий, весгда в тол-стоке с черным бангом, вестда с какой-либо киижкой в руке и хлебным шариком в другой, который он вечно мял, покручивал большим и указтельными пальцами. Ни шлятиь, ии картуза летом не носил, голову держал прямо, придерживая на ветру весй плятерней тустую шагку своих волистых черных волос с серебристыми — не по летам — прядями: темные глаза его казались тоже черно-серебристыми

Он был бы очень красив, если бы не утолщенный, примятый в кончике нос: словно, появляясь на свет божий, Геннадий Францевич, ила из утробы лицом вперед, наткнулся вносом на что-то твердое. Брат Савелий уверял шутя, что это революционный мар-кизм больно нащелжал по носу Геннадия за его горямство, книж-кизм больно нащелжал по носу Геннадия за его горямство, книж-

ность и близорукое восприятие жизни.

— Его теоретическай поэиция,— весело говорил о брате Савелий Селедовский,— напоминает мие такой анекдотический случай. В начале семналцатого века, знаете ли, один из начальныков незунтского ордена, которому какой-то монах хотел показать в грительную трубу недавно открытые солнечные пятна, отказался от этого, заявив: «Напрасно, ком мой, напрасно, к, годубик, дважды прочел веего Аристотеля и не нашел ничего подобного. Пятен нег! Они проистекают от недостатка твоих, сын мой, стекол для твоих собственных глаз». Таков и наш Генварий: «пятен иеть Поговорите с ним — он не дважды, а трижды поклянется обсими беродами: и Мархсовой и бородой Энгельса. Но он не понимает того, что теория, не доказанная революционным в наши дни опытом,— все равно что святой, не совершивший чуда.

О старшем брате, плехановце Болеславе, земском статистике,

Савелий Селедовский отзывался так:

Ну, с этим в поход не тронешься: насыпь ему кажется горой!

 Что ж, каждый со своей свечой ходит в жизни,— рассуждал примирительно старик Франц Юзефович, деля свои отцовские симпатии между всеми тремя сыновыями.

Но нет, «свеча» в жизни не устраивала Савелия: он давно уже держал в своих руках светильник иной силы и яркости и, когда, тайком покидая город, распрощался с родными,— сознался им:

За границу, к Ленину...

Это случилось в начале июля 1914 года. В Петербурге Селедовского уже ждали. Он покидал Россию с ведома ЦК партии. Вместе с Савелием Францевичем должна была перейги нелегально шведскую границу разыскиваемая охранкой молодая чертежницабольшевичка, родители которой эмигрировали еще год назад в Париж. Ее звали товарищ Магда.

Разве могли они оба думать в первую встречу, что жизнь об-

ручит их друг с другом? А так произошло вскоре.

Опасаясь неудачи (охранка могла арестовать кого-либо из них) или возможных происшествий в нелегком пути, каждый из них — и Селедовский и Магда — повезли с собой по эхземпляру большого информационного письма, которое направил через них Петербургский Комитет партии Центральному Комитету за границу. В этом обзорном информационном письме сообщалось:

В середине мая в Петербурге была организована большевиками забастовика протект против приговора обуховским рабочим, участникам прошлогодней стачки. Наряду с политическими забастовками происходили и экономические. Одной из наиболее крупных и упорных, сильно обеспоконвших правительство, была стачка в Колпино, на Ижорском заводе, принадлежавшем моркому ведомству. В Колпино была направлена казачия сотия — однако это не запугало рабочих. После трехнедельной стачечной борьбы ижорцы добились удоваетворения своих требований.

Пример питерского пролетариата послужил толчком к чрезвычайному подъему рабочего движения по всей России. Стачки как экономические, так и чисто политические — перекатывались из одного промышленного города в другой. Шла пробная мобилизация сил, уже открыто угрожающих ненавистному режиму. Бастовали текстильщики Московского района, текстильщики Костромы и Владимила.

На далеком юге, в Баку, произошли события, о которых в письме Петербургского Комитета рассказывалось особенно подробно. Непосредственным поводом для объявления бакинской забастовки послужили несколько случаев чумного заболевания бълизи нефтяных промыслов. Угроза страшной болезии была чрезвычайно велика: по свидетельству виднейших русских ученых, обследовавших жилища рабочих-нефтяников, условия жизии бакинских рабочих были ужасны.

Профессиональный союз промысловых рабочих потребовал от нефтепромышленников постройки новых жилищ, но получил в ответ не только отказ, но и полищейские репрессии: ряд деятелей профессионального союза был арестован. Тотда рабочие объявили всеобщую забастовку, в которой приняли участие пятьдесят тысяч человек. Стачечный комитет возглавлялся большевиками. Несмотря на пестрый национальный состав: а эгрбайджанцы, русские, армяне, татары, персы,— вся масса бакинских рабочих единодушно объединлась для борьбы с нефтепромышленниками. Стачечники потребовали увеличения заработной платы, удучшения квартирных и продовльственных условий на промыслах, долущения представителей от рабочих в организации медицинской помощи, устройства поседкока, постройки народных домов, введения весобщего обучения и проч

На все эти требования союз предпринимателей ответил локалом. Всем забастовщикам был объявлен расчет, паспорта уводенных были переданы в полицию, к рабочим было предъявлено требование пемедленно очистить занятые ими «казенные» квартиры. Судебные инстанции с завядной быстротой штамповали многочисленные иски владельцев нефтепромыслов. Промысловая администрация свирепствовала: выбрасывала из рабочих казарм мебель, ломались в квартирах печи, приостанавливали подачу электрическо-

го тока, накладывали пломбы на водопровод.

Бакинский градоначальник превратил город в военный лагерь после восьми часов вечера запрешено было выходить на улицу. Шесть казачых сотен готовы были пустить в ход свое оружие. Профессиональный союз нефтяников был разогнан, торьма не могла вместить весх арестованных. И тем не менее в последних числах июня рабочне-бакинцы устроили двадцатитысячную политическую демонстрацию).

Недобор нефти, добыча которой прекратилась вследствие забастовки, начал беспокоить рад крупных промащлеников и в первую очерсь влиятельных судовладельцев: гляди, приостановится движение судов... Для борьбы с неукротимыми стачечниками царпослал в Баку товарища министра внутренних дел — известного

жандармского генерала Джунковского.

Бакинцы обратились за помощью к рабочим других городов, В Петербурге вначались денежные сборы, на раде фабрик и заводов рабочне отчисляли определенную часть своего заработка. Узнав об этом, петербургеский градоначальник издал «обязательное постановление», воспрецающее сбор дене чи цели, противные государственному порядку и общественному спокойствию, какими бы то ни было способами, в том числе и путем печати в виде объявлений, воззваний, открытием редакциями газет и журналов сборов денет на поддержание забастовщиков, в пользу ссыльных, на уплаты взысканий, наложенных судом или административной властью, и других недозволенных сборов».

С первых чисел июля массовое движение на петербургских фабриках и заводах начало быстро нарастать. Первого июля забастовали рабочие заводов Лангезиппена, Трубочного, Лесснера, Эриксона, Сименса и Шуккерта, Айваза: «Товарищи бакинцы, мы

с вами», «Победа бакинцев — наша побела!»

З июля произошли события, эхо которых прокатилось по всеи стране, — так же как и бакинские дела. Шел двенадцатитысячным имтинг дневной смены пругиловцев. Решено было по предложению ораторов-большевиков усилить сбор в пользу бакинцев и объявить оридненную забастовку солндарности. Митинг происходил на заводском дворе, — расходясь, рабочне подошли к воротам и потребовали от охраны открыть их. Но не успели ворота распахнуться, как во двор ворвались отряды пешей и конной полиции. Были щены в ход нагайки. Рабочне ответили камиями. В ответ последовали ружейный зали и конная атака на толпу. Выстрелами подцейских было ранено пятьдесят человек и двое рабочих убиты. Сывше ста путиловцев были брошены в тюрьмы.

На другой день большевистская газета «Трудовая правда» вышла с подобным сообщением о расстреле. Не забастовки протеста а забастовки гнева и возмущения охватили на следующий день рабочий Питер. С утра забастовкало девяносто тысяч человск. Рабочие и работинцы с красными фалагами и пенем свеколюцион-

ных песен высыпали на улицу.

- Особенно бурно прошли демонстрации в районе Путиловского завода, - рассказывал Селедовскому снабжавший его различными документами большевик по фамилии Ваулин. - По требованию рабочих были закрыты все трактиры и казенки. На Путиловской ветке толпу встретил отряд полиции. По демонстрантам дали несколько залпов, но толпа не расходилась, она булыжником разогнала «средиземную эскадру»... полицейских: у нас их так почему-то называют. Другое крупное столкновение произошло в тот же день на Выборгской стороне, на Сампсониевском проспекте, около завода «Новый Лесснер»... Петербургский Комитет наш обсуждал дальнейший план действий, продолжал свой рассказ Сергей Ваулин, а Савелий Францевич старался не пропустить ни одного слова, дабы со всеми подробностями передать товарищам в Швейцарии о питерских делах. - Нашей задачей было соединить разрозненные еще покуда выступления рабочих и превратить их в единое, мощное движение. Решено было, товарищ, продолжать массовую забастовку еще на три дня и организовать новые уличные выступления. Приурочили к седьмому, ко дию приезда сюда Пуанкаре, французского президента. Если раньшь партия обращалась с призывом выступить на поддержку бакинской забастовки, то теперь основным нашим лозунгом - протест против расстрелов рабочих в Петербурге.

Седьмого июля не узнать было многих питерских улиц. Уже первые трамвайные вагоны, вышедшие из парка, были остановлены демонстрирующими рабочими. У вагоновожатых отбиральсь ключи и ручки от моторов, пассажиров высаживали, вагоны опрокидывались В середине дня многие трамвайщики присоединились к бастующим. Во многих частях города рабочими были закрыты все лавки и магазины. Буржуазные газеты с крайним удивлених райписали об абсолютной трезвости, царившей в те дии в рабочнух райписали об абсолютной трезвости, царившей в те дии в рабочнух рай-

онах.

Савелий Селедовский покинул Россию в тот день, когда в ее столице бастовало уже сто пятьдесят тысяч человек, когда на проспектах, улицах и в переулках Петербурга появились баррикады и на многих из них развевались красные флаги.

Готовились к революционному штурму самодержавия, но приш-

Глава пятнадцатая война: парь и петербуржны

В этом году в Европе, как утверждали политики, скопилось много свинца и очень много неразрешенных и принципиальных вопросов.

Война кружилась над государствами Европы, как коршун над дворами заботливых и стерегуших свое добро поселян. Выхвати коршун чьего-либо цыпленка,— и пойдет среди дворов жестокая кутельма.

Нужен лишь был повод для войны, и он был найден. Безусому сербскому юнцу суждено было стать известным народам веего мира: гимнаэтст Гаврила Прициин, юнец с аллегорической фамилией, бросил смертоносный свинец в австрийского эрцгерцога Франца-Фердинанда и его светлейшую супругу, герцогиню фон Гогенберг.

Бедный оригериот Еще недавно, как сообщали петербургские дипоматы, он мечтал вместе с Вильгельмом германским в замке Конопишт об осуществлении идеи триализма,— монархия должна стать трехчленной: сербо-хорваты, сербы и словенцы «ждали» своего объединения под скинетром Габсбургов.

Нужен был только повод для войны с этим мелким, провинциальным Белградом!..

Бедный эрцгерцог! Судьба решила, чтобы искомым предлогом следалась его собственная смерть.

Так говорили в Санкт-Петербурге сдержанные и скупые на слова дипломаты в знаменательный день объявления австро-сербской войны.

Дипломаты оправдывались, дипломаты возмущались, дипломаты конфуженно разводили руками... Да помилуйте, кто же из честных и следующих международному, что ли, «этиксту» политиков мог предполагать, что упрямая и ковариая Вена престарелого Франца-Иосифа решится в это время начать столь опасную и непроверенную игру?! Ведь между преступлением 15 июня и попыткой наказать родину Гаврилы Принципа прошел почти целый месяи!

И правда: всей Европе казалось, что при всем возмущении поступком сербского гимназиста дело пойдет обычным путем и расследование убийства не перейдет с юридической почвы на политическую. Да разве можно в каникулярное время для королей и дипломатов... начинать войну? Наступило летнее затишье, и чем ие мирны и спокойны прогудки утомленных за год европейцев?. Французский президент Пуанкаре в сопровождении премьера Вивнани прибыл в Петербург, и почти в то же время, немного раньше, всликобританский адмирал Бити пришвартовал свюю дружественную эсквару к берегам Невы. Император австрийский поехал в дачный Ишль и вызвал туда же своего министра иностранных лел. Сербский премьер объезжал страну для выборной агитации, а старик главнокомандующий, генерал Путник, лечил, как говорили, свой суставной рематизм в австрийском куюрте.

Полный штиль!

Дипломаты недоумевали, дипломаты возмущались: Извольский — из Парижа, Свербеев — из Берлина, Шебеко — из Вены приехали к себе на родину, в Россию, и вдруг — пожалуйте! Добро, что можно оправдать невольную несвоевременность своего отъезда примером, поданным другими: английский посол уехал из Берлина (куда? — на родину!), французский — из Белграда и хитрый Сан-Джулиано (министр иностранных дел!) — из Рима на курорт Фунджи.

И вот уж, наконец, и сам творец европейской политической погоды — император Вильгельм — отправился в обычную прогулку, в новъекме шхеры!

Европа напоминала самое себя в то воскресенье, в которое согольно военному роману Вильяма Ле-Кё произошла внезапная высадка германцев в Англии, и нельзя было достать ни одного из министров, так как все они были на даче, а воскресенье, как известно, — день неприсустеженный...

Так говорили в Санкт-Петербурге дипломаты.

Поздно ночью Фома Асикритов, вооруженный всеми этими сведениями об австрийском коварстве, сообщенными ему в «хорошо осведомленных кругату», возвращался на извозчике в редакцигазеты. Нужно было сдать собранный материал в уже верставшийся номер.

Редакция помещалась на одной из боковых улиц в районе Загородного, а ехал Фома Матвеевич с конца Каменноостровского.

Извозничья лошаденка попалась никудышная, вялая, и Асикритов с досадой подумал о том, что так, пожалуй, пройдет добрый час, прежде чем он доберется в редакцию. Он хотел уже сменить извозика и пересесть к другому, но вблизи ни одного не коазалось. Вее же он решил это сделать, как только досдет до бодрствующего всю ночь «Аквариума», у подъезда которого дежурили всегда «лихачи».

Нетерпение еще усиливалось потому, что Фома Матвсевич компром знал, что в редакции он узнает последние телеграммы, которые должны были известить весь мир о судьбе сербского отвераврученного за пять минут до истечения срока, установленного правительством «его апостолического величества» Франца-Иосифа. (Международные дипломаты в это время уже были все на своих местах, и пять оставшихся минут они выигрывали друг у друга, как ловкие и не стесняющиеся друг друга шулера,— карту: с переменным успехом, редко, однако, не вызывавшим бы в конце концов скандала и побоища...)

- Ну, гони ты, ради бога! понукал Асикритов извозчика.—
 Гони, гони! повторял он, хотя сам сознавал, как нелепо и смешно звучит это слово в обращении к хозяину такой никудышной лошаденки.
- Подстегиваю, барин. Но-но, ты... работничек, пенивомеланхолически отозвался извозчик и задертал вожжами, но тотчас же вновь опустил их.— Пролетария моя серая: какова кормежка такова и побежка! — И он оглянулся с чуть лукавой улыбкой на седока.
- Седок был так же невзрачен и хил, как и состарившаяся, плохо накормленная лошаденка: уважения к нему не было, но какоето глухое сочувствие и доброжелательство все же звучало в голосе плоскотрудого, бородатого извозна.
 - Конторский? неожиданно спросил он.
 - Что? не понял Асикритов, думавший в эту минуту о своем.
- Конторский вы, спрашиваю, или каких других занятий, пояснил извозчик.— Если конторские,— хотел объяснений насчет одного дела спросить.
- Конторский...— согласился Фома Матвеевич, хотя никак не понял, какое содержание вкладывает тот в это слово.— Ну, так что?

Извозчик бросил еще один — пристальный, проверяющий — взгляд на Асикритова и живей, чем обычно, сказал:

- Конторские, думаю, присоединятся или им это дело без интереса?
 - К кому присоединятся?
- Известно, к кому! К заводскому народу... Говорят, двести тысяч забастовку держат? Два брата мои у «Феникса», на Полюстровой.
- «А-а,— усмехнулся про себя Асикритов,— вот оно где прищемило...»
- Не идут мои братъв на завод, откровенничал извозчик.—
 К чертовой матери, говорят, за копейки потом исходиты! Пора, говорят, кадыки вырывать восвать будем...
 - С кем?
- Да известно, с кем... Не с австрияком же, а со своими, натурально, русскими — кадыками! Н-и-но, ты! — неожиданно хлестнул он лошаденку и замолчал.

Лошаденка — по обязанности словно — сделала неловкий и неуверенный перебой в своем скучном шаге и вновь сонно пошла по гладким и тиким торцам проспекта.

Извозчик, не оборачиваясь, сидел молчаливо на козлах, выставив Асикритову свою длинную узкую спину, перетянутую ремнем. Согнутая, она походила на спину рыболова, понуро застывшего в своей вынужденной позе ловца и созерцателя. «А при чем же зассь «конторский» я или нет — подумал Фома Матвевич, вспомныв об этом уже тогда, когда новый извозчик, лихач, мчал его по Тронцкому мосту.— Человек просто ощутил потребность заговорить со мной и сказать то, что самото его сейчас интересовало. Воевать будут,— разумывал Фома Асикритов,— да не с австрияками же... Хэ-хэ!.. А что, если именно с австрияками, господа?»

Но, прежде чем успел пересесть на лихача у освещенного, брызжущего огнями кафешантана, пришлось задержаться против воли еще на несколько минут.

В тот момент, когда договаривался с лихачом, из подъезда «Аквариума» вышла компания в несколько человек — мужчин и жениции.

 О-о!.. Фома Матвеевич! — окликнул кто-то развязным, подвыпившим голосом и, неизвестно почему, захлопал в ладощи.

Асикритов оглянулся: отделившись от компании, шел на него, слегка покачиваясь и встряхивая высокие плечи, студент Леонид Величко.

 И вы, почтенный, были здесь? Вот что-о? А я не видел вас... Жаль... Господа! Эй, послушайте, господа... куда вы специте? Господин Теглухин, Калмыков, Зиночка!.. Знакомытесь, господа, с з-замечагальным человеком. Это — приятель мосто брата...

Леонид держал за руку Фому Матвеевича и оттаскивал его от извозчика.

- Бросьте, я тороплюсь,— досадливо поморщился журналист.— Нигде я здесь не был, а просто на перекладных вот елу в редакцию. Кланяйтесь Михаилу Петровичу... Давно не был я...
 - Запарились с «политикой»... м-да? А мне наплевать!

Ну да — запарился. Пустите...

— А мы славим Петербург... м-да. На радостях... земляки собрались... ну, и девочки, конечно. Гриша Калмыков! Гри-и-ша! Ушел, ч-черт! С Зиночкой ушел... А вот господин Теплухин, хотя и не студент и даже... тово... м-да... идейно...

и не студент и даже... тово... м-да... идеино...
 Перестаньте, Леонид Петрович! — оборвал подошедший незнакомый Асикритову человек и оттянул захмелевшего студента.

- Знакомьтесь, Фома неверующий... м-да. Сие земляк мой... коммерсант: Теплухин, Иван Митрофанович... Простите, господа, я пьян...
 - Я очень рад, что так случайно встретил вас, протянул руку подошедший Асикритову.
- А в чем заключается ваша радость? не без легкого раздражения поинтересовался Фома Матвеевич и кивнул посмеиваюшемуся лихачу: «Сейчас елем».

Белые перчатки на руках у лихача, блестящие, лакированные крылья экипажа и массивные раздутые шины обещали молниеносную езау.

 — Я привез вам привет и письмецо от Софьи Даниловны Карабаевой.

От кузины Сони? Вот оно что... А у Льва Павловича были?

- Был.
- А ко мне не заходили?
- Н-нет... то есть...
- Да как же? Постойте, Иван Митрофанович, так, кажется?
 Совершенно верно.
- Ко мне: на Ковенский, тринадцать, квартира девятнадцать?..
 Да. конечно же... Или я ошибаюсь... Да нет: чай, я слепой!

Фома Матвеевич с любопытством всматривался в своего нового знакомого. Право же, он где-то встретился однажды с этим человеком... На лизу это было, совсем недавно.

 Вы не слепой...— глухо откашлялся Теплухин. По редакционному адресу я к вам не заходил, но по домашнему — был, но не застал дома, — солгал, не опасавсь быть пойманным, Иван Митрофанович и торопливо вынул из пиджачного кармана письмо Карабаевой.

 Да, да... не застали дома, — подтверждал Асикритов, принимая письмо. — Разминулись, ах, досада! Вы, наверно, от меня спускались... я-то в этот момент подымался по лестнице. Вот тут-то я вас и приметил.

Я тоже вспоминаю.

— Как же, как же, — озабоченно посмотрел Асикритов на поджидавшего лихача, дававшего прикурить пьяному Леониду.— К кому же вам еще в этот дом ходить... Как же, как же, — бесемысленно повторал он, не зная, как поскорей отвязаться от пострементов, и правиться и пострементов, в правиться и потолжуем: новости могут быть интересные... Еду! — решился он наконец и въссмил на подножку экиплажа.

Лихач тронул с места.

 Удрал-таки, жулябия! — крикнул вслед студент и подхватил об руку застывшего на месте Ивана Митрофановича.

 Какой же я «коммерсант», в самом деле?! — вдруг желчно сказал тот, но студент пропустил мимо ущей его восклидание. Черный, без крапинки, громадный жеребец в одну минуту

черный, оез крапинки, громадный жереосц в одлу минуту домчал к Тронцкому мосту и здесь только убавил схорость. Асикритов даже обрадовался этому. Черный рысак несся с шальной быстротой, и никто и ничто, казалось, не могло его остановить. И Фома Матвеевич с благодарностью посмотрел на широкозадого, с тяжелой мясистой спиной «лихача», когда тот, раздвинув локти в стороны, натянув вожжи, заставил жеребца пойти по мосту осторожной, выверенной рысью.

«Фу, хоть подумать можно!» — сознался сам себе Фома Матвеевич и откинулся всем своим худеньким тельцем на спинку экипажа.

Вихревая езда захватила его, лишив на минуту способности вытать и следить за чем-либо другим. Он переставал даже чувстновать весомость своего тела: от усиленной беготии по приемным разных министерских учреждений, от голода (он вспомини, что не удалось сегодня даже пообедать и вот теперь из-за этой бешеной езды у Фомы Матвеевича закружилась голова. Думать, о чем хотелось, не удалось. Пока проезжали по мосту, мысли приходили в голову случайно, без связи друг с другом — как съемщики в пустую, свободную квартиру.

«О чем пишет Соня? — подумал он, вспомнив о письме, полученном несколько минут назад. — Посхать бы к ний туда, в провинцию, отдожнуть. Знает ли она, что Левушка ее болень, оч, черт, понесся!» — выпрямился он вдруг на сиденье, почувствовав, как рванился опять рысак.

Эх-эх, птица! — выкрикнул лихач, в тысячный раз любуясь

своим жеребцом, классически выбрасывавшим бабки.

Проплыло куда-то необъятное, пустынное Марсово поле, отброшенное в сторону на повороте; мелькнул окруженный рвами замок и темная узенькая улица; лег навстречу длинный проспект букинистов — Литейный

Через десять минут Асикритов был у подъезда редакции.

- Хорош конь! хвалил он, покуда лихач отсчитывал сдачу.
- Орел, барин, кровный!..
 Война будет забрать могут, неожиданно подумал
- вслух Фома Матвеевич.

 Кто? недоверчиво спросил лихач.— Чай, своих, военных,
- мало?

 Всяко может случиться... Жеребец твой генералу пол
- Всяко может случиться... Жеребец твой генералу под стать.
 Угоню... нахмурился лихач и отвернул лицо от осве-
- щавшего его фонаря...— В деревню угоню! Да разве можно такого отдать. Искать мне веревку тогда, ей-богу!
 «Гм... прищемило!» вторично подумал. Фома Матвеевич и

с какой-то нелепой, неясной, назойливой усмешкой вбежал в подъезд.

Еще на лестнице, подымаясь в кабинет ночного редактора, он

столкнулся с бежавшим вниз шустреньким остроносым метранпажем, державшим в руках широкий лист.
— Война! — крикнул метранпаж и взмахнул перед собой

листом, словно отгоняя рой наскочивших на него ос.
— Давай... прочту! — схватил его за руку Асикритов.

— Уж будьте благонадежны— антракт окончен, действие начинается!.. Иван Степаныч подмахнул к печати...

Ну-ну, скорей...

«Вена. Срочно.— читал Асикритов жирные, зловещие строки.— Так как королевское сербское правительство не ответило удовлетворительным образом на ноту, переданную ему австро-венерским посланником в Белграде, императорское и королевское правительство вынуждено само выстурить на защиту свим прав и интересов и обратиться с этой целью к силе оружия. Австро-Венгрия считает себя с настоящего момента на положении войны с Сербией»

 — ...А Россия — с Австро-Венгрией, — добавил Асикритов вспомнившуюся фразу, сказанную сегодня одним из дипломатов. — А я никак вовсе! Пошли они все...— И метранпаж зло и горячо послал кому-то рассыпную ругань.

Амины— сказал Асикритов и засмеялся.

Уже несколько часов стотысячная толпа стояла перед дворцом. Всем было известно, что вчера германский посол, граф Пурталес, не добившись отмены мобилизации русских войск, вручил ноту об объявлении войны.

Весть о том, что царь обнародует сегодня манифест о войне, еще с раннего утра пронеслась по столице. Тысячи петербуржцев устремились к Зимнему, наполнили собой громадную, глубокую, с отогнутыми концами подкову Дворцовой площади, набережную и все прилегающие к Зимнему улице.

Для романиста важные события истории,— считал легкомысленно всем известный Александр Дюма,— это то же, что для путника — огромные горы: он смотрит на них, приветствует мимоходом, но не вабилается на их веющину.

Так ли это? — законно усомнится русский писатель нашего вска, привыкший понимать историю, пользуясь вершинами научного объяснения ее событий! И это познание истории становится тем точней и ясней, чем поколения людей восходят все выше и выше на высоты передового, реалистического понимания жизни народов и государств.

Граф Пурталес неизбежно должен был вручить вербальную ногу министру иностранных дел Сазонову об объявлении войны России, потому что Германия стремилась отнять у нее Польшу, Прибалтику, и сли удастся, то и Украину. Россия могла предвидеть этот «визит» Пурталеса к Сазонову, потому что сама готовилась к захвату Галиции — части Австро-Венгрии, союзницы Германии, и мечтала об отобрании Константинополя и Дарданелл у Турции, о чем знал союзный с Турцией кайзеровский Берлии.

Прутими врагами Германии были Англия и Франция. Только в войне надежлись англичане разбить своих опасных немсцихи соперииков: построив Багдадскую железную дорогу на Ближнем Востоке, Германия угрожала в этом районе господству Велико-британии. К тому же немыш стремительно стали увеличивать свой флот, свои морские вооружения, чего признанная «владычица морей» ин в коме случае не могла допустить. Английские купцы и промышленники с тревогой следили за тем, как германские, бо-лее дешевые, товары стали вытеснать на мировом рынке манчестерские и шеффилдские фирмы. Надо было срочно принимать военные меры. Опи необходимы была Англии и для того, чтобы отторгнуть у Турции Месопотамию и Палестину и навсегда обосноваться в Египте.

Империалистическая Франция стремилась вернуть себе Эльзас-Лотарингию, отнятую у нее немцами в 1871 году, и заодно уже захватить у них Саарский бассейн, богатый железом и углем.

Россия вступала в войну не потому, что были задеты и оскоробильное се славянские» чувства, и не только потому, что с 1907 года входила формально в Антанту вместе с Англией и Францией: она пошла с ними рука об руку именно потому, что находилась в финансовой и экономической зависимости от этих крупнейших империалистических стран.

Оба брата Карабаевых отлично знали (торгово-промышленные кури вели свой учет), например, что важнейшие металургические заводы Россий находились в мужих руках: 55 процентов — в руках французов, 22 процента — у немцев, 10 процентов — в руках фирманных франко-пемецких фирм. В каменноугольной промышленности французы владели почти 75 процентами продукции. Нефть почти на 20 процентов находилась в руках англичан, и до 50 процентов ее призадлежало англо-французским компанним. Значительная часть прибыли русской промышленности шла в заграничные банки: премицисственно — французские.

Война преследовала своей целью капиталистический передел мира. Ее виновники — империалисты всех стран, — вот та правда, которую скрывали от народа не только императорский двор, но и Государственная дума русских буржу

Руководля уже Россий зкономически, торгово-промышленный класс не управлял, однако, ею политически: власть оставалась в руках самодержавия, трона и его опоры— в руках дворянства, помещиков. И отечественная буржувачяя не спешила разрешить это противоречие между своей экономической силой и политической недостаточностью. Не в ее интересах была решительная схватка с царем. Отстранить самодержавие, взять государственную власть в свои руки и... остаться один на один с рабочим классом? О, слишком велика опасносты! 1905 год уже показал, чем может закончиться такое единоборство. И потому русское самодержавие продолжало оставаться наилучшей защитой для русских промышленников, бинансистов и купцов.

Теплухин попал на площадь как раз в тот момент, когда государь, покинув у Николаевской пристани яхту, на которой приехал из Петергофа, приближался на паровом катере к Зимнему дворцу.

Еще задолго до того, как Николай покинул катер, толпа, стоявшая шпалерами на набережной и слерживаемая цепью полиции, приветствовала его динным, непрекращающимся, протяжным «ура». И как только оно замирало или утикало,— офицеры на балконе дворца и около его подъезда и полицейские чины, стоявшие впереди толпы, вновь подхватывали это охрипшее «ур-ра» и сотнями голосов подбрасывали его над толпой, как мяч, за которым она должиа была погнаться. Любопытство нагнало сюда толпу и управляло сейчас ею.

Толпа сдерживалась полицейскими и еще какими-то разбитными людьми, выказывавшими привычку и умение устанавливать порядок и распоряжаться. Некоторые из них были в чиновничьих сюртуках и кителях, другие в цивильных пиджаках поверх косовороток и в русских сапогах, как носят мастеровые или дворники. В толпе говорили, что это городовые, но выражали недоумение, почему в этот день понадобилось им переодеваться!

Стоявшие впереди — шагах в тридцати от Александровской колонны к дворцу - держали в руках трехцветные русские флаги, портреты царя, набитые на раму плакаты.

- За Родину! За самодержца!
- Боже, царя храни! Час славянства пробил!
- Живио Сербия!
- "Молебствие идет. Царь поклоны бьет. говорили в толпе.
- А ты знаешь? Соображаю.
- Чем это, Сеня?
- Головой, чай! — Кто — парь?
- Heт я!

Собеседники тихо и коротко засмеялись. Теплухин оглянулся и посмотрел на них через плечо. Он не сообразил, кто из них «Сеня», потому что они молчали теперь, а глаза обоих чуть-чуть занозил одинаковый - незлобивый - смешок. Он немедленно исчез, как только вспугнули его незнакомые - теплухинские глаза.

Через минуту разговор возобновился:

 Нет, верно: я соображаю... Какой могит быть манифест без молебну? На всякую, сказывают, глупость есть божья премулорость.

 Господин хороший! А господин хороший! Вы что-то много болтаете...

- Не больше вашего!
- Ну, ну, завели! Брось, Сеня...
- А пущай она...
- Нет. нет! Вы что сказали? Про какую глупость, про чью глупость?
 - Про вашу, выхолит!
 - Да брось, говорю, Сеня!
- А пущай она... Забываетесь, хам! На молебне наш государы!.. Кому божья премудрость? На чью глупость... а-а?
 - Сеня!
 - А пущай она...
 - Нет, нет... Вы, кажется, оскорбляете государя...
- Ну да немецкого! выпалил вдруг «Сеня». Чего, барыня, пристали в сам деле? Тьфу! На германскую дурость пошлем

господа бога премудрость. Ну, и на вашу долю хватит! — закончил он под общий хохот окружающих.

Барынька скрылась за спины своих соселей, оставив раскрасневшемуся скуластому парию со взбитым рыжим хохолком на обнаженной голове длинный, как стрела, взгляд презрения и ненависти.

— Ишь невопря! — прокашлялся кто-то рядом с Теплухиным, в извозчичьем летнем армяже, степенный, с шпрокими сивыми усами и мохнатыми подусниками на кирпичном лице и живыми маслянистыми глазами — черпыми, как бризги жирной грязи изпод колеса его экипажа. — Парию для движения ума простор требуется, а она ему простор горизонту заслоняет...

Он, очевидно, мог быть суров с норовистой лошадью, но признавал свободу для людских высказываний.

У барыньки были прыгающие губы и раздувающиеся ноздри кликуши, и, разыскав ее глазами, Иван Митрофанович увидел, ка исступленно, с костляямы, мертвенно-бледыны лицом проталкивалась она в первый ряд, протягивая руки к древку плаката, поставленного наземь каким-то тучным и непомерно брюхатым, разморенным почтовым чиновником.

 Дайте... подержу... Дайте... подержу! Позвольте мне, позвольте, пожалуйста...

Теплухину удалось протискаться почти к самому центру площади. Выдвинувшись немного вперед, стоя почти в первом ряду, он окинул вяглялом площадь. Знамена и плакаты услужливо подставили себя окнам дворца. И вдруг Иван Митрофанович заметил, что большинство полотияных плакатов на деревянных рамах — одного и того же размера, слова на них написаны одним и тем же четким, раздельным шрифтом, а шесты — копьеобразные, белые — одной и той же формы.

«Какое зудачное совпадение! — насмешливо подумал Теплухии.— Словно их делал один и тот же мастер и по желанию одного и того же заказчика...»

Он остановил свой взгляд на голом лоснящемся, как змея на соляще, подбородке стоявшего поодаль молоденького упитанного помощника околоточного, но подумал не о нем, а о «голландской» черной бородке и бритой губе «инженера Межерицкого».

И вспомнил:

«Вы пришли: я вас ждал. Выкупить «вексель»? Раз и навсегда? Наросли кос-какие «проценты». Вам же на пользу — поймите! Вы чувствуете? Ведь опасно... потрясние! Вы, вы заинтересованы в изшей победе. Помните, я знаю главный рычаг всех ваших поступков... Жизнью пользуйся живущий! Философия эпохи! К делу, к делу! Мне теперь некогда!»

На его голом шишковатом черепе словно вздуваются и опадвют буторки.— это кажется так Ивану Митрофановачу, потому что у самого кровыю наливаются глаза, кружится от насависти голова, и окостеневший сжатый кулак тянстся, сдва слерживаемый, ударить по этому наголо выбоитому черепу... «Подумаешь, друг мой, нашли выкуп за «вексель»! Эка штука: кадеты бегают с заднего крыльца к английскому послу! Нашли, что сообщить! Вы это поняли из намеков Карабаева, а нам это известно почти от самого посла. Не трудитесь... Я сам сообщу вам, что нужно для нас и что вам надо делать. Прощайте и уезжайте домой в Смирикинск!»

Иван Митрофанович забывает на минуту, где он, что делается вокруг него, он чувствует себя затерянным в лабиринте своих собственных мыслей — таких неотступных, придривых и пу-

гающих.

Он чувствует себя ненаказанным, скрывающимся преступником, и, как преступника, его тянет к месту совершенного преступления: перед ним всплывает «колесуха», Александровский централ и образы убитых соддатскими прикладами политических.

«Жить!»— чуть не выкрикивает Теплухин это слово, и оно летит в вставшие перед глазами видения прощлого. Так всегда, обороняясь от него, поджигал Иван Митрофанович фитиль своей послепней — спасающей — мысли, и она, вспыхнув, рассеивала, уничтожала врагов — горяченые воспоминания.

 И он вздрогнул, как и вся стотысячная толпа в этот момент, условным вздруг подлинный — густой и тяжелый — пушечный выстрел.

У-у-ух-х!..

Раз... другой... третий...

У-у-ух-х!..

Это стреляли с верков Петропавловской крепости: дворцовое молебствие о даровании победы над врагом «христолюбивому российскому воинству» кончилось.

 Война объявлена... Объявлен манифест! — говорят в толпе, и многие, — особенно женщины, которых большинство здесь, усиленно крестятся и что-то молитвенно бормочут.

И действительно, в эти минуты дворцовый священник кончал чтение парского манифеста в Николаевском зале.

 — Эх, хотел бы я там быть да одним глазком посмотреть! выразил кто-то искренне и простодушно желание толпы.

А «там» было:

Отзвучали последние слова манифеста. Громадный зал, протянутый вплоль набережной, вызолоченный сейчас со сторомы Невы широкими раструбами солнечной пыли лучей, затих. Это была та чуть вздративающая, конвульсивная типшина замирания, которая вот-вот должна будет бурно разрядиться и перейти в безудержный пароксизм шума, кликов. Ведь к этому так готов был все время этот тысячный застывший кортеж лейб-твардии офицеров, заменивший сейчас собой императору народ, многомиллионную Россию...

С аналоя, поставленного посредине зала, печально и неразгаданно смотрели в тускло голубеющие глаза царя «чудотворные» иконы спаса нерукотворенного и казанской божьей матери. Перед последней в отечественную войну фельдмаршал Кутузов долго молился, идя к Смоленску.

И, словно вспомнів об этом, Николай делает несколько сбивающихся развинченных шагов к престолу и, не глядя ин на кого, подходит к священнику, держащему еванислие. И, остановив дыхание, видит зал, как поднялась вверх над свангелием короткопаляя правяя рука царя, как мучительно одереженьо его желтеющее лицо: оно силится умертвить корчащуюся между усов скользкую змекку растерянности.

Николай медленно, прислушиваясь к каждому своему слову, керасторопный ученик, который боится сбиться, забыть выученный с трудом урок.— роняет в тишину зала:

С спокойствием и достоинством... встретила... наша великая

матушка-Русь... известие об объявлении нам войны...

...Я здесь торжественно заявляю, что... не заключу мира... н-не... заключу... до тех пор, пока... последний неприятельский воин... не уйдет с земли нашей...

...Стоявшие на площади слышали неистовый шум восторженньях, отлушительных возгласов, взрывавших, казалось, дворец неповторимого Растрелли. Это кричали в пароксизме ликования последиие санкт-петербургские преторианцы российского самодержив.

Как одержимые они бросились к нему, целуя в плечо, в спину, тыкаясь губами в его оробевшее, вздрагивающее тело, и падали на одно колено, хватая для поцелуя белые шлейфы и подолы Александры и ее ошеломленных дочерей.

«...Не заключу мира, пока последний воин не уйдет с земли нашей...»

Эту клятву царь точно уворовал у своего предка: ее дал России Александр в 1812 году.

И в народе вспоминали этот год.

— Мы стоим у памятника отечественной войим. Символ... это же символ, господа!. Теперь вот вторам отечественная... и все должны идти, все на защиту родины и престола. Вили французов, будем бить немцев. Вы только посмотрите, господа, на эту площадь. Живете, господа, и не присматриваетсы, длохо знаете,—звенел, как голодный комар, тоненький срывающийся тенорок.

У «тенорка» был льстивый, фарисейский рот и вогнутый, как дно тарелочки, лоб молодого дегенерата из благовоспитанной чиновничьей семьи. «Тенорок» вызванивал всем, что знаменчитая «Вандомская колонна увенчана была («Чем, чем?»— выкрикивал и захлебывался он...), увенчана изображением полководца», а «что, что воздвигли мы в центре этой единственной в мире площади?»— «Столп, чем увенчанный?»

 Над Александровской колонной вознесен, господа, символ страдания — крест!

Окружающие слушали, нетерпеливо поглядывая на дворец.

Глядите, глядите на эту площадь: символика!.. Наш рус-

ский характер!..- уже терял свой голос «тенорок», но не унимался. — Все здесь как будто нарочно создано для народной военной манифестации...

И он объяснял. Полукольцом замыкается площадь Главным штабом с его гениальной римской аркой и ее колесницей Победы, влекомой шестью лошадьми. Но с другой стороны — величавая завеса Зимнего дворца... «Капризная прелесть его, господа, ни единым изгибом линий не напоминает о военной суровости. Так и в русской душе, — задыхался «тенорок», — порыв воинственности живет, неразрывно связанный с веселым миролюбием...»

 Нас оскорбили... Оскорбили нас, славян,— и мы покажем теперь... Мы разобьем Берлин вдребезги!...

Ишь ты... молотобоец языком!

Что? Кто это сомневается? Вы слышали, господа?..

- Я сказал. Я... Вдребезги? Не всех коли, говорю, хоть одного на племя пустим! А ты, падаль говорливая, на русско-японской трудился... а? А я был!

Держите... держите, господа! Шпион, австрийский шпион!

 — А почему именно — «австрийский»? — услышал Иван Митрофанович позади себя чей-то насмешливый знакомый голос, рассмешивший окружающих, давших возможность порицателю «тенорка» кула-то нырнуть,

Оглянувшись, Иван Митрофанович не сразу заметил маленького быстроглазого Асикритова. Журналист не стоял на одном месте, а пролезал ужом куда-то в сторону, отдаляясь от Теплухина. Иван Митрофанович хотел его окликнуть, но раздумал.

- Гляди, гляди начинается! прошелестело вдруг в толпе, и она качнулась немного вперед, подтолкнув своих знаменосцев.
 - Выпустите... пропустите старушке дурно стало!
 - А чего перлась?
 - Городовой, помогите!.
 - Петь надо будет, а у меня недавно ангина была...
 - Несут...
 - Кого? кого?
 - Старушку.
 - A-a...
 - А вы потом смажьте горло.
 - Тише-е! Выхолят!
 - Бо-оже, царя хра-а...
 - Да нет же, Митя,— не царь! - А я вот, Антоновна, и говорю ему...

У Ивана Митрофановича ныли от усталости ноги. «Подожду минут десять и уйду», -- решил он.

Но вот все время не сообщавшийся с площадью дворец сделал первое движение. Распахнулись на некоторое время ворота с массивными вензелями, чтобы выпустить чьи-то экипажи. Это уезжали домой певчие придворной капеллы.

Сейчас, сейчас!...

Глаза всех обращены на второй этаж дворца, где вдруг подскакивают вверх висящие изнутри сторы и медленно раскрываются две боковые двери на средний балкон.

Ток четырехчасового ожидания с новой — предельной — силой выпрямляет толпу. Она напряженно всматривается в раскрытые двери. Ближе к балкону, в зале дворца видно какое-то движение. Кто-то шепотом вспоминает: с этого самого балкона Алек-

сандр Второй читал свой манифест о крестьянах.

Движение в зале, и народ отчетливо увидел вышелших на балкон люлей.

Бо-о-же, царя...

Тс-с-с, вы!

На балкон вышли два камер-лакея в красных, обтянувших фигуры камзолах. В руках каждого были метелки из перьев, а лица лакеев - с гладкими, голыми подбородками и пышными оттопыренными бакенбардами — удивительно схожи были с лицом всем известного по портретам председателя совета мини-CTDOB.

Камер-лакеи, глядя на толпу, вытирают перила и гуськом исчезают. Еще минута - и у стеклянных дверей показываются плечи и спины царедворцев: великие князья и свита.

Затем вновь это куда-то отклынуло, и на балкон, шагнув на то же место, где только что стояли лакеи, вышел царь, сопровождаемый Александрой.

Их узнали. И вдруг толпа упала на колени, как огромный непроезжий лес, срезанный мгновенно под корень. С высоты балкона те, кто не упал, — тоже казались коленопреклоненными. — Ур-ра-а! — полетели в воздух картузы, шляпы, фуражки.

Боже, царя храни!

Толпа, склонив знамена, запела гимн. Царь, оглянувшись, протянул руку Александре и подвел ее поближе к перилам.

Где-то близко на флагштоке реет в синей выси огромный императорский штандарт. Светло-желтый стяг с изображением орла играет с мягким июльским ветром.

С балкона площадь кажется покачивающейся, наплывающей палубой огромного корабля, а Александрова колонна — на фоне бе-

гущих лиловых облаков — его вознесенной мачтой.

И — кто знает? — может быть, видит своевольная немка, владеющая этим всесильным русским офицером и его страной, может быть, видит она эту самую площадь по-иному, чем он, - так, как хочет, того истерически ненавидящее сердце... Может быть, кажется ей, что раздавлена сейчас на этой площади — как в январе 1905 года — под тяжелым постаментом царственной колонны строптивая, непонятная и страшная в своей неразгаданности страна - Россия?

Спаси, господи, люди твоя...

Не спасет он. нет!

Царь был доволен. Он сделал еще шаг вперед, поднял руку и, казалось, хотел что-то сказать.

- Тише, тише! просили те, кто стоял ближе к дворцу, но в конце площади видели только крошечную — оттуда — голову государя и белую высокую шляпу Александры и не унимались.
 - Ур-ра! Ур-р-ра-а!

Тысячи кликуш в соломенных шляпках, в платочках горничных и с непокрытыми головами, с растрепавшимися волосами обессиленных фурий, плакали, выли и крестопоклонно стенали.

A-a-a..

В миг, когда толпа упала ниц и словно еще выше подивля. подно жал дворен, Ивван Митрофанович вместе со всеми подогнул ноги, и одно колено его коснулось земли. Да, да — и здесь он смалодушествовал, он испугался остаться стоять во весь рост среди всего коленопреждоненного народа!

Теплухин смотрел уже не на балкон, а на землю — на кусочек выпуклого, круглого булыжника. Но это продолжалось одну только секунду. Теплухин нерешительно, воровски поднял голову и увидел варру прямо перед собой выпрямленное широкое дамское пальто.

Он скосил глаза чуть набок. Седая крупная жещина с дородным благородным лицом генеральской вдовы, имеющей что вспоминть в жизии, со спокойной умилленностью лориировала балкон. Рука в шелковой желтой перчатке уверенно держала у глаз золотой старинный лориет.

Тогда Иван Митрофанович тихонько, медленно поднялся, прячась за ее спину,— но, не разогнувшись в полный рост, а оставшись сотбенным, упираясь руками в колени, опустив голову, как стоят люди, играющие в чехарду.

- ...Царствуй на сла-а-аву нам-м...
- Тише, тише! озирались передние ряды: они думали, что услышат голос государя.

Но Николай, стоя спиной к площади, смотрел улыбаясь на императрицу. Она повернулась вполоборота к дверям, лиловые повелевающие губы снисходительно подергивались.

Она переступила порог, — царь отступил от перил и, оглянувшись на толпу, медленно, бочком пошел к двери.

И в это время толпа, вскочив на ноги, давя друг друга, стренительно передвигается вперед, словно желая удержать удалявшегося монарха.

- Ур-р-ра!
- Бо-о-же, царя храни...

Не помогает. Силуэты пропали где-то в глубине зала, кто-то, невидимый теперь, закрывает двери на балкон, и падают стремительно изнутри непроницаемые сторы.

Не то кричат, не то беззвучно хохочут разинутыми ртами с красных стен дворца лепные арабески. И только...

- ...Поворачивай назад!
- Ну, ты полицейская бляха!
- A-a? P-p-p...

Картавый полицейский свисток.

 Мимо дворца закрыт ход, говорят тебе! А мне на Миллионную...

- Так мне пройти только, братцы!
- Господа... городовой, городовой! Держи-и! — Koro?

- Часы и цепочку срезали...
- Вот-то дело а? На сухом берегу рыбу ловят. - Xo-xo-xo!..
- Знаменательный день! Исторический день!
- Вернем мы им Берлин или нашим останется?
- Неужели социалистов теперь не повесят, Котик? -- Веч-че-ерняя «Биржевая»!
- Сеня, говорю, брось! А он ее, ведьму, чертохвостит, чертохвостит... Беловый! Царь-батюшка на груди с Егорием, а она, сказывают, с
- Григорием! Тс-с-с, дурак!
 - Веч-че-ерня-я «Биржева-а-я»! Газетчик, покажь!
 - Давай, давай!
- Барышня, я раньше уплатил... Ну, что за свинство... вырывать! Газетчик, газетчик!

 - Читай, Юленька, вслух...

...Иван Митрофанович мельком, на ходу, пробегал глазами первую страницу газеты. Что это? Подлинно, по Европе шли взрывы один за другим: выстрел Гаврилы Принципа детонировал ее.

«Париж, 19, — мелькало перед глазами Ивана Митрофановича. — Вечером в кафе «Круассан» неизвестный произвел несколько выстрелов из револьвера в знаменитого депутата-социалиста Жореса, который был тяжело ранен в голову. Вскоре Жорес скончался».

Теплухин вздрогнул. «В голову... в голову,- подумал он. («А скоро социалистов будут вешать, Котик?» — выскочили чьи-то услышанные слова...) — В голову... Символично!» — И он вдруг вспомнил это самое слово в фарисейских устах «тенорка», и ему показалось, что и он сам сейчас похож на того лицемера. А может быть, «тенорок» был просто глуп?..

Перед тем как завернуть за угол, Теплухин оглянулся и приостановился. Площадь была почти свободна от народа. Зимний был отгорожен глубоким полукругом от всего остального народа. Он подчеркивал словно свое величие повелителя. «Символично... Фу, прет же это слово!» - отмахнулся Теплухин,

Дворец, казалось. - две взгроможденные одна на другую колоннады. Отдельные части его густыми багровыми массами выступали одна перед другой, словно стремясь друг от друга отойти, - застывший грузный шаг на месте...

Прорезанные в стенах бссчислснных громадные окна, оберегаемые с боков колоннами, шли вдоль площади таинственной полупрозрачной галереей, по которой, чудилось, тихо и безмятежно блуждала все время душа великого зодчего.

Пышное барокко дразнило очарованный глаз гениальностью своих линий.

Теплухин направился к своей гостинице. Сегодня вечером он уезжал домой. Он и так задержался: еще несколько дней назад была получена телсграмма Карабаева, предписывавшая воздержаться от переговоров насчет сахарного завода.

Улицы нашли в эти дин своих геросв. Всюду маршировали войсковые части и колонны ополченцев с узслками в руках. На перекрестках сталкивались десятки оркестров, позади которых длинной вереницей тянулись, сбиваясь в шаге, вихлястые ряды бывших и блучших солдат.

Ать-два, ать-два!..

У Фокина (офицерские вещи и приклад) — очередь. Из магазина выходят с новенькими желтыми ремнями крест-накрест, и Петербург наводняется роем «прапорщиков запаса».

Каждый молодой офицерик чувствовал себя слегка Бонапартом. Он старастся смотреть как можно решительней и суровей на встречную толпу, но мальчицки, бетущие вперсии рядов, видят, как полуребяческая улыбка наивного самодовольства и в то же время смущения конфузливо бетает вокруг его безусого рта.

С грохотом пропосятся вдоль проспектов зеленые походные повозки. Произитсльне гудят рожки и сирены военных автомобилей. Набетает друг на друга поток экипажей, прорезывают людской водоворот стройные казачых сотни на одномастных лошадях. Выкатывая глаза, раздувая жабы шеки, свистит городовой.

Теплухин чувствует себя неловким провинциалом в этой разгоряченной сутолоке столицы. Он садится в трамвай и почти в изнеможенье опускается на скамью.

Россия тронулась! — говорит кто-то рядом с Теплухиным.
 Он молчит. Он одинок. Он не знает своего пути.

Но не все ли равно?!

Теплухин, консчно, и предположить не мог, что почти одновременно с ним появился в Петербурге человек, несколько лет назад оставленный им на «колесус». Месяца четыре прошло, как человек этот, бежав из каторжных краев, осторожно приближался к родному Литеру.

Товарищи по партии помогли Власову в Омске, в Перми, Самаре,

Москве и, наконец, в самом Питсре.

На первое время партийная организация снабдила его паспортом, выданным в Ельце на имя некоего мещанина Троекурова, тоже Василия Афанасьевича, и под этой фамилией он поселился не на родной своей Выборгской стороне, а на одной из Рот, ответвленных от Измайловского проспекта.

Ему необходимо было соблюдать осторожность: таков был наказ партии — районной исполнительной комиссии, — и Василий Афанасьевич ослушаться, естественно, не смел. Даже тогда, когда, по мнению Власова, ничто не угрожало его личной безопасности.

 Пойду и я! — объявил он в районном большевистском комитете, когда зашла речь об организации одной из первых антивоенных демонстраций в ответ на кликушество, царившее на площади перед Зимним дворцом, на Невском, Морской и в других местах.

- Не пойдешь, спокойно ответил ему Громов, старый питерский друг Андрей Петрович Громов, - его партийный, можно сказать, побратим, превративший Власова в «Троекурова».- Не пойдешь - и все! Понятно? Не для того ты, Василь Афанасич, прибыл сюда, чтобы сразу же упекли тебя в полицейский участок.
- Почему меня должны упечь? пожимал плечами Власов. А потому! — не считал нужным объяснять Громов и за-

шевелил, как поршнем, своим адамовым яблоком. (Примечательное оно у него было!) И Андрей Петрович был прав.

По улицам Петербурга с утра до вечера шествовали теперь «патриотические» демонстрации — с портретами царя, с трехцветными флагами, с жаждой громить любых других людей, которые, - казалось манифестантам: дворникам, чиновникам и «охранникам», -- не выражали в должной мере националистических чувств. Черносотенцы сбивали с прохожих фуражки и шляпы, врывались в трамваи и в дома и там учиняли хулиганскую расправу с «инакомыслящими».

На Исаакиевской площади было разгромлено Германское посольство и с темно-кофейного фронтона его сброшены бронзовые кони, на Садовой и Владимирском громили ювелирные магазины. фамилии владельцев которых смахивали на немецкие, на окраинах

пускали пух из подушек в квартирах рабочих.

Уличная толпа, особенно в центре города, взвинченная шовинистическим кликушеством, теперь не только не соблюдала обычный «дружественный нейтралитет» при виде рабочей демонстрации, но и сама набрасывалась на демонстрантов, помогая полиции и погромщикам. Те из толпы (обыватели всех видов, всякого рода уличные фланеры), кто во время рабочих демонстраций торопливо прятался в боковых улицах и переулках или робко жался к полъездам и воротам, стараясь издалека наблюдать происходящее, теперь уже считали своей обязанностью присоединиться к «охранникам».

Точно так же поступила толпа и в тот день, когда рабочие, в ряды которых хотел встать Власов, вышли колонной навстречу предводительствуемой офицером партии призванных на войну ратников запаса.

Товарищи! Братья! Долой войну!

Запасные молча переглядывались и, сбиваясь с шага, почесывали затылки.

Раздались свистъи городовых и брань офицера, и тогда, как по сигналу, голла бросидась с панели на мостовую (приключилось ото у Варшавского вокзала) и с истерическими криками: «Изменники, предатели, германци»,— начала избивать рабочих. На долю полиции остались лишь аресты демоистрантов и, как и предвещал Андрей Громов, отправка их для выженения личности в «гостеприимные» в те дли полицейские участки.

 Отказываться от организации антивоенных выступлений, конечно, не следовало, но принимать в этой демонстрации участие Власову ни к чему,—рассудил Андрей Петрович.

Найдется, найдется еще настоящая работа для таких, как Василий Афанасьевич Власов! Настоящее революционное дело в новых условиях еще только начинается.

Такие, как Громов и Власов, знали свой путь: в России и в жизни.

Глава шестнадцатая

...ЛИШЬ ДЛЯ ВОЗГЛАСОВ «УРА!»

«В тяжелую минуту, когда внешний враг стоит у ворот, когда наши братья вышли к нему навстречу и готова пролиться родная кровь за спасение родины; когда те, кто остались, силой вещей призваны к великим жертвам, духовным и материальным,— руководители партии народной свободы высказывают отвердую уверенность, что их политические друзья и единомышленники до конца исполнят свой долг российских граждан в предстоящей борьбе.

Каково бы ни было наше отношение к внутренней политике правительства, наш первый долг — сохранить нашу страну единой и нераздельной и удержать за ней то положение в ряду мировых держав, которое оспаривается у нас врагами.

Отложим же внутренние споры, не дадим врагу ни малейшего повода надлеяться на разделяющие на разногласия и будем твердо помнить, что теперь первая и единственная наша задача — поддержать борцов верой в правоту нашего дела, спокойной бодростью и надеждой на успех нашего оружия. Пусть моралыная поддержка всей страны даст нашей армии всю ту действительную сму, на которую она споссобы, и пусть защитники наши не обращаются с трезогой назад, а смело идут вперед навстречу победе и лучшему будущему».

- ...Господа! Наконец в таком виде принимается? А? Согласны?
- А вы, пожалуйста, прочтите сначала, Павел Николаевич...
 Слушаю...

Седая голова Павла Николасвича Милюкова с раскрасновщимися, как у стылилой довушки, ушами наклонилась над исписан-

ным и исчерканным листом. Упругие серебряные волосы, словно насильно согнутыс, повисли тонким крылом над широким прямоугольным лбом, на который вверх от переносицы протянулись крошечным весром три резкие морщинки.

Голова вновь приподнялась:

 Ну, слушайте, господа: читаю в последний раз... Пора кончать...

Гладко выбритое лицо Милюкова с нежным стариковским румянцем улыбалось Карабаеву. Модное, без оправы, пенсне, чуть-чуть наклоненное вперед, коротко метнулось куда-то в сторону.

«В тяжелую минуту, когда...»

Все, повинуясь, замолчали и вслушивались теперь в его слова. Это были не простые слова, даже не речь его, которую потом печатают все газеты,— это была его программа, которой, как казалось ему и его единомышленникам по кадетской партии, ждала сейчас вся страна.

Льву Павловичу было приятно, что это «историческое», как он считал, в жизни партии заседание происходит у него на квартире. Правда, это произошло потому, что он расхворался в последние дни и никуда не выходил, а собраться надо было всем членам Центрального Комитета, живущим сейчас в Петербурге. Но тем лестней, что без него, Карабаева, не могли обойтись.

А если бы заседание происходило где-либо в другом месте, разве не побежал бы он туда, рискуя даже своим здоровьем?! Таковы ли времена, чтобы беречься!

 «...сохранить нашу страну единой и нераздельной...» еще тверже и настойчивее читает тот же чеканный голос, и Лев Павлович, упрямо надавив каблуком пол, отбивает поднятым носком ботинка такт каждому из этих слов...

О да! Страна должна остаться единой и нераздельной, в этом он, Карабаев, был всегда убеждень, в этом всегда были убеждены все эти люди, съндвице сейчас здесь. Стране — Россти! — утрожает смертельная опасность, и надо отложить на время борьбу с правительством. «То, с чем мы боролись в Думе и обществе еще неделю назад,— думает Лев Павлович,— должно быть отдавнуто сейчае на второй план. Три месяца назад голосовали против военного биджета,— теперь его надо уведичить, увесичить во что бы т он и стало! — потому что жребий брошен уже историей... И в грозный час испытания да будут забыты впутрения распри!»

Эти последние слова — из царского манифеста, и Лев Павлович неожиданно морщится, как будто вспоминает что-то особенно неприятное: «Под этими замечательными словами такая лживая подпись государя!..»

«Нет, все равно, — успокаивает себя Лев Павлович. — Дело не в нем, не в его правительстве — дело в России! А разве она виновата, что у нее в этот момент такие правители?»

«...навстречу победе и лучшему будущему»,

Румяный глава партии поднял голову и оглядел всех присутствующих. Теперь еще резче бросились в глаза его раскрасневшиеся ся маленькие уши и жестике, так хорошо знакомые всем усы. Седые, с пепелывыми искрами у корней, они были чуть подняты, отогнуты вверх, очертив линию рта, и тщательно приглажены в обе стороны, словно только что парикмахер снял с них сетку наусников, петлями державшихся на этих розовых маленьких ушах.

Усы были «слабостью» профессора, знаменитого политического деятеля: он их холил, и это все знали.

Он любил еще скрипку и английскую конституцию,— и это тоже было хорошо всем известно.

Его недолюбливали за чересчур осторожный, сухой, «профессорский» ум,— это от него скрывали его друзья.

- Решено, значит...— прервал первым молчание Лев Павлович. Он чувствовал себя сегодня «хозянном» дома, обязанным облегчать гостям выход и затруднительного положения, как только оно наступало. А это положение будто создавалось... Депутат с фамилией знаменитого поота вдруг встал и заходил по комнате, ни на кого не глядя. Сидевший на диване упитанный, с круглой, как пушечное ядро, выбритой головой, Владимир Дмитриевич обратился к председателю:
- Я согласен, Павел Николаевич, с этой окончательной редакцией.
- Отлично. Вы, Лев Павлович? За? Сергей Иванович? Владимир Александрович? Николай Виссарионович — вы?
 - Я... за. Допустим за...
 - Что значит «допустим»? — Ну, я «за», господа... хорошо. Решено... Но... но скажите,
- пожалуйста, где мы это воззвание напечатаем... a?
 Он остановился посреди комнаты, заложив руки в карманы,
- Он остановился посреди комнаты, заложив руки в карманы, подняв вопросительно плечи.

 — В газетах, конечно, Николай Виссарионович. В газетах!
- в газетах, конечно, гиколаи виссарионович. В газетах:
 Мы прокламаций не печатаем! Предоставим эту сомнительную честь сторонникам социализма... Да и нужно ли такое воззвание, под которым распишутся все лучшие интеллигентские силы страны, печатать прокламациями?
- Ни прокламаций и ни «манифестов» мы не выпускаем! пожелал уравновесить настроение Лев Павлович.
- Позвольте, господа... Я сам знаю, что... такое воззвание разрешат, конечно, напечатать. Разрешат. Но где? В чужих газетах, Павел Николаевич! В чужих!

Он мрачным и слегка торжествующим взглядом обвел присутствующих и подошел к столу.

— Газету нашей партии верховный главнокомандующий закрыл. И за что? За ваши же, Павел Николаевич, статьи! Вы советовали не начинать войны даже тогда, когда Белград будет занят австрийцами. Так? Вы в глазах правительства оказались антипатриотом. Смешно, конечно.

-

И печально, Николай Виссарионович!

— И вот мы лишены своего печатного органа. Мы, партия либеральной демократической интеллигенции!. А? Мы, мозг народа!. Вы знаете, господа,— он опять отошен на середниу комнаты,— я встретился сегодня в одном месте с нашим думским социал-демократом...

Вы часто с ним встречаетесь, Николай Виссарионович?

Думаю, что реже, Сергей Иваныч, чем кое-кто из нас... с сиятельными лицами!

Тот, кого звали Сергей Иванович — широколобый, с пышной седой шевелюрой и черными усиками, — скривил растерянно губы. «Ах, до чего люди изнервничались, ужасно!..» — волнуется

Карабаев и предостерегающе и дружески смотрит в злые, пришуренные глаза сидящего на диване товарища.

— Я продолжаю, господа... У эслеков сидело несколько рабочих. Один из них товорит мне: «Вот вашу, говорит, газету закрыли, а нашу и еще раньше: как бастовать начали. Выходит, говорит он, есть пункт, чтоб вместе сейчас на этот режим идти, требования пресъявляться вы понимаете: господа?.

 Мы — понимаем, а вы... — резко поднялся с дивана, отдернув вниз безукоризненно отглаженные коверкотовые брюки, тот, кого звали «Владимир Дмитриевич», и вынул из кармана слоновой кости портсигар. - Господа, пора кончать. Решение принято и как будто единогласно, хотя, возможно, и не единодушно, - играл он, как всегда, словами. - Газету нашу откроют: вчера Родзянко обещал мне и Павлу Николаевичу ходатайствовать об этом. Это — во-первых. Затем — относительно нашей позиции ∂o объявления войны.. Я подчеркиваю: ∂o объявления войны... Мы должны были советовать правительству избегать войны только потому, что Россия к ней не подготовлена. Только! Это бой в невыгодных условиях и при бездарном министерстве. Но... случилось! То случилось, что было неминуемо. Рано или поздно. России душно не только политически, но и экономически. (Белая, серебряная голова профессора одобрительно кивнула.) Это, господа, вовторых. Теперь — о «встречах» дорогого Николая Виссарионовича... Ваши знакомые меньшевики сами не знают, чего они котят в настоящий момент. Это — безответственная оппозиция геморроидальных книжников. Рабочие, которые к ним приходят, поменьше бы эти самые рабочие бастовали на радость Германии! Пора одуматься рабочим, если они - русские!.. У них с нами может быть только один путь - путь России, государства, наш путь... Это — в-третьих, господа. А в-четвертых, вот что... Вчера мне показывали прокламацию одну. Она выпущена социал-демократами — большевиками. Программа ясная и четкая, несмотря на явное сумасшествие и преступность идеи. Эта идея — разрушение русской государственности и война войне. Не только правительству, но и войне! Вы, кажется, не придаете значения этой кучке людей, Николай Виссарионович? Напрасно. Это — тот наш враг, который при первых же серьезных затруднениях раньше всех

пожнет плоды народного недовольства. Россия знала уже Путачевых и Разиных. Так вот, господа... Мы, политические вожди русской интеллигенции разных званий и профессий,— мы должны взять пример у наших союзников, да и у наших врагов. А там посмотрим!..

Некоторые зааплодировали, все снялись со своих мест и задвигались по комнате. Вот уж подлинно четкий партийный курс —

наконец-то!

 Это правый флюс на лице партии, — нерешительно и сконфуженно улыбался Николай Виссарионович. — А где же елевый», демократический, так сказать?. — смотрел он на Карабаева и на других, словно ища поддержки.

 Левый, Николай Виссарионович? Да ведь он уже был, да благополучно лопнул: посмотрите на свое лицо,— оно очень осу-

нулось, дорогой друг!...

Круглое, плотное, с туго натянутой кожей лицо Владимира Дмитриевича лукаво постреливало дробью черненьких упрямых глаз.

Кто-то чересчур громко расхохотался. Тогда глава партии, пряча в боковой карман «исторический листок», приблизился к собеседникам и стал в центо их.

— Лучше, — сказал он, и все умолкли, — лучше, однако, переболеть уже, чем быть еще больным флюсом, не так ли? Но, господа, никто не болен. Владимир Дмитриевич просто... умышленно раздул свою щеку. — не так ли?

О, этот осторожный седоглавый человек всегда мог находить равнодействующую и в шутке и в серьсачном деле... Эта равнодействующая определяла курс политики: он, глава ее, не аплодировал сегоднящиему орагору, но и не возражал ему. Их было двое таких: он и Лев Павлович.

…Стали расходиться вскоре же после окончания заседания. На послезавтра было назначено открытие обеих законодательных палат и — до того — высочайший прием депутатов в Зимнем.

Едва Лев Павлович успел проводить участников заседания и вернуться к себе, чтобы отдохнуть, как в передней раздался звонок. и через минуту кто-то постучал в дверь.

Войдите...

В комнату, с портфелем в руках, вошел Фома Асикритов. Журналист был в чесучовом пиджаке — длиином, почти до колен, и коротком в рукавах, отчего его маленькая подвижная фигурка приобретала еще более смешливый вид.

«Чертик!» — невольно улыбнулся Карабаев, глядя с дивана на

своего родственника, который не всегда был ему приятен. Асикритов положил портфель на выступ камина и засеменил к лежащему на диване Льву Павловичу. По дороге он споткнулся озагнувшийся край тяжелого ковра, чуть-чуть не упал и, размахивая в воздухе руками, не дошел, а долетел, как подпрыгнувшая пружинка, к первому попавшемуся креслу. «Ох чертик!...» — еще раз подумал Лев Павлович и вспомнил куклу-арапчонка с вращающимися глазами в витрине одного из табачных магазинов: и действительно, Асикритов чем-то напоминал сейчас того арапчонка.

Придвигайте кресло сюда, Фома Матвеевич. Простите, что

я лежу, но я очень устал.

Асикритов не замедлил очутиться у дивана.

 — Я к вам на пять минут, Лев Павлович... всего лишь. Я хочу знать...

- Интервью? улыбнулся Карабаев и подумал, что мог бы, конечно, многое сообщить из сегодняшнего заседания, но разбалтывать кому-либо секреты своей партии он никогда не стал бы.
 - Комитет у вас заседал, Лев Павлович?

А вы откуда знаете?

 Очень просто: я встретил всех ваших в подъезде. Понять нетрудно. Ну, так вот, что решили?

Лев Павлович сразу насупился: ему не нравилась такая напористость журналиста, уж очень бестактно, по мнению Карабаева, желавшего использовать их родственные отношения. И он сказал, грузно повернувшись с бока на спину и глядя в потолок:

Страна узнает наше решение.

 Вот я за этим, чай, и пришел, Лев Павлович? Или как вы думаете?

- Наше решение унес Павел Николаевич.

- Остроумно и зло сказано, Лев Павлович! Ай, да-да... В боковом кармане своего профессорского сюртука унес... хэ-хэ-хэ!
- Фома Матвеевич! Вы... знаете... как-то странно... расцениваете мои слова! (Лев Павлович хотел сказать: «странно ведете себя».)
- Да не сердитесь, золотце наше, Лев Павлович... Измотался, очень взволнован я.

«Правда,— подумал Карабаев,— все теперь страшно взвинчены»,— и сдержал свое раздражение.

 Так вы и все ваши, Лев Павлович, за или против? Против войны или нет?

Мы за Россию — это вам хорошо известно.

 Хе-хе... За какую Россию? Э-э, не понимаете? Нет? Да что же это, бог ты мой, со всеми вами сталось в самом деле! Царя поддерживать будете, Распутина обелять... а?

Не говорите гадостей, Фома Матвеевич.

 Гадостей? Нет, стойте. Ответьте мне на один вопрос. Вы за демократию или нет?

Глупый вопрос, простите. Конечно, да.

Дальше, дальше! Демократия разве может желать войны?
 Нет?... Воюют короли, президенты всякие, холуи, императрицы, при чем же здесь демократия, а?

— Вы наивны.

Если наивность — человеколюбие! Пускай Николашка

ведет войну без всякой помощи изнутри, без поддержки общества.

В два счета революция будет. Чай, нет?

— Это крушение страны! Она не должна быть разбита... Да потом... потом... — Лев Павлович векочил с дивана, закашлялся, побагровел и, когда немного отошел, схватил вдруг подушку с дивана и отбросил ее в другой его конец: — Я ни на какую разнузданную революцию не поменяю ни одну русскую губернию! Слышите вы? Спышите?

Он опять закашлялся и убежал в спальню. Широкоплечий, немного грузноватый, в черном люстриновом пиджаке, он на ходу расстегивал его... жилетку... верхиною рубаку... срывал галстук и все это делал нерешительно и невпопад, словно руки его заблудились в его собственной одежде.

Через пять минут он вновь вышел — во всем том же, но без

галстука и с расстегнутым воротом.

Под глазами у него были мешки. Черные густые волосы торчком на большой голове; черные усы и такая же широкая, но не длинная борода еще резче оттеняли сейчас бледно-желтый цвет его лица.

Он медленно, молчаливо прошел к письменному столу, протянул руку к лампе, но не зажег ее, словно пожалел в этот момент обжечь сумерки, бабочкой припавшие к окну — утомленно растопырившей крылья, большой, прозрачной бабочкой...

Он шагнул на мягкий ковер, потом куда-то вбок и облокотился локтем на выступ книжного шкафа.

Фома Матвеевич сидел неподвижно в кресле. Он обгрызал

Вдруг он тихо, как-то постепенно поднялся и почему-то на цыпочках прошел к камину. Он взял оттуда свой портфель и пошел к двери. У самого выхода он остановился, обернулся и переложил портфель из одной руки в другую.

Прощайте, Лев Павлович,— хрипло сказал он.

— Вы что ж... До свиданья, Фома Матвеевич.

Больше... гм... того... расстраивать не буду.

— Да нет же, чудак вы!.. Погодите.

 Нет, прощайте, Лев Павлович. Прощайте! — сердито и глухо сказал Фома Асикритов. — Все уж промеж нас ясно...

И он закрыл за собой дверь.

«Что такое? — немного всполошился Лев Павлович.— Неужели я его обидел?.. Чем? И что за странные у него сегодня мысли? Откуда это все?»

Он даже шагнул, чтобы позвать журналиста, но тотчас же остановился: сам он, Карабаев, ни в чем не виноват.

Он подошел к дивану, положил подушку на прежнее место и улегся поудобней.

«В Каноссу! В Каноссу!» Эти слова назойливо приходили в голову Карабаева, когда он полымался вместе с другими по мраморной лестнице дворца.

И вновь он их вспомнил перед самым выходом государя.

...Это был тот самый белый Николаевский зал, где несколько дней назад провозглашался манифест о войне. Лев Павлович с любопытством оглядел его: он никогда здесь не был.

В центре средней стены, прямо против балкона на Неву, висел большой портрет императора Николая Первого — в любимой им конногвардейской форме, на коне. Высокий покровитель Бенкендорфа - в белой фуражке с красным околышем, с круго натянутым поводом в руке — как будто принимал невидимый парад своих преданных журналистов.

Вдоль стен стояла бальная мебель - золоченые крссла и стулья с плетеными сиденьями. Она казалась легкой и жеманной,

как участницы былых придворных танцев.

По углам и в простенках - массивные хрустальные канделябры знаменитой Петергофской гранильной фабрики, а вверху такие же массивные, хрустальные - три громадные люстры, поделившие потолок на четыре равные части.

Утреннее солнце разбросало в хрустале смсющуюся свою радугу, и высоченный, в «два света», зал казался еще выше и беспредельней.

Между окон вышитое панно с навешенными на нем блюдами и солонками: это подносили в свое время царю «верноподданные» его «хлеб-соль».

За четверть часа до выхода Николая в зале был установлен порядок. Думцы были поставлены в левую сторону от двери в царские покои, члены Государственного совета, министры и высшие придворные чины заняли правую, как предписывал сегодня ритуал.

В первых двух рядах стояли виднейшие депутаты и руководители думских фракций, и Карабаев очутился по праву среди них — рядом со своими партийными единомышленниками.

Широкая просека заркального паркета разделяла собравшихся

«Нейтральная зона... — посмотрев на пол, подумал Лев Павлович. — Бюрократия в расшитых мундирах со звездами — и мы... (Новая белая манишка, высокий воротник и наглухо застегнутый сюртук сковывали движения Льва Павловича.) Враги! И вот «ему» (он подумал о государе)... ему суждено нас прими-

- Вы видали... а? И трудовики здесь, и они пришли, только сзади стали!..- тихо, но оживленно говорил Карабаеву бледный, похудевший Николай Виссарионович, и голос его не мог екрыть радости и удовлетворения: слава богу, что пришли: сму, левому кадету, как-то спокойней теперь, меньше ответственности! Раз трудовики пришли — о, это уж что-то означает!

 И «забастовщики» тоже...— усмехнулся одними глазами Карабасв. -- Совет министров. Сколько времени мы с ними не встречались? Вспомните...

А-а...— протянул Николай Виссарионович: «Да, да, всрно:

еще так недавно бойкотировали Думу, а теперь, вот поди ж ты, не могут без нее... То-то же!»

В рядах, в обеих половинах зала, разговаривали между собой совсем тихо, отказавшись от своего голоса и вогнав его куда-то внутрь.

«Значит — примирение...» — продолжал думать Карабаев, искоса

поглядывая в сторону, где стояли министры.

Он отворачивается и старается не смотреть в ту сторону, где сидят министры и придворные. А сосед, стоящий за спиной Николая Виссарионовича, словно читая его мысли, вновь придвигает голову к его уху и вполголоса шепчет:

Неужели сегодня... разрешат «бессмысленные мечтания»?!

Как вы?..

— Так же, как и вы! — растерянно смотрит на него Карабаев через плечо и вдруг, с непонятным для соседа испуганно-заботливым взглядом, широко раскрыв глаза, быстро шепчет ему:— Вытрите скорей усы! Как же можно... вы завтракали... у вас следы на усах!

Ну? — конфузится тот и вынимает носовой платок.

Пышнобородый старик — церемониймейстер — поднял вдруг свою трость с гербом на набалдашнике и с голубым андреевским бантом и оглядел весь зал. Он слегка постучал тростью об пол и объявил:

Государь император...

И спустя несколько секунд обе половины дверей из царских покоев бесшумно и быстро распахнулись, и два пучеглазых арапа, сверкнув белой чалмой, колыхнули у дверей своими цветными шароварами.

В зал исторопливо вошел плоскогрудый офицер инже среднего роста, в черно-красной форме гвардейского Преображенского полка, с широкой андреевской лентой через плечо. В нем нельзя было не узнать царя: он был похож на свои портреты, но они были красочней и ясней. В шагах трех позади него шел костлярый, ллинный великий князь, главнокомандующий Николай Николаевич.

Царь па ходу коротко почесал одним пальцем левой руки свой подбородок и так же быстро провел им по рыжеватому, соломенному усу, словно сбрасывая с него приставшую крошку или оправляя заползавшие в рот нерасчесанные волоски.

Зал поклонился тысячью голов.

Николай сделал еще несколько шагов и остановился. Потом еще передвинулся чуть-чуть вправо, как будто желая остаться незадетым падавшим на прежнее место солнечным лучом, и опять повторил тот же быстрый жест рукой по усу.

— Приветствую вас в нынешние знаменательные и тревожные дни, переживаемые всей Россией... Тот огромный подъем патриотических чувств любии к родине и преданности престолу, который, как ураган, пронесся по всей земле нашей, служит, в моих глазах, и думаю, что и в ваших, ручательством в том, что наша великая матушка-Россия... доведет ниспосланную богом войну до желанного конца.

Карабаев, как и все, напряженно всматривался в него и вслушивался в его слова. Если несколько минут назад он думал о том, что скажет Николай, то сейчас главное внимание Льва Павловича было обращено на то, как он говорит, как держится и каков он: так близко Николая он видел в первый раз.

Николай говорил не громко, внятным низким голосом, которого никак нельзя было предполагать, судя по внешности этого человека.

Первые две фразы он произнес гладко, не запинаясь, на спокойном дыхании, но никак не интонируя - как бесстрастный чтец-протоколист чужих омертвевших слов. Они уходили чинно и выученно, группа от группы отделенные неслышными, в уме расставленными знаками препинания, в зал — как невзыскательные безмолвные статисты, по режиссерским ремаркам — со сцены.

Он говорил с некоторым налетом иностранного произношения, по-гвардейски — с легкой растяжкой, акцентируя иные слова, и слово «преданность» звучало — «прэ-эданность», а «крепко» почти как «крэ-эпко».

 ...И в нынешнюю минуту... я с радостью вижу, что объединение славян происходит... крепко и неразрывно со всей Россией.

Голос начал делать перебои, в чередовании слов произошла несколько раз заминка: это память, словно ослабевший, разжимающийся кулак, силится сохранить до конца в своем зажатии выпадающие слова, собранные ею с приготовленного, написанного еще вчера мемориального листка в спокойном Петергофе. Заботливая Александра советовала положить листок в фуражку и держать ее в руке, как уже сделал однажды. Но разве можно... возможно ли это сегодня, когда приходится так близко от себя видеть такую массу чужих, незнакомых людей!..

Луч солнца опять дотянулся до лица и непозволительно, проклятый, щекочет сейчас ноздри.

«Пропустить фразу? Все равно ведь листок целиком обнародуют!»

Николай подергивает два раза плечом (придворные знают этот характерный жест после удара японской дубинки), словно что-то укусило его в лопатку или царапает где-то в том же месте перекрахмаленное белье, — и уже торопливей и взволнованней кончает, освобождая совсем свою память:

 Уверен... что все, начиная с меня, исполнят свой долг до конца. Велик бог земли русской!

Царь осенил себя крестным знамением.

Ур...

...pa-ра! — проносится по залу.

И под грохот этого приветствия Николай, задержав дыханис, втянув в себя воздух, вдруг всхлипывающе чихает, но чох этот сейчас не слышен в зале, и только многие видят, как быстро государь вынимает из кармана носовой платок, подносит его к лицу и вновь прячет.

 Ур-р-ра-а! — еще раз громыхает по залу, и кажется, звенят от сотрясения по углам тяжелые хрустальные канлелябры.

И — вновь тишина.

Выступив вперед, с почтительным поклоном начинает свою краткую речь председательствующий в Государственном совете.

Он «повергает к стопам великого государя и самодержца всероссийского» выражение безграничной любви и готовности к временным жертвам на благо России. Он напоминает монарху, что на Россию ополчились две страны, которые обязаны ей своим нынешним могуществом. Россия спасла их в севе время от праха и позора: Германию, сто лет назад,— от занесенной над ней руки наполеоновской Франции, Австрию — от поражения 48-го года.

Селенький маленький старичок молебно складывает руки. Вялые, сморщившиеся губы тихо и медленно роняют слова — как капли сока из высохшего лимона. На узенькой голове старичка редкий пушюк коротеньких седых волос и розовато-пергаментные плещи.

Царь спокойно и уверенно смотрит в его глаза. Он прекрасно знает этого ветхонького человека в блестком, расшитом золотом мундире, он уже не раз слышал его ковыляющий голос и видел его хилую подпись на каких-то бумагах.

И когда речь его окончена, Николай едва заметным кивком выражает свою благодарность. Он искоса поглядывает сейчас налево, и Лев Павлович видит, как учащенно подымаются и опускаются его ресницы.

Наступает момент, которого правая часть зала и монарх ждали с неменьшим интересом, чем левая — отзвучавшей уже речи Николая: слово за Думой!

Стоявший впереди депутатов их председатель — Родзянко сделал несколько шагов по направлению к царю.

Ваше императорское величество! — громко, на весь зал, прокатились, как шары при кеглях, слова Родзянко. — С глубоким чувством и радостью вся Россия...

Зычный, растроганный бас несет теперь волны прочувственных величавых слов, охватывающих сплюснутый длинный полукруг людей. Стоящие подальные от центра и в задиму хрдах незаметно придвигаются, наседают, приподымаются на цыпочки и вытягивают головы, чтобы лучше запечатлеть в своей памяти этот «знаменательный момент».

Пробил грозный час. От мала до велика все поняли...

Медленно подталкиваемый сзади, Лев Павлович, уже не упираясь, вместе с другими наплывает все ближе к тому месту, где стоит государь и, чуть поодаль от него, всликий князь.

Бас Родзянко приобретает все больший и больший пафос.

Родзянко массивен, большеголов, с крупным носом и тяжелым кадыком. «Громадный индюк с весом коровы!» — вдруг приходит в

голову Льву Павловичу, словно до сего он никогда раньше ни замечал выразительной внешности председателя Думы.

Николай слушает, глядя мимо оратора— на зеркальный коричневый паркет. Лицо шафранное, чуть-чуть курносое, и,— если вглядеться в него повымательней,— чем-то напоминает лицо Павла, но... может быть, это только так кажется Карабаеву?

Государь не смотрит на громадного, тяжелого Родзинко: Николай всегда испытывает неприятное, неловкое чувство, видя перед собай очень близко людей высокого роста. В таких случаях он подавлен и застенчив,— и долговязый костлявый великий князь предупредительно стоит сейчас поолаль.

А этот громадный, жирный «индюк» Родзянко, увлеченный своим верноподланическим пафосом, накаляющим весь зал, наступает время от времени, все придвигается незаметно вдоль изломанной депутатской шеренги, и шафранное лицо Николая делается немного растерянным и беспомощным, и учащенией подымаются и опускаются неровные ресницы.

Рыжеватая, цвета прелой соломы, борода вокруг всего лица

кажется неживой, набухшей - как на монетах.

Лев Павлович охвачен общим состоянием. Он проникается неожиданно какой-то кающейся жалостью былого обидчика к этому плоскогрудому, невзрачному офищерику, словно он, Лев Павлович, должен сейчас судить и карать его.

Да... нет же, нет! Разве может он, «человеколюбивый бывший

земский врач», карать и быть безжалостным?!

Ах, может быть, сейчас, в этот «грозный час» для всей страны, свершается здесь чудо и вся мощь и тревога России произжет слабенькую фитуру этого человека, которому суждено было стать императором, и он воспарит орлом над врагами России, над врагами ее народа?! (Мысль Карабаева сделала бросок в сторону придворных министров.) И если это случится, то все, все можно простить, забыть, и не как судыя, — нет, нет! — а как преданный, несказанно счастливый патриот, ведуций за собой толту доверчивового, обрадованного (и обманутого, Лев Павлюви?) народа!. И поймут все (и «он» — первый...), что все русские — братья не только по крови, но и по идес».

 Дерзайте, государь, русский народ с вами! потрясает стены зала и покаянные сердца депутатов зычный растроганный бас.

Царь переступал с ноги на ногу.

Наконец Родзянко кончил. Николай поднял голову и решился посмотреть на него:

 Сердечно благодарю вас, господа... сердечно. От всей души желаю вам всяческого успеха. С нами бог!

Царь передвинулся, скользя по паркету бочком, как имел привычку, поближе к рядам министров. Он перекрестился, за ним — и весь зал.

И тот же Родзянко, как опытный регент, первый затянул:

Спа-аси, госпо-оди...

Он торжествующе, победоносно оглядывал своих противников илагеря министров и придворных: сытый индюк оказался сегодня нужней, чем старческие павлины!

«Спаси, господи, люди твоя...»— чинно, молитвенно пел торжественный зал.

О, коварная российская Каносса с вынесенными вперед предательски светящимися башинями взаимного всепрощения, примирения и трепетной лжи!

Царя уже в зале не было, и все торопились уходить: через не-

дря уже в зале не было, и все гороплансы уходилы через не сколько часов должно было открыться заседание Государственной думы.

Лев Павлович рассеянно, с еще не уложившимися впечатле-

Лев Павлович рассеянно, с еще не уложившимися впечатлениями, пробирался к выходу. У дверей он натолкнулся на великого князя и Родзянко, жавших друг другу руки.

И вдруг он услышал самодовольный, увещевающий бас:

 Ваше высочество, они наглупили... наглупили и сами не рады. Возьмите с Милюкова слово, — и он изменит направление. А газеты теперь нам, ох, как нужны!

«Наглупили?...»— старался Карабаев вспомнить, по поводу чего могло быть сказано это слово, и не сразу сообразил, что речь пла о ненаваней позиции его самого и всех его единомышленников по вопросу о невмешательстве в австро-сербскую войну. И словно оправдываясь сейчас, он ясно вспомнил заселание у себя и, каратире и чын-то прямые и отчетливые слова: «...Только потому, что Россия к войне не подготовлена. Это бой в невыгодных условиях...»

Хочется ни о чем не думать сейчас, что могло бы вызвать какие-нибудь сомнения.

Лев Павлович садится в первую попавшуюся пролетку и едет

«В Каноссу... в Каноссу...» — словно пробует догнать его оставленная позади мысль, но он отмахивается от нее небрежно, как от надоедливой и страшной попрошайки.

Через несколько дней он получил почтовый пакет. Он разрезал его, и оттуда выпали два сложенных один в другой листка. Оба были густо заполнены машинописными строками.

Лев Павлович развернул первый из них и с удивлением стал

Принахмурив очи строгие, Чтобы в корне эло прессчь, Коноводам «демаготии» Царь сказан такую речь: — За благуе пожелания Вас я всех благодарю, Но бессмыслены мечтания, Власть урезать мие — царю! Эх., калики перехожие! Либералы! Дикари! Провинциалы толстокожие, Санкколоты из Твери! Или вы воображаете в самом деле (как умио), что собою представляете вы парламента зерно? Далеко зерну до колоса, Не пришла его пора. Дам пока вам право голоса Лишь для возгласов «ура!».

Это была «песенка», широко распространенная после знаменитого приема Николаем членов земской депутации.

Лев Павлович вспомнил ее и усмехнулся. Но... но кто и почему прислал ее?!

Он быстро разогнул второй листок, надеясь найти в нем ответ. Напрасно,— первые же строчки были ему уже знакомы и... неприятны, но он все же пробежал их глазами.

Это была декларация социал-демократов, оглашенная недавно

в. Думе, но не опубликованная в газетах. «Сознательный пролетарият вокоющих стран не мог помещать возниклювению войны... Но эта война окончательно раскроет глаза народным массам Европы на действительные источники насилий и утиетений... Теперещияя вспышка варяварства будет в то же

время и последней вспышкой».

Лев Павлович досадливо поморщился и застыл на минуту в медленном раздумье у стола.

Голова его, откинувшись вбок, неподвижно лежала на подставленной ладони. Он думал... Потом встал и вновь наклонился над только что брошенным листком. И вдруг заметил в инжнем углу его краткую, тоненькую — парапающим карандашом — надпись: «Солоставьте! Ф. Асикритов».

 — Ах, вот что! — сказал вслух Лев Павлович и как будто обрадовался. — Какой странный человек!

Он сложил листки так, как они лежали в конверте, всунул их туда и медленно, неторопливо разорвал наполненный конверт надвое.

Почти в одно и то же время, чуть ли не в один день, усхали из Смирихинска Людмила Петровна и ротмистр Басанин. Она — записываться в сестры милосердия, он — хлопотать о переводе в действующую армию. Чаша скуки опрокинута, и ее надо наполнить новым зельем.

Сокровенные, тайные планы ротмистрова писаря Кандуши были грубо нарушены происшедшими событиями. Он растерялся, «ловец человеков»!

Старик Калмыков умер в тот же вечер, когда пришла телеграмма о мобилизации.

Из груди его все время вырывался клокочущий хрип, и глаза его были закрыты и неподвижны.

Иногда хрип становился упрямей, сильней и настойчивей, и заглось, хочет навзничь поваленный Рувим Лазаревич сказать что-то, в последний раз приказать, и захлебывается невысказанное слово его в клокочущем хрипе, как обессиленный пловец, упавший в кручи водопада.

Какое слово?.. Может быть, требует старик дать ему в руки исчезнувший пертамент, и тогда откроются его закатившиеся глаза и увидят в последний раз последнюю подпись его — приказ родоначальника, кому и как нести на земле его, калмыковское, завоеванное в жазин доброг,

...Федя Калмыков шел полем к Ольшанке.

Силеть дома было скучно и тягостно: приехавшие дети Рувима Лазаревича, похоронив старика, устраивал теперь семейные дела. Старшие Калмыковы — врачи — отказались от своей доли наследства в пользу слепого брата Мирона.

Во время этих разговоров Федя чувствовал какую-то неловкость. Он вспоминал недавний ночной разговор с делом, и тайна погибшего дедовского завещания иногда колебала принятые Федей решения. «Встать и сказать, что я все знаю?...— думал он, силя с матерью в углу дивана... Ведь отень... мы имеем право на половину всего этого состояния. А что же с ним делать? — словно выглядывала откуда-то совоевольная ребяческая мысль... — Семен потребует, чтобы я вместо отца помогал ему всети дело?! И он будет прав, конечно... Благодарю покорно! А как же университет, Ира и... вообите село жизнь?!

И, узнав, что отец, мать и Райка будут в какой-то мере обеспечены принятыми решениями на семейном совете, Феля успокоился и никакого участия в этих делах уже не принимал.

...Он шел знакомой дорогой, безлюдной и тихой, и ничто не отвълскало почти его внимания. Уже далеко позади него остались последние городские доминики, уже, ничем не стесненный, ласково, мягко бъет беспрерывной волной по лицу полевой душистый встер, и свободная во все стороны, напоенная солнцем земля открывает глаза свои — золотисто-синие просторы.

Он не мог бы сказать, о чем он сейчас думал. Ни о чем глубоко и мучительно и ни о чем легко и радостно. Но он знал, что обо всем — с любопытством и неуспокоенностью.

Всем — с любопытством и всуснокостностью:
Он не мог бы точно и связно пересказать своих мыслей, но они
были о многом...

Он думал о людях, умирающих и нарождающихся: вставших в его памяти и дорисованных его воображением. О дружбе, о ненависти, о любви, зависти — о многих других неумирающих человеческих страстях: о том, что вечно, покуда дышит жизнь.

Он думал о себе и о мире, о своем месте в нем — обо всем, о чем думает каждый человек.

Он понял, что только вступает в жизнь, что многое ему еще непонятно, что неминуемы потери чего-то привычного, близкого —

взамен того, что будет найдено в просторах и лабиринтах грядущего, еще неизвестного.

Он знает: мир получил толчок; значит, получил и он, Федя Калмыков.

 Федя! — крикнула с крыльца выбежавшая навстречу девушка.

Иду! — крикнул он и — побежал.

Это глядела на себя самое - любовь...

Глава семнадцатая

В НОЧЬ НА 6 НОЯБРЯ 1914 ГОДА В ПЕТРОГРАДЕ

Под новый 1915 год в доме доктора Русова читали напечатанную на гектографе прокламацию, посвященную аресту пяти депутатов Государственной думы — большевиков.

Прокламацию эту привез из Киева молодой студент Алеша Ру-

сов, никому не поведавший, как она к нему попала. «Товарищи! — так начиналось обращение питерских больше-

виков. В ночь на 6 ноября подлое царское правительство, обагрившее себя кровью борцов за лучшее будущее демократии, правительство-палач, замучившее на каторге представителей пролетариата 2-й Думы и тысячи его лучших сынов, правительство, веками сосущее кровь народную, бросило в темный сырой каземат депутатов Росс. соц.-дем. фракции.

С такой наглостью и цинизмом расправилось самодержавное правительство с думским представительством 30-миллионного рабочего класса. Лживость и лицемерие фраз о единении с народом вскрыто. Обману и развращению рабочих масс наступает конец... Царское правительство сделало последний шаг, дальше идти некуда. Фиговый лист российской конституции еще раз сорван, и на этот раз окончательно. Во весь рост встает перед рабочим классом и всей демократией вопрос об истинном народном представительстве, об Учредительном собрании.

Только война и военное положение, железными тисками сжимающие пролетариат и демократию, дали возможность правительству совершить гнусную расправу над избранниками рабочих, стоящими самоотверженно на страже их святейших интересов.

Под грохот пушек и ружей правительство старается задущить революционное движение рабочего класса. В потоках крови насильно угоняемых на бойню миллионов рабочих и крестьян оно надеется утопить их освободительные стремления.

Прикрывая свои хищнические замыслы лживыми фразами об освобождении славян, царское правительство во время войны еще с большей свирепостью душит рабочий класс: оно разгромило все рабочие организации, уничтожило рабочую печать, ежедневно заточает в тюрьмы и ссылает в далекую, колодную Сибирь лучших борцов пролетариата.

Но смертельному врагу рабочего класса было мало этого. Он решил, что настал удобный момент для расправы с представителями рабочего класса, геройски борющимися с правительственной политикой, политикой гнета и насилия, и железные кандалы зазвучали за тюремной решеткой. Избранникам пролетариата царские бандиты сказали: ваше место в тюрьме.

В тюрьму посажен весь рабочий класс. Шайка грабителей и эксплуататоров, шайка погромщиков осмелилась осудить, как преступника, 30-миллионный рабочий класс России. Рабочему

классу брошен смертельный вызов.

Но и железные тиски военного положения не удержат рабочий касе от гневного крика протеста. Крик: «Долой палачей и насильников!»— громко вырвется из груди многомиллюнного пролетариата России, грудью вставшего на защиту своих депутатов. Товарищей

Петроградский Комитет Росс. соц.-дем. рабочей партии призывает рабочих Петрограда к однодневной забастовке и митингам протеста против гнусного и беззаконного деяния царско-помепичьей іпайки.

Долой царское правительство!

Да здравствует демократическая республика!

Да здравствует Российская соц.-демокр. рабочая партия!

Да здравствует социализм!»

...Суд над рабочими депутатами Петровским, Бадаевым, Мурановым, Шаговым и Самойловым состоялся 10 февраля 1915 года.

Накануне этого дня в Петербурге бущевали метели, выли снежные ветры на проспектах и набережных столицы. Высчуны в такую погоду на улицу было весьма неуютно, а в вечерний час— и подавно. Но все, кто был зван прокламациями ПК большеников на сходку в один из пустовавших складов «Треугольника» на Обводном канале, пришли сюда сквозь белую зимнюю бурю— послушать представителя ПК.

Это был человек со строгим, северным русским лицом — молодым еще, но уже помеченным причудливыми седыми височками, казавшимися сейчас двумя приставшими к лицу снежными клопьями.

Стоя на широком ящике, этот человек говорил:

— Вспомните последние два года, товарищи... Кто в Думе отстанивал всегда рабочие интересм? Кто больше всех беспокоил министров запросами о беззакониях властей? Кто расследовал взрявы на пороховых заводах и в угольных шахтах? Кто мешал гулять поличейскому кулаху при похоронах рабочих и при демонстрациях? Кто собирал пожертвования для пострадавших товарищей? Кто издажал газеты «Правда» и «Пролетарская правда»? Кто протестовал против убийства и увечым миллионов людей на войне? Всё одк, рабочие депутаты! И за это они все пойдут на каторту... Защита рабочих депутатов есть дело самых рабочих. Либералы Милюковы, Коноваловы, Карабаевы вместе с правительством рады этой расправе. Трудовики в Думе и фракция Чхендзе как будто сразу оглохли и онемели. Кто же может защитить теперь наших товарищей? Только те, кто их избрал и поддерживал. Токо пролегариат может защитить их. Товарищий Бастуйте десятого февраля. Устраивайте митилит, демонстрации. Протестуйте против наглого издевательства царского правительства над рабочим классом!

Ваулин? — тихо спросил своего друга Власов.
 Он! — ответил кратко Андрей Петрович.

И по-мужски ласково посмотрел на оратора.

ОТ ПЕТРОГРАДА ДО ЛОНДОНА И ПАРИЖА



Глава первая

КАЖДЫЙ ДИПЛОМАТ, ЖИВЯ В ЧУЖОЙ СТРАНЕ, ДОЛЖЕН НАЙТИ ТАМ ДРУЗЕЙ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА

Было лето 1916 года. Истекал второй месяц пребы-

вания думской делегации за границей.

В апреле Лев Павлович Карабаев вместе с другими членами Думы и Государственного совета выехат на Запал, куда приглашали представителей русского парламента правительства Англии и Франции. Три месяца назад отбъла туда же группа столичных журьналистов. Она должна была посетить Западный фронт, чтобы рассказать потом русским читателям о доблести и геройстве войск маршала Жофрра и Фоца. Фрэнка и Дугласа Хэта, об испытаниях бельгийского народа, о борьбе союзных наций — английской, итальянской. Фланичэской — с «тевтонами»-завосвателями».

Ортанизовал приглашение обеих русских делегаций (знали об этом очень немногие) Джордж Быховнен, выглайский посол в Петрограде. Льзу Павловичу, в частности, это было известно, потому что он принадлежал к числу руководителей кадетской партии, к которой полномочный министр Великобритании питал плохо скрываемую симпатию. Что эта симпатия была взаимной сидистельствовали органы тайного наблодения: они установили многочисленные случаи встречи оппозиционных депутатов-либералов с излишен готегриминым хозинном собыяка на Неком набережной. А что проявление этих симпатий мистером Быкожненом нарушало обычные нормы дипломатического такта — утверждали некоторые придворные люди: они передавали по секрету, что государь намерен послать телеграмму королю Георгу с просьбой воспретить сэру Джорджу вмешиваться во внутреннюю политить у Российской импеейи.

Очевидно, сэр Джордж был другого мнения о задачах и характере своей деятельности, и дошедшие до его сведения угрозы русского императора не изменили поведения полномочного представителя английского королевского правительства. Он поступал так, как считал нужным, он делал то, что в первую очередь было необходимо и полезно для Великобритании и возглавлявшейся ею теперь западной коалиции. И как иначе он должен был понимать цель пребъявания в цакоком Петеобуюте?

Было известно, что правительство его величества короля Великобритании весьма одобряло деятельность своего мнголетнего посла, и на приеме в Букингэмском дворце Лев Павлович и его спутники получили подтверждение этого из уст Эдуарда Грея,

министра иностранных дел.

— Каждый дипломат, — сказал тогда он, — живя в чужой стране, должен прежде всего найти там друзей своего отечества. Если он не нашел сразу, — надо их создать. Мантия, камзол и сюртук должны вызывать одинаковое внимание со стороны такого дипломата. Но там, где мантии и камзолы смещались с грязными поддевками (намек на Распутина), скромный деловой сюртук особенно приятен своей незапятнанностью! — закончил сэр Эдуард свои суждения о «русских костомах».

Шесть русских литераторов, командированных шестью редакциями, предприявли поездку вполне своевременно,— рассудил справедливо Джордж Бьюкэнен: они должны были выступить свидетелями грядущих побед коалиции, несущими на конце симогреров е уверенность, бодрость — не сокрушимую ничем бодрость! А ведь это так необходимо было! Восточный союзник испытывал в том потребность больше, чем когда бы то ни было: минувший гол докрыл Россиям товуюм сенных поражений.

Весной 1915 года армия Макензена прорвала русский фронт на Карпатах. В течение трех недель пришлось оставить Перемышль и Львов,— немецкий генерал шел победоносно от Горлицы

на Раву-Русскую и дальше.

Взяв Варшаву, Гальвиц, Леопольд Баварский и подымавшийся с юга Макензен спешили к Брест-Литовску: он был повержен. Еще раньше, в Курляндии, была взята Либава, флот адмирала Тирпитца прорывался в Рижский залив.

Сшибленные ударом германских армий, пали в августе Ковно, Осовец, Гродно и Луцк, а сентябрь отнял у России Вильно.

От Двинска до Тарнополя пролегала на карте прямая жирная

черта неприятельского вторжения.

"«Пожалуй, можно начать уже переговоры о мире?.. Разве Петроград не знает, в каком гибельном состоянии находится его полуголые, технически бессильные армии?» Джордж Уильям Быокэнен, а через него и его русские друзья (и Лев Павлович в том числе) хорошо были осведомлены о том, кто и кому шлет эти вопросы.

Если бы почта на имя русского императора шла обычным путем, удивиться надо было бы парскосельскому почтальочу, почему на конверте — штемпель, поставлений чиновиком венского почтамта, уже давно не переправлявшего корреспонденции во вражденую, воюющую Россию?. Но фрефлина русского двора Мария Александровна Васильчикова не прибетала к услугам венского почтамта. Из своето имения Глогниц, около самой Вены, она отправила письмо Николаю в Александровский дворец. Письмо никем из работников почтово-телеграфного ведомства не штемпелевлось, а шло в сумке нарочного через нейтральный Копентаген и Стокгольм. Это случилось еще в феврале минувшего годя; в проставном письме Мария Васильчикова, задержанная из-за

военных действий в Австрии, делилась своими впечатлениями о мощи серединной Европы. Она вспоминала историю — лучшую свидетельницу того, что никогда, собственно, не было и нет ника-ких противоречивых интересов у Германии и России, а что каса-ется Англии — то стоит голько вспомнить Персию и Афганистан, а также козни Альбиона на Дальнем Востоке, чтобы понять, сколь доверчив оказался русский орел, принесший свою дружбу в логовище британского льва.

Письмо (это доподлинно было известно сэру Джорджу Уильяму) осталось без ответа. Да и что было отвечать тогда? К концу 1914 года русская армия заполнила Галицию, взобралась на Карпаты, стремилась к Будапешту,— все это подавало надежды на

будущее.

Но вот у Марии Александровны приключилось горе: умерла в Петербурге престарелая мать, урожденная графиня Олеуфьева. Опечаленная дочь так сильно затосковала в своем Глогиние, что узнавший об этом герцог Гессенский помог ей отправиться на три недели, как обусловлено было, в Петроград — погрустить на кладбище, у фамильного склепа Васильчиковых. Услуга за услугу: Мария Александровна спрятала в свою сумочку братские письма великого герцога к сестрам — русской императрице Александре и Елизавете, вдове великого князя Сергея, десять лет назад разорванного бомбой Каляева в Москве.

Справившись о здоровье и самочувствии всех родственников и передав почтительный привет от всех гессенских и рейнских родичей, Эрин Людвиг, заканчивая письмо к «младшей сестре Алисе», сообщил, между прочим, что вскоре посылает «частным образом доверенное лицо в Стокгольм», что «хорошо было бы и Ники послать туда частным образом человека, и они могли бы полюбовно уладить многие временные страдания и начать строить мост для переговоров».

Сэр Джордж не без любопытства пречитал также копию и другого письма, прибывшего почти одновременно с пакетами герцога Гессенского: прусский министр двора, обер-гофмаршал Эйленбург, свидетельствуя свои самые сердечные чувства министру двора русской империи, запрашивал графа Фредерикса — не настала ли пора приступить к мирным переговорам «после всего того, что случилось, и в предвидении того, что может еще случиться неприятного с Россией, к которой Германия ничего плохого не питает: это не то, что Англия, — «Got, strafe Englands»!

«Не настала ли пора?» — спрашивал тогда же в частной беседе посла в Стокгольме, камергера Неклюдова, прибывший в Швецию директор «Deutish Bank». И вежливо напоминал собеседних с Галицией пришлось расстаться; польские и литовские земли — очистить; Ригу — звакуировать; армия — без снарядов и современной техники; почти все политические партии, презирая неудач-

Боже, покарай Англию! (нем.) «Немецкий банк» (нем.).

[«]пемецкий банк» (л

ника царя, ненавидя его правительство, помышляют «о недобром»; доходят слухи о рабочих волнениях в стране; население тятотится проигранной войной, а союзники... о, те думают только о себе! Особенно Англия: она меньше всех теряет в этой великой игре: лорд Китченер, Асквит и Ллойд-Джордж готовы воевать до... последнего русского солдага! «Не настала ли пора?»

И мистер Бьюкэнен решил, что пора настала... для ответа!

В новогодиюю ночь двери ресторана «Контан» пропустили в сиой самый большой зал свыше трехсот гостей сэра Джорджа Уильяма. Пришла английская колония — офицеры, инженеры, журналисты, промышленинки, купцы, руководители и представители торговых фирм — верные сыны горячо любимой королевской Англии. Пришли государственные и политические деятели русской империи и чины всех союзных посольств.

После первых кратких приветствий и тостов поднялся со своего кресла хозяин, вскинул привычный монокль на широкой черной тесьме, беззвучно шевельнул вдавленными, поджатыми губами (словно желал, готовясь к выступлению, размять и проверить свой рот) и, чуть скривив его, начал ту самую речь, которую политические друзья Льва Павлювичя Карабаева, да и он сам, на-

звали потом «памятной и знаменательной».

 Прошло без малого полтора года войны,— говорил в своей речи мистер Бьюкэнен, и мы, англичане, имеем все причины гордиться той ролью, которую сыграла в ней наша страна. К прискорбью, небольшая количественно часть русского общества держится, по-видимому, другой точки зрения. Небольшая кучка дюдей прилагает все усилия к тому, чтобы посеять разлад между Россией и ее союзниками. «Где британский флот и что делает британская армия?» - спрашивают эти господа в Петрограде, в Москве и других местах. Я скажу им сейчас, что делают флот и армия его величества короля Великобритании! Вспомните карту мира, почтенные джентльмены... Где английские корабли? В Дарданеллах, в Суэце, у мыса Горна, у мыса Доброй Надежды, в Зондском проливе, у Зунда, в Ла-Манше, в «немецком» Северном море, всюду, - вот где английские корабли! Не многие могут увидеть флот Великобритании, но все и всегда могут его почувствовать! На воде англичанин — хозяин, и только англичанин! Хозяин ли он на суще? Он сражается у Кипра, у Салонник, в Галлиполи, по лороге в Багдад, в Южной Африке, в Конго, в Египте. Везде, во всех частях света разлается наша славная походная песенка «It's a long way to Tipperary» , вселяя в душу народов бодрость и належлу. Откуда пришли эти разноцветные, разноликие, в «хаки» одетые, чудные парни? Из Ирландии и Валлиса, из Англии, из Канады, из Индии, из Австралии, с острова Фиджи, из Трансвааля, — весь мир откликнулся на призыв нашей ролины... Почтенные джентльмены! Когда-то знаменитый русский прогрессивный писатель, мистер Герцен, нашелший приют на берегах нашей ралушной Темзы, на-

⁴Далеко до Типперери» (англ.).

звал нас, англичан, существом берложным, любящим жить особняком, упрямым и непокорным. Да, мы упрямы и непокорны, когда покушаются на нашу свободу, на жизнь нашей родной Великобритании. «Никогда, никогда англичанин не будет рабом»,это поет и знает каждый пастушок на полях нашей родины... Что делает британский флот? Кто хочет узнать, проявил ли наш флот свое могущество, тот может дойти до истины самым простым путем. Флот может выполнять семь задач. И только семь, почтенные джентльмены! И в этом смысле я ничего не могу прибавить к тому, что ответил в июле прошлого года лорд Бальфур газете «New Jork Herald». Только семь задач — и ни одной больше!.. Флот может прогнать с морей торговлю неприятеля; флот должен охранять свою собственную торговлю; он обязан обессилить неприятельский флот, сделать невозможной перевозку неприятельских войск; флот может перевести войска своей страны куда захочет: он доджен обеспечить продовольствие для этих войск; и - последнее; он должен помогать войскам в их операциях. Мы выполнили все семь задач, восьмой не существует! По этому вопросу, почтенные джентльмены, я ничего больше не могу добавить к тому, что имел честь сказать пять минут назад... Наши враги подымают вопрос о мире. Но какой может быть мир, когда сожжена героическая Бельгия, раздавлены Сербия и Черногория, когда отняты у России польско-литовские земли, когда славная Франция утратила двенадцать лучших промышленных департаментов?..Мы знаем о посредничестве его величества короля Испании, мы знали миссию из Америки — мистера Форда, мы знаем и другие миссии и других корреспондентов германской главной квартиры, которым, к сожалению, не отказано резко в праве на переписку. (Слова эти произносятся замедленно, каждое отделено от соседнего выразительной секундной паузой.) Дело не в мире, а в условиях мира, — так писал после Аустерлица Наполеон Бонапарт своему брату Иосифу, Мы тоже отвечаем так. И если Англию спрашивают, каковы ее условия, - она отвечает всем, почтенные джентльмены: «War to the finish» - война до конца!

Через несколько дней после этой речи выехали на Запад шесть русских литераторов, чтобы в газетах, журналах, книжках описать все то, о чем говорил в новогодиною ночь сэр Джордж Уильям, полномочный посол королевского правительства Великобритании.

А спустя три месяца отбыла туда же парламентская делегация, в состав которой вошел и Лев Павлович Карабаев: нужно было не только описывать, но и учиться здесь и,— что сосбеню было важно,— представительствовать волю своей родины (буржуазии!): идти в войне до конца вместе со своими союзниками. Никогда, никогда сще Лев Павлович не чувствовал так своей ответственности за дело, выполнить которое он должен был вместе с другими соотчественниками. Глава вторая

ЧТО ХОТЕЛ КАРАБАЕВ УВИДЕТЬ И ПОТОМУ УВИДЕЛ ЭТО НА ЗАПАДЕ

В Стокгольме муниципалитет устроил банкет в честь русской делегации, Швещия была нейтральна и — внешне — одинаково приветлива со всеми: еще несколько дней назад тот же муниципалитет столь же радушно принимал группу купцов, приехавших из Бремена и Гамбруга.

Пожизненный мэр города, опрятненький старичок Линдтаген - седой, голубоглазый, с вечным шведским румянцем на щеках.— настойчиво убеждал русских гостей в том, что «войну можно остановить», что он, старый шведский социалист Линдтаген, «говорит это всем и каждому», но мало кто согласен с ним, к сожалению. Не хотят ли русские гости встретиться с miss Balch замечательно онергичной замериканкой, входящей в нацифистскую миссию, отправленную Фордом в Европу? Миссия выработала отличный план, а miss Balch может показать чеснеационные письма» английских солдат о 24-часовом перемирии, которое установили между собой солдаты обеих воюющих сторон... О, не надо относиться так недоверчиво к документам miss Balchl. Пожалуйста, депутат риксдага Седерберг может подтвердить вам все это.

И депутат Сеперберг — такой же румяный, такой же светлеглазый, но помоложе и ростом повыше — медаленно, бесстраенно подтверждал: да, перемирие было; да, англичане не стреляли в немиев, и немцы не стреляли в англичан; да, у англичан нет никакой элобы к немцым.— в пасхальную ночь и те и другие вышли без оружим из окопов на полянку, разделявшую их, пели друг другу песни, ели один и тот же шоколад, курили один и тот же табак, играли в чехарду, показывали карточки своих жен, детей и невест и потом целай день не сделали ни одного выстрела.

и невест и потом цельи день не сделали ни одного выстрела. Да, это все было, да это все факт, да, с этим фактом надо считаться,— пожизненный мэр Линдгаген торжествовал.

Тогда в Стоктольме, сообщениям этим Лев Павлович мадо порогол, сомневались в их правдивости и его спутники. Больно уж лукав ныне Стоктольм, больно уж суетлива и миогоязычна обычно тихая и сдержанная шведская столица, ставшая теперь пристанием для людей весс тран и национальностей⊓. Да и кому на руку распространение слухов о солдатском «братании», как не тем же немцам, а они в большом количестве сталь теперь завсегдатаями скандинавии. Во всяком случае, здесь, в Стоктольме, отношение к ним, заметил Карабаев, было весьма предупредительным и по-истине добнососецским.

А норвежская столица показалась сдержанной и спокойной, здесь было значительно меньше немцев и их поклонников, чем в Швеции. Тихая, маленькая Христиания готова была,— если так надо было,— отдать предпочтение своей могущественной островной соседке: бритты скупции весь богатый улов рыбы, дали работу всему большому флогу Норвегии (а цень на морской фрахт выросли втрее, и это было очень выгодно), они вместе с французами вложили капиталы в крупные заводы азотистых соединений и алюминия. Кроме того, было еще одно обстоятельство, всегда влиявшее на политические чувства страны: бизость того самого английского флота, о котором так красноречиво повествовал лорд Бальфур в Лондоне и сэр Джордж в Петрограде.

На банкете у русского посла Гулькевича депутаты стортинга, журалисты, купшы и даже осторожные норвежские чиновники говорили об Англии более чем почтительно. В эти дви Христивния праздновала трехсотлетний кобилей Шекспира. Торжественно празднование, в котором приняли участие король, правительство, стортинг и все муниципалитеты, превратилось, как писали газеты, «в демонстрацию дружбы обсих стоань».

Скромная Христиания расположила к себе Льва Павловича своим идиллическим, как показалось ему, уютом, чистотой и спокойствием.

Ничего особенно примечательного в городе не было, но вот люди на его улицах, на старинной площади, где продвавли цветы в стеклянной карете,— все эти торговки в «каплоухих» головных уборах, в соломенных галошах, хогя всюду уже было сухо; кадеты школьники с аккуратно застегнутыми потресликами в руках; стройные деловитые девушки с маленьким букстиком внемон—первых всесених цветов свеера— в петлице и с газетой под мышкой; прогуливающаяся пожилая чета в безукоризненно отглаженном платье; беспечно пожаживающий у присустевенных мест крутлолицый, рыжебровый солдат в коротком сереньком пальто (узенький ножик, примкнутый к ружью, не внушает никакого страха); цветоль в цилиндре и франтиха в яркой шелковой юбке,— все они казались весельми, благословляющими счастлявую жизнь, все — красношекие, здоровые и, вероятно, долговечные.

На приеме у посла Лев Павлович познакомился с двумя норвеждами. Оба они хорошо говорили по-русски, а один из них, профессор Брок, известный славист, оказался коллегой Льва Павловича по Московскому университету. Студенческие годы, знакомые профессора, знаменитая история брызгаловских беспорядков, целяй час оба живо вспоминали прошлое и толковали о настоящем. Профессор — приятно слашать! — любит и знает Россию, часто бывает в ней. Поездки необходимы ему для научных целей: сляд в Христиании, от запят изучением... говоров Тотемского уезда Вологодской губернии и Козельского — Калужской! Как же, как же — это очень витерсеко...

И если профессор Брок вызвал восхищение Льва Павловича «Опражением чистой науке», то второй норвежец, господии Лид, возбудил к себе интерес всей делегации прямо противоположным своими качествами: он оказался участником первой экспедиции Наисена к устью Енисес, он организовал перевожу торговых грузов из Норвегии и Англии в Сибирь и обратно, он пролагал водный, экопомически выгодный путь для русского хлеба, пеньки, масла и леса. Англо-норвежское акционерное общество, в котором он состоял, делало то, что так необходимо было для русских промышленников и куппов. И русские парламентарии не без зависти смотрели на смышленого, с размеренными движениями г-на Лида, на этого хозяйственного «варяга» из страны вихингов.

В день отъезда профессор принес в поезд Карабаеву свою книгу, цветы и коробку шоколада — преподношение семьи. В Христиании ничего не говорили о немцах, и Лев Павлович стал забъявать неприятные стоктольмские новости.

Из Христиании выехали в расцвет весенней погоды, но на пути в Берген поезд и время словно повернули вспять: за стеклом вагона царствовала густая, грузная северная зима — облепленные тысячепудовым снегом клинкоголовые гранитные скалы, белые можнатые леса, навыоченные снежной кладью узкие горы. Но за перевалом, после десятков различных туннелей, принимавщих поезд в сюй гулкий черный футляр,— сиег, мертвые скалы, обледеневшие, крытые деревянные галереи от снежных заносов, холод все это уже не возвращалось.

Поезд шел по откосам крутых берегов. Зигзаги фиорда словно обведены были голубым нежным караннашим. Свежие, молодые листья деревьев, никогда не знавшие пыли, казались подернутыми веселым зеленым даком, а придорожная густеющая трава — выколенной чымин-то заботливыми руками: до того она была чистой и яркой! На ходмиках, опоясанные все той же зеленью, выстроидись вдоль пути красные готические, с квадратными окнами, рыбачви домики и сельские фермы. В эту нежную пестрядь красок всееннее, годое на небе, соляще струило щедрые золотисто-оранжевые лучи. Вновь любовался Карабаев таким же пейзажем, уже
покинув Берген, пересев в открытом море с норвежского пароходика на специально дожидавщийся британский крейсер «Donegale», доставивший делегацию к берегам Англии.

Только что покинутая страна — Норвегия — запечатлевалась, входила в память как счастливая «обетованная» земля. Он так и отметил свое впечатление в дневнике, который вел наспек, ко почти каждый день — в поезде, на корабле, в гостиницах и даже в землянках французского фронта, куда впоследствии ездили на несколько дней.

Дорога, переезд через море, новые страны и горола; новые, незнакомые люди, матросы, солдаты, чиновники, главы правительств и знаменитые политические деятели; тормественные банкеты и деловые беседы, захолустные уголки и громадные промышленные города; сомотры крупнейших фабрик и заводов; безлодые с виду, изборожденные траншеями, переходами, укрытиями и дорогами передовые линии фронта — с полями, взяроченными снарядами, с остатками обломанных, обугленных, искалеченных лесов; улицы и площади городов, обрывки услышанных разговоров; плодская приязнь, горечь, ненависть, патриотизм, воля одних и растерянность других, смешное и трагическое, крупное и мелкое — все это процло перед глазами, все это хлынуло и врезалось в память. Все это волновало, восхищало, печалило, ободряло, смешило, удивляло.

Но главное: он увидел Европу такой, какой она была мила его политическим верованиям и вкусам. Ничего другого он не хотел видеть — и потому не увидел.

Он увидел Европу такой, какой хотел бы видеть Россию. Встречи... С кем только их не было за эти шестьдесят дней пребывания за рубежом!

И в Эдинбурге — гостеприимный муниципалитет, еще гостеприимней, чем в Христивании все местные нотабли и лорд-провост чествовали поочередно каждого из членов русской делегации. Но без всякой скромности Лев Павлович мог сказать, что все же тепленё всего эдинбургцы говорили о нем да еще о ближайшем его друге — знаменитом русском профессоре и еще более знаменитом вожде отечественного либерализма, влюбленном в английскую конституцию сильней, чем самм англичане.

Друг этот, Павел Николаевич Милюков, глава политической партии Карабаева, отвечал на приветствия нотаблей, и только тогда, признаться, узнал Лев Павлович, что «Россий и Шоглавідня имеют одного и того же патрона — святого апостола Андрея Переозванного — и что русский морской флаг с андреевским крестом — тот же, что и шогландский». Профессор-англоман с маленькими розовыми учиками и тищательно холенными седами усами, всегда дававшими пицу для карикатуристов, изображавших его ангорским котом в пенсие, оказывал делетации неоценимые ого ангорским котом в пенсие, оказывал делетации неоценимые услуги: кроме того, что он владел многими иностранными языками, он обладал еще завидным даром отыскивать в истории, быте и склоиностях любам народь то, что обязательно уж должно было подтверждать неизбежность их общих интересов с российскими!.

На улицах Эдинбурга Лев Павлович впервые увидел части английской армии: шотландские хайлендеры в мохнатых черных киверах и коротеньких ярко-красных, с темными каетками, юбочках — повыше голых коленок, заменявших шаровары. Они отправлялись на флот, сопровождаемые тысячной толпой родственников и соотечественников. Впереди полка шел оркестр: сопилки, рожки, кожаные барабаны и еще какие-то причудливые инструменты. И под звуки их коренастве, с упругими, сдвинутыми набок от ходьбы икрами хайлендеры пели песенку, обращенную к кайзеру Гогенцолдену:

Пляши, коль пляшешь, Вилли, Пляши вперед и вспять, Зови танцоров, Вилли,— Нам не устать играть!

Совершенно очевидно было, что маскарадный костюм стрелков никак не пригоден в условиях этой войны, утерявшей какое-либо сходство с походами средних веков, однако бережно и ревниво хранившие традицию шотландцы отвергали «хаки» всей остальной английской армии. Впрочем, в этом был не больший консерватизм, чем тот, наблюдать который — в ином и более значительном —

пришлось Льву Павловичу в Лондоне.

Не без волнения в тот день вышел он со своими товарищами из Клэриджес-отеля на Брук-стрит, направляясь к древнему Вестминстерскому дворцу. В автомобиле капитан Скэль - гид из «Интеллидженс сервис», прикомандированный к Льву Павловичу, потерявший на войне руку, узкий и длинный беркширец с бритым лицом землистого цвета и вздернутым носом так круто, что в широкие темные дырки его так и хотелось, озорничая, воткнуть рогатку, продолжал беседу, начатую еще в номере гостиницы. Ничего нового не было в том, что говорил этот славный парень Скэль (кстати сказать, неплохо знавший русский язык), и все же Лев Павлович не без любопытства слушал своего спутника.

 Мы самая консервативная страна — это верно. У нас семивековая неписанная конституция. Привычка и обычай управляют нашим бытом, судом, парламентом. И мы существуем - гого!.. А что из того, что у пруссаков писанная конституция? Она уже тогда, в сорок восьмом году, была названа их королем «листом бумаги»: взял да и разогнал пруссак франкфуртский парламент!.. Что из того, что русский царь в пятом году написал манифест,хо, листок бумаги! Лучше всего - джентльменское слово, сэр. А кто прав, кто из нас будет счастливей — wait and see: пожи-

вем — увидим!..

В парламенте шли так называемые «большие дни», палата общин дебатировала правительственный «билль о конскрипции» первый раз в истории своего существования Англия вводила у себя обязательную воинскую повинность. Льву Павловичу довелось услышать речи Асквита и вожака английского либерализма Ллойд-Джорджа. Слов нет, впечатления этого дня были ярки и сильны. но не малым способствовала тому, не забывал Карабаев. и внешняя обстановка, в которой все это происходило.

Так вот она, «колыбель европейского парламентаризма»! Сидя на хорах, Лев Павлович напряженно всматривался и вслушивался

BO BCC.

Вот спикер палаты, сэр Доутэр, идет открывать заседание. Он в длинной черной мантии и парике. В париках и окружающие его секретари — с гусиными перьями в руках. Впереди — два герольла. Один несет жезл, другой открывает процессию троекратным восклицанием.

Нет ли здесь иностранцев? Если они здесь — удалите их!

По старому обычаю заседания не публичны, и стоит какомулибо коммонеру заявить: «Спикер, я вижу посторонних в зале»,чтобы вся публика была удалена.

Форма живет, но содержание ее изменилось, рассказывает все тот же капитан Сколь. Давным-давно бывает в палате не только английская публика, но и любой иностранец, и почти никогда не раздается сакраментальной фразы. Коммонеры не видят посторонних! Особенно после одного случая, когда пришлось уйти из заседания наследнику престола, принцу Уэльскому, хотя замеченным «посторонним» был не он.

По окончании заседания привратники-глашатаи выкликают в коридорах:

Джентльмены, кто собирается домой?

Это восклицание, как и все зрелища парламентского заседания, перешло из недр XV столетия, когда поздно вечером было небезопасно на темных улицах Лондона возвращаться домой в одиночку.

В палате депутаты сидели на простых длинных скамьях, места всем не хватало. Говорили речи с мест. Министры — тут же, на первой скамье. Отвечают, подходя к столу, опираясь на ящик, в котором лежит сванелие и клятва.

Казалось так Льву Павловичу: вся процедура выхвачена из жизни далекого, знакомого по литературе и пьесам средневсковы. Или, например, этот курьезный диван лорд-канцыгра: wool stanking попросту — мешок с шерстью, точно такой же, а может быть, и тот же, что был еще в XIV вексе. Встречи… Впечатления.. Раздумых...

Ночью, перед сном, в номере Клориджес-отеля Лев Павлович садится за письменный стол, вынимает из чемодана дорожный бювар и оттуда — аккуратно нарезанные листки свежей, хрустящей бумаги: это листки дневника.

В комнате матовый свет, тепло, тихо. Широкая, чуть волосатав рука Льва Павловича бережно берет пузатую янтарную вставочку, погружает перо в тяжелое серебряное гнездо чернильницы, и перо, скользя по аккуратно нарезанным листкам хрустящей бумаги, не поскрипывает, а словно тихо поет какой-то неприпоминающейся, но знакомой птищей.

Янтарная пепельница копит в себе обклеенные золотистой

бумажкой корешки выкуренных сигареток.

«Пришлось купить дурацкий цилиндр и перчатки. К королю надо было идти во фраке, которого у меня не оказалось. Но и тут выручил добряк Скэль: повел утром к какому-то кудеснику портному, и тот к семи вечера сшил классическую пару. Одевался в присутствии моето капитана. Произошел курьезный «инцидент». Вот бы Соня моя, Ириша и Юрка смежлисы!

Вы неправильно надеваете брюки, укоризненно сказал

— То есть... как?

 Вы надеваете стоя: так случайно можно разорвать их. У нас, в Англии, брюки надевают силя, сэп.

У Демченко на приеме во дворце выпала одна из перламутровых запонок на белоснежной накражмаленной рубахе. Рубаха стала неприлично топорцияться. Что делатъ? Бедията Демченко, истерически хихикая (ко всеобщему нашему ужасу), пальцем прикрыл опустевщую петлицу, да так и простоял весь прием в дурацкой позе, не отнимая от груди словно припаянной руки. А когда под конец опустил ее — на том месте, где должны быть злополуч-

ная запонка, -- темное, неприличное пятно!.. Мы в «Клэриджесе»

потом немало веселились по этому поводу, а П. Н. Милюков в нашей среде — членов «прогрессивного блока» — пустил каламбур о дактилоскопии, которую следует применять к правым националистам, как Демченко. В общем, будет что рассказывать забавного в Петрограде, в думских кулуарах.

В Ирландии бунт, восстание. Руководит какой-то сепаратист

Кэзмент.

Говорят, немцы подговорили. Охотно верю. После гибели «Лузитании» здешние немцы меняют фамилии,— одна маскировка, удобная для шпионов и агитаторов!

Кажется, ждут очередного налета цеппелинов. Сегодия всюлу в отеле расклеили приказ: «Во избежание налета воздушных разбойников воспрещается зажигать на видном месте отопъв. На ночной тумбе я нашел свечу и записку: «В случае воздушного нападения возымите эту свечу и отправляйтесь по черному ходу в подваль-

Я и Милюков в гостях у Дионео (Исаак Владимирович Илококий). Он — лондонский корреспондент «Русских ведомостей», много поработал, пропагандируя наш приезд сюда. Два дия назад, выкроив время, Милюков и я посетили его прекрасную лекцию о Сервантесе и Дон-Кихоте. Его сын — сержантом в английской армии. На квартире у Дионео встретились с нескольким лицами из русской эмигрантской колонии. Все хотят победы России, солидаризируются с Плехановым и Кропоткиным, ругают «циммервальдцев». Исаак Владимирович показывал нам «труды» и резолюции раскольников, возглавляемых нашим эмигрантом Лениным. Говорят, он уроженец Симбирской губернии и родной боат казненного Ульянова.

Записал цитаты из него, чтобы, как только будет время, хороинско побить в «Речи» или где-нибудь в другом месте. Ну-ну!,
«Превращение современной империалистской войны в гражданскую войну (страшные слова, господи...) есть единственно правильный пролегарский глозунг, указываемый опатом Коммуны,
намеченный Базельской (1912 г.) резолющеней (подумаещь, событие!...) и вытекающий из всех условий империалистской войны
между высоко развитыми буржуазными странами». Этот вождь
всех «пораженцев» считает, видите ли, что нельзя защищать отечество иначе, как «борясь всеми революционными средствами
против монархии, помещиков и капиталистов своего отечества, т. е.
худишх врагов нашей родины; — нельзя великороссам «защищать
отечество» иначе, как желая поражения во свякой войне царизму».

Здесь говорят, что влияние Ленина на многих западных социалистов огромно. Даже в нейтральной покуда Америке. Ох, какие бешеные прибыли получает эта смышленая страна от европейской войны! Если говорить о капиталистах — то вот где они понастоящему. Но даже в Америке есть люди, целиком находящиеся под гипнозом идей т. Ленина.

В американской газете «Appeal to Reason» (мне показал ее и перевел текст капитан Скэль) американский социалист Евгений Дебс написал буквально следующее: «Я не капиталистический солдат, я пролетарский революционер, я принадлежу не к регулярной армии, плутократии, а к иррегулярной армии народа. Я отказываюсь идти на войну за интересы капиталистического класса. Я против всякой войны, кроме одной... во имя социальной революции. В этой войне я тотов участвовать, если господствующие классы сделают войну вообще необходимой».

По поводу этого заявления г. Ленин в швейцарской газете «Вегпет Tagwachi» высказался следующим образом: «Ужасы и страдания народа на войне невероятим, но мы не должны и у нас нет никакого основания с отчаянием смотреть на будущее.

Не напрасно падут миллионы жертв на войне и из-за войны. Миллионы, которые голодают, миллионы, которые жертвуют своем жизнью в окопах, они не только страдают, но и собирают силы, размышляют об истинных причинах войны, закаляют свою волю и приходят к все более и более ясному революционному пониманию. Растущее недовольство масс, растущее брожение, стачки, демонстрации, протесты против войны,— все это происходит во всех странах мира. И это служит вым ручательством, что после европейской войны наступит пролетарская революция против капитализмае.

Господи, дался же ему этот «капитализм»!..

Я сообщил стоктольмские разговоры о «братании». Странно: оказывается, здесь всем это хорошо известно, английские газеты без всякого смущения печатали письма с фронтя, где все это подробно описывалось. Мы много беседовали на эту тему. Дионео вспомнал Толстого. «Подсе этого, — повторил он, — нужно было, казалось, разрядить ружья, взорвать снаряды и разойтись всем по домамь. Но Павел Николаевия продолжил: «Но ружья остались заряжены, бойницы в домах и укреплениях так же грозно смотрели вперед и так же, как прежде, остались друг против друга обращенные, сиятые с передков пушки»... И все это было понятно. Супруга Дионео, Зинаида Давыдовна, специально приготовила нам славные сибирские пельмени. Вспомныл тебя, Сонечка!

Мы ездили осматривать заводы в Рединг, Кардифф, Лидс и другие места, мы видели Англию, ставшую арсеналом войны мне понятна злоба Германии: поистине у англичап бульдожья хватка. А у нас? Стыдно, стыдно за сегодияшнюю Россию... Одни нас здесь жалеют, другие — презирают. А притязания у нас насущнейшие. Пав. Ник. говорит, что англичане наконец-то согласились насчет проливов, — так надо же уметь взять их! Эх, положение...

Здесь общественная инициатива не имеет пределов. Даже курьеваным одними двагратами. Так и называется: «Лазарет Маргарите! Мне показывали воззвание «Собачьето и кошачьего фонда»: собирают денью в пользу пленных в Германии. Все владельны кошек и собач обложили себя налютом в шесть пенсов, а какой-то фокстерьер «Том», собачонка убитого героя, собрал на выставке 13 000 рублей; это потому, что убитый козяни его удосвыставке 13 000 рублей; это потому, что убитый козяни его удосвыствке 13 000 рублей; это потому, что убитый козяни его удосвыствке 13 000 рублей; это потому, что убитый козяни его удосвыствке 13 000 рублей; это потому, что убитый козяни его удосвыствке 13 000 рублей; это потому, что убитый козяни его удосвыственных выстакие 13 000 рублей; это потому, что убитый козяни его удосвыственных выстакием.

тоился в числе немногих награды крестом Виктории — самое почетное отличие.

От русских ждут решительных действий, чтобы облегчить положение, заставить германское командование оттянуть войска с Запалного фронта, ослабить нажим на Верден.

Сегодня на министерском банкете передавали, между прочим, что, если в эти дли наши войска перейдут в наступление на Юго-Западном и погонят австро-немиев, царю будет предложена «Виктория». Гм. гм... Тот самый орден, который учрежден после заположеной Крымской кампании!

На банкете сидели все за десятью круглыми столами, за каждым — член правительства и наши депутаты. Павел Николаевич и я сидели за столом Лолой-Джорджа. Милюков успел с утра побывать на завтраке, в его честь устроенном старой корпорацией купцов «Russian Company», произнес речь о хозяйственных связях обеих стран. Совершенно очевидно, что после войны вся наша преживя торговля с немцами должна перейти к Англии. В армии и государственном аппарате немцам тоже отныме нечего делать...

После речей Асквита и спикера Лоутера (теперь он, конечно, был без своего средневекового оденния) говорил Ллойд-Джордж. Слушали его не вздохнув, хотя всем хотелось, вероятно, громко стонать. Сам он определил свое выступление как «кровавый бух-галтерский отчет». Вот он вкратце: то, что успел я запомнить. Самая богатая страна Англия (по национальному богатству

и национальному доходу» — 18 миллиардов фунтов стерлингов, затем — Германия (16), на третьем месте — Франция (13), за ней — Россия (12), потом — Австро-Венгрия (9). Война уже поглотила одну восьмую всего национального богатства вомющих, Что случилось бы с Европой, если бы ей суждено было вновь испьтать сроки наполеоновских войн!... Ни одна война не обходилась хотя бы приблизительно столько, сколько теперешияя.

Двадцать три года наполеоновских войн стоили Англии 650 моющих стран уже сейчас удвоился, и прав германский министр финансов Геолаферих, определяем и прав германский министр финансов Гельферих, определяем с веделевную стоимость войны для всех — в 16 миллионов фунтов стерлингов. Однако в приведенный расчет не включены убытки от разрушения строений, дорг, сельскохозяйственного инвентара и пр., причиненные войной. Не включена значительная потеря производства в Северной Оранции, в Бельтии, в Восточной Пруссии, Польше, Галиции и Сербии, погибшие суда, истребленные запасы сырыя, металов, про-двовльствия, износившиеся машины. И, главнос, — люди, люди!

Выбыло из воинского строя свыше 16 миллионов человек... Из них убиго, умерлю от болезней и ран и потеряло навсегда трудоспособность почти четыре миллиона. А если перевести эти жизни на деньги (цинично, но при экономических расчетах личность ценят не как таковую, а как создательницу известного количества материальных благ) — это составит еще около одного миллиарда щестисот миллионов фунтов стерлингов! Какой вывод? Все, все сделать, чтобы скорей добиться полной победы!

Мы все громко рукоплескали. От нашего имени отвечал Протополв. Ничего в упрек ему не поставишь, так бы отвечал и я, и Милюков, и, в общем, все мы были довольны его речью, но стоючастое всюду упоминание им «нашего великого, благородного монарха» у меня лично вызывает неприятное смущение. Наш «обожаемый» не пользуется здесь ии на шиллинг уважением, а на Алису и всю парскосельскую камарилью смотрят как на грязных предателей.

— Вам надо что-то делать. Вернее, не что-то, а «кое-что»,говорил хозяин нашего стола мне и Милюкову в частной беседе.-Я говорю с вами как с единомышленниками, как с людьми подлинного прогресса, как с европейцами двадцатого века. Вся Россия, да и весь политический Запад знают вас как признанных, постоянных «антиминистров» царя. Когда телеграф приносит нам речи Сазонова или Барка, мы знаем, что вслед за этим тотчас же будем читать ваши критические выступления. Вам пора поменяться ролями. Вы будете отличным министром, сэр!.. Вы хорошо сделали, что приехали сюда. Будем откровенны. России пора вступить на путь просвещенных западных буржуазных конституций. Союзы ваших муниципалитетов, комитеты промышленности, объединение разных ваших партий в «прогрессивный блок» — все это начало, которое должно иметь успешное продолжение. Иначе — революция. Бойтесь ее в вашей стране! Поэтому надо опираться на все слои населения, идущие против абсолютистского строя. Я читал неопубликованные высказывания вашего Коновалова. О, по-видимому, это настоящий просвещенный промышленник: он ищет дружбы рабочих, -- ну, а как же иначе можно? Очень широкое законодательство по рабочему вопросу — вот на что надо идти. Помните: мы с вами либералы. Мы — адвокаты всего народа. Либерализм считается почему-то в темных уголках мира чем-то похожим на бунтарство. Но ведь это ерунда, сэр! Либерализм есть друг порядка и эволюции. Посмотрите на Англию! Право, мы... адвокаты народа, сэр! Хотя наш гениальный Джонатан Свифт и не любил этого сословия и очень зло высказался о нем, но я рискую вспомнить великого сатирика, — рассмеялся он, — не боясь распространить на себя и на вас его саркастическое остроумие!

— Как же, помню, — чокнулся с нашим хозяином Павел Николаевич и, удивляя Ллойя-Джорджа своей безукоризненной памятью и эрумдицей, процитировал: «Сословие адвокатов — это собрание людей, воспитанных с юности в искусстве доказывания словами, в случае надобности — помножаемыми, что белое — черно, что черное — бело, смотря по наемной платея.

Между нами троими завязалась оживленная беседа и тогда, когда вышли из-за стола. А. Д. Протопопов, по всему видно было, хотел примкнуть к нам, пытался сделать это несколько раз (с и говорил о чем-то министр финансов Маккена), но мы его не приглащали. Поистине мы чувствовали в великом государствения деятеле Англии своего партийного единомышленника (я даже больше, чем Павел Николаевич), и нам не хотелось нарушать елинство в нашем маленьком кружке.

Ллойл-Джордж в сером костюме, среднего роста, крупная голова с поседевшей уже, обильной, зализанной к макушке шевелюрой. На боках и сзади прямые и тяжелые волосы его не подстрижены и не приглажены, а торчат, оттопыриваются — чуть надломленные кверху, словно на голове всегда узкий, не покрываюший всех водос картуз.

Он говорит о своей партии (как полновластный ее лидер и вожак), о консерваторах, вошедших в национальный кабинет, об оппозиции по этому случаю греди некоторых либералов.

 Но, — говорит он, — всадник не спрашивает советов у лошади, когда нужно оседлать ее и ехать.

Это сказано им о своей собственной партии. А что он «всадник», теперь в Англии ни у меня, ни у кого нет сейчас сомнений. На прощание он вновь повторяет:

— Хорошо, что приехали. Хорошо. Ваша поездка — апеллядия либеральному, цивилизованному Западу. С этим у вас там должны посчитаться. Англия дает в кредит России деньги, снаряжение и... соглашение о Дарданеллах. Разве мало? Но что такое Россия? Это не метафизика, а лоди, политическая система. Не так? Значит, кому мы даем?.. А?.. Нет, нет... там у вас должны посчитаться!

И вышел почти бежащей походкой, не одернув загнувшейся повыше башмака штанины,— некогда!

Я думаю, что мы очень нужны Англии, если ей приходится без какого-либо «аппетита» к тому говорить о Дарданеллах.

Завтра отбываем все во Францию. Каким путем — еще не знаем. Поездку обставляют так же таинственно, как из Швеции сода. Не нарваться бы на немецкую подводку!»

Глава третья

ИНОСКАЗАТЕЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ, ИЛИ СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ Л. П. КАРАБАЕВА

Как лучше ответить на вопросы французской газеты? Как оградить себя от излишнего ее любопытства?

Лев Павлович Карабаев искоса посмотрел на своего собеседника: парижский журналист, силя в кресле, держал на коленях крохотную бесхвостую собачонку — беспокойную, щустренькую, с ярко-красным язычком. Она облизывала им свою миниатюрную мордочку каждый раз, как француз вынимал из кармана белого жилета плоскую серебряную коробочку и — оттуда — какие-то розовые и желтые лепешки: одну давал гладенькой, кукольной собачонке, другую посасывал сам.

На широком подлокотнике кресла лежала записная книжка жириалиста и точно такая же — зеленая — ручка с вечным золотым пером, какую вера только приобрел для себя Лев Павлович.

- Ну вот, повернул он голову к своему собеседнику. Разрешите сказать приблизительно следующее, начал он, пристально и серьезно посмотрев на журналиста, словно не столько желая пойти навстречу вопросам известной французской тазеты, сколько отвлечь внимание журналиста от лилипутки собачонки, приплясывавшей у него на коленях.
- Джо! строго сказал француз живой кукле и схватил с подлокотника свои журналистские принадлежности.
- Лев Павлович откинулся на спинку кресла,— интервью началось.

 Представьте себе, monsieur Гильо, что вы несетесь на автомобиле по крутой и узкой дороге. Ну вот... один неверный шаг—и вы безвозвратно погибли. А в автомобиле близкие люди, родная ваша матъ.
- Ошень неприятно! воскликнул француз. Надо брать с собой хорошего шофера. n'est-ce pas?
- Но вы вдруг видите, что ваш шофер править не может: потому ли, что вообще не владеет машиной при спусках, или он устал и уже не понимают, что делает, но он ведет к гибели и вас и себя. Если продолжать ехать так — перед вами неизбежная смерть.
- И больше никто не умеет управлять машиной? не то соболезнуя, не то презрительно, как показалось Льву Павловичу, отозвался француз: он быстро разбирался в этой русской аллегории, да и какой журналист не изучил эзопов язык?!
- К счастью, в автомобиле есть люди, которые умеют править машиной, и, конечно, им надо поскорее взяться за руль.
- «Правильно! Ну, так в чем же дело?» жестом одобрил Карабаева его собеседник и что-то мгновенно занес в свою записную книжку.
- Но задача пересесть на полном ходу нелегка и опасна, полѕене Гелью. Одна секунда без управления — и автомобиль будет в пропасти, п'est-се раз? — словно передразнивая француза, чуть иронически сказал Лев Павлович.

Прямолинейность суждений журналиста несколько раздражала, пожалуй, была даже оскорбительна. Боже мой, ведь разговор шел о России, о родине, а этот сидиций напротив человек, потрудившийся изучить только русский язык, но не страну, в которой говорят на этом языке... этот эгоист парижанин готов, вероятно, безаушино-просто судить о том, что стоит ему, Карабаеву, стольких страданий!..

— Однако выбора нет: вы идете на это, но шофер ваш не ждет, — продложал, помия свою задачу и свои политические взгляды, член русской Государственной думы, следя за тем, как быстро и сосредоточенно записывает его слова сотрудник известной французской газеты. — Отгого ли, что шофер осдел и не видит, что он слаб и инчего не соображает, из профессионального самольбойя или упрямства, но он цепко укватился за руль и никого не

¹ Не правда ли? (фр.).

подпускает. Что делать в такие минуты? Заставить его насильно уступить свое место?. (Утвердительный кивок интервьюерь, розовая лепешка — в рот крохотной собачонке.) Не торопитесь, monsieur Гильо! Это хорошо на мирной телеге или в обычное время на тихом ходу, на равние. Но можно ли сделать это на бешеном спуске по горной дороге? Как бы вы ни были ловки и сильни, — в его рука фактически руль, он машиной сейчас управляет, и один неверный поворот или неловкое движение его руки — и машина погибла. Вы знаете это, но и он тоже это знает! И окмется над вашей тревогой и вашим бессилием: «Эте, не посмеете тромуты»

— Yous êtes dans une position fichuel Pardon... ¹ продолжайте, monsieur Карабаев. Я ошень преклоняюсь перед вашим талантом вести cette causerie ².

— ...Он прав: вы не посмеете тронуть. Если бы даже страх или негодование вас так охватили, что, забыв об опасности, забыв о себе, вы решили силой выхватить руль: пусть оба погибнем!.. Но вы остановитесь: речь идет не о вас — с вами едут выши близкие, ваша мать... Разве можно их губить? И тогда... вы себя сдержите, поверьте мне. Вы отложите счеты с шофером до того вожделенного времени, когда минует опасность, когда вы будете опять на равнине. Вы оставите руль в руках шофера. Более того: вы постараетесь ему не мешать, даже будете помогать... советом, указанием, содействием. И вы будете правы — так и нужно поступаты! Жиденькие, с плешинкой постередне, рыжие брови Гильо обла-

Жиденькие, с плешинкой посередине, рыжие брови Гильо обладали изумительной способностью инповенно подскакивать кверху,
удлотияя и без того густую гармошку морции на низком лбу, маденькие засченые глаза— выкатываться навстречу собеседнику,
двумя неожиданно увеличивающимися крутлыми, фосфорически
светящимися пузырьками, а мягкогубый рот— выразительно
открываться, не уронив ни одного слова, но так, что собеседник
как будто бы должен был уже услышать короткую, жаркую фразу
с вопросительными и восклицательными знаками. Длев Паллович
Карабаев — член парламентской делегации, кандидат в члены
стветственного министерства» России, столь негерпеливо ожидавшегося сейчас союзными правительствами Рима, Лондона и
Парижа,— поспешил закончить:

— Но что же вы будете испытывать при мысли, что ваша сдержанность может все-таки не привести ни к чему, что даже и с вашей помощью шофер не управится?. Что будете вы переживать, если ваша мать при виде опасности будет умолять вас о помощи и, не понимая вашето поведения, с ужасом обвинит вас в преступном равнодущим?. Однако предоставим это будущему.

— Bien! ³ — отозвался француз. Лицо его приняло обычное выражение.

¹ Вы в смещном положении! Простите... (фр.)
² Этот разговор (фр.).

³ Χοροωο! (φp.).

Они сидели друг против друга. Их разделял низенький кофинам столик, на котором сейчас лежали тоненькие сигаретки (Лев Павлович часто курил) и пахнущий новой кожей небольшой зеленоватый портфель с серебряной монограммой журналиста.

 Ошень хорошо, повторил Гильо, складывая свои журналистские принадлежности в портфель, и Лев Павлович заметил теперь не без удивления лежавшую там пачку русских (таких знакомых) газет. Неужто «Русское слово» и «Речь»?

Вы читаете нашу прессу? — спросил он.

- Это наша неизменная обязанность, ответил Гильо. Мало научиться языку, -- надо знать еще вашу русскую жизнь... чтобы понимать все ваши поступки! - добавил он, и Лев Павлович понял в эту минуту всю опрометчивость своего первого суждения о французе. — Газеты сообщают, monsieur Карабаев, что ваш парламент дебатирует сейчас проект нового закона об отмене сословных ограничений для крестьян. Как поздно это делается, monsieur Карабаев!.. Я вижу — вы со мной согласны: тем лучше. Крестьянство — ха! В вашей стране это — taître de la position, n'est-ce раз? Так должно быть в вашей стране! Наше французское дворянство имело одну славную минуту в своей истории: оно вовремя отреклось от своих привилегий, и сразу же его лучшие представители взяли в руки это знамя равноправия. У вас в стране делают ошень много глупостей (вы простите меня за откровенность: ведь я говорю с человеком, который так мужественно с ними борется!). Уходите вон, Джо! - прикрикнул он и согнал собачонку, пронзительно скулившую у него на коленях. Вот хотите? — я покажу вам кое-что из последней русской почты... Вы были, кажется, с вашими коллегами у Ротшильда?- неожиданно спросил он.
- Да, мы были приглашены к завтраку. Но почему, собственно, вы... недоумевал Лев Павлович, удивляясь тому, как быстро переходит журналист от одной темы разговора к другой.
 Да. да... вы были. Monsieur Потопопов мне сообщил об

этом.

— Вы были у него?— заинтересовался Лев Павлович. И насторожился.

 Вот... вот... я прочту вам несколько слов, — рылся в своем портфеле Гильо, не отвечая на вопрос.

Он вынул сколотые вырезки из французских газет, отогнул несколько из них, отыскал нужную и, наклонившись к своему собеседнику, стал медленно переводить:

 «Из сведений, поступивших в штаб главнокомандующего русской армин, устанавливается, что в последнее время среди войск значительно учащаются случан заболевания венерическими болезиями, в сообенности сифилисом. Есть указания (о, слушайте, monsieur Карабаев!), что германо-сверейская организация тратит

Хозяин положения (фр.).

довольно значительные средства на содержание зараженных сифилисом женщин для того, чтобы они заманивали к себе офицеров и заражали их дурными болезнями». Іпрохвійсі" развел руками француз и, подбросив свой корпус, порывисто встал, поправляя бантик-бабокку, плотно прижавшую свои черные шелковые крылья к белоснежному воротничку такой же рубашки.

штабных генеральских бездарностей, желающих оправдаться в своих поражениях. Вас удовлетворила встреча с господнном Протопоповым?— повернул он голову в сторону очутившегося у

окна monsieur Гильо.

— Нет.

— Можно узнать — почему?

Мы виделись с ним всего лишь несколько минут. Он сообщил мне о своих официальных визитах, и только! А настоящий разговор отложил.

— Ах, вот что...— разочарованно пробормотал Лев Павлович.
 — Если вам интересию, посмотрите вот сюда... Жоля Года хотите посмотреть?— торопливо вдруг позвал его стоявший у окна

monsieur Гильо.

Лев Павлович встал рядом с ним, и оба чуть высунулись в окно.

— Смотрите правей... вот туда, где этот коричневый дом с балконами в шахматном порядке: он совсем напротив входа в нашу гостиницу. Видите открытый автомобиль. Это у подъезда дома, где живет наш известный социалист Жюль Гэл. Смогрите он как раз выходит!. Он министр теперь. А знаете, кто прислуживает ему шофером? Моп Dieu! Что сказали бы ваши русские епископы?! Обязанности шофера у Жюля Гэда исполняет аббат Дюпон, бывший до мобилизации первым викарием в приходе Сен-Брен в Бордо.

Вот как! Это очень любопытно.

 Война! — строго и назидательно, как показалось Льву Павловичу, пояснил француз, отходя вместе с ним от окна. — На войне все возможно и... обязательно!

«Они считают нас политическими школьниками, считают нужным нас обучать. Почти что... цукают! Впрочем, разве они не правы?» — теребил свою черную густую бородку Карабаев, думая во множественном числе о своем собеседнике, кстати сказать, не торопившемея, как было видно по всему, уходить, потому что уселся, как хозяин, на прежнее место, посадив вновь к себе на колени коричневую кукольную собачонку.

— Вы были в четверг у Альберта Тома, вы видели у него на-

шего остроумнейшего Вивиани...

 Да, — уже не удивлялся Карабаев осведомленности французского журналиста, но в эту минуту она его несколько обеспокоила: неужели этот «человек с собачкой» (так про себя окрестил

¹ Невозможно! (фр.)
² Мой бог! (фр.)

парижского газетчика) может знать все о беседе на квартире у французского министра! Если это так, то парижские политические друзья весьма неосмотрительны: Штюрмер и царь имеют всюлу своих людей, как можно с этим не считаться?!

Серые, теперь задумчивые глаза Льва Павловича укоризненно посмотрели поверх головы monsieur Гильо, словно за инм стоял сейчае широкобородый, с широконосым круглым лицом, как у славянина-сибиряка, плотногрудый здоровяк Тома с длинными, червеобразными пальцами музыканта, так сокровенно-дружески пожимавшими два дня назад руку Льва Павловими два дня назад руку Льва Павловими два дня назад руку Льва Павловия

 Je sais, je sais ',— сосал лепешку француз.— Оба наших министра недавно вернулись из России и делились с вами впечат-

лениями. Они мне известны... да, да.

«Ну, так и есть... У этих французов нет, кажется, никаких секретов друг от друга!» — тревожился все больше Карабаев.

Маіѕ је пе sais раѕ... ² я не совсем в курсе вашей встречи,
проглотив лепешку, облизал губы французский журналист и посмотрел коротко, полувопросительно на Льва Павловича.

Отклика не последовало, — monsieur Гильо продолжал:

 Наши социалисты — это замечательные люди. Они умеют оберегать и защищать Францию не хуже, чем губернатор Дюбайль — Париж, чем наш военный министр Рокк — всю нашу армию, чем генералы Петэн и Нивель — наш славный Верден.

Мы преклоняемся перед верденскими героями, — живо отозвался Лев Павлович, почувствовав, что в этом месте разговора необходимо выразить обычное воскишение французской армии и всей стране. К тому же он надеялся изменить таким путем тему беседы: гляди, журналист опять заговорит о встрече с Тома, — и вновь волнуйся: знает он по-настоящему все или нет?

 О, Верден! — сощурил глаза словоохотливый патриот. — Такие о нем песни напишут наши поэты!.. Немецкие силы иссякают — я был неделю назад на фронте, я видел все, monsieur Kaрабаев... При помощи ста тяжелых батарей — ста батарей! — немцы штурмовали высоту «304» и смогли завладеть только северной частью ее. Атака швабов на Мортом не имела никакого успеха, мы отбили остатки форта Дуомон, а Кюмьер как был, так и остался в наших руках! Вы знаете, кто, между прочим, несет сейчас воздушную разведку на берегах Мааса... у Вердена? Не знаете? Наша боксерская знаменитость — Жорж Карпантье! Он сдал экзамен на звание военного пилота. Говорят, гамбургский боксер Шульц, узнав об этом, тоже записался в авиационную школу, - зависть врага, monsieur Карабаев!.. Когда разбился наш благородный ястреб, чудеснейший Пегу, поклевавший свыше десятка немецких ворон, сто граждан благороднейших профессий и званий поклялись в военном министерстве стать пилотами!... Война!- в третий раз многозначительно, но уже не так строго

Я знаю (фр.).

² Но я не знаю... (фр.)

повторил monsieur Гильо.— Да... я забыл вам кое-что показать... прошу прощения. Но, может быть, вы уже видели? Может быть вам уже показывал генерал Жилинский? Ведь он — представитель царя при нашей главной квартире.

«Ну и балаболка! Пора бы и уходить»,— утомленно вздохнул

Карабаев.

— Вот! — вытащил monsieur Гильо два тоненьких, в красочной обложке, журнальчика и протянул их Льву Павловичу.— Неужели не видели?

Это был небольшой иллюстрированный журнал — «Друзья русского солдага», издававшийся на русском языке. В заглавий
виньетке, украшенной знаком Республики — галльским петухом,—
русский и французский солдат пожимали друг другу руки. Журнальчик сообщал, что «по инициативе энертичных французских
деятелей, члена палаты депутатов Франкцина Бульона и сенатора Дестурнеля де Констана, возникла организация помощи русским солдатам, находившимся во Франции. Известия с родины,
седения о военных действиях сообзиков, отдельные приказы по
армии, статьи и рассказы французских писателей, перепечатки из
русских газет, календарь, небольшой подбор намболее употребительных французских слов — все это будет давать журнал
«Друзья русского солдата».

Портреты Николая II и Раймонда Пуанкаре «украшали» номера журналов. Военный обозреватель, полквинк и Донанци разъясиял весь смысл наступления австрийского эршерцога Евгения на итальянском фроите. Стихи русского поота (перепечатка) клеймили «нудовы зверства тевтонов». Восьмылетняя «крестная мать-Жанна Филиппе брала на свое попечение «приемной материа рядового пекотного полка Васклия Катыкина, «защитника Франции» (два фото). Карту Шампани, районы Шалона и Мэйн (карта прилагалась) рекомендовалось изучить особенно тщательно: здесь именно Василии Катыкина из русского экспедиционного корпуса должны были оборонять землю французских союзников, а по сушеству— интересы французских промышленников и банкиров.

В коние журнальчика печаталась «смесь»: русским друзьям сообщались «всякие интересные вещи» — вроде того, что Ричиотти Трарибальки, продолжаться рода знаменитого Джузеппе, узнав о смерти своего сына на полях Франции, прислал в поля мужественную телераму; «Подарвавляю мого сына» и Лии о Вильгельме и об остроумной Вильгельмен, голландской королеве, — анекдот был неплох осичнен (очевидно, каким-то бедлетристом), и Лев Павлович не без удовольствия и улыбки прочитал снабженную карикатурой заметку. На берлинском параде в честь прибывшей королевы Голландии солдаты тяжело отбивали шаг по всем правлам прусской шагистики. Вильгельм вопросительно воззрямлея на королеву. Она бесстрастно сказала: «Они недостаточно высо-кого роста — ваши солдаты». Спустя несколько минут прошед целый полк, в котором не было ни одного солдата ростом меньше, чем шесть футов и два дойма. «И они недостаточно высо-меньше прави полк, в котором не было ни одного солдата ростом меньше, чем шесть футов и два дойма. «И они недостаточно меньше, чем шесть футов и два дойма. «И они недостаточно меньше, чем шесть футов и два дойма. «И они недостаточно меньше, чем шесть футов и два дойма. «И они недостаточно меньше, чем шесть футов и два дойма. «И они недостаточно меньше, чем шесть футов и два дойма. «И они недостаточно меньше, чем шесть футов и два дойма. «И они недостаточно меньше, чем шесть футов и два дойма. «И они недостаточно меньше, чем шесть футов и два дойма. «И они недостаточно меньше дойма и они меньше дойма меньше дойма дойма «И они меньше дойма в дойма в

велики№ — воскликиула королева. «Как! И в них мало роста? возмутился Вилытельм.— Что вы хотите этим сказать?» — «Я хочу сказать, — пояснила королева, — что когда мы открываем шлюзы, ваше величество, то уровень воды в затопленной местности превышает восемь футов!» («Ну, сунься, Вилли, нарушить нейтралитет!» — комментировали этот анеклот «Друзья русского соддата».)

— Ловко!

Лев Павлович ухмыльнулся и посмотрел на журналиста. Monsieur Гильо спросил:

Вы довольны журналом?

 Отношение французского населения к нашим солдатам выше всяких похвал! — научился Лев Павлович не отвечать прямо на вопрос.

Он рассказал журналисту о посещении всей думск // делегацией военного парада, в котором приняли участие русские войска. Они шли вслед за марокканцами и сенегальскими стрелками, вслед за знаменитым ворчестерским — английским полком, вызвавшим шумные приветствия парижан, вслед за голубой французской кавалерией, но, — правду нужно сказать, — никого так восторженно не встречали, как русских! Monsieur Гильо утвердительно покачивал головой:

— Гораздо с большим восторгом, чем свыше ста лет назад, n'est-ce pas?

— О да!

Русских солдат встретили цветами, бурным ликованием — о, приж умеет обласкать!.. Они вышли на Большой бульвар и запели — к удивлению парижан:

> Раз, два! Грудью подайся, Плечом равняйся! В ногу, ребята, идите, Смирно, не вешать ружье!

Это была песня великого песенника Беранже, и, услышав се на русском языке, Париж ответил грохотом оваций... Да-а, горячее спасибо Парижу за его трогательную заботу: Лев Павловии посетил колонию для детей русских волонтеров, — прекрасный присмотр, замечательный уход за малышами. Говорит, в Марселе устроена колония для сирот сербских воинов? Это тоже великое благородство французской нации!

На Сене плавают барки «Галиция», «Царыград», новые прекрасные виллы называют «Москвой», «Россией», «Вилла Козак», всюду, всюду нация подчеркивает свое внимание ко всему русскому.

Недавнее потопление турками в Черном море госпитального судна «Португалия» вызвало такое искреннее возмущение палаты депутатов!

Ее президент, г-н Поль Дешанель, не только отправил телеграмму соболезнования в Петроград, Государственной думе, но и посетил здесь, в Париже, главу думской делегации А. Д. Протопопова и выразил ему те же чувства французской нации. Прекрасная страна — Франция!..

Лев Павлович прервал свой рассказ: он заметил вдруг плохо скрываемый рассеянный взгляд собеседника. Мопѕіенг Гильо ежеминутно посматривал теперь на часы, щелкая иногда замком портфеля, все чаше и чаше роиял бездушное, безразличное «да, да... конечно... как же. как же...» — словом, обнаруживал неожиданно все знакомые, обычные признаки нетерпения, чего не было еще четверть часа назад.

Лев Павлович почувствовал себя оскорбленным. Он молчаливо встал, — тотчас же вскочил и monsieur Гильо, подхватив на руки

взвизгнувшую собачку.

- Прошу прощения, что урвал у вас столько времени. Вы были так любезны. Да, прекрасный город Париж! - повторил он вдруг слова Карабаева. - Сто лет назад Париж воспитал для России декабристов, а теперь он должен воспитать... «январистов», «февралистов», – я не знаю, как они должны называться! Лучше будет — «январистов», чем «февралистов», — чем скорее это у вас случится, тем лучше: через полгода война кончится поражением Германии! Надо менять «шофера», monsieur Карабаев!.. Когда французской нации угрожала гибель, она... Mais, се n'est mon affaire вам советовать!.. Я иду в сорок третий номер, к monsieur Протопопову... Сейчас — шесть двенадцать, а в шесть пятнадцать он обещал приготовить письменный ответ на вопросы нашей газеты. (Теперь только Лев Павлович понял, что последние полчаса журналисту некуда было деваться и он просто-напросто убивал время в малозначащей для него беседе. «Но какая все-таки бесцеремонность!»)
- До свидания, monsieur Карабаев, ошень благодарю вас. Он отклавляся и направился к выходу. И теперь только Лев Павлович заметил то, что раньше ускользнуло почему-то от его внимания: ноги monsieur Гильо были обуты в дамские остроносые туфии на высоком, полугоравершковом каблуке, оттого каждый шаг его откладывался на отполированном паркете двойным рытмическим звуком музыкальным форшлагом, а походка быль легкой и вкрадчивой, как у женщины.
 И с собачкой на «вы». Impossible! передразнил француза

И с собачкой на «вы». Impossible! — передразнил француза
 Лев Павлович, возвращаясь к столу.

Глава четвертая

КАНДУША В ПЕТРОГРАДЕ

«...Чтобы стала вашему превосходительству вполне ясна картина действий этой группы фрондеров как внутри империи, так и за границей.

На пути в Англию депутаты встретились с обоими французскими министрами в Стокгольме, ехавшими в то время к нам.

Но это не мое дело (фр.).

Встреча была кратковременной, и тогда гг. Милюков и Карабаев ин о чем еще как будто не уславливались с Рене Вивиани и А. Тома. Но французские министры имели ряд сидланий в Москве и Петрограде с главарями Союза Земств и Городов и военно-промышленного комитета, о чем уже известно вашему высокопревосходительству, а посему полагаю нужным сообщить сведения дополнительные.

Московские промышленники готовились к тому, чтобы представить иностранным гостям русскую мобилизованную промышленность в блестящем виде. Как уже известню вашему превосходительству, командующий войсками Московского военного округа генерал от артиллерии Мрозовский вмешался в это дело и не допустил вручения докладной записки. Теперь доподлинно выяснено, что член Государственного совета П. П. Рябушинский, кославнийся в лично дружеских отношениях с английским послом, направил ему весьма конфиденциально копию записки, а ее самое вручил через фабриканта Смирнова французам и, кроме того, еще специальное письмо. В проекте этого письма выдвинут был ряд обвинений против действиства по отношению к военно-промышленным комитетам. Там все это подробно изагалось. Однако, когла проект обсуждался в московском комитете. то

Олнако, когда проект обсуждался в московском комитете, то многие члены его не соглашались с такой формой письма, находя недопустимым обращаться с жалобами к иностранным министрам хотя бы союзного с нами государства. Тогда письмо было переработано,

В общегородском и общеземском союзе тоже подымали этот вопрос. Москвич Бахрушин заявлял, что союзники должны понимать, с каким правительством России они имеют дело, и предлагал рассказать все в особом документе начистоту. Но официального документа не составили. Московский городской голова М. В. Челноков сдержал многих. «Вынесение сора из избы,— сказал он,— и в такое время — это такая крайность, на которую нужно решиться, очень и очень подумавши, а сейчас говорить преждевременно».

Свидания с французами продолжались в Петрограде. По случаю двадцатилетия русско-французской дружбы на банкете в ресторане «Контан» говорил эзоповым языком В. А. Маклаков, пел марсельезу Шаляпин, а ему аккомпанировали гг. Глазунов и Зилотти. «А. Тома сказал, что это «незабываемое собрание (гбилоп) — символ», а чего символ — все должны были догадываться.

Утром в «Европейской гостинице» у Тома были Керенский и Чхеидзе, а вчечером оба французских министра были на квартире у А. И. Коновалова и сидели там до поздней ночи. Что там было — узнать сразу же не удалось, но только через два дня совсем уже размякший кн. Львов, который там не был, но обсуждавий встречу эту в разговоре с другими земцами, сказал, и это слышал наш человек: «И да сбудутся слова Священного писания: камень, который отвергли строители, тог самый сделался главой утла». Теперь, ваше высокопревосходительство, есть возможность ознакомиться с содерь-жанием разговоров г. Коновалова с обомии французскими министрам-жанием разговоров г. Коновалова с обомии французскими министрам-

Господи боже мой! К каким только делам не стал он, Кандуша, причасти! Это тебе не писарская служба у смирихинского ротмистра. Это — Петербург, столица. И — тайная тайных каких людей! Министры — свои и заграничные, всякие знаменитости, депутаты Думы, миллионеры, промышленники, крупнейшие вожаки революционеров-рабочих, — сажать их, сажать... И, гос-с-споди, бог ты мой, тут тебе касательство к самому «старцу» Распутину... Вот что значит своевременный счастливый визит к Вячеславу Сигизмундовичу, господину Губонину, в номер смирихинской гостиницы. Понял он, оценил, в люди вывелье.

«Особо секретный, иностранный сотрудник департамента (здесь пропуск размером в строку), пользуясь своей профессией, связался с секретарем г. Тома и доставил таким путем сведения крайне важного политического содержания, долженствующие, как и сочтете, ваше высокопревосходительство, стать предметом вы-

сочайшей оценки государя императора.

По возвращении из России Альбер Тома пригласил к себе на квартиру Милюкова и Карабаева, бывших в то время в Париже, и сообщил им, что имеет поручение от Коновалова и что он сам, Тома, всячески готов содействовать планам их политического друга, хотя и члена другой думской фракции. Каково это — «поручение» — судите сами, ваше высокопревосходительство!..

План Коновалова, в общем, сводится к следующему: издаваты праницей особый информационный орган для осведомления представителей западноевропейских правительств, парламентов, общественных деятелей, ученых, журналистов и т. п. о сущности и ходе развития борьбы в России между правительством и либе-

ральными общественными силами.

С первых же номеров намеченного органа самое серьезное внимание будет уделено той роли, какую в русской политической жизни и придворных крутах играет Распутин. Коновалов надеется, что ему удастся получить от Илиодора сенсационные материалы. Изаание проектируется одновременно на французском и английском языках и будет бесплатно рассылаться всем государственным деятелям, парламентариям, редакциям газет и журналов, ученым, писателям. Средства для указанного информационного органа Коновалов надеется легко собрать путем подписки в либеральных торгово-промышленных кругах.

А. Тома сообщил Милокову и Карабаеву поручение коноваловцев агитировать на Западе против предоставления России займов! В случае удачи государь,— рассчитывают либералы, должен будет пойти на попятный: дать ответственное министерство, которое составят гг. Гучковы, Коноваловы и Кара-

баевы.

Список такого министерства уже составлен, иначе,— говорят они,— будет революция и монарху придется иметь дело с Керенским и Чхвидзе.

Французский министр-социалист открыто поддерживает русских фрондеров. Милоков высказался в беседе в том смысле, что, покуда идет война, тормозить получение займа сейчас — дело рискованное и болезненное для совести русского патриота, но дать понять русскому правительству, что посе окончания войны демократические страны не дадут денег роксию— то сседать следует.

...Сообщая обо всем этом вашему высокопревосходительству.

почтительнейше прошу...

Подпись.....».

...Машинка умолкла.

— Есты! — сказал Пантелеймон Кандуша. — В двух местах приложите вашу ручку, Вячеслав Сигизмундович.

Ответа не последовало, и Кандуша, оставаясь за столом, оглянулся.

— Тю-тю. — шепеляво свистнул он, высунуя кончик языка. Лежа на тахте, скрестив и чуть свесив ноги, чтобы не запылить башмаками ковровую обивку, Губонин спал. Ниспадала пола серого пиджака, открыв боковой карман с кожаным бумажником; жилет был расстетнут, тенный в белых горошках узкий и длинный галстук вполз, как змееныш, под инзко опущенную кругдую «голландскую» бороду и восоалея, казалось, сейчае в горбатое, петушиное горло спящего Губонина. Голая шишковатая голова его, гладко выбритые щеки и лишенная растительности верхняя тонкая губа, согретые и слегка разрумяненные пучком заползшего в комнату солнца, были влажны от пота.

Кандуша созерцал бесшумно своего начальника.

В жизии обоих двя года назад произошла счастливая встреча. Один всю жизнь занимался тем, что искал и отъскивал нужных ему людей, другой, провинциальный ротмистров писарь, все годы мечтал о том, что вот кто-то найдет его, отметит, поймет и, оценив откроет перед ним путь удази — путь, неведомый маденькому Смирихинску, бесталанному ротмистру Басанину, — путь не буднячного, скучного ремесла, а таниственного, волнующего искуства сыскного дела, к которому неуважительно называемый всеми Пантелейка Кандуша питал тернетную, почти исступленную страсть.

Этой неподдельной страстью и одержимостью удивил он и породил Губонина, придя к нему поэдно вечером в номер смирихинской гостиницы, где остановился тот, не вызвава никакого

интереса со стороны жандармского ротмистра.

 Всякого человека, позволю сказать, надо сквозь хребет посмотреть, нервик каждый выузнать, слово на пластинку взять, во, во!..

Через несколько месяцев после этой встречи писарь уездного жандармского управления Пантелеймон Кандуша очутился в Петрограде. Губонин приобрел верного друга и помощника, охранное отделение столицы — ревностного, неутомимого сотрудника.

Неожиданная ли тишина после привычного, убакокавшего стука машинки, легкий и случайный дневной сон, но Вячеслав Сигизмундович быстро поднял веки, суетливо обвел глазами комнату и тотчас же вскочил с тахты.

- Готово? А я-то, черт, прикорнул маленько!
 - Умыться бы...— подсказал Кандуша.
- Угы... Покажи-ка, Пантелеюшка.
- И он взял из его рук машинописные листы и черновик своего текста.
 - Можно не считывать?
 - Как всегда, Вячеслав Сигизмундович, в аккурате! Понял, что и кому?

 - И он тряхнул листки.
- Гос-споди, боже мой! по привычке протяжно, с полуглубоким вздохом отозвался, вставая из-за стола, Кандуша. - Ну, как не понять: историческая манускрипта самому Борису Владимировичу, его высокопревосходительству... Сегодня? -- спросил он.
- Сегодня, через час. На квартиру свезу. Читал ведь, какие дела там мастерит Карабаев — земляк твой... за границей?
- Читал и запечатлял, можно сказать, своими собственными пальцами. — растопырил короткопалые руки Кандуша, надевая на машинку клеенчатый чехол. — Подумаешь тоже: Лев Павлович квохчут перед заграничными воротами, а свои дегтем мажут! А клевета, Вячеслав Сигизмундович, что уголь: не обожжет, так замарает.
- Комолая корова хоть шишкою да боднет, рассеянно, поговоркой на поговорку ответил Губонин, пробегая глазами свое секретное донесение.
- Коровы быками становятся, позволю себе заметить, Вячеслав Сигизмундович!.. Ворота царского государства ломать собираются, — сами же его высокопревосходительству докладываете? Разве шутка? Господи, боже мой! Трепещу весь, трепещу. Глаза мои на события разбегаются! И тут бы... незримо, незримо этак... чик под корень, чик! (Губонин поднял на него глаза.) Чему удивляетесь, Вячеслав Сигизмундович? (Он оглянулся по сторонам, словно кто-либо мог подслушать их разговор.) Всерьез говорю: чик под корень... незримо этак!
 - Арестовать, что ли? усмехнулся Губонин и, потягиваясь,

распрямляясь, сладко зевнул.

 Толку мало, — помутнели, чернильными стали Кандушины глаза, и он бесшумным, медленным шагом подошел к начальнику. — Способы обсудить можно, как лучше. Сразу ли, поодиночке. Но под корень, говорю, Вячеслав Сигизмундович!.. Чик - и преставился старик! Вот на этот счет сообщеньице имею.

И он вздрогнул вдруг - крупной конвульсивной дрожью: трескучим звонком врезался в беседу телефон.

Губонин снял с рычажка трубку:

- Слушаю... Да. Квартира инженера Межерицкого. Да, я... Я же вам... ну, да — я у телефона... инженер Межерицкий. Фу-ты, господи, не узнал! Честь имею, честь имею, дорогой Иван Федорович. Вам повезло застать меня...

И наступила продолжительная пауза, в течение которой внимательно слушавший своего телефонного собеседника Губонин обменивался с ним краткими утвердительными междометиями, а нителеймон Кандуша, хорошо изучивший привычки своего начальника и по виду его учуввший сейчас сосбенно интересное и важное, затаил дыхание, нетерпеливо выжидая окончания разговора.

Все будет сделано!

И Губонин, «инженер Межерицкий», аккуратно размотав туго скрутившийся и укороченный оттого телефонный шнур, медленно и так же аккуратно опустил трубку в седлышко рычажка.

Минуту он молчал, занятый своими мыслями. Молчал и Кандиа, знавший, что в таких случаях не следует ни о чем расспрашивать начальника: если иужно, если захочет,— сам все расскажет. И когда тот остановил, гмыкнув и улыбнувшись, на нем свой взгляд, Кандуша сказал только:

Умыться бы...— и сделал бесстрастное, скучающее лицо.
 Ха-ха-ха! Спасибо, дорогой мой гувернер, вскочил Губо-

нии и убежал в ванную.

Он вышел оттуда с порозовевшими щеками, с еще влажной головой, которую растирал нежно, осторожно мягким мохнатым полотенцем и, не успев привести себя в порядок, закурил, не пользуясь, как обычно, мундштуком, быстро, истратив торопливо три спички одну за другой; и тотчас же, после двух затяжек, бросил даммицуюся папросу не в пенелыницу, а в какую-то по-павшуюся на глаза пустую склянку, стоявшую на этажерке с кни-гами.

 Так ты говоришь, Пантелеюшка, чик — и преставился старик?! Хо-хо-хо... Может, и план у тебя есть, а?

«Совсем не о том думает. Ерза в теле!»— наблюдал его опытный Квандуша. Оп вынул из скляночки папиросу, притушил ее в пепельнице-лодочке, стоявшей на письменном столе, взял из рук начальника полотенце, отнес его в ванную и, только возвратясь оттуда, ответил на заданный вопрос:

Планы есть, да в коробочку надо влезть!

И он трижды похлопал себя по лбу.

Поговорим на свободе?

Он вопросительно посмотрел на присевшего к столу Губонина.

В конце третьей написанной на машинке страницы он мелким четким почерком, но с размаху, не примащивая руки, поставил свою фамилию, и верхний хвост заглавной буквы, описав овальную дугу, вобрал в нее, как в сачок, всю подпись.

Он сложил бумагу и собирался уже спрятать ее в карман с бумажником, но внимательно и заботливо следивший за ним Кандуша, как всегда, оказался услужлив:

- В двух местах ручку вашу приложить надо, Вячеслав Сигизмундович... А вот рассеяны стали, позволю заметить. Сказали — сами впишете, где пропуск велели оставить...
 - Ах, черт... верно!

А как же! — зная себе цену, буркнул Кандуша.

Губонин снова присел к столу, развернул бумагу и на одном листов ее, где Кандуша оставил ранее чистую строку, вписал быстро:

«Журналист Гильо, он же под фамилией Шарль Перрен»

и посмотрел с благодарностью на Пантелеймона Кандушу.

- Я ухожу, Пантелеюшка. Ты посидишь тут, покуда придет старуха.
 - Так точно.
- Если хочешь, можешь сегодня ужинать со мной в «Аквариуме». Как ты?
 - Рад буду, Иван Семенович!
 - А коли придется только на вокзале увидеться...
- ...то уж там же шепнуть все вам успею, Савва Сергеевич, расторопно, без запиночки отвечал на прощанье Кандуша. Губонин был доволен.

Разговор — для постороннего, непосвященного — походил на причиливый экзамен. Да это и было в некотором роде так: имя и отчество Губонина менялось всегда в зависимости от того, где и когда встречал его — условившись или случайно — верный помощник Пантелейка. И ни разу на поверку не сбился в том крепко владевший памятью бывший ротмистров «архивариус» столь сложной департаментской «дуги сведений о домах и лицах наблюдаемых».

Но сколько — гос-споди, боже мой! — имен и отчеств у вездесущего и всевидящего Вячеслава Сигизмундовича. — Пантелеймон Кандуша поистине преклонялся перед своим наставником.

Уже у самого выхода из квартиры Губонин вдруг обернулся и с интонацией, не свойственной ему, подражая голосом кому-то, сказал:

- А знаешь, насчет кого звонил-то Жан Федорович?
 - Скажете знать буду.
- У, бестия, знаешь ведь! Готовьсь, Пантелеймон Никифорович, гостя принимать.
- «Милай-дарагой»? воскликнул Кандуша, сам копируя голосом кого-то.

Губонин подмигнул и взялся за ручку двери.

Глава пятая

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Ньюкэстль. Христиания. Хапаранда на шведской границе. Торнео...

Путь возвращения пройден, поезд мчит финскими хвойными лесами, России бежит навстречу знакомыми верстами, станциями, ворохом последних газет, припасенных суворинским киоском на выборгском вокзале, и длинными белыми просеками в них, прорубленными ревностной рукой русской цензуры.

Лев Павлович Карабаев передает газету соседу, выходит из купе в коридор - к открытому окну вагона.

Проносится мимо какое-то железнодорожное здание, будка белая, лошадь, запряженная в дрожки, озеро с лодками, купальшишы.

Вагон покачивает на стрелках, стрелки уготовили путь и стерегут его, - Лев Павлович, усмехнувшись, начинает думать аллегориями.

Журналисты встретили на станции Усикирко. Они ворвались в вагон шумно, крикливо, напирая друг на друга. Они знали каждого из ехавших парламентариев по имени-отчеству, -- стоял гул многократных почтительных приветствий, суматошных вопросов, сумбурных реплик и, пожалуй, таких же сумбурных ответов. Впрочем, отвечали так не все: член Государственного совета граф Олсуфьев вынес из купе и передал представителям прессы заготовленный им заранее листок со своими «заграничными впечатлениями» и от особой беседы отказался, избегая тем самым, как выразился, излишних газетных «коммеражей». Националист Демченко принял только сотрудника «Нового времени», объявив остальным, что боль в ухе настолько сильна, что он не может беседовать с ними.

И кто-то в карабаевском купе меланхолически, но зло сказал, рассмешив всех:

 Не скот во скотех коза, не зверь во зверех еж, не птица в птицах нетопырь и не депутат в депутатах Демченко, как ведомо!.. Бо Скотинины все крепколобы!

И, рассмеявшись, все оглянулись на злой голос: низкорослый журналист Асикритов стоял в дверях; он не виден был за спинами столпившихся здесь своих товарищей. Гул шел по всему вагону.

- На послезавтра ваш доклад, а двадцатого Думу распускают.
 - ...и на игральные карты у нас кризис.
- ...но об этом разговоре прошу вас пока не сообщать... сами понимаете...
 - ...французский генерал По у нас в Ессентуках лечится. ...нам пример надо брать у Англии, как бороться с роскошью!
- ...и эти евреи-эмигранты готовы защищать свою мачеху Россию... ...Александр Дмитриевич Протопопов остался в Лондоне,
 - в помощь министру Барку...

— ...а газеты — заметили? — семь вместо пяти копеек!

Минутная остановка в Териоках, - гул уменьшается, слова явственней, путещественники вспоминают здешние слоеные пирожки, каких нет и у Филиппова, смотрят на часы, отсчитывают время, оставшееся до Петрограда. Путешественники не прочь уже закончить интервью, но газетчики наседают, каждому хочется спросить всех и, в свою очередь, самим побольше рассказать, - на

листки блокнотов падают размашистыми обрубками-кривулями торопливые записи, которые сегодня ночью уже превратятся в стройные грядки статей, заметок, телеграмм на первой полосе всей русской прессы.

— Вы сами должны понять,— несется из чьего-то купе. После Бурбонского дворца с его историческими воспомиваниями, с его залами и кудуарами... Вам не приходилось бывать там? О, это замечательно!. А зал Казимира Перье, гле изображено заседание Генеральных штатов двадцать третьего июня тысяча семьсот восемьдесят девятого года?! И после всего этого мы попали...

Шум тронувшегося поезда заглушил остаток плавного разговора и выразительный голос рассказчика.

И снова:

- Нет, я не ездил. Павел Николаевич ездил.
- ...английские солдаты родным на память свой голос в фонографе...
 - ...теперь у нас, господа, мясопустные дни введены.
 - ...да, я веду дневник... вот еще и здесь, в купе. Вот он...
 - ...ах, каналия же этот...
 - ...жаль Китченера!
- ...нашим ни-ни! Французам через посольство тридцать бутылок вина на душу...
 - ...«супрематисты»-футуристы выставляются...
 - …а Ириша как, Фома Матвеевич?
 - ...извозчичья такса, говорите?
- ...не выставка, а москательно-скобяная торговля: металл, дерево, обои, стекло, — тьфу!
 - ...гуси на Дворцовой набережной, ей-богу. Картинка!..
 ...доподлинно знаю: Сибирский, Русский для внешней,
- Азовско-Донской...
 ...Все здоровы, Лев Павлович!
 - ...Международный, Волжско-Камский банк.— Вот вам газага!
 -Сухомлинов? Сидит пока сей резвый генерал!
- ...на лекции Петра Когана: «Одичание и возрождение в литературе и жизни».
 - ...к Белоострову, господа!
- ...У них ванны и души в траншеях у французов, а вы говорите!..
 - ...распутинцы под сюркуп взяли все общественные силы.
 - ...и Софья Даниловна хороша? Ну, слава богу!
 - …а хала почем?

И так до самого Финляндского вокзала.

Все домашние здоровы — вот самое ввжное из того, что сообцил дсикритов, и Лев Паклович пришел в хорошее настроение. Случилось так, что последние две недели он не имел никаких сведений от семьи. Ни одной телеграммы, а на письма он и не расситывал. Весь обратный путь из Англии Лев Павлович был тосклии и полон всяческих мрачных мыслей и беспокойных предчувствий. Он плохо спал, и сны были несурвзны и неожиданны по своему горькому всегла содержанию: то жена облысела и кондукторшей служит в трамвайном вагоне, то она в гробу лежит и головой мотает, и у гроба стоят знакомые и друзья с гольми коленками, в форме шотландских стрелков; то сын Ирка — равенный финским ножом уличного хулигана; Ириша, бесстыдно обнимающаяся с каким-то пляным солдатом и жалобно протязивающая руки к отцу; то она лежит на рельсах, и мчащийся поезд вот-вот налетит и раздавит се.— Лве Павлович столал во сне, вскрикивал, метался на своем дорожном ложе и, просыпаясь, жаловался спутникам на серадцебиение и дурное настроение.

Встреча с Асикритовым, родичем жены, обрадовала Льва Павловича. Журналист был в курсе домашних карабаевских дел: дией десять назад Льву Павловичу телеграфировали, но, очевидно, телеграмма не дошла,— зря так волновался; Юрка благополучно перешел в седьмой класс и пытается говорить басом; на дачу решили ехать, дождавшись только Льва Павловича; любимое блюдо, кареники с вишнями в сметане, ждет его на столе: то тро-тательный сюрприз Сони, не изменяющей и в столице украинским вкусам; она сохранила ему все газстанне вырезки, в которых упоминалось его имя за все это время; да... недавно обклеили вко-квартири новыми обожни; словом, все ждут его с нетерпением,— они, наверно, сейчас уже на вокзале — нервничают, как полагается...

Из ватона Лев Павлович вышел уставший, но успокоенный и даже веселый. Поезл пришел вечером. Ярко освещенный перром был полон людьми: не только родственники и знакомые, но и многие другие пришли встречать депутатов русского парламента. Крича «ура», возглашали здравицу прибывшим, а некоторым, и в том числе Карабаеву, отдельно пели какие-то песни и снова кричали «ура».

П-пых! — вспышка матния перед самым лицом невольно вздрогнувшего Льва Павловича; но спуста секунду он уже приветливо смеется, и таким, со сдвинутой в сутолоке шляпой на голове, запечатлевает его второй фотограф и... бросается к нему с поцелуями.

- Папа... папочка, здравствуй!
 - Юрик... родной!

Он крепко прижимает к себе сына, заглядывает в его глаза, нежно похлопывает по плечу.

- А мама где? Ирина?..
- Там, там они... Их затолкали. С нами Федя Калмыков!
 Куда прикажете, барин?— спрашивает носильщик.
- Ах, к выходу же, конечно!

Они пробивались сквозь толпу, и многие, знавшие в лицо депутата Карабаева, приветствовали его, снимая шляпы, котелки, фуражки, а женщины — многократными кивками головы и длительными улыбками, и Лев Павлович тоже улыбался всем и в сладкой растерянности повторял одно и то же слово:

Рад...рад...рад...

 Какой ты знаменитый, папа! — шептал ему Юрик. — Как Собинов.

Дурачинка ты, мальчик.

Из вагона он вышел успокоенный и веселый,— сейчас он шел радостный и растроганный.

Да здравствует Россия и ее верные союзники, господа!

Ур-р-р-а-а!

Да здравствует Государственная дума,— ур-ра!

Свистки, голос распоряжающегося жандарма:

Ну, ну... Проходите, проходите, господа. Не задерживаться!
 А вот и мама... Мама, мама — сюда! — кричит Юрка и дергает за рукав отца.

Левушка! — слышит Карабаев знакомый, вздрагивающий голос жены и делает торопливые шаги навстречу.

У выхода из вокзала и у места, где стояли извозчики, пришлось немного задержаться, а так хотелось скорей попасть домой!.. Ах, боже мой, ну что там приключилось с носильщиком? Где же они?

— А ты запомнил его номер? Все три места у него?— спрапивает взволнованно и смотрит по сторонам Софья Даниловна.— Четветосе у тебя в руках?

 Да, да... Он, наверное, нас ищет, какая у тебя славная шляпка, курсёсточка моя!

Какой у него номер, Левушка?

Сто первый, кажется.

Ах, мамочка, не беспокойся: Федя и Юрка его найдут.
 Твой Калмыков давно здесь?— подмигнул дочери Лев

Павлович.

— Мой?— смеется.— Несколько дней... Из Киева.

Почтительный юноща, — говорит Лев Павлович.

 Не очень... как-то многозначительно, косо поглядывает Софья Даниловиа.

— Вот! Я говорила, папа... идут!

«Сто первый» с двумя карабаевскими чемоданами на ремне через плечо и с желтым саквояжиком в руках пробивал себе путь в толпе. Рядом с ним шли Юрка и студент Федя Калмыков.

Затерло!— оправдывался носильщик, отирая пот.

Лицо у него побагровевшее, водянистые маленькие глазки избегают встречного взгляда, и черные рогали колечками закрученных усов готовы, казалось, поникнуть, распуститься книзу от охватившего его смущения.

Ремень менял, так как первый лопнувши...

Ладно, ладно, — утешал его Лев Павлович.

Прошли к стоянке «Ванек», а молодежь — к трамвайной остановке.

Носильщик ругался с извозчиком:

 Вставай! Зачем ноги на сиденье положил? Тоже... барин. А штоп она не села, потому она осень толстая! — показал финн кнутовищем на обоих Карабаевых. — А моя лосатка любит тонкие седоки, штоп не тесело ехать, потому война: овес торог, а у лосатки сило мало.

Прищлось взять другого извозчика: и опять разговор об овсе,

о скудной жизни, о тяготах войны.

— Ты знаешь, Соня, как говорят о нас немцы?— рассказывал, покуда ехали, Лев Павлович.— В «Berliner Tageblatt» я читал: «Вы знаете страну, где все есть и в то же время ничего нет?» Это так обидно, Соня!...

На следующий день утром, еще не сбросив голубой своей пижамы, еще не умывшись, он распаковывал вместе с Юркой чемо-

даны в прихожей.

Насвистывая «Типперери», он открыл ключиком дорожный саквояж, заглянул в него, сунул в него руку и тотчас же оборвал свой свист.

Господи, что же это такое?!

Стремительно вытряхнул на пол содержимое саквояжа: нет, это не иголка, чтобы затеряться средь остальных вещей!.. Так что же произошло... где бювар с дневником?

 Соня! — крикнул он и грузно, беспомощно опустился на пол.— Боже, боже мой...

Случилось еще одно несчастье: еще большее, чем то, о котором, не утерпев, рассказала ему Софья Даниловна ночью.

Глава шестая

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Встреча была назначена на пять часов, и точно в это время Федя Калмыков переступил порог Иорданского подъезда Зимнего дворца, в части покоев которого размещен был теперь лазарет для офицерских чинов армии.

Просторный, глубокий вестибюль был разделен поперечной, стеклянной наполовину, перегородкой на две части: в одной приемная, в другой — сортировочная лазарета. Федя свернул налево и подошел к двери «приемной».

 Вам кого? — спросил стоявший тут чернобородый, с наголо выбритой головой санитар.

Мне необходимо видеть сестру милосердия.

Какую? У нас их тут шестьдесят, молодой человек!

 Вы не дали мне закончить фразу. Полагается быть вежливым! - оздился вдруг Федя и, отвернувшись от санитара, вошел в приемную.

У стола, за которым сидел какой-то чин со значком Красного Креста на груди, белобрысый, узколицый, с зелеными рачьими глазами, выстроилась очередь посетителей человек в десять. Не

зная еще, как поступить, Федя занял в ней место. Посетители были родственники и знакомые лежавших в лазарете офицеров; они приехали из разных мест империи, чтобы повидаться со своими сыновьями, братьями, мужьями, и краснокрестный чин за столом, выслушив г вопросы и просьбы, неизменно отвечал каждому одной и тои же фразой:

Булет доложено, сударь.

Будет доложено, сударь.

Вам разрешено во вторник. Николаевский зал.

Вам разрешено в четверг. Фельдмаршальский зал.

И только. Он походил на исправный автомат, который, казалось, трудно было испортить - услышать иной ответ, чем тот, который он давал. Когда дошла очередь до Феди, краснокрестный чин, не дожидаясь его вопросов, а только коротко взглянув на него, неожиданно любезно сказал:

Вас просили подождать.

- Простите, но вы не знаете, о чем я хотел... Мне нужно вилеть...

- ...госпожу Галаган, - уверенно продолжил чиновник. -Я предупрежден о вашем приходе. Вы ведь студент Калмыков, не правла ли?

Но как вы узнали? — удивился Федя.

Чиновник, не отвечая на вопрос, уже обращался к следующему посетителю. Федя отошел в сторону: «Ладно, обождать - так обожлем».

А за столом вновь — словно касса, выбивающая чеки:

 В Гербовом зале. В Пешем пикете.

Будет доложено, сударыня.

С посольского подъезда.

 В галерее двенадцатого года. Ванны — в Помпейском садике.

 В Александровский зал пройдите. Посетители прибывали и прибывали:

отставные военные, опирающиеся на падку; старушки в черных пелеринках и черных шляпках преимущественно.

Федю тяготило вынужденное безделье, - он подошел к остекленной витрине, висевшей на стене, и стал разглядывать размещенные там фотографии. На них изображены были аванзал, Николаевский зал с его великолепной белой массивной колоннадой и примыкающая к нему галерея, - все они были уставлены теперь длинными рядами лазаретных кроватей с аккуратненькими пуховыми подушками и пикейными одеялами. Дворцовые апартаменты преобразились: картины в простенках затянуты белым полотном; скульптура аванзала заключена в деревянные щиты; на хрустальных канделябрах — чехлы; панно с навешенными на них золотыми и серебряными блюдами сняты со стен (а о том, что они были там, свидетельствовали отдельные фотографии тут же); зеркальный коричневый паркет и мраморные части стен покрыты линолеумом.

- Студент Калмыков...- не то вопросительно, не то утвердительно прозвучал за Фединой спиной чей-то голос, и Федя быстро оглянулся, подавив набежавший в ту минуту зевок томительного ожидания и скуки.
- Я...— поклонился он молодой женщине, с некоторым любопытством смотревшей на него. «Так вот ты какая...» — подумал о ней
- Простите, что я заставила вас ждать. Но, знаете, сейчас была такая сложная перевязка у одного штабс-капитана.

Она протянула ему руку в белой перчатке, и Федя осторожно, мягко пожал ее длинные полусогнутые пальцы.

- Ну, почему вы так удивленно смотрите на меня? - улыбались розовато-нежные, казавшиеся прозрачными, как свежие ломтики апельсинов, губы Людмилы Петровны.— Вы так залюбовались этими витринами, что ли, что не услышали, как я спросила о вас нашего делопроизводителя... Ну, пойдемте же сюда,

И она повела его в глубь приемной к широкому, старинному, павловскому дивану под портретом в золоченой раме знакомого венценосного мальчика в матросской рубашке. (Лазарет был назван его именем)

- Как я и говорил вам уже по телефону, я имею поручение — передать вам письмо от Георгия Павловича Карабаева. Вот это письмо, - вынул его Федя из бокового кармана тужурки и протянул Людмиле Петровне.
- Ого! весело сказала она, взглянув на пакет, и это «ого», как понял безошибочно Федя, относилось к круглому сургучовому медальону, которым запечатано было карабаевское письмо.

Сели.

- С вашего разрешения, я прочту.

Она оторвала тонкую полоску конверта, бросила ее на диван, вынула из конверта письмо и стала читать.

Если бы Федя Калмыков знал раньше Людмилу Петровну,ну, скажем, два года назад, когда, покинув Смирихинск и помещичью усадьбу в Снетине, умчалась в армию сестрой милосердия, - он признал бы теперь, сколь мало изменилась за это время вдова поручика Галагана.

Большие серые глаза в бахроме длинных темных ресниц смотрели все так же с холодным любопытством и неупрятанной надменностью, взгляд нетороплив и беззастенчив. Все та же, чуть смугловатая, кожа лица, все та же осанка, те же плавные, чуть замедленные движения, округлые жесты и походка.

Федя, сидя на диване, украдкой, исподлобья, поглядывал на свою новую знакомую, покуда она была занята чтением письма. Но вот в какой-то момент взгляды их на мгновенье встретились, и Федя, покраснев вдруг, отвел свой с напускной рассеянностью и небрежностью в сторону - туда, где вел прием посетителей бесстрастный краснокрестный чин с зелеными рачьими глазами. «Ох. засыпался!» — И ему кажется уже, что Людмила Петровна поняла, промла все его ощущения и мысли: и то, что он считает ее красивой; что заманчива ямочка на локте полной полуобнаженной руки; что поп тонким шелком белого платья просвечиваются на груди затейливым узором кружева и на плече — какие-то толубые тессмочки: и то он, хотя и украдкой, во нескромно рассматризает ее туалет, что мысли его, ей-ей, грешны и оттого сдерживает утяжеленное дыхание, а руки теребят, миут лежавшую на коленях студенческую фуражку; и то, что, комечно же, он безнадежно, встоитечно, в одно миновенье влюбился в эту женщину, и стоит ей искрение, беспамятно — так, как только способен он, Федя Кал-Мыков.

- Ну расскажите же, как поживает Георгий Павлович, прятала в замшевую сумочку письмо Людмила Петровна.
 - О, Георгий Павлович теперь на коне! оживился Федя.
 Впрочем, вы это мне все по дороге... Вы не откажетесь
- меня проводить?
 Я буду только рад.

Они направились к выходу. Проходя мимо краснокрестного чина. Людмила Петровна попрошалась с твм, не подходя к столу, но он поспению покинуа свое место и подбежал к ней с торопливостью и живостью, которой Федя меньше всего ждал от этого бесстрастного, неразговоричного чинуши.

Людмила Петровна, одну минуту... одну минуту,— остано-

вил он ее.

Федя, наблюдая, отошел в сторонку.

Он не слышал разговора, да и разговор-то был подлинно минутный, но по тому, как несожиданно разрумянились щеки Людмилы Петровны, как беспокойно держал себя ее собеседник, можно было понять, что оба они чем-то взволнованы.

 Хорошо... сделаю, прервала беседу Людмила Петровна и кивком показала Феде, что они могут продолжать свой путь.

Они прошли мимо чернобородого санитара, почтительно поклонившегося теперь Феде, швейцар в подъезде, которого он раныше не приметил, распахнул перед ним тяжелую дверь, и они очутились на набережной.

Свернули направо — к Троицкому мосту.

Теперь им никто не мешал: Федя мог удовлетворить просьбу своей спутницы и рассказать все, что известно ему было о Георгии Павловиче, а заодно и выяснить у нее свое собственное дело, о котором,— знает он,— писал в письме к ней Карабаев.

Однако их совместная прогулка не удалась. Прошло не больше минут двух-грех, а может быть, и меньше, — они миновали только соседний Эрмитаж, — как все тот же краснокрестный чиновник догнал их — бегом, запыхавшись, без фуражки.

 Сейчас звонили от них... Сию минуту только... Просили вернуться. Обе. Анна Александровна... Надежда Ивановна тоже. Говорят, что они сейчас заедут... Какая честь для нас, для всей Руси! — весело усмехнулась Федина спутница.

И уже обращаясь к нему:

 Вот видите, не пришлось нам потолковать! Жаль, жаль. Вы уж меня простите. Впрочем, позвоните мне: мы условимся. Письмо к министру я с большой охотой достану вам,— ваше дело будет устроено. Позвоните же мне! Я хочу вас видеть у себя.

Она протянула Феде руку, и ему показалось, что пожатие ее было крепче и продолжительней, чем в первый раз, а взглянув в глаза Людмилы Петровны, он увидел в них ласковую улыбку.

 И я хочу вас видеты — сказал Федя так горячо, что это походило уже на невольное признание. Но об этом он подумал только тогда, когда остался один на набережной.

День заканчивался в обществе карабаевской семьи и ее приягелей, а вечер принес приключение, отодвинувшее на некоторое время в памяти все увиденное и услышанное за эти дни в Петрограде.

Глава седьмая

ДУМЫ И НЕРВЫ ЛИБЕРАЛА

Все покоится на лжи. Чтобы увидеть это, не надо быть очень наблюдательным, Левушка... Лжет начальник отряда, когда доносит, что «с боем» взял такой-то населенный пункт. Местечко-то было очищено неприятелем еще два дня назад, а наши стреляли только для виду, чтобы написать об этом по начальству и не получить подвоха от стоящей позади артиллерии. Вот оно что!... Лжет генерал, когда сообщает о подвиге рядового Петрова, «свидетелем» которого он был, храбро, беззаветно бросившегося в немецкие окопы и там заколовшего с десяток немцев. Врет его превосходительство, нагло врет! Он не был очевидцем, не был на месте, но вот «тонкое» указание на то, что он сам был на передовых позициях, уже гарантирует ему боевую награду... Лжет захвативший «тысячу пленных», а сдавший в тыл всего лишь триста. Почему, спросишь? Да потому, что остальные не были и взяты, а показываются в сводке как убитые во время сражения... при неизбежной суматохе! Лжет тот, кто трижды в течение суток сообщает о «постепенном» взятии такой-то позиции, желая этим обратить внимание на «трудность» своего положения и на свою решимость и твердость, а ведь позиция-то была взята сразу: просто... противник слабо защищался!.. Лжет тот строевой начальник, который представляет к награде штабного «моментика» за «отличие» при передаче приказания или при выработке плана атаки. А почему? Надо ведь порадеть штабному, чтобы на всякий случай заручиться его помощью по определению своей собственной награды... Не врет только рядовой Петров: на военно-спекулятивном базаре он не торговец, а товар. Не углядим, и побежит с

фронта рядовой Петров, уставший от окопного сидения, от грязи, от штабной неразберихи...

Глотнув из стакана чай, гость в погонах штабс-капитана неожиланно пропед:

> А штабы, как мухами, Сплошь набиты слухами.

- Это, господа, офицерская фронтовая частушка, и она не в бровь, а в глаз!
- Но Ставка все-таки, Алексеев, например...— все тем же тоном глубоко задумавшегося человека сказал Лев Павлович.
- Я тебе еще раз повторяю, Левушка. Ставка? Я пробыл в ней восемь месящев. Прошла только неделя, как я перестал быть обер-офицером управления генерал-квартирмейстера, и, поверь мие, я многое видел, многое узнал. Да мне ли тебя учить?! Сам небось в восыно-морской комиссии сидишь, неужели там у вас ничего не известно? Сидишь ведь там, руководишь от имени Думы. Армия, Ставка верховного это фотография всей нашей страны.
- Фотография, говоришь?...— исподлобья посмотрел Лев Павлович, но не на собеседника, а мимо него, и на секунду взгляд, карабаевский остановился на молчаливо слушавшем, как и все остальные, Феде Калмыкове и словно сказал ему строго и назидательно: «Раз слушаешь тут сили и слушай, так и быть, но протим не болтать потом и ни во что мой дом и семью не замешивать».

Федя выдержал этот взгляд, как проверку, и Лев Павлович, воспользовавшись короткой паузой (гость, утоляя жажду, глубокими глотками допивал чай, выжимая ложечкой сок из лимона), сказал свое:

 Да, да, Петруша, худо, брат, в таком случае. Худо! Вот посмотри... (Он взял из ящика письменного стола какие-то листки и прочитал их.) Я сделал себе выписки. Например, из приказа по Первой армии. Ты только послушай! «В армию прибыли новые быстроходные аэропланы, по фигуре весьма похожие на немецкие, без всяких отличительных признаков. Принимая во внимание... (ты только послушай, Петруша!), что при таких условиях отличить наш аэроплан от немецкого невозможно, строжайше воспрещаю, под страхом немедленного расстрела, какую бы то ни было стрельбу по аэропланам». Это вместо того чтобы сделать простую вещь: дать нашим аэропланам свои собственные опознавательные знаки! Вель тупицы. - а?! Дальше. Вот тебе из приказа по Восьмой армии. «По-прежнему войсковые части, и в особенности парки и обозы, продолжают становиться, строго придерживаясь уставных форм, - квадратиками, без всякого применения к местности. Требую со смыслом располагаться на бивуаке, укрывая повозки, деревья, заборы или строения, а в случае невозможности маскируя отдельные повозки ветвями, охапками сена и тому подобное. Коновязи разбивать по опушкам или внутри рощи, людей располагать по дворам или палаткам. При совершении маршей пехота должна, завидя аэроплан, немедленно сворачивать на обо-

чины, останавливаться и даже ложиться. Надо придерживаться воинского устава, не как слепой - стены». Господи, приходится учить наше командование азбуке, военной азбуке! Воображаещь, сколько было жертв?.. А наш тыл? У нас тут в тылу ни знания, ни плана, ни системы. Куда уж дальше! За время войны переменилось четыре министра земледелия и шесть - внутренних дел. Чехарда, помилуй бог... Каждый не знает, что ему делать и что делал его предшественник. Приезжаем из-за границы — узнаем: объявляют они рекрутский набор, - да на какие сроки?! В самый разгар полевых работ! Подумать только! А убирать хлеб кто будет? А кто работать будет? Отвечают нам в комиссии: «Инородцы». И уже летит во все места телеграмма Штюрмера, и в Туркестане и в киргизских областях, заметь себе, серьезнейшие беспорядки. Вот тебе и результат! В особом совещании по обороне с трудом ведь, представь себе, добились отмены указа. Стыдно - перед союзниками стыдно!.. На каждом шагу твердим о войне до победного конца, торжественно клянемся в верности союзникам. А кругом бестолочь, командование - бездарное, двором вертит, как хочет, пьяный, распутный конокрад и жулик. Он подбирает министров, Власть вручена ничтожным, неспособным, даже подозрительным, людям, вроде этого проходимца Штюрмера.

А ведь страна воспрянула бы, если к управлению призвать людей, облеченных общественным доверием. Сермяжная Русь я верю в это! — поднялась бы на ратный подвиг, на побелу... Но клика штюрмеров и распутиных тянет Россию в пропасть, к ка-

тастрофе... - взволнованно закончил Лев Павлович.

Сидели все в кабинете Льва Павловича. Кроме карабаевской семьи, Феди и штабе-капитана Лютика, здесь была еще жена Лютика— инзеньвая седенощая женщина с розовым, свежим, словно только что умытым лицом и все время искрыщимися черными газавии; шустренький с короткими, быстрыми движеншями, непомерно длиннорукий Фома Асикритов; какая-то сухощавая, клювоносая дама в золотьх очках (как выясныл потом Феда, партийная сподвижница Льва Павловича и в некотором роде его секретарь!; и тот самый Иришни знакомый, которого представили Феде несколько дней назад, назвав «Сергеем Леонидовичем», а фамилии не сообщив.

Послеобеденный чай следовало откушать, как всегда это делалось, в столовой, где все под рукой: и горка с чашками, и самоварный столик, и вазочки с двумя сортами варенья, и кекс домашнего приготовления в буфете, и шарообразный старинный фарфоровый чайник, накрытый малявинской куклой-бабой, забравшей его под свою пеструю теплую юбку,—словом, все на своем месте. Но вот чаепитие на этот раз пришлось перенести в комнату Льва Павловича.

И сделано это по его настоянию: он так давно не видался с другом, с Петром Михайловичем, Петрушей Лютиком, тот так много любопытного и весьма интересующего Льва Павловича на чал рассказывать, уйдя с ним в кабинет, а там — так уютно и спокойно: открытые окна выходят на тихую Монетную улицу, а окна столовой — в шумный мальчишеским гамом и дворничьими окликами наполненный двор; да и «тембр беседы», как сказал Лев Павлович жене, может быть утерян, если уйдут они с Петрушей на другое место, и вообще в маленькой столовой все поневоле должны будут сидеть близко друг к другу, и каждый не сможет вести тор разговор, какого хочет, не стеснив себя и других, — что уж лучше перейти всем, кто желает, в его, карабаевский, просторный кабинет, тем более что никаких секретных разговоров они с Петрушей там и не ведут.

А кто пожелает иначе устроиться — тот и поступит по-иному. При этом Лев Павлович подмигнул и улыбнулся жене, и Софья Даниловна поняла, о ком идет речь.

Но, оказалось, что никто не пожелал устроиться иначе, чем предложил хозяин. Все расположились в его комнате, облюбовав каждый для себя местечко: на такте, в креслах, на ковровом пуфе, на широком подконнике, и не покидали карабаевской комнаты добрых два часа, и только Софья Даниловна да Ириша изредка выходили отсюда, призываемые различными домашними заботами.

Послушать штабс-капитана Лютика действительно было интересно. Отбывая службу в Ставке и налаживая работу в одном из отделов управления генерал-квартирмейстера Пустовойтенко, с которым был в личных хороших отношениях, он был в курсе многого, что происходило за последние месяцы там — в скрытом от взоров всех маленьком Могилеве.

К тому же основная профессия Петра Михайловича Лютика до войны (историк-обозреватель и осведомленный журналист прогрессивных изданий) и его природные качества,— он показался Феде умным, немало наблюдательным и решительным человском,— а также способности хорошего рассказчика, скорей даже опытного лектора, знающего, чем и как можно овладеть виимание слушателей, да и желание в данном случае последних уделить ему это внимание,— все это удвоило интерес присутствующих к Петру Михайловичу, а Федя, в частности, доволей был, как никто: подумать только, сколько новостей и разных историй увезет он с собой из столицы!

— Мой шеф устроил мне приглашение к высочайшему обеду.
 — Ах, это очень забавно! — воскликнула жена Лютика, и ее искрящиеся черные глаза многообещающе посмотрели на присут-

искрящиеся черные глаза многоосидном посказах мужа. ствующих — она все уже знала наперед в рассказах мужа.

Я надел защитный китель, снаряжение — без, револьвера, шашку, фуражку и коричиевую перчатку на левую руку, Ордены не нужно, если нет с мечами, — поясиял штабс-капитан Лютик. — В семь двадцать вечера — точно! — я был в доме царя. Сначаль проходите, значит, парных наружных часовых, потом вестиболь, где справы и слева стоят в струнку по два конвойца-казака. Уверяю вас — истуканы! Но вот один из них молчат отокает дверым автоматически как будто вытячувшейся рукой — и вы в передней. Тут скороход и лакей снимают ваше платьс. Скороход спращивает

фамилии приходящих, посматривая в список, лежащий на столике. Контроль, собственно, очень слаб: вместо меня с таким же успехом мог бы пойти другой человек, лишь бы он назвался моей фамилией.

 Вот как?! — неожиданно отозвался из угла Асикритов, и Федя вздрогнул: журналист выпалил то, о чем он сам только что полумал.

 Да, очень просто, господа... Ну-с, у начинающейся тут же лестницы наверх стоит на маленьком коврике (синий такой квадратный коврик...) солдат сводного пехотного полка. Без оружия.-замерз, да и только!.. Зал — во втором этаже: небольшой, оклеен белыми обоями. Портреты Марии Федоровны и Александры, рояль, небольшая бронзовая люстра, простенькие портьеры. Кого я только в тот день не увидел! Тут были великий князь Михаил, великие князья Сергей и Георгий Михайлович, — такой, понимаете. обезьянообразный рамоли, сухой. желто-черный, сгорбленный, с палкой

Петр Михайлович скрючился, вобрал голову в приподнятые плечи, скривил рот, выпятив нижнюю губу, руки — колесом, растопырил хищно пальцы, - и всем живо представился уродливый, как шимпанзе, великий князь Георгий.

И все одобрительно засмеялись.

 Были тут еще военные атташе союзников. Все они в форме русской армии, кроме японца. Ну, свитские, конечно: флигельадъютант Мордвинов, адмирал Нилов, Граббе, лейб-медик Боткин, Алексеева не было в тот день: отпросился у царя в Смоленск женить сына. Стоим группами, разговариваем. Князья — в особой кучке. Вот из столовой Воейков вышел, а за ним тесть — Фредерикс. Ну и развалина, скажу вам! Так и кажется, господа: вот сейчас его и хватит изнутри! Хватит — он и рассыплется на отдельные части, искусно собранные портным, сапожником и куафером. Ей-богу!.. Царь за ними. Видел я его в Ставке раз пятьдесят, но так близко — не приходилось. В форме гренадерского Эриванского полка, в суконной рубашке защитного цвета, с кожаным нешироким пояском. Длинные брови очень старят его. Вылинял. Породы в нем никакой! Да и не было никогда. Глаза каменные, усы такие... желто-табачные, крестьянские усы, и борода такая же. Нос набряк, как клубень, и улыбка тихого идиотика: как рябь на болоте, когда, бывает, сильный ветер подует... Я стоял шестым из впервые приглашенных. Дошла очередь до меня представиться: «Ваше императорское величество! Обер-офицер управления генерал-квартирмейстера, штабс-капитан Лютик!» — «С начала войны?» — «Никак нет, ваше императорское величество. С двадцать пятого сентября прошлого года».— «Угу...» — не знает, что сказать. И вдруг: «С пятнадцатого, значит?» — «Так точно, отвечаю, ваше императорское величество». - «Это исконно русский хороший год. Ах, мне так обещали...» Подал руку мне, рука такая теплая, и передвинулся бочком к следующему за мной. И на ходу уже, с мутной рассеянной, но злой улыбкой: «Pour être beau, il

faut souffrir!» Ни черта не понял я! Что это означало?! Что за бессмысленный набор слов? Потом уже Михаил Саввич (генерал Пустовойтенко это) разъяснил мне. Оказывается, в прошлом году, в дни наших самых страшных поражений, распутинско-бадмаевский кружок переправил царю через Вырубову и Александру «ободрительную» записку: ничего, мол, не падай духом. А почему не падать духом? А вот почему. Знаменитый «предсказатель судьбы», иностранец Шарль Перрен, живший в Петрограде и принимавший только очень немногих (но, конечно, закадычный друг Бадмаева и «старца» Григория!), предрекает победу России именно в этом году. Видали, а?.. Пятнадцатые годы фатальны, мол, в этом смысле. Вроде карты, которой банкомет всегда выигрывает. Не угодно ди Николаю вспомнить?.. Тут тебе и древняя, и средняя, и новейшая русская история... Тысяча пятнадцатый год — образование великого княжества Киевского. Что, событие? Событие! В тот же год следующего века нанесено поражение половцам и болгарам, в триста пятнадцатом — усиление Московского княжества при Данииле. Факт это? Факт... В четыреста пятнадцатом Василий Первый закрепил за собой Суздаль и Нижний Новгород, а Василий Третий в пятьсот пятнадцатом смирил и присоединил Псков. Победа это или нет? Ясно, победа!.. А дальше: в шестьсот пятнадцатом — удачные бои со шведами, в семьсот пятнадцатом Петр укрепляется на берегах Балтийского моря. И все в пятнадцатом, - каково? Вот свора жуликов как подобрала цифры-то!.. И. наконец, тысяча восемьсот пятнадцатый год — год великого торжества русского оружия: избавления Европы от Наполеона... Николай уверовал, а потом огорчился. Огорчился еще и потому, что рекомендованный ему бадмаевский друг, этот самый иностранец Шарль Перрен... арестован нашей военной контрразведкой и выслан в двадцать четыре часа из России по подозрению в германском шпионаже! Вот тебе и «предсказатель победы»! Омерзительно! — крикнул Лев Павлович и грузно завозил-

 Омерзительно! — крикнул Лев Павлович и грузно завозился в своем кресле, усаживаясь поудобней.

Он вытер носовым платком лицо свое — дважды, тщательно, как будто желая снять с него вместе с капельками пота и внезапно проступившие на лице желто-багровые горячие пятна от возмушения и беспокойства.

Но он сам не знал сейчас, чем, собственно, взволнован: рассказом ли приятеля или тем, что почему-то вспомнился вот в эту минуту смущенный носильщик на Финляндском вокзале, пропажа дневника, вертевшиеся в вагоне после станции Усикирко какие-то чужие люди, среди которых,— он убежден теперь,— были и подосланные петроградской охранкой. Все это нежданно и болезненно всилыло отчего-то в памяти, покуда Петруша Лютик, штабною офицер, рассказывал очередной печальный анекдот о жизни в Ставке, в армии, и Лев Павлович, разволновавшись уже, не скоро успокоился.

Для того чтобы быть красивым, необходимо страдаты! (фр.)

- Лестницу метут сверху! хрипло выкрикнул он и ес сердием» бросил на стол портсигар, который до того держал в руках.— Все, что ты рассказываешь, Петруша, — чудовищно, омерзительно! Что ж это? Если так будет продолжаться, страна кончит крахом, смертью.
- Ай, браво, браво, Лев Павлович! зашевелился на своем месте пучетлатый Асикритов. Правильно говорите: лестиниу метут сверху! Каждый швейцар и дворник это знает. Каждый! и найдуга такие сметут, начисто сметут. Увидите... скоро, ой скоро это будет. Облянется страна, встанет на свои медлежил лапы и пойдет крушить, ломать все и вся. Вот тогда... тогда мы узнаем ее, поймем. Все полегит, все будет разрушено. Тут уж не помогутникакие думские стратегические веняеля! Покажет Россия кулькину мать, заплящет с дубниой в руках. пойдет тут такое всенародное очищение... Чай, не тык?
 - А вы-то...чему радуетесь? раздраженно буркнул Лев Павлович.

— Я?

— Ну да — вы! Радоваться нечему, — озлился Лев Павлович, И опять не знал — почему, собственно: потому ли только, что Фома перебли его, вмешался непрошено в разговор, или потому, что в тоне, каким говорил журналист, звучало, по мнению Льва Павловича, неприкрытое злорадство. Вероятно, на сей раз — и по той и по другой причину.

— Чему тут радовяться.— а?— воззрился Карабаев исполлобыя на Асикритова.— Ну, все полетит, все будет разрушено. кому ж на пользу? Кайзерскому милитаризму — одному ему! Все самое дорогое и ценное будет признано взгором, тряпками, чепухой. Все — на поругание, так, что ли? На слом, в безлир неизвестности, в окровающеную пасть отчаяния? Так, что ли? Не дай господь революции под ликующий салот прусских пушек?

 Там посмотрим, под чей салют: прусских или русских? ухмыльнулся Иришин знакомый.

Ах, папа, ты же сам сказал...

— Что сказал?!

Про лестницу. Сверху метут... как же иначе?

— Иначе? Что — иначе?

Он, повернув голову к плену — до отказа, так, что ей некуда и невозможно уже было двигаться, не вывихнув шеи, удивленно и растерянно смотрел на дочь.

Да, он говорил. Гм... «Лестницу надо сверху, да, да». Он не отрекается, он не опибся, когда сказал. Нет, нет, пусть викто ве думает, что он, Карабаев, может отречьея от своих слов! Но почему же их нужно толковать так, как сделал это со элорадством Сонин родственник Фома? У него с журналистом никогда не было инчего общего в политических взглядах,— так что же это за союзник неожиданный?! Не нужны такие союзники. Это люди безответственных суждений и мгновенных коротких поступков.

В народе каждый божится, но всяк по-разному,— так и он с Асикритовым.

Подумав так, Лев Павлович понял, что зря опешил от Иринкиного вопроса. Но тут же другая мысль овладела им: «А что, если меня неверно поймут и стану я недостойным в их глазах?.. Сварлив я стал, а они это неуверенностью моею сочтут?.. Вот Ириша моя, например... молодежь вся. Да и все друзья мои!.. И как иначе действительно поступать, как не очищать все сверху? Отчего же я так рассердился? Ох, нервы, нервы все!»

И он вдруг, протянув руку к стакану с давно остывшим чаем и быстро хлебнув его - так, что замочил густые усы свои, вздохнул устало:

- Эх, дочка, все правы и все виноваты. На то и страна у нас такая!

Ему показалось, что он нашел слова, которые должны примирить всех в этой частной дружеской беседе у него в доме. В самом деле: не открывать же в этой семейно-интимной обстановке «принципиальных» политических споров?! Кому они нужны тут?

И вот он словно нашел «формулу перехода», -- подумал он шутя, - для всех «фракций», заседающих по-семейному у него в кабинете. Разве он тем самым не пошел навстречу Асикритову,ну, довольна теперь, Ириша?..

В рядах своей собственной кадетской партии Лев Павлович в последнее время больше склонен был прислушаться к голосам более «радикальных» ее членов, а недавняя поездка за границу и совсем уже утвердила в нем сознание лидера этого крыла партии.

Но и здесь, в этом крыле, которым, как и птичьим, нельзя быдо партии взмахнуть отдельно, порознь, самостоятельно (об этом, боже упаси, никто и не думал!), Лев Павлович, поддерживая своих товарищей, а часто и руководя ими, следовал все той же своей обычной тактике - никогда не отказываться от примирения.

Таков он был всегда, таким он, в частности, оказался и на последнем закрытом заседании своей партии.

Лев Павлович призывал тогда к искренности, - ах, никто не умел быть столь лиричным в своих выступлениях, как Карабаев!

«Будем откровенны! Пусть каждый из нас выложит все, что думает, все, что знает, все, что тревожит его. Поговорим по душам!» - призывал он, встав со своего места и обращаясь к многочисленным участникам заседания, собравшимся в громадной гостиной - двухсветной, с венецианскими окнами, с малахитовыми каминами и золочеными канделябрами, — в хоромах гостеприимного, известного в столице либерального князя.

«Будем откровенны, -- говорил он тогда, подымая высоко, как для клятвы, свою правую руку и после каждой фразы рассекая ребром ладони воздух. - В нашей среде есть много таких, кого пугает призрак революции, лик мятежной пугачевщины, разбойный черный свист анархии. Это страшно, господа, и я пугаюсь. Мне страшно за русскую государственность, за ее будущность, за судьбу отравленной ужасами неудачной войны русской души. Мне страшно потому, что наше молодое поколение сможет оглянуться на нас с вами... «с усмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом!». Да, это стращию, господа. Но вот эти-то страхи и должны нам теперь диктовать иную политическую тактику, чем та, на непорочности и незыблемости которой настаивал засеь глубоко уважаемый нами всеми и личный друг и партийный водитель Павел Николаевич! Если мы не хотим, чтобы предстоящий после войны суд народа над преступным правительством принял формы дезорганизации, хаоса, бессмысленного бунта, мы не можем устраниться от народного движения и не можем не стремиться играть в нем важную, руководящую роль. Не стороинться движения кооперативных деятелей и рабочих союзов, а протянуть им руку и повести за собой! Не придерживаться старой тактики, как слепой — стены! Мы должны быть зрячими, и тогда не будет

Ему аплодировали, и от шума тоненькими переливами звенела хрустальная бахрома княжеских люстр и канделябров,— это так

запомнилось Льву Павловичу!

За резолюцию о необходимости сближения с левыми демократическими партиями высказалось сорок шесть участников зассания, воспротивились ей дващдать семь и уклонились заявить свое мнение четырнадцать. По мнению Карабаева, то была большая победа сторонников его речи, хотя резолюцией признавалось необходимым устраивать лишь «на местах» совещания с представителями адемократических партий», и то «в зависимости от выяснения сил и внутренней ценности последних».

Его-поздравляли.

Но когда кто-то из провинциальных соратников, ободренный его речью, назвав ее «прекрасным новым кодексом партийного поведения», предложил выйти из августовского «прогрессивного блока», где, как выразился, «на ногах партии тяжелые гири октябристов и шульгинцев» («О, залета simplicitas!» і— шеппул ему насмещливо искушенный в латыни и политике сосел-моск-вич...), рука Льва Пакловича первой протестующе поднялась на виду у всех, чтобы опуститься немедленно вния косым и быстрым взмахом шашки, без раздумья, гневно рубящей чью-то глупую башку.

«Разве можно бросать спичку в бочку с порохом?!» — воскликнул он в кулуарах, но не все поняли: партия — «бочка», или

весь августовский «блок», или что-то другое!

А когда в ответ на неосмотрительный призыв съезда городов (в котором участвовал Карабаев) требовать «ответственного министерства» голосовали в громадной княжеской гостиной решение партии и порешили согласиться на «министерство, пользующееся доверием страны» («Синицу в руки, чем журавля в небе!» — рассудительно подсказал и напомнил своим друзьям либеральный князь давнюю народную поговорку), — Карабаев и вовсе не полнял своей руки. Он просто не желал огоручить кого бы то ни было из

О, святая наивность (простота)! (лат.)

сидевших здесь партийных единомышленников и приятелей, хотя не прочь был бы узнать, что страна получила наконец министров, ответственных в полной мере перед ее представителями, то есть в том числе и перед ним самим.

«Что же вы так, Лев Павлович?..» - спрашивали его сторонники разных течений, разных крыльев, укоризненно покачивая

головой от плеча к плечу.

И тогда, как и сейчас, отвечая своей дочке Ирише, он сказал влруг:

 Ах, господа, все правы и все виноваты. На то и страна у нас такая!

И тогда, как и сейчас, он обескуражил и покорил всех усталым и примиряющим вздохом, вылетевшим словно из настежь разверзнутой груди.

Никто не был столь лиричен, как знаменитый думский депутат буржуазии Карабаев. Ах, ни у кого не было таких вдумчивых и тоскливых серых глаз!

...Птина может лететь, расправив оба своих крыла и взмахнув ими одновременно.

...Ну, о чем тут спорить, люди добрые?!

Глава восьмая

«ЭТО ДЕТСКАЯ СКАЗКА, ПРИНОРОВЛЕННАЯ к уровню политических млаленцев»

Спустя несколько месяцев по возвращении Карабаева из-за границы к Льву Павловичу зашел Асикритов.

Как всегда подмигивая (пучеглазый чертик!), он положил на стол какую-то газету необычного формата и шрифта и, ухмыляясь, сказал:

Нокаут. Всему думскому словоблудию — нокаут.

 Не понимаю, Фома Матвеевич, — вопросительно посмотрел на него Карабаев, привыкший уже к неожиданным и «странным» суждениям и известиям своего родственничка.

— На обе лопатки. И вас вместе с вашим Павлом Николаевичем Милюковым, и правительство, и всех своих партийных противников, - всех на обе лопатки!.. Знаете, чья тут статья? - ткнул в газету пальцем журналист. - Ленина! Небось слыхал про та-KOTO?

Лев Павлович поморщился. А когда чрезмерно экзальтированный, по его мнению, Асикритов воскликнул: «Пусть напечатают у нас эту статью — тогда народ узнает настоящую правду! Гарантирую - революция!... - Лев Павлович с сердцем выкрикнул:

 Идите к черту с вашей революцией! Она нужна только черни. А этого самого Ленина и его сподвижников... его надо...

Он не досказал, что «надо» сделать с Лениным, но схваченная в этот момент со стола вывезенная из Англии американская зажигалка-браунинг была красноречивей слов.

Нет, нет, вы будете в конце концов министром его величества! Не сомневаюсь теперь, рассмеялся Фома Матвеевич и взял из его руки «браунин», чтобы зажечь папирост.

Статью большевика Ленина Лев Павлович Карабаев — не хотел он никому признаваться — прочитал несколько раз. А журналист перепечатал ее, бог весть для чего, с несколькими машинописными копиями.

«Война, — разъяснял вождь социал-демократов большевиков, — порождена империалистическими отношениями между великими державами, т. е. борьбой за раздел добачи, за то, кому скушать такие-то колонии и мелкие государства, причем на первом месте стоят в этой войне дов стоясновения. Первос — между Англией и Германией. Второе — между Германией и Россией. Эти три великие державы, эти три великих разбойника на большой дорга являются главными величинами в настоящей войне, остальные несамостоятельные союзники».

«Англия воюет за то,— писал далее Ленин,— чтобы ограбить колонии Германии и разорить своето главного конкурента, который бил ее беспощадно своей превосходной техникой, организацией, горговой энергией, бил и побил так, что без войны Англия мосла отстоять своего мирового господства. Германия воюет потому, что ее капиталисты считают себя— и вполне справедливо— имеющими «священное» буржуазное право на мировое первененов в грабеже колоний и зависимых стран, в частности, воюет за голичнение себе Балканских стран и Турции. Россия воюет за Галицию, владеть которой ей надо в особенности для удушения украинского народа ист и быть может уголях свободых, сравнительной конечно), за Армению и за Константинополь, затем тоже за подчинение Балканских стран».

Наряду с столкновением «интересов» России и Германии существовало также глубокое столкновение между Россией и Англией. Империалистической России мерещилась такая перспектива: вместе с Англией и Францией разбить немцев, чтобы отобрать у Австрии Галицию, а у Турции Армению и во что бы то ни стало — Константинополь. Затем с помощью Японии и только что разбитой Германии... припереть к степке Англию в Азии, чтобы завладеть всей Персией и довести до конца начатый ранее раздел Китая.

«Война есть продолжение политики,— утверждал в своей газет Енинн, и, по совести говоря, Лев Павлович не находил причин ему возражать.— И политика тоже «продолжается» во время войны! Германия имеет тайные договоры с Болгарией и Австрией о дележе добычи... Россия имеет тайные договоры с Англией, Францией и т. д.»...

«Социалист», который при таком положении дела говорит народам и правительствам речи о добреньком мире, вполне подобен попу, который видит перед собой в церкви на первых местах содержательницу публичного дома и станового пристава, нахолящихся в стачке друг с другом, и «проповедует» им и народу любовь к ближнему и соблюдение христианских заповедей.

Между Россией и Англией, несомненно, есть тайный договор, между прочим, о Константинополе. Известно, что Россия надеется получить его и что Англия не хочет дать его, а если даст, то либо постарается затем отнять, либо обставит «уступку» условиями, направленными против России. Текст тайного договора неизвестен («К сожалению, и для нас!» - вставлял от себя Лев Павлович), но что борьба между Англией и Россией идет именно вокруг этого вопроса, идет и сейчас («Верно...» - признавался Карабаев), это не только известно, но и не подлежит ни тени сомнения. В то же время известно, что между Россией и Японией, в дополнение к их прежним договорам (например, к договору 1910 года, предоставлявшему Японии «скушать» Корею, а России скушать Монголию), заключен уже во время теперешней войны новый тайный поговор, направленный не только против Китая, но до известной степени и против Англии. Это несомненно, хотя текст договора неизвестен, Япония при помощи Англии побила в 1904-1905 году Россию и теперь осторожно подготовляет возможность при помощи России побить Англию», («Право, новое, весьма интересное соображение!» - не мог не признать Лев Павлович.)

«Если бывший социалист г. Плеханов изображает дело так, будто реакционеры в России хотят вообще мира с Германией, а «прогрессивная буржувзия» — разрушения «прусского милитаризма» и дружбы с «демократической» Англией, то это детская казак, приноровленная к уровню политических младенцев. На деле и царизм, и все реакционеры в России, и вся «прогрессивна» буржувзия (октябристы и кадеты) хотят одного страбить Германию, Австрию и Турцию в Европе, — побить Англию в Азии (отнять всю Персию, всю Монголию, всь Тибет и т. д.). Спор идет между этими «милыми дружжами» только из-за того, когда и как повернуть от борьбы против Германии к борьбе против Англии. Только из-за того, когда и как!

...Отнять Константинополь и проливы! Добить и раздробить Австрию! Царизм вполне за это. Но хватит ли силы? и позволит ли Англия?

...Если «мы» погонимся за чересчур большой добычей в Европе, то «мы» рискуем обессилить «свои» военные ресурсы окончательно, не получить почти ничего в Европе и потерять возможность получить «свое» в Азии — так рассуждает царизм и рассуждает правильно с точки зрения империалистских интересов. Рассуждает правильнее, чем буржуазные и оппортунистические говоруны Милоковы. Плеханювы, Гучковы, Потрессовы.

...Англия «нам» сейчас ничего дать не может. Германия нам даст, возможно, и Курляндию, и часть Польши назад, и, наверное, восточную Галицию... также турецкую Армению. Беря это теперь, мы можем выйти из войны, усилившись, и тогда завтра мы при помощи Японии и Германии сможем получить, при умненькой политике и при дальнейшей помощи Милюковых, Плехановых,

Потресовых в деле «спасания» возлюбленного «отечества», хороший кусок Азии при войне против Англии... Поэтому вполне возможно, что мы завтра или послезавтра проснежся и получим манифест трех монархов: «внимая голосу возлюбленных народов, решили мы осчастливить их благами мира, установить перемирие и созвать общеевропейский конгресс мира...»

Кончится ли данная война таким образом в очень близком будущем или России «продержится» в стремлении победить Германию и побольше ограбить Австрию несколько лольше, сыпрают ли переговоры о сепаратном мире роль маневра ловкого шантажиста (царизм покажет Англии готовый проект договора с Германией и скажет: столько-то миллиардков рубликов и такие-то суступочки или гарантии, а вет оя подпишу завтра этот договор во всяком случае империалистская война не может кончиться никаким иным, кроме как империалистским, миром, если эта война не превратится в гражданскую войну пролетариата с буржуазией за социализм».

Этой последней возможности Лев Павлович Карабаев никак уж не предполагал. И уж во всяком случае не мог предполагать, что не пройдет и года и начнется та гражданская война, о которой говорил Ленин.

Глава девятая

АНАНЬЕВ ЛЯКСЕЙ И КАПИТАН МАМЫКИН

Из окна квартиры виден был сквер, сегмент небольшой круглой площади, прилегавшей к нему, коридор продольной улицы, по которой выкатывались на площадь, дребезжа и скрипя, трамвайные вагоны, разбетавшиеся затем в разные стороны.

По дорожкам сквера нарочито кавалерийской, утиной походкой, лениво раскачиваясь, бродили воспитанники кадетского корпуса — как можно больше кривили колесом ноги и похлопывали себя небрежно топенькими ореховыми стеками. В белах перчатках, в черных гимнастерках, туго подтянутых лакированными кушаками и собранных на спине в мелкую, гармошкой складку, в брюках со штрипками, в надвинутых — «по-твардейски» и переносицу фуражках, предварительно смоченных и придавленных угогом, чтобы не торчали поля,— молодые лоди, вероятно, казались самим себе если не настоящими, то безусловно уже будущими героями.

Когда вблизи не было военных и не перед кем было тянуться, они курили папиросы и запевали, но все же вполголоса, модную фронтовую песенку:

> На врагов, чертям назло, Налетим мы бурей, Это наше ремесло— Целоваться с пулей!

Но здесь, в скверике, никто не принимал всерьез этих воинственных обещаний. Особенно молодые женщины и девушки, да еще в вечерний час гулянья.

Продавщицы из магазинов, кельнерши из кафе, кассирши, скучающие дамы, в один и тот же час сидящие на однях и тех же камейках, и даже подростки-гимназистки в белых передниках поверх коричневых и зеленых платьев, и няни, с соседних улиц привозящие сюда в светлых колясочках препорученых им младенцев, вес хорошо знали истинные стремления кадетов.

Старики дочитывали здесь вечернюю «Биржевку». Мелкие маклеры, отсаживаться в конец скамейки, подсчитывали, становывирут похожими друг на друга, завтрашний барыш от перепродажи мечука с сахаром и ящика макарон. Утомившаяси прачка, перевизивая на голове ситпевый платок, отдыхала у железной ограды сквера, приткнув к ней и поддерживая плечом туго стянутый удел выстиранного белья, который надо доставить за три квартала отсюда. Филер охранки держал «на мушке» чью-то квартиру в одном из ближайщих домов и в напускном раздумен екудачника, философа или влюбленного, не глядя ни на кого, вычерчивал палкой на песке замысловатые геометрические фигуры.

Прыткий, непоседливый пинчер со вздрагивающей кожей на проступающих ребрах и такими же беспокойными острыми ушами и— на привязи у него — послушная и неумелая молодящаяся хозяйка с плохо закрашенными морщинами, соломенной широкополой шлялой с насаженными на ней плюшевыми лилиями и розами; она — с «ах ты, боже мой!» каждый раз — делала то, чего требовал от нее четвероногий.

Городовой здесь еще: по-жандармски выпущены из сапог широкой складкой вниз шаровары, пышные усы с косыми вьющимися подусниками, высокий картуз — на ребро поставленная суконная тарелка, две начищенные медали на бугре полубабьей груди, — он утаптывает дорожки сквера своим неторопливым, хозйским шагом.

Кто торгует лаской, удивительно подешевевшей, кто — гуталином и шнурками, в ларьке — засленым, пенистым «дедушкиным
квасом», завезенным в столицу польскими предприимчивыми беженцами, кто — планом города и значками татьянинского комитета, желтой очищенной махоркой и черными усманьскими семечками. Инвалид в лукошке, с ярко-красным околышем донской
фуражки и приколотым к фуфайке английской булавкой «Георгием», ползал вдоль скамей, нещадно матерно ругая за отказ помочь
ему подянием. Человека с обезьянкой сменил человек с попутаем,
а их обоих — в пестрых лохмотьях, крадучись приближавщаяся,
покачивая, как на пружинах, бедрами,— темногубая цыганка с
колодой старинных, причудливых карт.

Она подошла к скамье, на которой сидело несколько человек, коротким взглядом оценила настроение и возможность каждого из них, и этого уже было достаточно, чтобы выбрать раньше всего силевшего последним, на краю: Погадаю твоей милости, твоему сиятельству...

Офицер сидел, заложив ногу на ногу, держа на коленях фуражку. Платком он вытирал вспотевшие виски, лоб, всю голову, словно он только что, запыхващиесь, добежал сюда.

Он был худощав, тщательно выбрит (на продолговатой мочке сильно прижатого, как у испуганной лошади, уха лежал еще свежий след парикмахерской: пыльная осыпь пудры), с порядочной глянцевитой лысиной, взбежавшей мимо оставленных по бокам примятых реденьких волос к шишковатой, вытатувшейся пологим колпачком макушке, с узкой, низкой талией, в светлом казачьем бешмете.

Не требуется! — бросил он цыганке.

 Ай, барин, быстроглазая милость твоя, бровки тво:: опграничные... Доволен будешь. Дай погадаю!

Она опустилась перед ним на корточки, держа в положенных друг на друга ладонях карточную колоду.

 Ожидаещь, твоя милость, сбудется или нет. Тревога на твоем сердце заграничном — птаха летает в груди твоей, барин. А что ожидаешь — все скажу, и что сбудется и чего не делать скажу. Ну, положи царя на руку.

И она покружила пальцем в воздухе, над колодой, прося не то полтинник, не то рубль.

Кто-то на скамье сдержанно рассмеялся, кто-то сварливым

стариковским голосом пригрозил ей городовым за приставание к приличным господам. Она только глазом повела и словно невзначай плюнула в ту сторону.

— А еще скажу, жив будещь али что случится, твоя милость.

- A еще скажу, жив оудешь али что случится, твоя милость генерал.
 - Плохо в чинах разбираешься, усмехнулся он.

 Ай, будешь генералом — про то погадаю, верную правду скажу, сердце мое!

- Чего и гадать? Вот уже все и сказала! откликнулся сосед офицера по скамье, задумчиво вычерчивавший палкой, свесив голову вниз, геометрические фигуры на песке. Вмещался в разговор, а позу сохрания все ту же.
 - Цыц! Ай, умный какой, да безгрошовый! сверкнули цыганкины глаза. — Андрон звать? — презрительно сказала она.

Чего? — смутился тот.

Того! Примета у нас така: Андрон — «фараон»: глаза завилющи да проданы... Дай погадаю? — обратилась она вновь к офицеру.

Сказал тебе: не требуется. Проваливай!

 Ой, скажу, все скажу, — жалеть будешь... Положи на ручку, — приставала она. — Симии карту — не больше сёмой, не меньше третьей, — сидя на корточках, мелким лягушевым прыжом приблизилась она к нему. В зеркальных голенищах его саног она увидсла расплыещийся силуют своего лица.

 Уходи к черту! Конокрадка какая... Вот крикну сюда городового... Тьфу!.. Сам бисов сын!

И что-то горячее, скороговоркой на своем цыганском, никому не понятном языке.

Еще ругается, въедливая сука!.. А ну-ка!

Она хотела приподняться, но черный зеркальный сапог ткнул ее в колено, и, потеряв равновесие, взмахнув руками, как не успевшими распуститься крыльями, цыганка мягко шлепнулась на спину, оголив худые смуглые ноги.

Так и надо — по-военному! — одобрил сосед с палкой в

руках. — Ничего, встала быстро... как мышь.

 По-военному? Ай, будет: понастреляют вашего плешивого племени Вани — солдатики родиные! Слеза наша сиротская черной кровью вытечет из ваших зенок поганых. Прокляты вы, прокляты! Понастреляют вас, хомяков в поле, Вани родиные!

 Марш! Шею сверну! — сорвался со скамьи офицер и, погрозив удалявшейся быстро цыганке, сам покинул это место.

 Сурьезный мужчина! – вывел заключение сосед по скамье, пододвигаясь на освободившееся место, и палкой вывел на песке огромную восьмерку.

Казак — одно слово! — отозвался стариковский голос.

 Знаете, господа, у меня муж тоже был такой вспыльчивый, тоже военный. Но это у них, у военных, от контузии.

 Не видать что-то, мадам. По ихнему лицу судить можно было иначе вовсе!

...Казачий офицер свернул на боковую дорожку, прошел ее до конца и тут остановился, вспутнув, не желая того, двух кадетов, торопливо улепетнувших от него со своими — откровенной профессии — спутницами.

Напрасно ушли: пускай, к черту, занимаются чем угодно, сейчае потребность в движении, он должен шагать, словно тольо, так сможет стряхнуть с себя незримую тяжесть насевшего на него чувства. Вот имени, сак будто и в самом деле кто-то сдавил ик, и он уже подбрасывал ик, дергал, как будто и впрямь это было следом контузии. И нестернимо мыл позволого у шен, и, казалось, поскрипивали и все остальные,— объчное состояние Мамыкина, когда сильно огорчался или был, как сейчас, озлоблен.

Но отчего все-таки? Можно уколоться иглой там, где меньше всего ждешь этого укола, и от неожиданности боль сильней, чем она есть.— так и случилось сейчас с капитаном Мамыхиным.

Проклятая цыганка почти дословно повторила солдатские угрозы, — это был тот болезненный укол, которого он меньше всего сеголня жлал.

...Долго надо было бы рассказывать обо всем этом. Но вспомнить?.. Капитан Мамыкин вспомнил ту ночь, со всеми подробностями и собственными чувствованиями, мтновенно и точно.

...Узкая щель окопа понемногу подымалась в гору. Глубокая траншея пересекла их путь. Мамыкин и его спутники пошли в обход.

В темноте неожиданно сверкнул свет: вросший в бруствер, знакомый блиндаж оказался в двух шагах. Тут помещалось дежурное отделение. Небольшая, низко ушедшая в землю дверь открыта, в дверях — четверо стрелков: их, наверно, утомил сырой, спертый воздух блиндажа. Долетал громкий шепот разговоров, — Мамыкин и его спут-

ники укоротили щаг.

А супротив подложечки, братцы, главное дело — спирт!

- Ето ты верно: тепло, ровно с бабой ляжешь, и опять же живот начисто освободит. Чарку бы!

 Эх, братцы, с бабой!.. Мне охота к своей оч-чень... К Лизавете... Эх ты, жизнь... Така охота...

— ...что в костях ломота?

Чай, Мишка не подстрелен еще — все в порядке!

И пишет она, жена моя разлюбимая...

Офицеры двинулись вперед прежним шагом: солдатская беседа была обычна и не внушала никаких подозрений.

Командир! — узнал кто-то из стрелков.

Он хотел юркнуть в двери, но Мамыкин окриком остановил

Мамыкин помнит: блиндаж был основательный и крепкий, как и все, что строились на этом участке, наиболее сильно сопротивлявшемся немпам.

Над небольшой, глубоко вросшей в землю дверью — несколько пакетов толстых бревен, между ними проложены мешки с землей. камни и хворост, а над всем этим — площадка железобетонных плит, замаскированных дерном. Внутри низкий потолок поддерживался тремя рядами заплесневелых десятивершковых бревен. Между задними рядами стоек — нары для отдыхающей смены, впереди — длинный стол, скамейка с врытыми в землю ножками, на полу — деревянные решетки, так как другим способом нельзя было избавиться от мокрой грязи.

На нарах беспокойно спали в самых разнообразных позах люди отдыхающей смены; на них - измятые шинели, перетянутые кушаком с подсумками, через плечо перекинут патронташ, под

головами - вещевые мешки, тут же рядом - винтовка.

На столе тускло горела и, по обыкновению, коптила небольшая керосиновая лампа. Вокруг стола - группа солдат, наклонившаяся, - сразу заметил Мамыкин, - над какими-то серыми бумажными листками.

При появлении офицеров все вскочили, лица приняли «строевое», застывшее выражение, глиняные стали, как определял Мамыкин, и чья-то рука с судорожной поспешностью схватила со стола серые листки.

Унтер-офицер Коробченко отрапортовал:

 Ваше высокоблагородие, в дежурном отделении никаких происшествий не случилось со стороны неприятеля.

Надеюсь, и в самом отделении тоже? — перебил Мамыкин.

Так точно, все тихо и согласно устава — по службе, ваше высокоблагородие.

Никто, кроме господ офицеров, не видал лица унтер-офицера Коробченко, никто, кроме них, не заметил прищуренного, подмигивающего, глубоко вдавленного его желтоватого глазика, совсем закатившегося вбок, словно, если бы он мог дальше пойти, перекатиться на затылок, то прямо и безошибочно указал бы Мамыкину, кем из стоящих сзади следует госполам офицерам поинтересоваться сейчас!

 Смир-рно! Здорово, денщичья сила! — закричал капитан Мамыкин, и по этой команде, злой и насмешливой, лучше всего определявшей всегда настроение командира, все должны были уже понять, что дело не к добру.

...После трехминутного обыска прокламации очутились у него в руках.

Кто? — громко спросил он.

Молчание.

- Кто?- повторил он, но уже тихо, заглушенно, сквозь зубы. И опять никто не отвечал, все исподлобья смотрели на капитана Мамыкина и трех младших офицеров, его спутников.

Спросить унтера Коробченко? Но это значит - выдать его, потерять на дальнейшее преданного человека.

 Что ж. бунт? Ослушание? — сползли набок губы капитана. — Бунт на позициях... перед лицом врага, в военное время?! — Никак нет, — разжался чей-то рот, и капитан Мамыкин

повернул голову на этот сорвавшийся возглас.

- Приказываю сказать, кто принес эту немецкую дрянь! Соллат молчал.

Какая сволочь дала?! Иначе — к повещенью!

Не могу знать, ваше благородие.

И, как сейчас, в сквере, заныли тогда на спине все позвонки, и как будто что-то тяжелое прыгнуло на плечи Мамыкина, обхватив и запрокинув его голову. Необходимо движение, нужно что-то пелать, пелать, пелать...

— Твоя фамилия?

Ананьев Ляксей, ваше благородие.

Два шага вперед... арш! Подставь маску!

У маленького, низкорослого Ананьева картофельное бугристое лицо с растянутым, дягушечьим ртом и чуть покривившимся, съехавшим на сторону тупеньким носом, а глаз его не разобрать Мамыкину при таком хилом освещении. Да, впрочем, они упрятаны сейчас у всех этих «идолов», — возмущен капитан, — и смотрит на него, — чувствует, — звериным взглядом. Эх, тем проще все лело!..

Подставь маску!

И он вдруг ударяет по незащищенному лицу Ананьева звонко, коротко, всей затянутою в перчатку дадонью. Не сметы!

Гулкое многоголосое бормотание под низкими сводами.

Что-о-о?..— схватился за кобуру Мамыкин.

— я

Тот, кто крикнул это, выскочил из рядов вперед, закрыв собой покачивающегося Ананьева, и очутился перед Мамыкиным: скрипят зубы, быстрый тик под глазом, дрожит колючая бровь.

Я принес листовку... слышите вы!

 По форме разговаривать! Молчать! Изменник ты, шпион немецкий!

Никак нет. Никогда им не был! А бить солдата — это...
 Молчать! Смир-рно!.. Фамилия твоя?

— Молчаты Смир-рно:.. Фамилия твоя?
 — Николай Токарев. Могу дать объяснения.

— пиколан Токарев. могу дать объяснения.
 — Не требуется. Унтер-офицер Коробченко! Утром же доставить его под конвоем в штаб! Там поразговаривает...

Слушаюсь, ваше высокоблагородие.

...И помнит капитан Мамыкин: вышел со своими спутниками из блиндажа, а вдогонку им понеслось угрожающее, ненавидящее:

— Паразиты!

 Перестрелять паршивых хомяков в поле до единого! Племя все до пятого колена!

Хомяки! Гады помещичьи!

Вот хрест на мне, вгоню пулю... и срока не потребую!
 Вдарю под микитки — черной кровью своей зальется за слезу соллатескую!

Возвратиться? Начать стрелять? Навести порядок? Спутники оттащили его назад.

Придя в свой сруб, опущенный в землю, он выпил для успокоения полстакана спирту — и почти без закуски. Расправил клочок отобранной измятой прокламации. Машинописные строчки изрядно стерлись, но он с непонятным для самого себя упрямством старался сейчас разобраться в них мутными, слезившимися глазами.

На уцелевшем клочке было:

«Каждая нация,— сказал Жорес за несколько дней до своей смерти,— неслась с горящим факелом по улицам Европы. Уложив миллионы людей в могилу, повергнув в горесть миллионы людей, превра...»— дальше было оборвано.

А на оборотной стороне бумажки он прочитал:

«Вы, народ, трудящиеся массы! — вы делаетесь жертвами войны, а между тем эта война не ваша! В траншеях, на передовых позициях находитесь...» — и опять не было конца, но и так многое было уже понятно капитану Мамыкину.

 Сакранунем-базрам! — дико заорал он, и никто не уразумел, что означает это нелепое, бессмысленное слово, да и сам он не знал, откуда это появилось. Как-никак он выпил полстакана спирту!.

Утром внезапно бросили полк в атаку. Была «рубка», в какой давно не приходилось участвовать. «Смещались в кучу кони, люди...» — неотступно лезли в голову заученные с детства лермонтовские стихи. И он дрался, не оглядываясь назад, и славно дрался

весь его полк, недосчитавший к вечеру больше половины своего людского состава.

Когда узнал об этом, искренне, хмуро сожалел о потере, понесенной полком, но из всех солдат, оставленных на поле, вспомнил об олном — и без горечи и без раскаяния...

...Днем, во время боя, шагах в полутораста от себя он увидел веращието врага своего — плечистого, путавшегося в длинной шинели Токарева. Он бежал слева от него, не видя Мамыкина, с ружьем наперевес, изредка припадая на одно колено, — к немецкой проволоке.

Мамыкин видел, как вырос вдруг перед стрелком маленький немец с гранатой в руке, как он замахнулся ею, но почему-то не бросил гранатов, а отскочив в сторону, быстро поднял обе руки вверх, и пробежавший мимо него Токарев махнул свободной рукой, и маленький немец не упал, а лег на землю, закрыв свою голову.

И тогда... тогда Мамыкин выхватил у кого-то поблизости винтовку, нацелился на зарывшегося в землю, как тушканчик, немца, но внезапно изменил прицел, передвинув его вправо, и выстрелил... Бегуший впереди солдат в длинной шинели задертал плечом, словно поудобней примащивая в походе висящий за плечами вещевой мешок и, качнувшись, осел наземь.

Мамыкину почудилось тогда, что он слышит скрип его зубов. «Тъфу! Случится же такая пакость... И какой черт принес эту назойливую цыганку! Пристала бы к кому-нибудь другому, так нет... именно ко мие, собака!»

Он ходил по скверу, стараясь сдержать свои чересчур порывистье шати, ежеминутию поглядывая на узкий, в сравнении со смежными, четырехэтажный коричиевый дом с округлыми башенными выступами. Но нет.— ничего, к сожалению, нового, чего так желал и ждал, он не заметил ещь.

Опять попались навстречу кадеты; они тянулись перед ним, щеклая каблуками и распрямляя усиленно грудь, как пыжащиеся борцы.

Так повторялось несколько раз. Тогда вдруг капитан Мамыкин подозвал одного из них и сварливо сказал:

— Отставить! Мы уже знакомы. Или изберите другое место для своего променада! Понятно?

Если бы не дисциплина, кадет бы удивленно пожал плечами: до чего раздражительны стали господа старшие офицеры, — ах ты, боже мой!

Из окна квартиры виден был сквер, часть прилегавшей к нему небольшой круглой площади и коридор продольной улицы, по которой выкатывались на площадь, дребезжа, трамвайные вагоны, разбетавшиеся затем в разные стороны.

Был летний петербургский вечер — трехсветный час: отсвет отплывшего за горизонт, побагровевшего за день солица, бледноматовая скоба отвердевающей луны, робко глядевшей уже давно с другого конца неба на исчезающее пышное светило, и городской электрический свет: в магазинах, над подъездами и в квартирах нерасчетливых хозяек.

Людмила Петровна подошла к открытому окну, постояла у него минуту и, посмотрев на часы, быстрым шагом направилась в противоположный конец комнаты, к двери.

Она нашла рукой на стене, за полой раздвинутой тяжелой попорыеры, верхиний выключатель, повернула его — и под потолком вспыхнул веер красного света внутри фарфорового многоугольного колпака. И она удивилась, как скоро (прошло не больше минут трех) прожужжал на парадной двери двукратный звонок.

Из кухни торопилась прислуга.

- Однако...— улыбнулась Людмила Петровна и, отослав горничную, сама пошла открывать.
- Я с таким нетерпением ждал условленного сигнала... Вашу ручку разрешите?
- ручку разрешите?
 Закройте дверь и задерните портьеру, Мамыкин! сказала Людмила Петровна, возвращаясь вперед гостя в комнату.

Никого? — спросил он вполголоса, озираясь.

 Никого. Брат с семьей на даче. Но в вашем распоряжении не больше получаса, Мамыкин, потому что я собираюсь отдыхать перед визитом. Я вас слушаю.

И Людмила Петровна уселась на оттоманку, подобрав под себя ноги.

Глава десятая

ВТОРАЯ ВСТРЕЧА

Из дома Льва Павловича Федя вышел вместе с Асикритовым.

 На трамвай?— спросил журналист, когда они дошли до угла.

 И, не дожидаясь ответа, тронув Федю за рукав, предложил продолжать путь пешком, благо вечер был на редкость теплый и светлый;

— А в такой вечер, — говорил Асикритов, — петербуржцы испытывают потребность передвигаться медленно, неторопливо, отложив в сторону обичные свои заботы, чтобы отдать себя на часдругой прогулке по городу — по его великолепным проспектам, площадям, набережным, чтобы только созерцать его молчаливо и восхищенно.

В голосе Асикритова звучал неподдельный лиризм, и это приятно удивило Федю: до сего времени юркий пучетлазый Фома Матвеевич с неспокойным, дергавшимся ртом рисовадся ему замкнутым, колким человеком — насмешливым и ебез всякой романтики», как думал о нем. И вдруг — усталый, смягченный взгляд, тихий, успокоившийся шаг, дружеское прикосновение к руке, подкупающий искренностью мечтательный голос, — совсем иным, оказывается, может быть журиалист Фома Асикритов!

- Айда пешком! охотно согласился Федя. Вам куда, Фома Матвеевич?
 - На Ковенский. А вам?
- Я свободен в выборе: у меня тут четверо дядей и одна тетка — ночлег обеспечен. Во всяком случае, мост перейдем вместе. Они свернули на Каменноостровский.

Асикритов был прав: прохожие медленно, не спеша отмеривали вой путь в обе стороны проспекта. Им словно жаль было расстаться с этим классически стройным, неоглядным до конца петербургским красавцем, с этим светлым, неожиданно теплым поожному, подарочным вечером, с нежной своей собственной задумчивостью, с голубым пожарищем на крыше неотьемлемой от проспекта знаменитой мечети, с вознесенной высоко кверху золотой иглой — штыком легендарной крепости двях святителей.

- Ах. какой чудесный этот город! воскликнул Федя, любуясь раскрывшимся перед ним видом. И хотя восклицание показлось самому наивным и, собственно, никак не отмечающим подлинной красоты увиденного, он не смутился на этот раз: и Фома Матвеевии говорит, что Петербург «кудесен», и все прохожие, по всему видно, это чувствуют, да и как сказать иначе об этом «творении Петра»?
- Ну, что вы скажите относительно нового Иришиного знакомого?— спросил Асикритов.— Как вы находите этого бритого, молчаливого скептика с поседевшими рано височками... Как он вам.— а?
- Симпатичен! поспешил ответить Федя и посмотрел на своего спутника: тот одобрительно покачивал головой. — Он очень располагает к себе, очень приятен.

Ничего больше о нем не скажешь. У Карабаевых Сергей Леонидович был подчеркнуто малоразтоворчия, держался в сторые, с Федей обменялся двумя-тремя фразами — и все. Кто точно и чем занимается новый Иришин знакомый, что, собственно, их сдружило и каков характер этой дружбы, Феля так и не знал еще. Но Ириша говорила об этом человеке всегда похвально и с большим уважением.

Оказывается, они познакомились полгода назад в одном профессорском доме, где была вечеринка студентов и курсисток.

Вловый профессор государственного права и его длиннокосая, общепризнанная красавица дочь («Она настоящая Артемида!» восхищадась ею Ириша) часто устраивали у себя такие вечеринки. Дочь наизусть знала всего Александра Блока, речи Робеспьера и Марата, профессор неплохо сочинял политические басии и зинграммы, среди присутствующих находились даровитые пожлонники Скрябина и Рахманинова, приверженцы Макковского, сторонники охаянной всеми супрематической живописи, молодые люди с задатками бельегристов, девушки, поделившие свои симпатии между тероической Софьей Перовской и балериной Павловой, вожаки факультетских старостатов и просто милая, вдумчимая студениеская молодежь, попарно снимавшая двадиатирублевая студениеская молодежь, попарно снимавшая двадиатирубле

вые комнаты у хозяек на Васильевском, на Песках, на Выборгской, в Лесном.

По рассказам Ириши Федя живо, без усилий, представил себе и профессора, и его дочь, и друзей их — и старших и младших (в душе он позавидовал, а вслух Ирише посетовал, что живет ие здесь, в столище, а в неизмеримо отсталом Киеве) — и как-то не здисть, в столище, а в неизмеримо отсталом Киеве) — и как-то не здистърссовался настойчиво, кто же именно такой этог Сергей Леонидович, приятель профессора?.. Ну, хорошо: они встретились там, знакомство продолжается, этот самый Сергей Леонидович раза три бывал в доме Карабаевых — ну, а все-таки... какое место он занимает в числе Иришиных друзей и знакомых? Ведь Феда даже не потоворил еще по душам с Иришей, как бывало раньше, в Ольшанке, Годы, проведенные вдали друг от друга, не прошли бесслепно...

И словно только сейчас, бредя по Каменноостровскому, Федя впервые внимательно задался этим вопросом, на который невзначай натолькул его каверзно ухьмылявщийся Фома Матвесвич,

- А я думал, вы ревнивы, сказал журналист, но так мягко и весело, что Федя не обиделся.
- О нет! К кому же мне ревновать? Вернее, кого же мне ревновать, Фома Матвеевич?
- А я бы «отеллился» на вашем месте! уже явно поддразнивал Асикритов.
- Ей-богу, мне нечего «отеллиться»! повторил Федя словечко Асикритова.

Федя хотел уже откровенно растолковать «ляде Фоме», почему ему, Феде, не приходится ревновать, почему должен быть спокоен и уверен в себе, он хотел уже посвятить Фому Матвеевича в свои личные дела, но в этот момент на углу боковой улицы, которую они должны были перейти, остановился — принуждения к тому пробегавщим по проспекту трамваем — открытый серо-зеленый автомобиль, в котором сидели две дамы.

Здравствуйте, — сказал Асикритов и снял шляпу, неизвестно кого из них приветствуя.

Федя взглянул, и его студенческая фуражка стремительно сорвалась с головы, застыв в согнутой, приподнятой руке.

Здравствуйте! — сказал и он вслед за своим спутником.

В автомобиле, откинувшись на кожаную подушку, держа в руке нераспустившуюся темно-красную, как кровь из вены, розу, сидела Людмила Петровна Галаган.

Она кивнула обоим головой, а когда после короткой заминки машина двинулась вперед и совсем уже поравнялась с Асикритовым и Федей, Людмила Петровна, высунувшись из автомобиля, быстро вдруг протянула оторопевшему Феде цветок и скороговор-кой бросила ему.

Помните... я жду вашего звонка, Калмыков!

Серо-зеленый автомобиль с флажком Красного Креста выкатился на проспект и помчался к Троицкому мосту.

Асикритов подмигнул Феде:

 Ишь ты, покоритель сердец!.. А я думал, барыньки на Елагин покатят,— усмехнулся Фома Матвеевич, глядя на убегавций автомобиль.

Феля вопросительно посмотрел на него.

— Почему на Елагии?. А там сегодня грандиозное «корсо» сольщущее гудяные, мой друг. Призы за лучшую шляпу и костюм, за разукрашенные экипажи и авто. За наиболее откровенный цинизм и мародерский размах жизни!— уже выкрикивал журналист, обращая на себя внимание прохожих. — Так почему же таким барынькам не поучаствовать в «корсо»? Почему не попорхать, когда все равно духовная белность одосввет?! Пир во время чумы, мой друг. Слыхали рассказы Льва Павловича? Чай, и мы не можем бороться, как англичанае, с роскошью, расточительностью и легкомыслием?... Да сбавьте вы, милый, шаг — чего это вы припустили так: догнать автомобиль сотите — не иначе?

«Вот... завел пружнику, заворчал...— покосился на него Фед.я.— Какого черта он придирается к ней, в самом деле! — бережно держал он в памяти устремленные на него глаза Людмилы Петровны.— Так вот ты какая... горячая! — думал он о ней. — Вот встрее-си-а! Обязательно позвоню. Завтра же. Непременно. Вот так штука с этой розой Рассказать кому — не поверят. Ей-богу, не поверят! Ай да Федулка!» — не без самодовольства поощрял он себя.

Откуда вы ее знаете? — переменил тон Асикритов.
 Мы земляки, — уклонился от точного ответа Федя.

А вы... давно знакомы?

— Я? Всю семью не один год знаю, слава те господи. Старший брат, инженер-путесц. Михаил Петрович Величко — стариный, можно сказать, друг-приятель, чего, впрочем, не могу сказать про Леонида, младшего, — не люблю оболтуса!. А ту, вторую барыньку: с львиным лицом, казачку шестипудовую с всенародными грудями... Знаете?

Откуда же мне ее знать, Фома Матвеевич!

— Эта королева плоти протопоповская возлюбленная, приятельница царскосельской б... Вырубовой. Заведует хозяйством в ее Серафизовском лазарете, старшей сестрой там числится. Звать ее Надежда Ивановна Воскобойникова, вдова доиского подъесаула.

— Рад познакомиться! — засмеялся Федя. — Постойте, Надежда Ивановна, говорите?

— Ну да, А что такое?

Да просто так спросил... влюбился я в вашу казачку!—
 Да просто так спросил... влюбился я в вашу казачку!—
 шутил Федя, пришедший в хорошее настроение с момента неокиданной встрени с серо-засленым автомобилем. «Помите... я жду вашего звоика, Калмыков!»— повторял он в уме на разные лады эту фразу.

«Надежда Ивановна... так, так...» Он вспомнил теперь сегодняшнее посещение лазарета в Зимнем дворце и узколицего, с зеленьми рачьими глазами краснокрестного чиновника: ну да, он, конечно он, называл это имя в суетливо-почтительной, полной непонятных намеков беседе с вдовой поручика Галагана. Ага, вот что!..

- Как зовут Вырубову? удивил он внезапным вопросом. ж урналиста.
 - Вырубову? Анна Александровна, ответил тот.

Я так и подумал.

 Чем сия весьма недоступная для вас дама обязана вашей заинтересованности в ней, мой друг?

- О, ничем, Фома Матвеевич!.. Мое дело будет в шляпе, уверяю вас. С осени - я в Петербурге!.. В Петербургском университете.

И он вспомнил вновь краснокрестного чиновника, взволнованно, запыхавшись докладывавшего на набережной: «Обе... Надежда Ивановна и Анна Александровна просили... Обе». Ну, теперь он знал, что, пожелай только, - вдова поручика Галагана без всяких трудностей выполнит просьбу о нем Георгия Карабаева. А тут еще... настойчивое приглашение Людмилы Петровны и эта поза (что-то же да означает она?!), -- нет, не должно быть никаких сомнений: «Черт возьми, такие связи у нее!..»

Фома Матвеевич, — предложил он вдруг, — а не поужинать

ли нам вместе где-нибуль? А я и сам о том подумал, мой друг. Недалеко и ходить!—

- И Асикритов, когда прошли мост, повел Федю к Летнему саду: отбрасывая свет на торцы набережной, услужливо поджидал прохожего невский поплавок. Тишкинский, — рассказывал Фома Матвеевич, — знаме-
- нитых рестораторов Тишкиных поплавок... Пошли.

Ну, конечно!— ответил Феля.

Он очень любил ресторан и ресторанную музыку.

Глава одиннадиатая РАСПУТИН

Он был таким же, каким увидела его впервые Людмила Петровна в Серафимовском лазарете вечером, в комнате Воскобойниковой: в голубой шелковой рубашке, вышитая золотыми нитями застежка у ворота - «Н II», буква царя, - в плисовых широких штанах, в мягких, на низком каблуке сапогах с лакированными зеркальными голенищами,

Коренастый, с прямыми, четвертьаршинными плечами, темнокаштановая расчесанная борода с легкой кое-где искрой седины, небрежный, смятый пробор, разделяющий посередине легкие, тонкие и длинные волосы на вытянутой кверху голове, - Григорий Распутин, встав из-за стола, протягивая вперед руки ладонями вверх, словно готовился поднять или уже нес что-то на простертых руках, медленным, неслышным шагом пошел навстречу.

- Ну, пришла, милоя, гордая... Ну, уважила... Не сердись только, не серчай, дусенька, - заговорил он, обхватив за плечи и целуя в висок.

 Я не сержусь... не сержусь.— уходя из его объятий, сказала Людмила Петровна, бегло оглядывая комнату, куда ввел ее и спутницу встретивший у входа хозяин — незнакомый доселе инженер Межерицкий.

Воскобойникова прильнула губами к руке Распутина, он пе-

рекрестил ее и понеловал в лоб.

— Звонила ты утрием... не знал, чем порадовать, а вот Иван скажет тебе: сударь твой через день-другой выезжат домой... сюда выезжат из шведской столицы, - и он через плечо кивнул на стоявшего сзади человека с бритым и напудренным актерским лицом, пухлым и улыбающимся. — Поговори с ней, успокой, Иван Федорович.

 Имею достоверные сведения,— сказал, подходя к Воскобойниковой, Иван Федорович, -- дня через два-три можете ждать

сюда Александра Дмитриевича Протопопова.

 Лады, лады,— громким, густым контральто отозвалась Воскобойникова и пошла здороваться с сидевшими в комнате. Их было немного, и Людмила Петровна мельком оглядела всех: благообразный еврей-брюнет в темном костюме; какая-то кругленькая молодая женщина в розовом, с шелковой муфтой в руках - муфту все время держала на животе, пряча свою беременность: благочестиво улыбающийся генерал: раструб седой головы, напялил все ордена, обвесился медалями во всю грудь, как министерский курьер; узкий, гнущийся, необыкновенно длинный - в полтора человеческого роста - молодой человек в желтом клетчатом жакете: пожилая смуглокожая, с остро торчащим, как долото, подбородком горбоносая дама, еще другая лет тридцати, рыжая красавица в светло-сером легком платье, в белом берете с наколкой золотой молнией-иглой; широкогрудый морской офицер в накрахмаленном белом кителе и с черной повязкой на одном глазу и еще какой-то толстый, низенький мужчина в бутылочного цвета костюме, с всклокоченной, вьющейся пепельной бородкой и темными, но разными глазами.

 Садись, милоя, гостьей будещь,— сжимая локоть Людмилы Петровны, вел ее Распутин к столу. - Заждались тебя, лебедь мой. Сались, сались... Все мы гости тут у него... у этого енжинера, Гости мы, - а, енжинер?

- Уж такая честь моему скромному дому, Григорий Ефимович...- И голая, безусая губонинская губа подернулась косой тенью сдержанной улыбки. — И счастлив, Григорий Ефимович, доставить приятное вам и вашим друзьям. Прошу, господа, к столу, прошу,

Людмила Петровна очутилась между Распутиным и старым генералом, круглый стол позволял вилеть и всех остальных.--

а это так важно было для нее сеголня!

Все время помнила разговор с Мамыкиным: «Может случиться, что кому-нибудь из «наших» тоже удастся попасть туда. Но вы оба друг друга не будете знать: нельзя, нельзя без конспирации в таком деле!.. А дело...» — И капитан Мамыкин быстрым жестом (пальцем перерезал горло, пальцем другой руки рубя затылок) показывал, что за рискованное дело такое: или — или...

«Удалось попасть или нет? — не без любопытства всматривалась Людмила Петровна в лица присутствующих. — Вот авантюра!» — другое слово и не приходило на ум.

Ешьте да пейте, — принял Распутин из рук горбоносой пожилой поклонницы бокал кагору. — Смирись, княгиня, да всем налей, десеньке моей налей, лебедом моему гордому, — и он положил руку на колено Людмилы Петровны, погладил его, но тотчас же снял руку и перекрестился ею: — Господи, ты сам выбрал и нас выбрал из глубины горсомогой в четот темб вечный живота.

Кругленькая беременная женщина в розовом, краснея и только на него одного глядя в упор мигающими, кроткими, как

у теленка, глазами, молитвенно повторила:

...в чертог твой вечный живота. Еще, отец, еще...
 Она по-детски жалобно открыла, показывая фарфоровую, ку-

кольную дужку мелких зубов, пухленький чувственный рот.
— Я не слыхала такой молитвы,— сказала Людмила Петровна.
(«Вот позлю тебя, черт бородатый!»)— Это вы выдумали, Григорий Ефимович?

 Сотворю в силе своей, мне господом нашим данной, для каждого,— отозвался тихим сипловатым говорком.— Хошь, и для

тебя, блудной да гордой, сотворю?

Вокруг стола обежал короткий стесненный смещок. Бесстрастными остались длинный молодой человек в клетчатом жакете да благообразный черный еврей, сидевший напротив, и опять вспомнилось Людмиле Петровне мамыкинское предупреждение: «Может быть, кто из них?»

Хошь, сотворю?

Такова была манера: повторять дважды одно и то же последнее слово.

Близко-близко от себя Людмила Петровна увидала широкий проковырявленный оспою нос, синеватые, узхие, как графитная черта, губы Распутина, запрятанные под покровом мягких уссв, и маленькие выгоревшие глаза со вздрагивающим желтым узелком на одном из них — правом. Темная морщинистая кожа, слоннедавно обветренная и спаленная в пути под солнцем, складывалась теми длиниными и узкими бороздами-лучами, какие видло на всех крестьянских преждевременно состарившихся лицах.

Вишь, кака ты супротивна... супротивна, лебедь мой!

И громко уже, чтобы все слышали:

— Ёрзают круг тебя ерники-то, — видать мне. Гони ты их к... (Никто, кажется, не смутился.) Ерник и в корие кривулина знашь? Кака не сведуща ты, лебедь мой: от ерника балда, от балды шишка, от шишки ком, а черт ли в нем, — а?

 Черт здесь! рассмеялась Людмила Петровна и заметила испуганные, укоризненно смотревшие лица горбоносой княгини

и беременной розовой дамы.

За светлой оболочкой выгоревших, притаившихся глубоко

глаз, скошенных в ее сторону, Людмила Петровна увидела скользкую, бегающую, как ртуть, мутную искорку распутинского взгляда — такого хитрого и лукавого («мужик, одурачивающий бар», подумала), что стало вдруг искренне весело. Она подняла свой бокал и, толкнув плечом «старца», объявила:

- Пью за черта, господа, Знаете ведь: черт Ваньку не обманет — Ванька сам про него молитву знает! И еще какую!.. Разве не

так, Григорий Ефимович?

И она быстро, по-мужски, осушила бокал, уже не глядя ни на кого. А лица вытянулись почти у всех по шестую пуговицу!

— Дурачиться в таком обществе — сомнительный посту-

пок! - прокартавил кто-то за столом.

 Ишь ергочут!— сипло прикрикнул Распутин.— Будя, говорю, — слышь?.. Гм, про черта вспомянула... Ей в церковь ходить — вот совет дайте... вот што, в церковь, говорю я!

 Верно, верно, отец, — кротко поддакивала беременная дама, не спуская с него взгляда. — Наставьте нас, отец, на истинный

 Тебе вредно волноваться, Катрин, угрюмо, но заботливо сказал ее сосед в желтом клетчатом жакете, и только сейчас Люл-

мила Петровна поняла, что это - муж.

 Совесть всем без языка говорит про свой недостаток.— Распутин ткнул пальцем Людмилу Петровну в грудь. Всем надобно поглядеть на нее, тут никакой грех не утаим и в землю не закопаем. А всяк грех — что пушечный выстрел: все узнают... все! О. какой обман, кака беда! — скажут ей, и взглянут, и увидят.

Теперь он говорил тихо и медленно и, полузакрыв глаза, смотрел только на застывшую в одной позе беременную Катрин,

откинувшуюся на спинку стула.

— На море всем видна болезнь, а на берегу неведома никому, - нешто не так с каждым? Человек потерят образ сознания и ходит - туман руками разгонят. Царям говорю про то же... Слушают меня, и бог с ними... Боже, говорю, дай тишину душевную! Ты чиста, чиста ты теперь, Катька — матерь вскоре, но без церкви не проживешь, она до всего доспеват, церква-то... А ей (ткнул опять в грудь)... ей раньше приходить надобно ко мне она сама знает теперь... А Катьке просить бога, бога просить следоват, чтобы дал терпение, а потеря земного — подвиг велик, говорю я... В киевскую лавру поезжай, быват хорошо там. Когда опускают матерь божию и пение возносится «Под твою милость прибегаем»— знашь?— то замирает душа, и от юности вспомнишь свою суету сует... и пойдешь в пещеры, и видишь простоту: нет ни злата, ни серебра, одна тишина дышит, и почиват угодники божии в простоте без серебряных рак — только простые серебряные гробики...

Короткая пауза, все молчат, и только генерал с орденами во всю грудь, подумав, вероятно, что проповедь окончена, крякает: «Н-ла-а!..» — и обращается к соседу с всклокоченной выощейся бородкой:

- Выпьем, друже, под осетринку. Нам, православным да военным, все нипочем: был бы ерофеич с калачом!.. Вон того, друже, ерофеича... с травинкой!
- И помянешь свое излишество, которо гнетет и гнетет и ведет в скуку,- к смущению генерала, продолжал «старец».-- Горе мятущимся и несть конца! И всяка блудница скажет: бес в друге, а друг — суета. И всяка блудница, замолвив грех, скажет: господи, избави меня от друзей — и бес ничто!.. Царям про то говорю. Папа слушат меня, и мама слушат, и добро смуту покроет, и добро станет.
- Здоровье его императорского величества! воспользовался случаем неудачливый генерал и, встав, опрокинул в рот своего любимого «ерофеича» и закусил корнишоном, еще заранее приготовленным для этой цели.
- Приехал енерал наниматься... да шапку ломат!— усмехнулся Распутин Людмиле Петровне. Язык коричнев выкрасился, бо ж... лижет с превеликим усердием, а борода, вишь, не запачкана... серебряна борода!
- А почему, если «наниматься», то к вам? Вы не военный министр и не командующий.

Он рассмеялся мелким, разливающимся всхлипом и показал пальцем на вышитую золотыми нитями застежку своего ворота с буквой царя.

 Енерал уважат меня!— подмигнул он.— Понимашь?.. Ну, откушай, лебедь, ну, угощайся. Беседа у нас с тобой еще будет.охота мне с тобой.

И он сам принялся за еду. Нож и вилка оставались нетронутыми: он все брал руками, обеими сразу, и отирая их о скатерть. Скатертью же утирал губы.

«Пропало платье!..» – брезгливо и сокрушенно подумала Людмила Петровна, почувствовав вновь на своем боку и колене его скользящую и ощупывавшую руку, только что возившуюся с плававшей в масле сарлиной.

Он клал все на одну тарелку, рыбное, мясное, овощи, пирог.

И когда отодвинул ее от себя, горбоносая княгиня, привстав, через весь стол протянула к ней тонкие свои, матовые, со склеротичными венозными прожилками мягкие руки, схватила ими тарелку и, поставив ее перед собой, невозмутимо и сосредоточенно стала рыться в остатках распутинской еды, съедая кусочки балыка, подбирая крошки от пирога, прожевывая недоеденный огурчик.

 Всегда так...— улыбнулась одним глазом Воскобойникова. взглянув на Людмилу.

Но когда подали фрукты и сладкое, она обратилась к Распутину:

- Отец родной, из твоих рук бы яблочко!
 На, грудаста!
 И он надкусил ранет, оставив на румяной кожице мокрый след своих зубов, и протянул Воскобойниковой.
- Мне и мне!..— по-ребячьи стонала, просила беременная женшина

— Не жаль.— на!

Он надкусил второе яблоко, потом третье таким же образом и протянул яблоко рыжеволосой, в светлом берете, сидевшей рядом со снисходительно все время усмехавшимся Иваном Федоровичем. Она взяла яблоко, хотя и не просила его, и положила на тарелочку.

- Брезгаешь, сука!- заметил Распутин и бросил в нее

фруктовым ножиком, но не сердито, беззлобно.

 Григорий Ефимович, время идет...— перестало улыбаться, а на миг даже нахмурилось бритое, актерское лицо Ивана Федоровича: он о чем-то напоминал, очевидно.

Вокруг шеи Людмилы Петровны легла вздрагивающая рука

в голубом шелку.

- Она хороша, настояща... знаю, что хороша. Ты ходи ко мне, ходи. Я тебе все докажу — понимашь? Перво — любовы! Наставлю, как и што. Знаешь што... покайся — и радость опять твоя... — В чем же мне каяться?
- Ну... мало ли в чем! весело прищурились кругленькие глаза Ивана Федоровича. Знаете, быват так, копировал он «старца». — Быват так в жизни каждого: либо в стремя ногой, либо в пень головой, как мудро сказано.

«Кто он? Отчего вдруг ввязался в разговор? Что такое... о, кажется, на что-то намекает... неужели же... И неожиданная мысль, от которой вздрогнула, пришла Людмиле Петровне. - Нет. не может быть... откуда он может знать про Мамыкина?»

 Не встревай! — прикрикнул «старец» на Ивана Федоровича. — Бес в друге, а друг — суета, говорю я... Приходи, лебедь, и царство божие сладкими скорбями наследуещь.

Он обхватил ее, крепко сжал, заглядывая своими ртутными глазами в ее зрачки, и поцеловал в губы, но легко, бесстрастно, не пошевелив их, - и Людмила Петровна удивилась столь внезапной смене ощущений.

— Говори, — он склонил голову немного набок, как священ-

ник в час исповеди, -- стих церковный знашь?

Знаю, Православная.

 От юности моея мнози... знашь? От юности моея мнози борют мя страсти, но сам мя заступи и спаси, спасе мой. Понимащь?

— Ну. и что же?

Постой, постой... ах, как тороплива-то!

Он прижался к ней, щекой к щеке, и зашептал:

Я тебе все докажу... все. Спасу, дусенька.

 — А от чего, собственно, спасать меня? Тс-с-с... он могит услышать!

- Кто? уже невольно шепотом спросила Людмила Петровна.
 - Все докажу. Хошь... выдь со мной!

— Куда?

 Туда.— И он показал глазами на полуоткрытую дверь в соседнюю комнату.

- А он пойдет? спросила Людмила Петровна, никак не догадываясь, кто такой этот «он».
 - Не посмет!

«Чего он хочет от меня?..»

Впрочем, она могла предположить его желания (он был откровенен с первой же встречи), но «...неужели же он посмеет, когда тут сидят все! - подумала Людмила Петровна, не зная, что ему ответить. - А все-таки, о ком он говорил?»

Или. когда покличу.

— Не сейчас, значит?

 Не, когда покличу, — повторил он и, поцеловав в доб, отвернулся от нее и вступил в разговор с другими.

 Я давно не видела, чтобы кто-нибудь пришелся ему так по душе, как вы, Людмила, -- говорила ей Воскобойникова, отозвав к ливану.

 По душе... — усмехнулась Людмила Петровна. — У них в деревне это иначе называется... ха-ха-ха!.. «По душе»!.. Мнози борят мя страсти... слыхали, как он говорил? Слыхали?

А вы его не злите, Людмила!

- Еще не того дождется!

— Что ж... вы для того и поехали сюда?

 Нет, конечно... Просто любопытно!.. Надежда Ивановна, скажите мне, кто этот явный иудей с неумным лицом, с бриллиантовыми кольцами на руках? Он все время молчит и усердно ест.

 Не знаете? Но ведь это Симанович! Бессменный личный секретарь Григория, правая рука по всем делам. Между прочим большой ювелирный магазин на Владимирском.

 Вот оно что! А тот, что целует... смотрите!.. в ушко рыжеволосую, у которой вид греческой Лаисы?

Иван Федорович? Ну, неужели и его не знаете?!

Откуда же?!

Иван Федорович Манасевич-Мануйлов.

 О-о!..— воскликнула Людмила Петровна и вспомнила опять мамыкинские разговоры. - Аферист... сторукий и стоязыкий петербургский Рокамболь!

 Что вы, Людмила! — схватила, ее за руку Воскобойникова. Вы много, кажется, выпили... Он очень милый и полезный человек. И к тому же ближайшее доверенное лицо премьер-министра Штюрмера.

А кудлатый, с грязной бородкой... у которого глаза разные?

— Вот этого не знаю. И лейтенанта не знаю. А не все ли вам равно. Людмила? Каждый пришел сюда по своему собственному, личному делу. Каждый пришел за помощью к Григорию.

Но, кстати, почему сюда, а не на его квартиру?

- Случайная житейская причина: эти дни у Григория Ефимовича ремонт в квартире на Гороховой. Я ведь вам уже рассказывала, Людмила!.. Вы очень рассеянны, голубка, или... очень много выпили.

Пожалуй, она действительно выпила сегодня больше, чем

следовало. Это была неосторожность с ее стороны, от которой прелостерегал все тот же Мамыкин.

Она могла оказаться не в меру разговорчивой, болтливой и тем,— случайно, может быть,— навредить своим друзьям и себе самой.— Людмила Петровна озабоченно подумала об этом.

В тот час, когда Людмила Петровна находилась на Ковенском ружина, в квартире «инженера Межерицкого», а Федя Калмыков ужинал с журналистом на тишкинском поплавке, на водах Большой Невки неторопливо плыл, ничем не выделяясь среди других, светло-голубой интогрывий катер, держа путь от Аптекарской набережной к Гренадерскому мосту.

На катере находилось четверо мужчин (трое в военном, а один в цивильном платье). Они сидели вплотную друг к другу, занятые

оживленным разговором.

оживыениям разловиром. Вернес, говорил больше всего «штатский», пыхтя от одолевавшей одышки. Это был жирный, тяжелый, трехподбородый человек ниже среднего роста, с залнутой узкой эспаньолкой, с темными подстриженными усами во всю губу; прическа — ежиком, глаза темные, смеющиеся светлячки.

И вот,— продолжал свою речь толстяк.— Я, думая...

— Позвольте, кому поручено охранять Распутина?

 Погодите, Мамыкин!.. Вы помещали Алексею Николаевичу.

 Нет, отчего же, господа! — возразил рассказчик. — Вам следует это знать. Без этого дела не сделаете. Вы — офицеры, и вам нужно ясно представлять дислокацию, так сказать.
 Он стряхнул за борт пепел ароматной дымившейся сигары,

Он стряхнул за борт пепел ароматной дымившейся сигары, громко посапывая, сделал затяжку и продолжал:

— Наблюдение — дело охранного отделения собственно. Но они все проверяют друг друга. Начальних департамента полиции, например, не верил охранному, а дворцовая полиции не верила им обомы. Потом охранные автомобили, которые всегда Гришку оберегают. Затем знаете, «секретарн», целый штат охранииков! Секретари там у него по очерели дежурят. В последнее время к нему двадиать четыре агента было приставлено. Один из секретарей — жид Симанович, другой — Волынский был, затем бывший инспектор пародных училищ. Петушков по фамилии: пренеприятный субськт с разлоцветными эдакими, блудливыми глазами, с веклокоченной такой бородкой. На него дело было: приводил к себе на квартиру учениш. капли давал, а потом... и того! Эти секретари при нем постоянно. Я задался целью выяснить кто из них «политикой» занимается, а кто другими делабы выяснить кто из них «политикой» занимается, а кто другими делабы

Мародерством!

— Так точно. Я успел обыскать их всех. У кого двадцать — тридцать дел — самых грязных дел! — было для проведения. В особенности у этого инспектора народных училищ и у Симановича. Запечатанные конверты с письмами Распутина такого со-

держания: «Милой, дорогой, сделай...» А по какому делу — не сказано. Эти письма могли ходить без его ведома.

 Это очень на руку, я это знал! — сказал Мамыкин и подтолкнул локтем своего соседа-офицера.

— Да-а, письма без адреса,— секретари ими промышляли. Для самого грязного свойства! Например, история помилования ста дантистов, которая дала секретарю около ста тысяч, а Гришка жаловался, что получил только шубу енотовую да шапку. Верт, каналья! Когда я начал обыски, то получил вдруг приказание

прекратить их.
— Приказание?.. Вам? Министру внутренних дел?

— Да. мне.

— От кого же?

 Привез мне Губонин такой... восходящая звезда в охранном. Привез от Вырубовой письмо, что, мол, миператрица поведевает мне не делать инчего такого, что могло бы понапрасну растревожить «святого старца». А через день заехал ко мне сам Штюрмер с тем же и потребовал это письмо облатно.

- И вы отпали?

Отдал.

 У вас не сохранилась копия его, Алексей Николаевич? Ах, жаль, что отдали!

— Поверьте, это было не так просто! Когда я это письмо получил, то по привычке (если неприятное письмо, то я его всегда
ряу) — прочел, разорвал и бросил в корзину. А корта с меня стали
его требовать, я говорю, что у меня его нет. Но, к счастью, оно
в корзине нашлюсь, так что его пришлось подклеивать.. Они думали, что я смогу шантажировать, и требовали вернуть письмо.
Стращный труд — подкленявать, господа! Но иначе могли не поверить. Говорит мне Штюрмер« «Вы спрятали его. Покажите! Такой
важный документ, боже мой...» Пришлось отдать. Зато у меня
другой документик припрятан. Не здесь — в деревне у себя храню
на всякий случай. Я об этом вам рассказываю, господа, как дворянии дворянам, не правда ли? Вы должны иметь представление обо-

 Да, да, мы должны иметь представление обо всем,— в один голос отозвались трое военных.

- У меня естъ копия нотариальных бумаг: сделка, господа, с продажей земли в пограничной полосе немецкому заводу Штра-уха. Ай-ай-ай... кто же продал! А продал всего лишь год назад не кто иной, как сам Борис Владимирович Штюрмер премверстава правительства!. И при помощи своего напереника Манесвича-вича-Мануйлова! Имелись сведения, что царица знала это и благословила.
- Всех на виселицу, все подкуплены немцами! глухо сказал один из офицеров и крепко-крепко выругался при общем сочувствии.

Ох, немцы! — подхватил словоохотливый толстяк. — То ли еще, господа, творится?! Распутин...

 ...Он очень удобная педаль для немецкого шпионажа. Хотя я его не удавливал в этом деле, но логически мне казалось всегда, что он шпион... Не сознательный, возможно, но безусловно подхоляший «инструмент» для немецкой разведки. Через него очень легко узнавать, что делается в Царском... Вот вам факт... извольте. господа. Гришка ездил в Царское, а Рубинштейн Митька дал ему поручение: узнать, будет ли наступление или нет... Причем Рубинштейн объяснил близким, что это ему нужно для того: покупать ли в Минской губернии леса или нет... Потому что если будет наступление, значит, можно покупать, а если не будет — деньги в другую сторону можно повернуть. Понимаете?.. Гришка очень хорошо выполнил шпионское поручение и получил от приятеля неплохой куш. Он же сам рассказывал... «Приезжаю, говорит, в Царское, вхожу: папашка сидит грустный. Я его глажу по голове и говорю: «Чего так?» А он отвечает: «Все мерзавцы кругом! Сапог нет, ружей нет — наступать надо, а наступать нельзя»... И государь привел факт: рассказывали ему, будто бы часть войск полк — приводили представляться, а полк проходил в новых сапогах. Затем проходил другой полк — тоже в новых сапогах. Ока-зывается они за пригорком переобувались! Пара сапог на двоих солдат! Царь просил проверить это. Оказывается, все верно. Вырубова — та все знает и тоже говорит: «Ах, верно...» Ну, так вот, государь говорит: «Наступать нельзя», — «А когда будешь?» — спрашивает Гришка. «Ружья будут только через два месяца: раньше не могу. Ружья французы обещали, а пока не дадут — не могу».

- Кроме того, что вы нам рассказывали, Алексей Николаевич, вы не вспомните еще каких-либо фактов?

 Еще?.. П-пф-фу... мало ли что можно еще вспомнить, господа! Ведь в моем распоряжении... хм. в моем распоряжении были такие штучки... хм, было!

Он бросил на воду недокуренную сигару и торопливо, словно

кто-нибудь мог помешать ему сейчас, продолжал:

 Всей России известно, как я боролся, когда имел власть, с немецким засильем. И я нажил врагов... я, правый человек, русский роялист... эх, господа! Против меня все эти челядинцы: Распутин, Штрюмер и другие... А с чего это началось? Когда я был еще в Думе, то обратил внимание на историю воссоздания русского флота... Мое внимание обратила на себя ревизия сената Нейдгардта... После моей речи о синдикатах я имел случай получить от одного лица всеподданнейшую докладную записку Нейдгардта — сводку о данных его ревизии. В этой записке он указывал на существование синдиката судостроительных операций, который образовало «Общество русских судостроительных заводов» вместе с различными немецкими фирмами: например, Виккерс и другие... Смысл этого синдиката, господа, был тот, чтобы отдельные фирмы не могли брать дешевле тех цен, которые назначит это судостроительное общество, причем в синдикате было сказано совершенно откровенно: прибыль — ровно рубль на рубль! Каково?.. При таких условиях, рубль на рубль, можно построить не сто кораблей,

например, а только пятьдесят. Кому это на руку — вы понимаете. Тут дело пахло военным судом, если быть честным и не смотреть на эту компанию покровительственно. Финансировал их «Международный банк». Тот самый, который, говорят, обещает сейчас Протопопову деньги на газету... заметьте это, господа! Патенты на оборону, патенты на миноносцы — все банку было известно в лице определенных лиц. А такими лицами оказались немецкий банкир Ландсгаузен (главный пайщик!) и австрийский подданный Заруба — удравший шпион, который частенько бывал у Распутина... Э, не все, не все еще, господа! - воскликнул толстяк, заметив, какое сильное впечатление производит его рассказ. — П-ф-ф.,, а что еще было! Меня, например, интересовали электрические предприятия. Я был министром внутренних дел,- ну как же мне не интересоваться было всеми этими махинациями?! И вот мне агентура давала справки: когда заказывали фирме «Сименс и Гальске» и они в срок не исполняли, то неустойка с них не взыскивалась, а перекладывалась на дальнейшее. Когда же русские фирмы пробовали выполнять такие же заказы и запаздывали, с них взыскивали, строго взыскивали, а заказы отбирали. Я пробовал вмешаться. Тогда один человек из кружка Бадмаева и Распутина пришел ко мне и говорит: «Вы, Алексей Николаевич, не в свое дело вмешиваетесь. Вы вылетите вон, потому что пошли дурным путем». Я только рассмеялся, а недели через три показывают мне одну немецкую газету, а там пишут про меня, что скоро я ухожу в отставку, что при дворе мной недовольны и всякое такое. И, правда, вышло так, как вам уже известно! П-п-ф-ф... я так разволновался господа... Я до сих пор страдаю от этой несправедливости... Вы знаете... у меня ведь такое больное сердце... Вы сами. вероятно, догадываетесь...

Он замолчал, свесил голову, и тогда жирный, трехскладчатый подбородок его и свисающие, как опора, свиные щеки переползли через накражмаленный стоячий воротничок, целиком почти закрыв его, и лицо, на котором уже не было видно сейчае опущенных долу всегда посмеивающихся, поблескивающих глаз, смертвилось, потухло.

— Вы не волнуйтесь, — сказал молчавший все время офицер в пенсие с модными квардатными стеклышками, с крылатыми рыжими бровями и нафабренными торчащими усами в «унтерофицерскую» стрелочку. — Возмездие, Алексей Николаевич, скоро придет. Смять позор с парского дома, вот что настрать по достать по достат

Он переглянулся со своими друзьями, и капитан Мамыкин вслед за ним повторил:

О, возмездие придет... Собака получит собачью смерть. Не сегодня, так завгра, но это случится,— поверьте князю, Алексей Николаевич!..

Бывший министр поднял голову.

Что вы хотите сделать, господа?

 То, что не удалось вам, ваше превосходительство, вежливо, но чуть-чуть насмешливо ответил офицер в пенсне. — Это не так мало! — усмехнулся толстяк.— Я все понимаю... Помоги вам бог, господа. Русские люди скажут вам от души «спасибо».

Бывшего министра Хвостова высадили у причала Петровской набережной.

Он сошел на берег в сопровождении одного из офицеров, торопливо, необычайно легко сбегал по трапу, семеня коротышками ногами, — тяжелый, весь налитой жиром, бочкообразный, с апоплексически раздутой шеей.

— Ванка-встанька! — сказал о нем князь, хозяин катера, — А под Гришку все-таки лег. Тоже, знаете, скажу я вам, типус! Нанималась лиса на птичий двор... беречь от коршуна!. Ну, вас кула теперь, капитан?

— Наискосок! — указал рукой капитан Мамыкин на ярко освещенный вдали, тихо покачивающийся поплавок.

Катер, перерезав Неву, взял курс к Летнему саду.

Глава двенадцатая

НА ТИШКИНСКОМ ПОПЛАВКЕ

- Музыка играла почти беспрерывно. Мягко ступав, с подносами в руках, раскачивающейся походкой кантоходцев, налетая друг на друга, но не сталкиваясь и не задевая никого из гостей, шмыгали между столиками татары-официанты в белых передниках. Теплой, густой струей шел запах кухии. Хлопали ок выдернутые из бутылочных горльшек пробки, звенело стекло бокалов и рюмок, стучали ножи и вилки,— поплавок жил полной своей ночной жизнью.
 - Еще мороженого хотите, Федя?

- YOUV

- лочу.
 Кивок официанту, и через минуту две вазочки со взбитыми сливками и шоколадным мороженым — были на столе.
- Не будем торопиться, сказал Асикритов. Ночевать вы булете у меня.
- Вы думаете, дороги не найду домой? Чепуха! Я совсем не пьян.
 - Я и не говорю, что вы очень пьяны.
 - А, не очень?
- Не придирайтесь, мой друг! Пойдем ко мне, на Ковенский.
 Квартира пуста, мои хозяева все на даче, сможете расположиться как захочется. От меня позвоните своему дядюшке, чтобы не водновался.
- Уговорили...— И Федя с благодарностью посмотрел на Фому Матвеевича.
- Он чувствовал довольно сильное опьянение, но сознаться в том не желал: в конце концов не так уж много выпили они сегодня, чтобы иметь «право на слабость», иронически усмехался

журналист, и Федя, перемогая себя, старался не выдать своего состояния.

Как всегда, когда пьянел (а это иногда случалось во время студенческих пирушек), охватывала дрожь и некоторый озноб в коленках; так и тянуло схватить их и сжать ценкими руками; непременно холодными почему-то становились уши, и жесткая сухость ошущалась во рту; она поражала язык, он становился тжельм, шершавым, трудно было говорить, и все время хотелось пить, инть или глоатът что-либо холодное.

Мороженое сейчас совсем кстати, и Федя медленно, расчетливо — маленькими порциями — глотает его, запивая водой.

Ему кажется, что он постепенно трезвест, да это и в самом деле так. Что ж, можно еще посидеть, понаблюдать публику, не правда ли, Фома Матвеевич? Журналист хотно соглащается: это входит даже в его планы. Он подзывает официанта:

Один раз лампопо!

Фелю смешит это непоиятное, впервые услышанное слово, напоминающее почему-то цирковое восклищание эквилибриста или фокусника. А Фома Матвесвич, оказывается больщой поклоники этого напитка из холодного пива и меда с лимоном и ржаными сушками. Он пьет его и сам к себе обращается шугливо:

 Рцы ми, о, лампописте, коея ради вины к душепагубному умопомрачающему напою — алемански же речется лампопо —

пристал еси?.. Хорош дьякон... а? - смеется он.

Между прочим, и здесь Фом Мятвеевич не геряет зря времени: он давно уже вынул из портфеля и выложил на столик ворох сетодияших газет и записную книжку, бетло просматривает статы своих единомышленников, политических противников, делает какие-то заметки и одновременно поддерживает разговор со своим собесеедником.

Растрепанная левая бровь спускает вниз, на желтоватое вско, один длинный свой, непокорно торчащий волосок. Фома Матвеевич то вытягивает его еще больше, то закручивает его пальщами вверх.

 Вы мне завидовали, — говорит Фома Матвеевич, глотает из кружки свой желтый напиток и крякает, причмокивая. — Это верно: я знаю много и многое. Знаю больше вашего, мой друг. Но постойте, постойте... это ведь чепуха, которая и вам, молодому человеку, вполне доступна. По-одумаешь! Я знаю имена египетских фараонов, начиная с Хеопса, я знаю властелинов средней истории и не ошибусь годами «до» и «после» рождества Христова... во время их больших и малых грабежей! Я знаю легенды о жизни Гватамы Будды, имею представление о пророчествах францисканского монаха из Оксфорда — Рожера Бэкона, или, например, знаю хорошо историю наполеоновских войн. Ну, и что же?.. Все это верно... Я, как и вы, умею извлекать квадратные и кубические корни, помню еще интегральное исчисление и наизусть — державинскую оду «Бог» и «Мцыри» Лермонтова... Я знаю много и многое, Федор Мироныч. («Отчего это он вдруг по имени-отчеству?» - удивился Калмыков.) Но вот тех знаний, которые помогли бы мне в поисках ответа на один, главный, всегда стоявший передо мной вопрос: «Зачем все это и для кого?» — этих знаний мне никто не дал, -- вот что! Вы понимаете меня, Федор Мироныч?

Теперь Феде нетрудно, конечно, уразуметь, к чему клонит

Старик? На миг Федя и сам удивился тому, что так подумал об Асикритове. Какой же он, в самом деле, старик?.. Лет ему сорок или чуть-чуть больше, походка быстрая, сам он юркий, очень подвижной, Ириша рассказывала, что «дядя Фом» любит при случае поволочиться за женщинами, - так можно ли его причислить к старикам?! А вот слушаешь сейчас Фому Матвеевича, глядишь на него — иного не скажешь.

- ...Нет у меня, друг мой, знаний, нет уверенности, чтобы ответить на вопрос: «Камо грядеши, почтенный Фома Матвеевич?» Чай, не так? Я не один такой на Руси. Ждешь чего-то, все время ждешь, а чего - и сам точно не знаешь и не понимаешь. Жилибыли, да с дороги своротили — так про нашего брата сказать можно. Вы первый, может быть, и скажете.

— А почему я? — спросил Федя.

- Молодость, путь только начался, хватка у вашего брата должна быть иная - вот что!

 Xм... «у нашего брата», — встрепенулся теперь Федя. — А знаете ли вы большинство нашего брата? «Молодость... Путь только начался» — эти простые и знакомые слова, испокон века передаваемые как истинное одобрение детям их отцами... напутственные слова эти не всегда предрекают успех, - знает ли о том Фома Матвеевич? Ведь часто отец оказывается моложе сына.-разве не бывает так, Фома Матвеевич?

Возражения свои Федя делал сначала нехотя как будто, спокойно и вяло, ожидая, что вот Фома Матвеевич перебьет его, закусит удила, подстегнутый этим возражениями, но этого не случилось, журналист — словно того только и ждал — быстро принял

вил вежливого и внимательного слушателя.

- Посмотрите, пожалуйста, на афиши ваших самых модных петроградских театров! А они переполнены до отказу. В летнем «Буффе» на Фонтанке — похабнейшая оперетка «Их невинность». В Троицком — «Наша содержанка»: фарс из «современной жизни евреев-финансистов» — можно догадаться, какова ценность этих произведений «искусства», — а? В театре «Лин» подвизается шарлатанка, «ясновидящая Люция», предсказательница будущего... Вот духовная пища, которую преподносят и старым и молодым. А что страшно? Ведь многие молодые жрут ее и ни о чем другом и не мечтают, -- вот ведь в чем дело!

Всякие «вечерки», захлебываясь, расписывают, что творят «звери немцы», и температура вашего «патриотизма» дает скачок вверх: а молодой «возмущенный» земгусар, сидя в тылу, гневно пристукивает сапогом, любуясь своей шпорой. Он думает заплатить свой долг родине фальшивой монетой звонких фраз, -- молодой подлец с недавно полученным аттестатом зрелости, трусливое, благодуществующее существо.

А разве история русских культурных людей не есть настояшая роковая борьба за русское счастье, постоянная жертва, вковая боль за народное страдание? Загагрянные в бесконечной росской равнине, среди жизни грубой и грязной, вступили русские интеллигенты в борьбу за великую, счастливую Россию. Бессонные ночи в думах и спорах о родине, безрадостные жизни в служении ей даже на каторге,— разве можно, Фома Матвеевине, без глубокого воднения и гордости вспомнить эти славные страницы русского пропьлого?. Какие недосягаемые образцы нравственного совершенства дали нам наши идейные преджи Что, разве не так?

Помнит ли Фома Матвеевич трогательную историю пушкинского «бедного рышаря», всю жизнь отдавшего божественной идее? Этот рыцарь невольно вспомивается, когда читаешь историю русской интеллигенции: «Все безмолвный, все печальный, как безумец умер он...»

Да, было безумие в самопожертвовании декабристов, в аскетизме ходоков в народ, в подвижничестве земских врачей и учителей, но это было святое безумие, это безумие было благороднейшей и высшей ценностью русской культуры, которую оставили нам в наследство наши отцы и делы. А мы, молодые земгусары и им подобные, а их немало, Фома Матвесвич, безжалостно, с тупым и грубым вандализмом растрачиваем это наследство до послещей илейной копесчки, подменив тратический образ «бедного рыщаря» образиной жирного лавочника, с молодости мечтающего о теплом и доходном месте.

Эх, эх, Фома Матвеевич!.. «Песнь торжествующей любви» сменили на песнь торжествующей свиньи,— посмотрите на койкого из сидящих эдесь, на вашем прославленном тишкинском поплавке, и вы убедитесь в том.

А России иужны граждане, нужны подвижники, потому что слишком будет тяжела и велика после окончания войны работа для обыкновенного «профессионала»... Наполовину вспаханное историей поле останется невозделанным, неосуществленной — мечта о великой и совобальной России.

О, мы не Гамлеты, Фома Матвеевич! Тени замученных отцов не тревожат нас так, как тревожили они благородного датского принца...

Но у той части молодого поколения, к которой причисляет себя Феля, не иссяж еще благородный ингализм. Да, д Фома Матвеевич... Если эта война не принесет совобождения стране, если понадобятся жертвы и впредь, если придется для служения прароду запереться в глуши, уйти от личного благополучия, то нужно принести и эту жертву. Надо доказать, дорогой Фома Матесвич, что молодежь не забыла заветов революционной и демократической интеллигенции, не стала Иваном, не помнящим родства,— вог оно что!

Маленькие наследники великого наследства — пусть не о нас будут сказаны эти обидные слова!

Еще раз лампопо! — крикнул Асикритов официанту.

Еще? Кому же это? — спросил Федя.

 Мне и вам. Освежиться!.. Вам необходимо освежиться, ейбогу! — насмешливо сощурился маленький черный зрачок и отбежал вбок, смерив неторопливым взглядом сидевших за соседним столиком.

Вероятно, не в пример Феде, увлеченному своей речяю, журналист уже и раньше обратил внимание на этих соседей. Ничего особо примечательного в них не было, разговаривали они тихо, и мало и больше, как показалось Асикритову, прислушивались к его беседе со студентом.

Их было двое: сухопарый, сероглазый с седыми бровями, наголо выбритый мужчина в сером клетчатом костюме, в таком же сером летнем талстуке, с гладким кольцом на мизище с длинным розовым ногтем, и средних лет женщина с чуть-чуть раскосыми устальми глазами, в соломенной, с нависающими полями, шляпе и синем строгом костюме — «тайер».

На столикс, покрытом белой, оттопыревавшейся на сгибах и углах, накрахмаленной скатертью, на мельхиоровых блюдах и в судках, — салаты, соусы, вкусно пахнущий гаринр, от которого шел пар, отбивные свиные и бутылка вина. Седобровый и его спутница ели не спеша.— и, пожалуй, ошибся Фома Матвеевич, заподозрив их в чем-тох.

Правда, откушав, асикритовский сосед глубоко откинулся на выгнутую спинку стула и теперь сидел очень близко, плечо у плеча, к Фоме Матаесвичу, так, что легко, без напряжения, мог слушать их разговор со студентом. Но,— кто знает,— может быть он и не преследовал этой цели: наблюдать и подслушивать, а просто так удобней было ему сидеть сейчае и смотреть поверх Фединой головы на вход скода, на веревацу? Действительно, сосся Фомы Матвесвича частенько поглядывал на серую полотивную портьеру, виссевшую у входа на веранцу, словно оп поджадал кого-то.

Прихлебывая короткими глотками из бокала, седобровый время от времени обращался к своей даме с односложными фра-

зами, на которые та отвечала так же кратко.

 Просрочка на целый час, Вера Михайловна, сказал он, посмотрев на часы.

 «Швед»— человек аккуратный, что могло случиться?— Она посмотрела на своего собеседника растерянно, и в ее слегка певучем голосе послышалась досада.— Может быть, подождем еще?

Но только недолго.

Он попросил официанта приготовить счет.

 Вы хоть немножко, да выпейте, Вера Михайловна! — тише обычного, скороговоркой бросил он ей через столик, и его седые и плотные, как белый гарус, брови укоризненно сдвинулись к переносице. Нет привычки! — улыбнулась она, протягивая руку к бо-

калу с золотистым напитком.

— ...Пейте. Ну, допивайте же остаточек, мой бедный рыцары — разглагольствовал между тем по соседству маленький, длиннорукий человек.— Вот так, хорошо! Ваше эдоровье, господин российский Дон-Кихот!. Чепуха, Федор Мироныч! Чепуха! вкруг выкрикнул он, и, сели бы не общий шум, звякание посуда и надрывающийся квартет музыкантов, выкрик журналиста Асикритова устышали бы во всех уголках вревария сустышали бы во всех уголках вревария.

Но асикритовское восклицание услышали только Федя да сидевший близко сухощавый человек в сером клетчатом костюме, допивавший в раздумые вино: вот теперь, правда, он стал прислушиваться к тому, что говорилось за соседнии столиком.

А в чем чепуха?— озадаченно спросил Федя.

Хотелось поскорей уйти отсюда: ему было не по себе, мучила быражка, неприятно сосало под ложечкой, «Что за дурак вифлеемский: после сладкого — пить эту дряны»— упрекнул он себе и злился на Фому Матвесвича, которого считал теперь виновником своего недомогания.

набочащим в чем чепуха? — переспросил тот. — А в том, что вы тут накругиии, простите меня, дорогой мой! Ну-ну... только не сердитсь, не обижайтесь на меня. Мы ведь с вами друзья — правда? Фома Матвесвич налег всей грудью на столик, положив глубоко на него согнутые в локтях руки со сцепленными палышми.

и уставился на Фелю.

 Так, говорите, маленькие наследники великого наследства, а? Хи-хи-хи, - скрипуче захныкал, не сумев засмеяться, Асикритов. - Искусство не нравится, а?.. Песнь торжествующей свиньи?.. Происходит, дорогой друг, происходит... Знаменитый солист его величества Эн Эн (он так и произнес) Фигнер заведует складом имени Алисы, торгует солью из своего имения, купил угольное дело и взял подряд на два миллиона рублей для московской фабрики, которую завел с братом. Околоточные кварташки дома покупают. И где же? В нищенских Миргородах, Нахичеванях, Дмитровках. Феденька, простите, что я так фамильярно с вами, А заметили? Мальчики уже не бегут на фронт добровольцами,— цы-цы-цы, вот оно что! Вся порция романтики съедена у современных Петек Ростовых. В деревнях солдатки по мужу воют, В феврале, дорогой мой, под снегом, в заносы, шестьдесят тысяч вагонов с топливом, фуражом и продовольствием зарылись, - цыцы-цы, вот оно что! А пушечки-мамочки такие французские привезли да в Царском поставили, а до фронта и не доехали... Водку запретили, так Россия самодельной ханжой вся повально упивается... ходит пьяный добрый молодец разгульно с шапкой набекрень. И похож сам на бутылку, знаете, с покосившейся, едва заткнутой в горлышко пробкой. Не так?.. Кафе, биржи... ох-ох! На болоте кроншнепы или кулени — спекулянты крупненькие... И поменьше... галантерея, мыло, керосин, дамские туфельки — пичужки-гаршнепы на болоте... А раненых все больше в пальцы рук, — заметьте!

Сами себя солдатики или по дружбе Иван — Петра и Петр — Ивано-Посмотрите на музыкантов, Федя. Они все слепые, — вы заметили? Не-ег? Как же, как же... Немецкие газы на фронте им выжили глата, а находчивый Тлшкин купил их, безглазых!...

Свесив голову к столу, он не говорил, а словно что-то изрекал, не заботясь о том, все ли понятно его слушателю.

Казалось, он думал вслух сам для себя, и потому мысли его не нуждались ни в логической связи, ни в особом пояснении. Как будто произвольно вспоминал он и выкладывал наизусть где-то записанное им раньше без всякой последовательности.

...Лестинцу метут сверху, а?.. Слыхали, как наш почтенный старший ерьщарь бедный»... как Лев Павлович-то вдруг разразился? Вепьяли, назъявается!. Ох. Лев Павлович, несть вам числа во старости и во младости! Мести, сметать даже собирается, а все же...

«Дарданеллы, Sancta Rosa!» Восклицал он, дик и рьян, И, как гром, его угроза Поражала мусульман.

Так ведь, а?.. Почти по Пушкину!

Полон чистою любовью, Верен сладостной мечте— Лишь К. Д. своею кровью Начертал он на щите!

Что? И вы туда же, не дай бог? Ну, ну, не сердитесь: я не хотел вас обидеть, с неподдельной, подкупающей искренностью сказал Фома Матвеевич. - На слом все, милый человек, на слом! Когда-то должно же взойти сотни раз воспетое поэтами солнце всечеловеческого счастья?! Ведь должно, а? Но геперь — через кровь... в крови оно родится, и оттого страшно, «страшно поневоле» людям с тихими душами. А знаете, Федя, я и сам не бог весть с какими крепкими, железными нервами, но... вот говорю вам: без большой реки крови не обойдется. Помните, поэт сказал?.. дайте припомнить... вот, вот: «Неужели,— сказал поэт,— надо восстать против прекрасного солнечного света только потому, что летучие мыши его не выносят?» Мудро сказано, а? «Пусть лучше тысячи из них ослепнут, чем ради них дать померкнуть солнцу». Оно еще не взошло, но... взойдет же, черт побери! Обязательно взойдет, и вы увидите, как шарахнутся в сторону в смертельном страхе все эти летучие мыши! Полумайте об этом, Феля, подумайте... Эй, официант, счет сюда... быстро!

Слепые тишкинские музыканты играли «ойру».

Одноглазый полузрячий пианист с вытянутой лошадиной челюстью и уродгивым, крючком придавленным книзу, багровым носом высоко подбрасывал костлявые руки, иссиня-черные от густо проросших на них волос, быстро-быстро шевелил летающими палыдами в воздухе, прежде чем бросить их вновь на пожелтевшие клавиши. Он ежесекувдию оборачивался, лихо тряс своими длинными смолянистыми кудрями, подмигивал унделевшим шуктреньким глазом, выкрикивал «обра-обра», и словно подгоняемые им, люди за столиками подхватывали несложный икотный припев, не менее лихо поводя при этом подеми, пританцовывая и подмигивая друг

другу.

Какой-то грузный широколицый мужчина в вельветовой толстовке, похожий с виду на откорыленного, флегматичного кота из мучного лабаза, лержа салфетку за конних в одной руке и куриную ножку — в другой, бурно, но с угрюмым, все более и более свирепечация лициом отпласивал у своего столика под обиру замысловатый, ни на что не похожий танец, выкидывал такое антраша, что все невольно гоготали.

Под этот шум Федя и журналист покинули поплавок.

Почти тогда же ушел и их сосед со своей дамой. Расплатившись с официантом, он вынул из бокового кармана маленькую записную книжку в мятком кожаном переплете, минуту подумав, что-то написал в ней и, вырвав этот листок, протянул его своей слутище:

Меня удивляет и беспокоит отсутствие Ваулина. Завтра обязательно дайте объявление в вечерних газетах, Вера Михайловна.

Она мельком взглянула на записку:

Официант низко пригнулся, провожая почтительным взглядом седобрового барина.

Глава тринадцатая

В КВАРТИРЕ НА КОВЕНСКОМ

Пежуря в хозяйском кабинете, верный губонинский Лепоредло— Пантелеймом Кандуша— внимательно прислушивался и приглядывался к гому, что происходило в соседней комнате. Дверь туда была приоткрыта, кабинет слабо освещен одной лишь настольной лампой под зеленым колпаком, стоявшей в глубине комнаты, и Кандуша, никому не бросаясь в глаза, никем не стесияемый, выполнят свою наблюдательскую и охранную службу.

Ею был занят не он один: в прихожей и на кухне расположились два агента охраны, да еще во дворе и на улице. — уж доподлинно это знаст Кандуша, — торчат в различном одеянии скороходы-филеры. Может, это Ивана Федоровича люди, может спартаментские, то есть одного с ими, Кандушей, ведомства. а возможно даже — дворцового: царскосельские молодцы из тайной императорской охраны оберегали от неприятностей Григория

Распутина так же, как членов августейшей семьи.

За последний год, выполняя поручения Губонина и неся тем самьм свою департаментскую службу, Пантелеймон Кандуша неоднократно сопутствовал знаменитому «старцу»: «Вилла Родо», где в закрытом кабинете, окруженный цытапским хором, отплясквал зело пыяный Гриторий Ефимович; секретная департаменская квартира на Итальянской, второй дом от Фонтанки, где устраивались свидания с министром внутренних дел; в Александро-Невской лавре, в покоях митрополита Питирима или в квартире самого «старци» Григория на Гороховой,— вскоду, где только, реодилось, Пантелеймон Кандуша — верный губонинский глаз зокок, неустанно следия за Распутиным.

Чего только не узнал он в долгие часы своих дежурств!

Поглощенный своими новыми служебными обязаниостями, выс четоличный образ жизин, Пантелеймон Кандуша почти совсем порват связи с семьей, с далеким уездным Смирихинском, с примостившейся за окранной города маленькой Ольшанкой. За все время он написал туда раза два, не больше, заключив свою переписку с отцом, Никифором, обидимми для того, насмешливами словами: «Жизнь наша сурьезная здесь, мяздрой, папаша, не воняет, а вполне государственная и, можно сказать, санкт-петроградская, О том знайте вы с мамашей, но языком не болтайте. Вам проселком ходить, а сыпу вашему асфальтовой панелью. Значит: наша Марина вашей Катерине двокородная Гарпина,— не больше!»

«Запасным тузом», о котором никогда не забывал, был Иван

Теплухин

Ну, погодите же, гордый Иван Митрофанович: презрительно называемый вами Пантелейка еще наложит на вас свою руку... Он держит в ней невидимые другим концы человеческих жизней и страстей, чтобы — придет же время! — сомкнуть их и узреть их порочную, ослепительную вспышку. Горе тогда вам, самонадсянный Иван Митрофановиче.

А помните ли вы, голуба Иван Митрофанович, утерянное вами письмо от некоей, хорошо знакомой вам особы? А где-то то письмо,

пипль-попль?!

И нужно было взглянуть на вспыхнувшее лицо Кандуши, когда увидел сегодня здесь появившуюся Людмилу Петровну,

когда услышал ее голос!

Гос-е-споди, боже мой, за кем же смотреть теперь? — глаза разбегаются!. Ну, пусть простиг на сей раз любезный друг, Вячеслав Сигизмундович: каждому зерну — своя борозда, всякий Демид — себе норовит, — решил про себя Пантелеймон Кандуша и старался теперь не пропустить ничего, что касалось бы Людмилы Петровны.

Он видел, как много вначале пила сегодня, как неуверенной, сбивающейся походкой проходила по комнате, задевая угол стола бедром, отдвигая с шумом стоящий на пути стул, протягивая руки

вперед, словно желала за что-то ухватиться. Ай-ай, она быстро, очень уж быстро опьянела, а тут еще этот толстенький, разноглазый господин Петушков подливает да подливает ей и грудастой Воскобойниковой, карась пузатый! Хэ-хэ-хэ, куда же это годится, миленькая Людмила Петровна? Вы, того-этого, как простая солдатская бабенка на погулянках хлещете, разве можно так? -огорчается за нее Кандуша.

Ну, вот - правильно: сядьте, посидите, содовой водички выпейте... лимончика, лимончика бы еще, - должно помочь в таких случаях... Ивана Федоровича артисточка, госпожа Лерма, рыжая, знать, больше привычна к питью: дернула тоже не меньше вашего, а, обратите внимание, в полной форме барынька, только шляпку с головы долой, напевает тихохонько — и ничего чтоб лишнего!

Эх, хороша канкубина у Ивана Федоровича! Если бы не такую силу человек в министерстве взял, надо полагать, сам бы друг, Вячеслав Сигизмундович, начал бы обхаживать рыжую. Но против Ивана Федоровича и выгоды нет и не без опасности, пипль-попль... Сунулся тайком, снюхавшись, к артисточке берейтор один, Петц, - показал ему Иван Федорович... хэ-хэ-хэ... что бывает за такое обучение верховой езде: скинул господина берейтора со своего собственного «седла» и в порядке «охраны» упек «наездника» на арестантскую квартиру — по обвинению... в шпионаже! Шутка ли, — Иван Федорович! Сам Григорий Ефимович, — на что уж до прекрасного пола падок, - остерегается трогать артисточку. Вот восклицает Григорий Ефимович оракулом:

- ...И вокруг престола, говорю я ему, четыре животных, исполненных очей огненных спереди и сзади, и папашка крестится и просит: просвети меня, говорит, Григорий, и вразуми.

Смеется — сипленьким и мелким, как рассыпавшийся горошек, смехом и, прищурив запавшие глаза, обводит всех ими, и мало что понятно из путаных, апокалипсических речей Григория Ефимовича.

«Великий комедиант» - так однажды, в минуту откровенности. отозвался о тобольском мужике умница наставник Губонин: человек Григорий Ефимович - упрямый, неискренний, скрытный человек, который не забывает обид и мстит жестоко и к тому же большой силы магнетизер, но об этом, Кандуша, тс-с-с!.. Уж будьте спокойны, Вячеслав Сигизмундович: любую такую епитимию Кандуша-наперсник, конфидент ваш верный, выдержит до конца. А кто есть на самом деле «святой черт», Григорий Ефимович, и что вышел он, можно сказать, из конопель по солнышку,про то будем с вами вместе знать, дорогой Вячеслав Сигизмундович... Только не требуйте вы сегодня от Кандуши ревностного служения, не требуйте, чтобы глаза проглядел, уши вытянул: что кому и как сказано было Григорием Ефимовичем... Вы уже сами сегодня, любезный друг Вячеслав Сигизмундович, а Кандуша своим, особым делом займется: знаете. Вячеслав Сигизмундович.всякая сосна своему бору шумит!

...Обхаживает, обхаживает разноглазый Петушков госпожу Воскобойникову: то один ей бокал, то другой, рядом садится, коленкой прижимается.

На столике перед диваном — фрукты, пастила, цукаты, напити, рымочки и бокалы. Вот украдкой берет Петушков один из них — пустой, с позолоченным ободком, отходит в сторону и, успел только Кандуша отскочить за дверь и завернуться в портьеру,— вбегает в губонниксий кабинет. Зачем ему скода?..

Кандуша, не шевелясь, подглядывает: Петушков вынимает из жилетного кармашка маленький плоский флакончик, поспешно открывает его и несется к письменному столу, где больше света. В одной руке — бокал, другая — осторожно, с коротким счетом отливает на дно его бесцветные капли из флакончика. Это что еще, пиплы-попль?!

Через минуту Петушков опять рядом со своей дамой; в бокал с позолоченным ободком кругой, шипящей струей падает холодная сельтерская из принесенного сифона: пейте, пожалуйста, дорогая Надежда Иванова, и, если позволите, я провожу вас до дому... («Ах, прохвост, что делает, что делает!»— тихонько посмеивается Пантелеймон Канауша.

Симанович что-то говорит Людмиле Петровне, вынимает большой бумажник и оттуда — тщательно завернутую в папиросную бумагу чью-то фотографическую карточку. Это фотография Распутина, надписанная им.

— Лутшаму ис явреев...— смеясь, читает Людмила Петровна.

Вот видите, — говорит Симанович, пряча карточку, — значит, со мной можно иметь дело. И всегда с пользой, я вам говорю, — Какое же у нас с вами может быть дело? — спрашивает

. Какое же у нас с вами может оыть делог — спранивает Людмила Петровна, берет со столика свой бокал с сельтерской и отпивает глоток. То же самое делает теперь и Симанович, утирая губы крошечным розовым платочком.
— Какое дело? — переспранивает он, глядя то на нее, то на

 Какое дело? — переспрашивает он, глядя то на нее, то на ее соседей по диавану. По всему видно, у него есть действительно

какое-то дело, но он не решается сейчас сказать о нем.

«Ну?. — вопросительно смотрит на него Людмила Петровна. — Гомрорите, все говорите: может быть, тогда я пойму, для какой точно цели меня пригласили сюда». Она порядком устала, вся эта компания достаточно неприятна ей, а о мамыкинском поручении она почти уже и забыла;

Адольф Симанович, вероятно, хочет сыграть с вами в макао.
 Это его любимая игра...— вмешивается в разговор, трунит над распутинским приятелем Петушков.

Симанович незлобив.

 Я уже наигрался, слава богу, в макаву,— покачивает он головой.
 Он понял насмешку Петушкова, но, ей-ей, он, Адольф Сима-

нович, незлобив... Верно, он когда-то усиленно играл в «макаву», все его преуспевание в жизни пошло от умелого обращения с игральной картой: никто не умел так незаметно, так виртуозно сделать «накладку», будучи банкометом.

Но это было давно — во время русско-японской войны, на полях Маньчжурии, куда Адольф Симанович привез для утехи и развлечений русских офицеров пятерых бесшабашных, веселых маркитанток из Киева и Одессы и потертый чемоданчик новеньких атласных карт.

С тех пор прошел не один год, и кто посмеет всерьез упрекнуть Адольфа Симановича в том, что он не оставил своего прежнего занятия?

Мало его векселей у Адольфа Симановича?! Кажется, при одном «деле» состоят, - так что это за некорректное поведение, которого так не любит сам Григорий Ефимович! Ведь он, Симанович. никому ни гугу про петушковские «капельки», — у-у, свинья какая!

 Я мог бы посоветовать вам, Людмила Петровна, одно дело, говорит он.- Но... но мы потом с вами поговорим. Когда мне скажут, так я к вам заеду, и — честное слово Адольфа Спарновича! - вы не будете на меня в претензии. Наоборот!

— То есть как это «наоборот»?

Она недоуменно смотрит на его синие, словно отмороженные руки, на лоснящееся, не дочиста выбритое лицо, в его черные бараньи глаза. неопрятно приютившие в уголках, у переносицы, беленькие пузырьки закиси, какая бывает у людей после тяжелого, недолгого сна, - и, ничего не спросив, отворачивается от него, уже не скрывая своей брезгливости.

Украдкой переглядываясь с Губониным-Межерицким, громко, на знакомый мотив «Две гитары за стеной», поет теперь под свой собственный аккомпанемент на откуда-то появившейся гитаре песнь терских казаков рыжеволосая, разрумянившаяся Лерма:

Из-за кочек, из-под пней. Лезет враг оравой. Гой, казаки, на коней -И айда за славой! Маты! не хмурь селую бровь. Провожая сына. Ты не плачь, моя любовь. Зоренъка-дивчина,

 Ай, ладно! — притоптывает ногами вставший из-за стола Григорий Ефимович и медленным, мягким шагом приближается к сидящим на ливане.

Песнь продолжается.

 Ну! Ну!..— трясет бородой, взмахивает сжатыми в кулак руками развеселившийся Распутин, и все, уже хором, присоединяются к запевающей артистке.

 Тюли-мули-растудули! — хриплым, срывающимся тенорком выкрикивает Петушков и похлопывает себя по животу.

Горбоносая старая княгиня сидит глубоко в кресле, закрыв глаза. Ее острый подвижной подбородок конвульсивно вздрагивает. она молчит. Песнь продолжается:

> Отшвырнем с ролной земли Немцев в их берлогу. Хоть бы даже к ним пришли Черти на позмогу.

Пусть придут! Среди гостей Будет больше крику, Потому что и чертей Мы возъмем на пику!

 Еще! Еще!... кричит, приказывает Григорий Ефимович послушным гостям и — заглушаемый шумом песни — коротко говорит Людмиле Петровне, тянет ее за руку:— Ну, пойдем, милоя! Заждалась,— а?

На ходу он берет со столика наполненный бокал с позолоченным ободком: небось пить там захочется («Дурак Петушков: чего обомлел так?...»), кусок пастилы и, пропустив вперед себя Людмилу Петровну, входит с ней в губонинский кабинет.

(Ух, пипль-попль, — едва успел выскочить оттуда в ванную, по соседству, Пантелеймон Кандуша! Ну, ничего: и отсюда все будет слышко.)

— Садись, лебедь,— сказал тихо Распутин и сам опустился рядом на оттоманку.

рядом на отгоманку.
Однако тотчас же встал, подошел к двери в столовую, плотно закрыл ее и вернулся обратно.

 Садись, лебедь, повторил он, хотя Людмила Петровна уже сидела и не делала никаких попыток встать.

уже сидела и не делала никаких попыток встать.

Бокал с сельтерской он поставил на пол, у оттоманки, а пастилу, нисколько не заботясь о соблюдении чистоты, положил на одну из ее подушек.

 Ну, вот... Ну, вот, дусенька,— оглядывался он по сторонам, словно искал что-то, и, найдя вблизи электрический выключатель, повернул его — к полной неожиданности Людмилы Петровны насторожившейся и готовившейся к другому.

В комнате стало светло — светлей, чем было в столовой. Неужели так и останется: полный свет? — вот удача-то загнанному в ванную, притаившему дыхание Пантелеймону Кандуше.

Где-то, за тонкой стеной, в соседней квартире били приглушенно, как тряпичной булавой по медному тазу, часы: двенадцать ночных улавов.

Глава четырнадцатая

НЕМНОГО О ФЕДЕ КАЛМЫКОВЕ

Как уже было сказано, этот вечер принес Феде неожиданное приключение, отодвинувшее на некоторое время в памяти все увиденное и услышанное до сих пор в Петрограде.

Точней,— не вечер, а ночь, потому что было уже начало первого часа, когда покинул он вместе с журналистом Асикритовым тишкинский поплавок, направляясь к Ковенскому переулку. И если бы он знал, что ждет его впереди, часом позже,— смело

можно сказать, что досаду и дурное настроение, в котором сейчас пребывал, он легко и быстро сменил бы трепетным и радостным возбуждением...

Ах, все было бы хорошо, если бы не этот последний разговор с Фомой Матвесвичем! Если бы не его собственная, Федина, времы, которую, по справедливости, назвал журналист «ченухой»... Такие речи может произносить смирихинский, провищилальный помощинк присжяного поверенного, либеральная бальный помощинк присжяного по помощиний предоставлений п

Ах, как стыдно, стыдно за всю ту словесную дребедень, которуков «Только подумать, с чем я говория!— сокрушается Федатратический образ «бедного рыцаря» так же пристал мне, как корове седло. Гамлет и «тени замученных отцов»— всль это же все для красного словца, книжность все это — и не больше. Святое безумие, жертвенность и жизнь в глуши... страдания». Сколько глупостей наговорил он сегодня.

О какой такой интеллитенции, безупречной в своих свободолюбимых помыслах и, главное, поступках, он трубил? Разве она едина, черт побери! Разве одного и того же жаждет, к одному и тому же стремится? Маленьким наследником-растратиком какого точно мевликого наследства» он так поспецию, безразумию признал себя! Какой «традицией» он, собственно, дорожит? Традищей неустанной революционной борьбы (вспомился тотчас же десяток бесстращимых имен революционных деятелей) или той, к примеру, которой следует хотя бы тот же Лев Павлович Карабаев — всегдащини кандидат в члены «ответственного министерства» инчего об этом не сказал? Ничего — о войне, о своем отношения к ней, ничего — о громадном рабочем движении, бурлящем в эти годы в десятках российских городов, ничего — о себе самом, ведь с Фомой Матвеевичем можно быть вволяе откровенным.

«Мы с вами в клетке исторических, но мерзких очертаний, вспоминает он асикритовские слова.— Патриотизм, долг, семья, политические верования, народное благо, личное счастье — все требует уже новой формулы. На слом все... на слом!»

Почему сказал все это Фома Матвеевич, а не он сам, досадует Феля, молчаливо шествув с журналистом по безлюдной набережной к Литейному мосту. «Глупо вышло: думал одно, а говорил другое».

Но он тут же, защищаясь, спрашивал сам себя: «А все ли, что говорил я, такая уж ахинея? Все ли было уж так непростительно наивно и неверно?»—И, успоканвая себя, решал, что не все уже было так глупо и фальшиво в его словах, как показалось вначалсь он старался вспоминть каждую свою фразу, каждую изреченную свою мысль,— однако все вспомянутое, чем мог бы быть доволен, что мог бы вновь повторить ища снисхождения, Фоме Матвеевичу, не разрушало, увы, его общего досадного чувства, испытуемого сейчае.

Ночь была теплав, мягкая, а он шел и часто вздрагивал, как от холода, и кожа на теле,— чувствовал,— стала гусиной, в мелких лихорадочных пупырышках. «Вот ведь до чего расстроился!— упрекал он себя.— В Гамлеты полез, осст вифлеемский! Тоже... рышарь бедный нашелел! Лживо и театрально: разве я такой! Тоу меня общего с той молодежью, о которой я так говорил? Почему я не привел в пример Колю Токарева?»

...Встретился Федя с ним в день, глубоко запавший в память. Смирихинск отправлял на войну первые эшелоны призванных из запаса.

Воинские части, построившись у здешней казармы, за Петроксим парком, охраняемым теперь часовыми, под музыку оркестра отправлялись на вокзал.

Может быть, спеженспеченным праподцикам с новенькими крест-пакрест и котелось покрасоваться перед высыпавшими из всех домом местными жителями и потому пройти центром города, но начальство распорядилось подругому: пришлось «тогать» кратчайшим путем — по боковым, немощеным улицам, по пыльным пуховикам, заклубившимся, как смерч, под ногами солдат и бежавшей вядом оравы мальчищек.

Когда оркестр умолкал и музыканты, отплевываясь, прочищали на ходу свои альты, корнеты и тромбоны, вытряхивая набившуюся туда пыль,— где-то в рядах, встрепенувшись, заводил песнь осторожным, стеклянным тенорком ротный «запевала», и ряды подхватывали ес. чнося далеко впесел:

> Оружьем на солице сверкая, Под звуки лихих трубачей, По улице пыль поднимая, Проходил полк гусар-усачей.

Жгдо тяжелое полуденное солнце. Оно проливало на ссохшуюс, истомленную от засуки землю горячий свой, безвучный ливень. На лицах солдат — запыленных, распаренных — теми грятно-серые ручейки пота. Гимнастерка на лопатках была влажпа. Сжатая ковшиком ладонь, поддерживавшая приклад винтовки, взмокла и стала до негриятного клейкой.

В тень бы, черт побери... В речку броситься и не вылезать до вечера!..

На улицах, на Ярмарочной площади, через которую проходили теперь солдаты, все гудело от музыки, от гула толпы, от ржанья пугливо вздрагивавщих, бросающихся в сторону лошадей, от бабьего воя и причитаний.

В светлых праздининых узких кофтах с вытянутыми вверх на плечах рукавами-крыльшками, в ярких, разнощветных «спидинцах»— жены, матери и сестры беспорядочной толлой бежали вслед воинской части, они часто прорывали соддатский строй, втирансь в его ряды, чтобы в последий раз, на прощаные, слезно сказать ласковое напутственное слово, всунуть в карман солдата кусок мясного пирога или зеленую трехрублевку. Еще с рассвета, а то и с вечера, забиты были все постоялые дворы и больщущий двор кальыковской почтово-земской станции. Парными деревянными свечкамы торчали вскинутые кверху оглобли крестьянских возов и телет, тарантасов и одноколок-меслушек», на которых понаехали в город крестьяне окрестных сел. Ративки ополчения пересекли Ярмарочную площадь, срезав ес у забора махорочной фабрики Георгия Карабаева, и продолжали путь к вокзалу. Спрыгнули к себе, на фабричный двор, покинувшие на минуту свюю работу, виссевшие грозлями на забора любопытные работницы. Вернулись в столетиие, мивавые амбары, деревянными срубами выстроившиеся в одном углу площади, купцы и приказчики, продавцы и мужики-покупатели: сына — на войну, а в деревню—соли бы, махорки, скобаного товару...

Двери амбаров открыты, и тянет оттуда свежим душистым сеном, травинку у которого так и хочется взять на зуб, тянет крупой и горошком в мешках, золотистым овсом, мучной пылью.

Потревоженные, взлетевшие на купол соседней кладбищенской церкви бездомные голуби-сизяки и воробы, усеявшие многорядную телеграфную проволоку, как музыкальные значки нотную бумагу.— вновь слетались теперь к амбарам: ворковать, щебетать, подбирать брошенное тут зерно.

Гуремят и скрежещут ржавые цепи амбарных весов, громыхает гурсо сброшенная на деревянный пол, бессильная — от тяжести — покатиться, пузатая двухпудовая гиря.

И, как сброшениая с весов тяжелая гиря, громыхает эдесь уроненная дважды, трижды, четырежды многовековая каменная мужичья ругань.

Кому точно послана — неведомо еще, но — от всего растревоженного сердца: эх, мать да мать, — сей день Михайлу взяли, а а завтра — велят — веди в присутствие еще Михайлиного коня! Федя провожал солдат до самого вокзала.

Там, когда эшелом уже тронулся,— под приветственные, воинственно-патриотические крики одимх и заунывно-истерический, истошный вопль других: все тех же крестъвнску баб,— кто-то стоявший позади притронулся к Фединому локтю и осторожно пожал его, Федя оглянулся — Токаето

А-а... Николай! Здравствуйте! Кого-нибудь из ольшанских провожали?

— Провожа-ал. — жмуро, досеадливо отозвался Токарев. — Не любля, понимаете, похорон! Вы удивляетесь? Какие же это похороны? А по-моему, так самые настоящие. Только без обыкновенных гробов, а все остальное — чин чином: и в церкви молились, и священники тут, и, глядите, рев какой, и смерть будет всамделишная. Я вот стоял здесь и думал: сколько гробов на колесах — вагоны-то эти! Довезут их до Киева, скажем, или куда там, выгрузят будущих калек и покойников, притонят обратно вагоны и погрузят в них, как всегда это, скот. И повезут куда-то: на убой, обыкновенным манером. Так само и солдат! И никакой разницы: и то мясо, и другое тоже. О скот с поля согнали, и этих тоже со

степи да с других мест,— верно я говорю? А для чего, в общем? Кто про это верно скажет? Кто смельчаком будет?

По дороге в город, ведя разговор все на ту же тему о войне, он сказал еще:

- Вот думаю я так, Федор Мироныч: драться люди могут гогда только, когда витерес у них один... общий. Тогда друг друга искать будут, чтоб идти вместе. Сами в том случае сбегутся... безо всякого понуждения, без урядников, по своей собственной охоте. Это тогда, когда не драться, значит, нельзя уже. Тогда каждый отвечает за себя, и реветь тут нечего. Может, и неверно говорю, как думаете?
- В общем, так, конечно, растерявшись, согласился Федя. Но все-таки, дружище Николай...
- Однако почему он так быстро согласился с ним? И, с другой стороны, с чем, собственно, он не согласился, против чего собирался возражать? Ах, разве знал все это тогда Федя! Ничего не знал он точно, ни в чем до конца не был уверен, должен сознаться... Но где же правда? — тщетно искал ее Федя. И, право, это было мучительно!

Высказывания Токарева,— в общем, такие простые, бесхитростные, как колумбово яйцо, и, казалось бы, даже знакомые, но прозвучавшие неожиданно,— поразили его, ввели в слущение.

Конечно же, война — это убой ни в чем не повинных людей, цепь несчастий, народное страдание, но как можно не восвать, когда на тебя так грубо напали, когда хотят захватить твои земли, разграбить твою родину? Другое дело, что родина — полицейская, с приставами, урядинами, жандармами, — это, конечно... что и говорить. Но — родина!

Все газеты писали горячими перьями о том же и еще о том, что войне быть не больше трех месяцев,— велика была Федина вера, и короток еще шат его годов... Ах, гле теперь Токарев, в каких сидит окопах, жив ли? Как много мог бы сказать и рассказать кму Феля сейчас, через два года после той памятной встречи!

Глава пятнадцатая

ЛЮДМИЛА ГАЛАГАН

Он, Распутин, все, все знает, и ничего от него не утаить!

Завистники дворяне да министры-неудачники спят и видят, как бы убрать его с божьего света. Шутка ли дело, простой мужик, а царю помощник!

Войну кончать надо,— он худого «папашке» не посоветует, а его убивать задумали: все ему, все известно...

«Хвост» (недавний министр внутренних дел Хвостов,— сообразила Людмила Петровна) отравить его хотел, пищу опоганил, но бог милостив: все кошки в квартире издохли, а он, Распутин, ботом посланный царский хранитель, уцелел, жив остался,— сама видит, дусенька...

«Хвост» тот самый не унимался: слугу своего, газетного писаку Бориса Ржевского, жулика, с большими казенными деньгами отправил за границу, в Норвегию: откупить у царицынского монаха-расстриги Илиодора «записки про святого черта» (про него. Распутина), чтобы «папашке» их показать потом, опорочить ложью бесовской заступника царского трона.

А откуда узнали?

Но он только посмеивается — тихим, сипловатым смешком, застревающим, кажется, у гортани, и снисходительно говорит: — Ай, Хвост-Хвост... чего не поделил. — а?

Но все эти дела не в счет, -- смотрит он на нее своими выгоревшими глазами, и за светлой оболочкой их глядит кто-то еще: лукавый, хитрый, скользкий, все это он рассказывает для того, чтобы уразумела она, почему ей именно знать это надо.

Людмила Петровна не без волнения, скрыть которое всячески старается, догадывается, к чему клонит он речь. Господи, да он аи

courant', он знает значительно больше, чем она сама!

В ставке Северо-Западного, рассказывает он, подобралась группа дворянчиков-офицеров, руководимая кой-кем из князей, поклявшаяся лишить его жизни. За ним охотятся, его хотят заманить в разные места и там расправиться. Подосланной бабой хотят заманить.

Но его оберегают, его берегуг как зеницу ока, - так велели «папашка» и «мамашка», и горе тому, кто осмелится причинить ему вред. Так пусть и знают все его враги: сознательные и невольные!.. Каяться надо, каяться!

По временам, казалось, он разговаривает не с ней, Людмилой Петровной, а с кем-то другим - невидимым своим слушателем и собеседником. «Старец» отворачивал голову, жестикулировал в сторону, хмурился и усмехался, не взглянув на нее, протягивал кому-то руки, сжимал их в кулаки. Но потом, вспомнив, очевидно, о своей гостье, придвигался на тахте, обнимал за плечи, заглядывал в лицо и настойчиво искал своими узкими, как графит синеватыми губами упругие дольки ее отворачивавшихся, сопротивлявшихся губ. И стоило только Людмиле Петровне громко запротестовать и пригрозить, что сейчас же уйдет или кликнет из соседней комнаты Воскобойникову или какую-либо другую из женщин, -- он отпускал ее, отодвигался и возвращался к прерванному на минуту разговору.

«Ну, скажи уже, черт бородатый, скажи уже, что ты знаешь, зачем я пришла сюда, что подослана я, для какой цели и кем, что ты выдашь меня своим охранникам, если я не соглашусь и не уступлю твоим домоганиям, — и мне уже станет легче, я буду знать. что делать, Зачем же ты хитришь?»

Однако Людмила Петровна отнюдь не знала, что стала бы делать, как точно поступила бы, если бы он разоблачил цель ее прихода.

В курсе (фр.).

Вот, вот... он скажет все, обвинит в лицо, чего-то потребует, станет угрожать... Может быть, позовет сюда своего союзника, Ивана Федоровича (кажется, это он за столом намекал ей на чтото: «Либо в стремя ногой, либо в пень головой» — препротивная морда...), и они вместе начнут изобличать ее, назовут имя Мамыкина, потребуют показаний и еще бот знает чего...

 И, чтобы увести себя от вплотную приблизившихся глаз Распутина, она свесилась с тахты, подняла с пола бокал с сельтерской и медленно отпила несколько глотков.

Ему хотелось, очевидно, пить, и он тоже потянулся к бокалу, но Людмила Петровна отстранила его руку:

— Не дам. Сама хочу. Потерпите, потерпите... Бога просить следоват, чтоб дал терпение, — умело подражая его придыхающему сибирскому говорку, сказала она.

Он засмеялся:

- Ишь ты, кака строга игуменья!
- Сами учили!
- А мне доспеть с тобой, доспеть...
- А я не покушаюсь на ваши... доспехи! в тон ему, нарочито двусмысленно и грубо сказала она, заметив его непристойный жест.
 - Чего? спросил, не поняв, Распутин.
- Того, дедушка!..— дразнила она его.

Он развеселился, громко и зычно, как ни разу еще не слышала Людмила Петровна, хохотал, схватив себя за бороду.

«Распоясался... похабник!» — настороженно следила она за его движениями, но была рада сейчас, что разговор благодаря этому соскользнул с опасной для нее темы.

Она с силой оттолкнула от себя Распутина, когда тот попытался позволить себе больше дозволенного, но когда он, недовольно бурча, смирился и отодвинулся на минуту,— Людмила Петровна поймала себя на том, что ей, пожалуй, приятна была эта борьба.

«Горе мятущимся... мне это. Что же это со мной? — спрашивала она себя.— Он на меня действует... магнетизер? Грязный мужик, животное! Нет, нет, не он... не может это быть!» — решила Людмила Петровна. Теперь ей надо побороть, преодолеть самое себя, справиться со своим состоянием (она осущает до конца бокал с сельтерской), не подаваться, не дать спутаться мыслям...

Год назад, когда началась война, она бросила свой усадебный Сиетин и помчалась госпитальной сестрой на фронт: она, как все вокруг, ощучла толчок, который должен был помочь ей преодолеть инерцию тяготившей своей серостью, как считала сама, дожучливой жизян. Весь мир, казалось, стал жить пожарищем горячих, лавиной ринувшихся на землю страстей, и в громадном отне их она рассчитывала легко и быстро «сжечь,—писала в одном письме,— свое душевное недомогание». Кажется, к Ивану Теплухину в письме говорила она незадолго до войны, что «утратила компас в жизин после неожиданного самоубийства мужа, Сергея?». Ну, так, может быть, теперь она вновь обретет этот компас, а с ним вместе и самое ссбя?

Собственно, она не знала, что именно может найти впереди, в тот момент она и не раздумывала об этом: она помчалась в армию, на фронт, чтобы утратить самое себя, какой была она тогда. Чтобы только утратить!.. Ее поступок родные, друзья, знакомые, соседи приписывали патриогизму, самоотверженности, гуманности, может быть — увлечению (ведь ничто не обязывало ее к тому!), но никто не подумал бы об истинной причине такого стремительного решения. И вот прошло два года,— она могла бы пожелать для себя лучшего!

Необычное, не воображаемое раньше в отцовском генеральском доме и в петербургской квартире брата, владевшее еще внаале, в первые месяцы военной жизны, Людмилой Петровной,—
стало теперь до изнурения привычным, знакомым и докучливым.
В общем, она, конечно же, любила жизнь (другое дело, что могла
иронически и зло отзываться о собственном и чужом бытим...),
и почему, в сущности, и для кого следовало растрачивать себя? —
нередко задавалась она вопросом.

Пробыв год на фронте, она, пользуясь связями и знакомствами, оставленными в наследство отцом, генералом Петром Филадельфовичем Величко, легко перекочевала в Петроград: и отдохнуть погребность была, и поразнообразить хотелось жизнь. Случайное знакомство с капитаном Мамыкиным и его друзьями предоставляло теперь эту возможность: она была остра и предыцала Людмилу Петровиу большой волнующей игрой, прямой участницей которой она становилась.

«Вот авантюра!» — не раз говорила она себе, но не порицая, а радуясь тому, что так случилось. Ее мало заинтересовала политика офицерского кружка заговорициков. Не многим больше занимал ее мысли и тот, за кем они «охотились», по его собственному
выражению, хотя она, как и все в обществе, презирала «темного
старца» и возмущалась его ролью при дворе. Она довольна была
уже тем, что от нее потребовалось какое-то действие, в зависимости от которого находимие удача нли поражение других людей.

Поединок на Ковенском сейчас, в незнакомой комнате незнакомой квартиры, куда зазвал се этот всесильный длут, этот «черт бородатый», как все время называла его, должен был в какой-то степени решить этот вопрос. Но вот быть осторожной, рассудительной и уверенной в себе мещают сейчас непонятно почему прищедшие желамия («А может, действительно блудинца?»,» думает она о себе) и возынкший в памяти совсем уж неожиданно, бог знает в какой связи, образ студента-земляка — Феди Калмыкова.

Монгольский разрез синих глаз, прическа, мягкие черные усики, нажим в лице скул.— господи, он чем-то так напоминает близкий, запечатлевшийся навсстда образ Сергея, мужа!..

Почему она раньше этого не заметила?! Почему поняла это только сейчас? Или память и воображение... лут? Нет, что она, в самом деле. Конечно, тут нет никакой ошибки: похож, похож, – разве не бросилось ей в глаза это сходство сегодня днем? Она только не вдумывалась в это как следует, мысль мелькнула и —

спряталась, чтобы вновь заявить о себе.

«А цветок? Почему я дала ему цветок?. Господи, какие странные веши бывают на свете! — думает людмила Петровна.— Кажется, я ему назначила на завтра встречу? Обязательно, обязательно надо, мне повидать его... Я устрою его, может быть спокоеня переведу его сюда в университет», — вспоминает она о письме Георгия Кавлабаева.

И вслед за тем:

«А что, если под этим предлогом...» — и уже рядом со студентом Кальмыковым встает в памяти узколицый, с неестественно прижатыми ушами Мамыкин.

- Георгий Ефимович, - говорит она, наклонившись к не-

му, — у меня к вам просьба.

— А у меня до тебя одно дело есть, дусенька. Кака просьба? — Окажите протекцию одному моему знакомому студенту, Григорий Еффмович. Ему нужно перевестись из Киева в здеший университет. Я имею сама кое-какие связи, но ваша записка, даже без указания адреса...— И она впервые за все время ласково улыбнулась ему.

Может, другой раз? Пошто торопишь?

Ну, пожалуйста... Вы мне откажете? Я не верю!

Она вскочила с тахты, схватила его за руки, таща за собой к письменному столу. Распутин слабо упирается.

Лады, лады...— усаживался он в губонинское кресло.—
 Ну, я коротко. Пратецию напишу, а ты сама, кому знашь, отдай.

Оторвав листок настольного календаря и взяв перо, он стал писта. По особо присущей неуверенным в своей грамотности людям он шентал вслух каждое выводимое медленно слово и водил дрожащим пером так, словно не держал его в своей руке, а было привязано оно к чужой и мало послушной.

Писал он криво, крупными, разбросанными буквами, как будто старался налепить их на бумагу. Поставив букву, он некоторое время приглядывался к ней, точно не доверял: не пропадет, не отклеится ли она,— и пальцами зажимал переносицу, как если бы

придерживал кто сползающее пенсне.

Не люблю писать. Ох. не люблю. Слово живо — с ним дух от тебя, а слово мертво, слово писано — што сажа. Чисто сажа! Во, гляди, только и написал,— и он протянул ей листок.

«Милой дорогой ни аткажи пропусти устрой ево лучше во всех корнях отростелях. Григорий»,—

пробежала она глазами.

«Мамыкин может быть доволен! — подумала Людмила Петровна, пряча записку. — Такая записка ему пригодится!»

— Спасибо, отец,— впервые назвала она так Распутина. «Ну какое у него теперь ко мне дело?»

На сей раз он говорил просто, безо всяких иносказаний, уверток, забыв как будто с воей всегдащней манере пересыпать речь перковными словечками и неожиданными метафорами. Таким

Людмила Петровна его еще ни разу не видела. Перед ней сидел осторожный, себе на уме, мужик-купец, степенно, как старые гостинодворцы, разглаживавший свою темную длинную бороду. Он широко улыбался, и тогда видны были его белые хлебные зубы и магко, приветливо светились выгоревшие глаза, упритавшие подстеретающий доселе и кразущийся взгляд.

Речь, к ее удивлению, повел о сахарном заводе. «Вот так штука!» Говорят, она и младший брат хотят продать сахарный завод, оставленный в наследство батюшкой, генералом Величко? Лады, лады, правильно делают: куда там уследить за таким хозяйством,

да еще таким молодым, неопытным хозяевам!

Денег много можно взять теперь за сахарный завод, много больше чем стоил он покойному генаралу. Не обманул, не обидел бы только кто из покупателей — вот забота должна быть. Верие он говорит, — а? Уминца, уминца, дусенька, — сама понимает. Он, Распутин, любя ее, даст хорошего, справедливого покупателя: ему и продать, только ему.

А с деньгами что? С деньгами по-хозяйски надо. Он и тут по-

может, научит: богатство хранить надо - вот что!

У него банкир есть знакомый, услужливый такой банкир. Отдать ему деньги, а он «перепишет» их на иностранные, лучше всего на «вашингтонки»: ух растут, подымаются те «вашингтонки» каждый день, словно дрожжи в них положены...

Симанович-друг заедет к тебе, лебедь, обговорит все, велю

я ему, -- понимашь?

Он встал с кресла, подошел к Людмиле Петровие, положил руку на ее плечо:

— Выдъ в столову и скажи ему, когда заехать к тебе. Со-

гласна? «Что ответить?»

Людмила Петровна понимала, что никакого дела всети она не будет с Симановичем, что никогда она и не вела бы его с ним—темным распутинским дельцом, что вообще продавать завод решилась бы, посоветовавшись только с Михаилом Петровичем, братом, что, наконец, сейвас и разтовора о том бить не может, так как еще раньше решили они всей семьей продать завод Георгию Караеву, и письмо, которое получила от него сегодня днем, почти целиком посвящено этому вопросу и подводило итог всем имевшим место переговорам настолько, что Георгий Павлович просил назначить время, когда мог бы приехать в Петроград для оформления всего дела.

Надо было сказать о том Распутину, но почему-то не решалась делать это сейчас.

- Приходи ко мне грех замаливать, уже прежним тоном, сиплым, придыхающим говорком сказал он, прижимаясь к ней.
- Доспеть надо... очистить надо, слышь? А офицеров-ерников гони от себя: пропасть с ними можешь. Все, все знако... Ну, бог вразумит. Ну, говорю: не путайся, а то отступлюсь от тебя, и беда

тебе будет,— угрожал он.— Ну, выдь, лебедь, к другу Симановичу,— понимашь?

И он быстрыми шагами прошел в столовую, к своей компании, закрыв за собою дверь.

Людмила Петровна осталась одна. Но только на несколько сскунд: она не успела заметить, откуда появился в комнате незнакомый, ни разу не виденный ею человек, нерешительной, спотыкающейся походкой приближавшийся к ней.

 Не уходите... одну минуточку, Людмила Петровна! просил он, протягивая одну руку вперед, а вторую прикладывая к губам — показывая, что ей, Людмиле Петровне, не следует гром-

ко подавать свой голос сейчас.

«Это кто еще?! Откуда меня знает,— удивилась Людмила Петровна, всматриваясь в незнакомца,— неужели... кто-нибудь из мамыкинских?!» — И она, оглядываясь на только что закрывшуюся дверь, пошла ему навстречу.

Кандуша бесшумно подскочил к выключателю и повернул его, гася яркий свет верхней лампочки. «Это правильно»,— одобрила Людмила Петровна, хотя теперь трудней и неудобней было наблюдать за его лицом.

— Вот натурально планида свела! — выдохнул из себя Кандуша. — Не пожалеете, Людмила Петровна, благодарны будете, другом называть станете. Гос-споди, боже мой, каким еще другом, позволю себе сказать!

 Вы это о чем? — недоумевала Людмила Петровна, удивляясь его словоохотливости не ко времени и не к месту.

— Касательно того, что и не подозреваете, Людмила Петровна.

Он приложил руку к сердцу и потупил глаза.

 Касательно того (поднял их вновь), позволю себе сказать, что тиранит вашу душу.

— Ну-с, что же тиранит мою душу, милый человек? — не скывая насмешки, спросила Людмила Пегровна и стала приводить в порядок свои растрепавшиеся волосы, вынимая из прически гребень, шпильки: стесняться присутствия «такого» человека, пожалуй, не приходител. (То, что он не «мамыкинець», — уже поняла.) — Так, говорите, тиранит? И сильно тиранит? — повторила она, держа шпильку в зубах, так как руки были заняты закладыванием кос, и взглядом искала, не висит ли где-либо в комнате зеркало, в которое можно посмотреться но его, к сожалению, не нашлось.

«Заиграешь ты у меня, дорогая сударынька, сейчас! — подумал Пантелеймон Кандуша, разглядывая ее исподлобья.— Кудахкулах, курочка!»

 Касательно преждевременно погибшего вашего мужа! Касательно его хотел бы дружески сказать — вот что! — ошарашил он ее. — Сообщеньице имею, Людмила Петровна.

Рука ее быстро вынула шпильку изо рта, и рот по-детски широко, испуганно раскрылся, и это позабавило сейчас Кандушу.

- Вы его знали? шагнула к нему Людмила Петровна. Как ваша фамилия? Не в том суть.— усмехнулся Канлуша.
 - А в чем же тогда? теряла терпение она.
- Обидчика знаю. Истинного обидчика, пипль-попль! По всем статьям готов изложить все дело. А обидчик — лют человек! Казнит и не поморщится. Только мы гордыню его... ушатом холодненьким, ледяным ушатом! Зашипит, зашипит горячее железо, как в кузнице, - примерно говорю, - и остынет, мертво станет; тогда его и бери голыми руками, вот что-с!.. Гос-споди боже мой! Да разве можно простить обидчику, дорогая, извиняюсь за непозволенное слово, - Людмила Петровна! Он, смею удостоверить, живет-наслаждается, на двух конях, можно сказать, и выезжает в жизни своей скрытной: авось да небось — те лошадки его в жизни. А про то не знает, хи-хи, что авоська-то веревку вьет и небоська петлю накидывает. Мы его, Людмила Петровна, дорогая, - извиняюсь! - мы его, обидчика...

И Кандуша, увлекшись, затопал ногами, показывая, как плохо придется кому-то, если испытает тот его гнев.

- Как ваша фамилия? О чем вы говорите? переспросила вновь Людмила Петровна. - Говорите ясней и поскорей, пожалуйста, а то могут войти сюда!
- Вот то-то и оно. остыл и опомнился уже не в меру разгорячившийся Кандуша.
 - Кого вы называете обидчиком?
- Рассказ долгий и конфиденциальный, уклонился он от прямого ответа. - Конфиденциальный, можно сказать, а место здесь вполне рискованное. Мне бы только ваше согласие иметь приду и все сообщеньице сделаю. Адрес ваш, осмелюсь?

Людмила Петровна назвала.

«А может быть, не следовало?» - подумала после того, но тотчас же отогнала эту мысль. Да и рассуждать не приходилось: заскрипела в ту минуту нерешительно открываемая дверь из столовой, и Кандуша шмыгнул туда, откуда появился: в темную ванную комнату. Глядите! — предостерегающим шепотом бросил он.

«Бегите!» - почудилось Людмиле Петровне, и, не отдавая себе отчета в том, что делает, она на цыпочках побежала за ним. В темноте она натолкнулась на его грудь, наступила ему на ноги, но так и осталась стоять - не зная, где находится, боясь неосторожного шума.

 Людми-ила Петро-овна! — протяжно окликал ее (узнала по голосу) Адольф Симанович.

Из столовой прорвался теперь хохот рыжеволосой Лермы и шум беспорядочных, взбудораженных голосов.

 Куда же она пропала?..— приближался голос недоумеваюшего Симановича. Он шел в глубь комнаты.

«Если двинется сюда, скажу — нельзя, туалетом занята... не

смейте входиты!» - притаив дыхание, как и застывший Кандуша, соображала Людмила Петровна.

Но Симанович, пробурчав что-то, повернул обратно.

- Вячеслав Сигизмундович сейчас придет, он сразу раскумекает... Ой, что наделали, пипль-поплы - тоненьким, едва слышным шепотом, процеженным до свиста сквозь зубы, сказал Кандуша.- Ну, теперь один вам выход: отсюда в прихожую, а там... как уж изволите!.. Не купаться же вам тут!

«Так мы, значит, в ванной? - без любопытства подумала Людмила Петровна. - Ванная внутри квартиры... У нас тоже дома так... Уйти разве совсем отсюда? Сейчас, ни с кем не прощаясь, не ложилаясь Належлы? — бежали ее мысли. — Ла. да. скорей домой, на свежий воздух, а то черт знает до чего дойдешь здесь! Со мной что-то странное сегодня, ей-богу... Нет, нет, домой, спать, а завтра все соображу: насчет Симановича и всего...»

Где прихожая? — спросила она.

Сюда... Тихохонько только.

Кандуша взял ее за руку, они сделали несколько шагов и, обогнув какой-то выступ, очутились у низкой двери, прорезанной в стене.

Не стукнитесь. Нагните голову.

Кандуша толкнул дверь, они вошли в маленькую, узкую комнату, до половины освещенную отброшенной в нее бледной, скупой полосой света из окна квартиры напротив.

 А теперь уж сами, Людмила Петровна: как выйдет!..— И Кандуша бегом вернулся обратно.

Лолго раздумывать не приходилось: подошла к плотно прикрытой двери, - она отворилась бесшумно, и Людмила Петровна шагнула в прихожую.

У столика, над которым висело зеркало без оправы и -- на гвоздях — две платяных щетки с ввинченными в них кольцами, силел, облокотившись на стод, заложив ногу на ногу, свесив коротко остриженную сивую голову, какой-то щупленький бритый человек в зеленоватой тужурке с тусклыми оловянными пуговицами.

«Это что еще за фигура?» - насторожилась Людмила Пет-

«Фигура» явно спала, склоненная к тому усталостью, вероятно, после целого дня «работы», а также вследствие неумеренного, очевидно, и несвоевременного потребления вина, запах которого лавал себя чувствовать во всей прихожей.

«Тем лучше! - обрадовалась Людмила Петровна. - Ах, ты... охранный елистратишка!» — уже склонна была она и пошутить, поняв, на кого наткиулась.

Она нашла свою шляпу, жакет, перекинула его на руку, не надела, решив не задерживаться здесь (опять вдруг хлынул из столовой шум голосов. «Ищут меня!» — подумала), и, переступив порог тамбура, повернув винт французского замка, осторожно толкнула дверь и выскользнула на площадку.

 Людмила Петровна, куда же вы?... услышала далеко позади себя чей-то голос и — короткую, глухую брань.

«Охранника это он... Инженер, кажется!» — пронеслось в уме.

осураппика это ин... инженер, кажется!» — пронеслось в умс. Стоявшие у только ито открытой парадной двери Феля и Асикритов услышали, как с площадки этажом выше сбетал кто-то поспешно, быстро-быстро, мелким, легким шажком, стуча, как дробью, каблучками. И еще: гудели наверху чыт-то голоса.

Как будто погоня за кем-то — а?

Фома Матвеевич задрал кверху голову: — А ну-ка...

TVK-TVK-TVK-TVK...

Уже с середины лестничного марша Людмила Петровна увидела их, а они ее.

Что так?! — вскрикнул пораженный Асикритов.

На бегу она ткнула себя в грудь и той же рукой показала на дверь его квартиры.

Поравнявшись с ней, вбежала в асикритовскую прихожую, и журналист, втолкнув туда же ничего не понимающего Федю и сам входя за ним, захлопнул мягко за собой парадную дверь.

Глава шестнадцатая

СЕЛЬДИ АНДРЕЯ ГРОМОВА

На Клинском рынке, что у Забалканского проспекта, в поздний послеобеденный час торговия почти замирает, и редкая хозяйка или прислуга с кошелкой, а еще того реже — с корзиной в руках, обходит ряды выстроившихся здесь ларьков, лавочек, рундуков. Торговцы, сидя у прилавка, пьют чан,—теперь киринчный чаще всего, подогревая в очередь мединые тяжелые чайники на жаровие соседа. Это — зеленщики, мясники, рыбники, бака-лейщики. Еще час торговли и — шабаш: на рыночной площади останутся тогда бездомные, бродячие собаки, босяки-грузчики, домовые извосчики, торговки крендельками и баранками, покоторьми на дне корзины лежат бутылки и бутылочки с «ханжой», и еще прикорнувший в тени навеса, жлущий смены городовся

В этот поздний послеобеденный час из-за угла Серпуховской вышел к рынку низенький, полный человек в длинном не по росту вельветовом пиджаке и в полотияной кепке, сдвинутой на затылок так глубоко, что открывался упрямо взбитый кирпично-рыжий хохол на голове. И, как этот петушным тупей, отем горели под широким мятым носом неровно подстриженные во всю губу усы — густые и колкие. Он шел, держа в одной руке желтый деревянный баульчик,— широко размахивая им: так, что стучала плохо державшаяся на одной петле фанерная крышка. Другую руку он держал в кармане застентуюто пиджаке.

По быстрому шагу, по вспотевшему лицу, по неаккуратно упавшей набок тулейке его сдвинутой на затылок мягкой кепки, по всему его внешнему виду можно было безошибочно сказать, что человек этот очень торопится. Но торопливость эта не покидала его лишь до того момента, как завернул в один из торговых рядов, где от прилавков шел сильный запах рыбьей сырости и овощной плесени, куда заходящее солице уже не проникало, где густо отдавало холодко» эткрытого погреба даже в самый жаркий час.

В этой торговой удичке, где было теперь не болыше десяти — пятнаццати покупателей, не спеша переходивших от дарьма к дарьку, ощупывая каждую репу, пересчитывая количество редисок в каждом пучке прежде, чем их купить, — человек со збитым холком и киричино-рыжими усами, сделав несколько быстрых шагов, изменил вдруг свою походку и, уподобившись другим, стал медленю, вядо слоняться. Так, еще ничего не купив, он дошел до самой крайней лавчонки торговца зеленью и сельдями Андрея Громова.

На минуту он задержался здесь, окинул безразличным взглядом хозяина и его жену, прикурил от папиросы одного из двоих собеседников Громова — соседа по торговле — и удалился куда-то за угол

- А тут и думать не надобно: ясность полная, Иван Осипович.— вел разговор Громов.
- Я вам даже прочитаю, судари мои. Собственноручно писано, с самих позиций доставлено.
- Ну-ну, читайте прокламацию, усмехнулся Громов, перетаскивая одну из корзин с овощами с прилавка в лавчонку.
- Какая така прокламация, Андрей Йетрович? Оскорбляете, ей-богу! Чай, не уплетющить хочу, а истинный документ показываю...

Это было продолжение разговора, начало которого не слышал только что удалившийся человек с желтым баульчиком.

- А ну-ну, позвольте взглянуть, Иван Осипович, заинтересовался второй громовский сосед и протянул руку к письму, которое тот вынул из огромного кошелька, туго набитого деньгами и какими-то бумажками.
- Мы сами,— отстранил его Иван Осипович и, щелкнув затвором кошелька, водворил его обратно в брюки, а письмо расправил и стал читать:
- вил и стал чигата.

 Вот, пожалуйста, судари мои... «Письмо от известного вашего квартиранта, Петра Ивановича. Многоуважаемый Иван Осипович, и вы, Клавдия Алексеевна, и вы, Егор Иванович. («Намедни
 забрали того Егора Ивановича в кутузку», сокрушенно сообщал,
 ок...) Уведомляю вас, что я пока жив, слава богт, затем кланяюсь, значит, вам всем вообще, вам, Клавдия Алексеевна,
 и вам, Иван Осипович, и вам, Егор Иванович, и Паше и Мише,
 и желаю вам от господа бога нашего доброго здравич и всего хорошего в вашей жизии. И передайте Дуне моей, ежели не забыла
 своего русского соддатика, что е жели я, бог даст, буду в добром
 полицию и которые остались по болезии».

- Насчет полиции не слыхать что-то! подал Громов.
- «А мы ждем миру,— продолжал Иван Осипович.— Верно, ждать замирения нечего, его и не будет. Каждый день много наступаем, а еще очень много отступаем. Он («Немец, значит»,-пояснил Иван Осипович) наш полк разбил в пух-прах. Только одна пехота мается, а батареи все молчат, нечем стрелять, а он более бьет нас из пушек. Пропишу насчет пятнадцатого года молодых солдат. То их пригнали на позицию, прямо в бой. Когда по немцам стали стрелять из орудий, то зеленые парни, которые пятнадцатого года, то они все стрекача дали и стали сами себя стрелять больше в правую руку. Так ежели старых солдат не будет, то немцы всю Россию пройдут. Затем, Егор Иванович, я пропишу вам...»

Короткая пауза, — Иван Осипович поглядел по сторонам, заметил у своего рундука какую-то покупательницу в синем жакете, с новенькой корзинкой, крикнул жене: «Клава! Отпусти барыне, что есть свежего, -- слышы» -- увидел, что Клава и сама не даст

промаха, и продолжал чтение:

- «...Затем, Егор Иванович, я пропишу вам про бунты в России, на дорогой родине. Так чтоб все сделали в полной исправности насчет этого самого, чтобы делали бунт, чтобы делали скорее замирение. Мы только ждем, как начнутся бунты, так мы и забастуем, более не будем воевать. Все дела стоят за Россией. Ежели не будет бунтов, то не останется в России хорошего народу. Пропишу вам про то, Егор Иванович, что понятливый вы, Егор Иванович, заводский человек и сами знаете, конечно, кто войну сделал, чтобы убивать хороший народ. Пропишу я вам еще про одного нашего прапорщика, хучь офицера, а солдату сочувствие дает. Дело говорит тот прапорщик, по имени Николай Ильич, мир можно самим сделать всем войскам, ружья к ноге, довольно, пошти два года полных побили нашего брата безо всякой пользы. Половина России калек и сирот».

Иван Осипович опять посмотрел по сторонам и снизил голос: «Надо писать прокламации во все части войск, чтобы все войска порешили больше не стрелять, тогда, может, скорый мир будет. Пишите на все фронты нашим знакомым, чтобы они про то передавали друг другу, и тогда будет согласие. Засим прощайте, Иван Осипович с семейством вашим и друзьями, и прошу вас, как отцов и мать родную, помолитесь господу про дарование жизни известному вашему квартиранту, значит мне, Петру Ивановичу, рядовому Салфеткину, Дуниному жениху, ежели не забыла своего любимого солдатика, какие слова прописала мне сюда на передовую позицию».

Вот и вышло по-моему,— сказал Громов, подмигивая чтецу.

Чего так? — не понял Иван Осипович.

 А насчет прокламаций! — поспешил выказать свою сооб-— A насчет прокламации. — полисшил вявлавато свои соог-разительность второй громовский сосед.— Благодарствую, На-дежда Ивановна,— отвлекся он в сторону, принимая из рук гро-мовской жены вскипевший на жаровне чайник и тщательно обматывая тряпкой горячую ручку его, чтобы не обжечься.— Пошли, соседушка, что ли? Первый прокламатор и есть, Иван Осипович,—так и вышло... Ну, и пошутить уже нельзя, в сам деле! — переменил он тон, заметив, как испутанно помрачнело одугловатое, с нездоровой желтизной лицо Ивана Осиповича.— Ну, чего буркалами хлопать-то? Пошли, пошли, соседушка!

Узенький, сухожилый, с загнутыми кверху усами, льняного цвета, в кончиках которых торчали порознь, как у кота, иглы-волоски, и с такими же кошачыми, жмурящимися глазами, не по-вволяющими взглянуть в себя,— он фамильярно подталкивал растерянно «могревшего Ивана Осиповича, терся запанибрата о его грузную, широкую фитуру, приговаривая:

 Ну, и фатюк же вы, Иван Осипович, ай какой фатюк, в сам деле! Капиталы даже имеете, а такой...

Не досказав, он чихнул неожиданно — крепко, дважды подряд — и сам себя поприветствовал:

 Будьте здоровы, Илья Лукич!.. Апчхи! Салфет вашей милости... красота вашей чести!

 Я не про политику,— отозвался теперь Иван Осипович и строго посмотрел на него.— Мне политика ни к чему, мое занятие — рыба, и человек я приставу известный.

 Сальных свечей не ест Иван Осипович, чернил не пьет и стеклом не утирается,— что и говорить напраслину! — подсказал пословицу Громов и ухмыльнулся.

То-то и оно, — оживился Иван Осипович. — Не такой я человек, чтобы!. Квартирантово письмо, судари мои, читал для обыкновенного интересу. А обыкновенный интерес, думаю, воспретить никто не может.

 Пристав-то и может! — бесстрастно бросил реплику Громов и тем же спокойным, деловым тоном спросил: — С той недели торговать сельдь как будем, купцы святые?

 Уже промеж себя андреевцы и лейхтенбергцы, известно мне, совет держали: делать накидку или нет? — еще больше оживился теперь Иван Осипович, задержавшимсь у порога.

 Рынок рынку не приказ, — засуетился и узенький, с кошачыми повадками Илья Лукич.— Обговорить надо завтра по всему ряду; как и что, Андрей Петрович. Я так думаю, — кругляк — медяшку справа поставить к довоенной цифирке: для ровного счету.

То есть? — спросил Громов.

— Двадцать семь сей день отпускали,— так? А два года наад, известно,— три копейки цена. К цифирке круглячок, налык поставия: он и даст удобный, ровный счет. Нолик — это, скажу вам, самая главная цифра-командир бывает: смотря, какое место ей дашь. Не гляди, что двука это, не выразительна цифра... Благодарствую, Надежда Ивановна! — откланялся он и за себя и за сового соседа.

И когда отошли оба, Громов вполголоса сказал жене:

Надя! Видала «чиновника»?

Нет, где это? — удивилась она.

 Эх. в твоей работе глаза собрать надо, не то что!... – Громов не договорил и укоризненно посмотрел на нее: — Становись, душа, к прилавку, — придет обязательно. Передачу перетащи поближе. Приготовь

Ну, раз сказал «душа» — значит, не сердится. Надежда Ивановна поспешила выполнить распоряжение мужа.

Тот, кого он ждал, появился у лавчонки минут через пять. Все так же размахивая порожним баульчиком, он быстро шагал ядоль ларьков и, только приблуявшись к громовскому торговому месту, замедили шаги и поднял голову, мельком оглядывая редких прохожих.

 Почтеньице, хозяин!— громко сказал он, остановившись у прилавка.— Моркови мне, селедочки и прочего...

Здоров, браток, — тихо, дружески отозвался Андрей Петрович, принимая из рук пришедшего желтый баульчик и передавая его жене. — Посылочку принес или тебе брюквы, салатца?..

Выгружаю сейчас, Андрюша...

— Дело, Бендер!. Так вам, господин, шотландку или астраханскую позволите?— сует Громов в кадку длиниые деревянные щищы и вытаскивает отгуда несколько штук сельдей и кладет их на оторванный полулист газетной бумаги.— Еще чего изволите? Морковочки, брюквы, салатца?

Не морочь голову, Андрюша!— исподлобья усмехается одними глазами тот, которого назвали Бендером.— Чего изволите, чего позволите!— передразнивает он Громова.— Сыпь скорей да уменя забирай, а то, гляди, карман прорвет.

А ума не хватает парусиновый или холстовый сшить?

 — А пиджак-то мой? Ты узнай раньше! Или в чужой карман пришивать, — скажешь тоже!

 Эх ты... «чиновник»!— насмещливо, но без всякой злобы поддразнил приятеля Андрей Петрович.— Ну, чисто чиновник! Хохол бы свой, колдежского регистратора, срезал да сбрил, а то посмотри, каким петухом ходишь. Сколько раз сказано тебе? Присталю разве такое укращение нащему брату?

 Ты меня в солдаты бы сдал, лишь бы причесать по-своему!
 Мало что! А мне, может быть, твое горбатое, петушиное горло не нравится... кадык твой пономарский! А не высказываю я, молчу ведь.

Начав свою встречу неожиданной и необидной пикировкой, они между тем делали каждый то, чего требовала от них эта встреча.

На дно баульчика легла пачка каких-то листков, заботливо уложенных рукой Надежды Ивановны; поверх пачки, накрытой куском рогожки, Громов положил сельци, завернутые в газету, потом пяток картошек, пучок луку, щавель, а кирпично-рыжий бендер вынул из кармана какой-то продолговатый, правильной четырехугольной формы- столбец, аккуратно обернутый плотнострой серой бумагой и крест-накрест стянутый в два ряда шпагатом, и, перешатнув порог лавемонки, вручил его — с предостерегающим и, перешатнув порог лавероми, вручил его — с предостерегающим словом «осторожно»— Надежде Ивановне, сразу же удалившейся в темный угол, где стояли ящики и кадки.

Какой шрифт? — спросил Громов.

 — Латинский мелкий, кегль десять, Андрюша. Что на прошлой нелеле.

Голова одним, а хвост другим, фу-ты!

— Не взыщите,— что под руку попалось. И за то спасибо скажете.

— Да я ничего. Не в красоте суть, а в смысле.

— То-то и оно. Приходить, что ли? Или сами управитесь?

Сами.

Швед что? — спросил Бендер.

— У меня он. Полагаю, ищут...

— Наверно, Андрюша. Еще узнать хотел: двух девчонок видал на прошлой неделе у тебя тут,— проверены?

— А что?

 Не навели бы по дурости или по другой причине,— а? Что за девчонки? Лицом приятны, а, между прочим, не в лице суть, а в годове.

Швед прислал: ему видней!

 Ну, Швед так Швед! пожал плечами Бендер, беря в руки наполненный баульчик. Кланяюсь всем, прощайте.

Да ты хоть, браток, вид подай!— остановил его Громов.—
 Осторожности больше! Набрал — и айда?

 — А-а...— вспомнил забывчивый «покупатель» и, порывшись в кармане, сделал вид, что платит деньги.

 Душа человек! — сказал о нем Андрей Петрович, оставшись вдвоем с женой.

Глава семнадцатая

ЧТО ДЕЛАЕТ СЕРГЕЙ ВАУЛИН

Рука быстро перенесла необходимую цитату на мелко исписанный листок тетради в клеточку.

«Что же является существенным двигателем человечества? — заносил в нее Сергей Леонидович Ваулин. — Научное познание действительности устраняет несбыточные угопии, содействуя построению достижимых идеалов. В то же время оно придает мужество и силы в ведикой жизненной борьбе».

«Проанализируем...» – написал от себя Ваулин, но вместо того чтобы продолжать свое занятие, которым был поглощен вот уже гри часа подряд, да, пожалуй, и еще два отдал бы ему, так как увлечен был работой, — он отложил вдруг ручку в сторону, приподнялся со стула и, взглянув мельком в окно, уже не переставал теперь глядеть в него — в широкую щель раздвинутой занавески.

Напротив, на подоконнике наполовину раскрытого двустворчатого окна, держась ручонками за раму, стояла белокурая девочка лет четырех-пяти. Подайся вперед рама или один неосторожный шаг, закружись голова,— и ребенок, слетев с пятого этажа на камни двора, разобъется насмерты. Да сколько таких случаев бывало!..

Казалось, кроме него, Ваулина, только еще одно живое сушество было свидетелем происхоливщего, но это живое существо, дымчатая кошка, дремавшая, вытянувшись во всю длину, в руглу того же подоконника! Девочка, присаживаясь на корточки, гладила неполямно лежавшее животное, девочка и сома ложилась на подоконник, свесив голову вниз, и вновь подымалась, со смешной деловитостью, тщательно оправляя свое коротенькое розовое платыще, из-под которого торчали, как у больших кукол, кружевные топориациисся панталончики.

На ней был широкий кожаный пояс темного цвета — совершенно излишний, как решил варуг в ту минуту Ваулии: он подумал, по ассоциации, о своей собственной дочурке, ему припомнилось, в чем она ходит, как одевает ее бабушка... Но все это — на одну секунду, на одну терцию, потому что мыслъ целиком, напряженно отдана была маленькому белокурому существу, стоявшему сейчас, как убежден был, на краю тибели.

И никто не видит этого, кроме него, Ваулина! Никто не может предотвратить неизбежное несчастье, которое должно вот-вот произойти... Вероятно, в квартире никого нет сейчас, ребенка на время оставили одного, а когда возвратятся, будет уже поздно.

— Ай... ну, что она, в самом деле!— выкрикнул он и, забыв обычную свою осторожность, отдернул занавеску, распахнул окно и высунулся в него.— Назад, девочка!— крикнул он, но, понял сам. не так громко, чтобы ребенок мог его услышать.

Половинка закрытого до сих пор окна оттолкнута ручонками девочки, а сама она лежит животом вниз на подоконнике, болтая поднятыми босыми ногами: потерять равновесие было делом одного миновения.

 Слезай, Лялька! (так звали его дочку) — не сдержался Ваулин и замахал руками, и голос его гулко разнесся по всему двору.

двору. Девочка подняла голову, ища глазами кричавшего. Она увидела Ваулина

 — Ах ты... Разве можно так? Убъешься! — грозил он пальцем и быстрыми жестами показывал, что она должна сделать.

Девочка отодвинулась немного, но не изменила своей позы. Задрав голову и надув недоуменно и капризно губы, она поглядывала на незнакомого человека, вмешавшегося не в свое дело. Что это еще за дяденька такой?

«Кончится тем, что она убьется»,— нервничал Ваулин, не зная, как дальше следует ему поступить.

На один момент мелькнула мысль, что надо сбежать вниз, подняться в квартиру, где живет девочка, позвонить, предупредить о грозящей ей опасности любого, кто откроет дверь, и тем спасти ребенка. Но он тогчас же отклонил эту мысль стоя здесь и наблюдая за двочкой, он по крайней мере сдерживает ее поступки. он, видимо, влияет на нее своим присутствием, а что может случиться за то время, покуда добежит до ее квартиры?!

Девочка быстро вскочила, повернув голову назад.

Ох ты!..— вздрогнув, уронил Ваулин.

Девочка откликнулась, по всему видно было, на чей-то зов. В глубине комнаты Ваулин увидел теперь голову, плечи и руки рыжей женщины, державшей сковородку. «Ну, слава богу...» Он был убежден, что мать (в этом он не ощибся) немедленно бросится к ребенку и снимет его с подоконника, и на том, наконец, коичаст сго, Ваулина, собственные волнения. Однако женщина инчего подобного, к его возмущению, не делала. Она возилась со сковорого, кой, разжигала керосинку, выходила несколько раз из комнаты и вновь появлялась, что-то говорила девочке, а та, не отвечая, не покидала своего опасного места.

С громким мяуканьем спрыгнула с подоконника встрепенувшаяся дымчатая кошка,— на теплый зов приготовлявшейся еды. «Избить мало такую мать!»— расстраивался Ваулин.

«изоить мало такую мать»— расстранвался обучны — Сударыня!— закричал он, когда та приблизилась к окну.— Невочку заберите... разобъется!

Рыжая женщина улыбнулась ему, кивнула головой, что-то сказала дочке. Девочка посмотрела на Ваулина, сделала вдруг реверане и, приложив ручку к губам, послала ему воздушный поцелуй. Мать взяла ее на руки и, все так же улыбаясь — списходительно со сдержанным лукавством, сняла с подоконника. И тогда голько Ваулин закрыл свое окно, задернул занажеску и сел к столу.

Вся эта сцена продолжалась минут пять или того меньше, перерыв в работе был незначителен, но продолжать ее, — почувствовал Ваулин,— он уже не мог. Ваулин понял теперь, только теперь, как сильно устал, как глухо шумит в ушах и тяжелы руки от локку до пальцев. Он зевнул — несколько раз в течение минуты: то лишний раз говорило о его усталости и в то же время о том, что она уже проходит,— его организм был крепок, и какие-нибудь полчаса отдыха возвращали ему силы.

Тетрадь с листом в клеточку, казавшаяся до того теплой, живой, наполненной сосредоточенной энергией его мыслей, вобращая в себя всем эсок» ес. лежала остывшей, позабытой словно. Порыв ветерка (когда распахнул окно) перевернуя без сечту, напрожатичия, ес странины, и на открытых чистых листах тонким слоем серела налетевшая, набившаяся пыль, еще больше омертвившая страницы.

Он смахнул пыль, отбросил вправо поваленные ветром страницы и нашел ту, последнюю, на которой так случайно оборвалась его мысль.

Но все — напрасно... Работу не сдвинуть было с места,— не клевало.

Так часто случалось с Ваулиным, и, зная эту особенность своего характера откладывать работу, когда она не спорилась, ибо выходила она в противном случае не такой, какой хотелось, таклопнул книги и тетрадь и улегся на кушетке. Через минуту ему

стало неудобно на ней: клеенчатая, с твердым подголовником кушетка была коротка, и, чтобы не свисали ноги и не надавливало в затылок, он приставил к ней стул, а из соседней комнаты принес подушку. — словом, расположился так, как делал это всегда, укладываясь здесь на ночь,

Наконец тело его обрело покой.

Он лежал и думал — беспорядочно, не останавливаясь долго на одном и том же.

Мысли его шли примерно так:

«Ничего, ничего, вот только отдохну немного и допишу статью... Ах, какое глупое дитя: ну, еще один шаг - и такое несчастье! А я ей, кажется, «Лялька» крикнул? Да, да — «Лялька»... Солнышко ты мое, Лялька моя родная, девочка родненькая... Какой ужас был бы... Где это комар звенит?.. Надо матери сказать, чтобы внимательно следила за ней. Тоже ведь высоко живут. Ну, счастлив, что они обе здоровы... А рыжая (это про женщину в окне)дура!.. И если бы я только мог... Кажется, никто, кроме нее, не видел, но все-таки надо быть осторожным... Лялечка, солнышко мое родное, девонька моя ясная. Ничего, ничего... «Вырастешь, Саша, узнаешь»... Бедная, бедная Надя...»

Здесь, подумав о жене, он вспомнил (какой раз за эти годы!) день, которому суждено было, вероятно, всегда стоять в памяти

неповторимым, острым до мелочи знаком.

...Роды наступили раньше, чем оба они ожидали. Это случилось четыре года назад, летом, в Царском Селе, в дачном домике Надиного отца, полковника в отставке. Ваулин лежал в гамаке в саду, читая газеты. «Молодой человек, делом займитесы!»услышал он взволнованный голос тестя. Ваулин вскочил и побежал в дом, -- жена сидела на диване, глубоко откинув голову на его массивную овальную спинку красного дерева, упершись руками в сиденье. На первый взгляд — то ли она хотела осторожно сползти, то ли, напротив, упиралась, влекомая книзу тяжестью круглого, выпячивающегося живота. Она стонала, в лице ни кровинки, и коричневатые, растекающиеся пятна на скулах, как это бывает у многих беременных женщин, еще больше темнили сейчас ее широко раскрытые плачущие глаза.

Через четверть часа, когда прекратились первые схватки, Ваулин доставил ее в местную больницу: возвращаться домой в Петербург, — и думать не приходилось. В вестибюле больницы схватки возобновились с еще большей силой, жена приседала, хватаясь за живот, и не стонала уже, а кричала громко, пронзительно,и Ваулину было почему-то стыдно за ее крики; он испытывал неудобство и в то же время огромную жалость к ней, сострадание, которое - в суете - не знал, как выразить,

Ее положили на носилки и быстро понесли по паркетному коридору, — он не успел попрощаться с женой. Она протяжно, на разные голоса продолжала кричать, руки ее вцепились в ребра носилок, а голова приподнималась с подушечки, не забирая с собой («Как странно!»— подумал Ваулин) лежавших без движения плеч.

Ваулин остался один. Держа в руках поднятый с пола женин голубенький шарф, он вышел на улицу. Он слышал крик жены, крик этот преследовал его все время, много часов подряд: на улице, в поле, в лесу, куда забрался, чтобы никого не видеть, в дачном домике угрюмого, молчаливого тестя. Крик неумолчно стоял в его ушах, как жалоба и укор.

...Ваулин повернулся на бок и усилием воли заставил себя

думать сейчас о другом.

Бедные люди, а Надежда Ивановна какая чистоплотная, аккуратная (это — об остекленном светлом шкафчике перед глазами, на полках которого в чинном порядке стояли чашки, тарелочки, чайник, вазочки)...

Скоро будут дома. Что, интересно, принесут?.. На углу газет-

чик... ну, что может быть нового в газетах?

Он лежал на разбросанных на кушетке газетах,- первую попавшуюся из них он вытащил из-под себя и стал читать. Верней --просматривать. «А-а...» — улыбнулся он тотчас же, взглянув на ее название. Скомкать и бросить под стол? Нет, врага надо знать, надо следить за ним.

Это была газета «Русский рабочий», издававшаяся фактически. — что являлось секретом полишинеля, — департаментом полиции. Редактировала ее «писательница» Елизавета Бор-Шабельская — мясистая, полнощекая женщина в боярском костюме и кокошнике: такой она изображалась на всех помещавшихся неоднократно в газете фотографиях.

Тут же, из номера в номер, рекомендовались читателю «увлекательные» романы ее: «Сатанисты», «Красные и черные», «За стенами Германского посольства». На первой полосе Ваулин прочитал стишки, написанные «путиловским рабочим» Шуваловым:

> Если вся уничтожится рать, То пойдет хлебопашец и плотник, Ткач и слесарь пойдут умирать И последний домашний работник!

«Так, так...» — усмехнулся Ваулин.

Кажется, это были последние строки, которые прочитал: он заснул. Спал он крепко и глухо: он не слышал, как открыли парадную дверь, как вошли в квартиру хозяева, заглянули в его комнату, как возились они по соседству, разговаривая полным голосом. Он проснулся от прикосновения к плечу чьей-то подталкивающей руки. Ого, он проспал немало: в комнату вползал розовато-серый свет сумерек.

 Вставайте... вставайте, — будил его хозяин квартиры, Андрей Громов. — Обед давно готов, чаевать будем. И еще кое-что...

 Чудесно! — вскочил Ваулин, потягиваясь, протирая глаза. — Вы принесли конец набора? Я не ошибся, Андрей Петрович? Совершенно верно. В ночь отпечатаем.

Обедали в этой же комнате: их всего было две в громовской квартире — столовая и спальня.

Надежда Ивановна разливала суп, и Ваулин заметил, как старалась она положить в его тарелку побольше картофельной гуши, и единственный, кажется, кусок мяса, плававший в кастроле, был поделен между мужчинами так, что Ваулину досталась большая его часть.

Он запротестовал, и Громов, погрозив пальцем, шутливо сказал:

— Партийный наказ такой... слушаться надо. Надежда знает,

что делает.

За обелом он рассказал о Бендере, наборщике типографии «Просвещения», о последних новостях вечернен «Биржевки»: думский Протополов из Стоктольма вериулся, и что-то много о нем писать стали, да еще о том, что в той же газетке меньшевики-оборощы напечатали опять свое заявление.

— А что там?— заинтересовался Ваулин и глазами стал искать газету.

 Сейчас! – И Надежда Ивановна мигом принесла ее из спальни.

На второй полосе, — ткнул пальцем Андрей Петрович.

Ваулин прочитал вслух:

— «... Раздающееся в известных кругах обвинение нас в подстрекательстве к забастовке — нелепо, ибо мы считаем, что они обессиливают рабочий класс и дезорганизуют страну, а мы стоим за организованность. Обвинение нас в «скрытом пораженчестве» мы считаем гиусной клеветой, ибо, если бы мы не стояли на точке зрения обороны страны, то не вошли бы в военно-промышленный комитет».

Каково, а? — взглянул он на Громова, дожевывавшего мясо.
 Андрей Петрович утер рот серым носовым платком и сказал.
 — Об чем речи Давно известно: господа оборонцы, с Гвоздевым и компанией во главе, блином, масляным блином в коноваловский рот лезут, поихмостии.

Он говорил спокойно, может быть чуть-чуть угрюмо, все время одним и тем же тоном — ровным и сдержанным, хотя, как знал это Ваулин, терпеть не мог оборонщев-меньшевиков, был непримирим к ним, своим политическим пр-гивникам.

Та же сдержанность покоилась на его маленьком и круглом, как яблоко, серокожем лице с розовыми и тонкими просвечиваюцимися ушами; и только в светло-голубых глазах его, опущенных князу, держалась всетлащияя хитоника.

По отзывам товарищей из организации, да и сам Ваулин в том убелиося, Андрей Петрович был незаменимым беседчиком-агитатором (может быть и лучщим среди питерских рабочих-большевиков), и Петербургский Комитет партии им очень дорожил. Он входил в ПК вместе со старыми подпольщиками рабочими, сторонниками Ленина в социал-демократическом рабочем движении.

Громов был одинаково осторожен и выдержан на любой конспиративной работе, а вести ее приходилось в разных местах. В трактире «Лондон», на углу Лиговки и Курской, прозванном «Капернаум», где за бутылкой портера всегда можно было встретить свою, рабочую публику всяческих профессий; в лиговском народном доме, часть помещения которого заняли под сборный мобилизационный пункт, что привело сюда немалое количество ругающихся и плачуших жен с детьми, быстро поддававшихся антивоенной агитации; на собрании участников большченой кассы завода «Парвиайнен» на Чугунной, где не работал, но куда надощного это пределенно попасть, чтобы умудриться всучить, «колебношихся» листовки большевиков; в лесу, на сходке в районе Благовещенской и проспекта Пегра Великого, куда в проверенную, в общем, компанию партийных слиномышленников могли затесаться, уже наверно, агенты царской охранки.— всюду и всегда спокойствие и осторожность е покидали Андрея Громова.

За эту черту его характера да еще за уменье путем толковой бесседы внушить к себе доверье, слушательей и влиять на них кто-то в шутку назвал его «Лекарь», и это стало его партийной кличкой; так же как Ваулина, по внешнему облику его, многие товарищи называли «Шведь».

Андрея Громова Ваулин не только уважал и питал к нему приязнь, но и считался с его суждениями, прислушивался к ним, проверяя тем правильность своих собственных.

Ваулин был одним из тех немногих партийных лигераторовинтеллигентов, унслевших от ареста, кто составлял главную литературную силу разгромленной в войну петербургской организации. Надо было писать листовки, прокламации, статьи в изредка выходившие номера подпольной газеты, составлять конспекты речей рабочих-большевиков, которые те должны были произносить на безобилиях, на первый взгляд, собраниях, писать своям-корресполенции в заграничный орган ЦК — «Социал-демократ»,— за последние полгода на Ваулине лежало немало обязанностей. И Анарей Громов бережно, любовно,— замечал Ваулин,— хранил до поры до времени листки его рукописного имущества (и, чтото не оставалось викакого следа, уничтожал их после печати); однако он часто вносил в них свои поправки. Он вчитывался в написанное Ваулиным. Квалил, но тут же прибавлял:

А не разменять какой рупь на медяки?

И безобидная, ласковая хитринка светилась в его глазах.

Вначале Ваулин не понимал иносказаний Андрея Петровича: — То есть... какие такие медяки?— но вскоре усвоил эту

манеру речи своего приятеля.

 Разменять рубль на пятаки? А это вот что: написать надо просто. Громкие рублевые слова разменять на простые, на понятные всему нашему брату. Для кого пишем? Для рабочих пишем, значит...

И он делал выразительный жест рукой, быстро раскрыв до отказа кулак, натянув ладонь и отогнув далеко в сторону большой палец; сами, мол, понимаете...

Чувствуя всю справедливость указаний Андрея Петровича, Ваулин соглашался с ним, старался писать листовки проще, выбирал слова точные, знакомые читателю подпольных прокламаций,

и только удивлялся каждый раз, насколько метки и правильны были всегда замечания этого типографского рабочего, умудренного опытом повседневной партийной работы. Прокламацию, посвященную аресту думских депутатов, писал Сергей Леонидович совместно с Громовым.

 Как дочка? Может, надо передать что ей и матушке? спросил в конце обеда Андрей Петрович. - Если интересуетесь,

Надежда завтра сходит, все сделает.

 Да, да...— подтвердила Надежда Ивановна.— Мне что? Я мигом... Я ребеночка ващего повидаю и все расскажу вам потом. Записку отнесу, как прошлый раз.

Она смотрела на Ваулина уютным, услужливым взглядом темных, слегка навыкате глаз. Обычно молчаливая — она вдруг оживилась теперь, краска залила ее узкое, смуглое, как у сербиянки, лицо с тонкими, сухими губами.

 Дочка у вас какая хорошая! Ножки стройные, голосок динь-динь-динь!

 Ничего, мать, поздоровеешь — своего заведем. Не сокрушайся, мать, не сомневайся, — встал из-за стола, подошел к ней и похлопал по плечу Андрей Петрович, и видно было, что хотел замять неудачно всплывший разговор.

Ваулин начал было рассказывать о девочке, едва не упавшей с пятого этажа, и о своих волнениях по этому поводу. Но вдруг показалось ему, что делает сейчас глупость. («Ах, надо было отвести разговоры о детях, раз она так болезненно реагирует!..») И оборвал свой рассказ, виновато взглянув на смотревшего исподлобья Андрея Петровича.

Однако на этот раз он ошибся, - Надежда Ивановна, усмехнувшись, сказала:

 Эта Маргаритка хоть свалится, но никогда, ни в жисть, не разобъется. Мы с Андрюшей раньше тоже очень беспокоились, а теперь не обращаем внимания.

И она в два голоса с мужем сообщила Ваулину: Маргаритка дочь цирковых артистов, работающих на трапециях. Хлеб зарабатывают всей семьей. Надежда Ивановна сама видала в цирке эту самую Маргаритку, висящую над сеткой на опущенных книзу руках своего отца. Она привычна к «высоте», и дома на подоконнике она стоит частенько, но упасть и разбиться не может, так как на ней надет пояс, а от пояса идет длинная, не замеченная, очевидно, Ваулиным, тонкая, но прочная веревка, прикрепленная предусмотрительно к ножке кровати или к дверной ручке. В том-то и весь секрет, и нечего было волноваться.

 А высовываться вам в окно — тоже ни к чему! — добавил Андрей Петрович.— Увидят! «Что за жилец такой новый?» — подумают. Кому это нужно? Попадись вы на глаза старшему дворнику, да хоть и вообще дворнику, - сразу неприятность. Сами привяжутся да еще хозяину доложат. А, между прочим, знаете, кто домовладелец наш? Хулиганье, черносотенец я-тте дам, гиена в мундире.

Но в каком мундире ходит громовский домовладелец, Ваулин уже не расслышал, верней — не обратил на то внимания. Оно целиком было отдано сейчас третьей полосе вечерней «Биржевки», которую, пробегая глазами, держал в руках.

На этой третьей полосе, в правом верхнем углу ее, среди обычного текста городской хроники и фельстонов, Ваулину попалось на глаза — на таком неожиданном в газете месте!— набранное крупным шрифтом объявление, оторяващееся от всех остальных, вздлетевшее наверх, в узорчатой квадратной рамке.

Он не спускал с него глаз: о, никакого не могло уже быть сомнения!.. Как же поступить? Ах, черт возъми,— ну, конечно же, так, как там сказано! На почтамт? Нет, теперь уже, пожалуй, письмо может запоздать. Он опять взглянул в текст объявления: «3-3» нонпарелью— это означало, что заказ зидательством выполнен и объявление печатается сегодия в последний раз.

Да, да, письмо может опоздать, не дойти,— ведь он, черт возьми, прозевал минимум два дня, безвыходно сидя здесь, у Громовых, занятый работой над статьей для «легального» журнала. А в это время...

(Конечно же, Вера Михайловна вызывала его, как всегда, через корректоршу этого журнала, а та, вероятно, захворала и потому не могла выполнить данного ей поручения.)

Ваулин, едва сдерживая свое волнение и радость, встал из-за стола, сложил газету вчетверо и спрятал ее в карман.

«Один семь-семь восемь-семь», — повторял он в уме, словно боялся забыть эти цифры и порядок, в каком они следовали.

- Ну, успеха! прощался он через час с Громовым. И мне пожелайте.
 - Ночевать придете? вышел из чуланчика Андрей Петович.
- Пальцы его растопырены, запачканы черной, пахнущей керосином краской, кистью руки он отбрасывал наверх сползшую на лоб прядь растерявшихся волос.
 - Другого места нет. Хотя, знаете...
 - Ваулин что-то соображал.
 - Вам видней, не торопил его с ответом Андрей Петрович.
 Н-не знаю, все еще не решил Ваулин. А записочку мате-
- Н-не знако,— все еще не решил разлин.— А записочку матери моей пусть, пожалуйста, Надежда Ивановна отнесет завтра.
 Я там оставил... в конверте,— вспомнил он совсем о другом. Громов кивнул годовой.

— Только к Шурканову не ходите, — неожиданно сказал он, и Ваулин вздрогнул даже от удивления: вот сейчас, сию минуту он мак раз подумал о том, что, может бать, придется отшатать сегодия на Выборгскую сторону, к старому большевику Шурканову, бывшему в прошлой Думе депутатом, избранным в Питере по рабочей курии.

Квартирой Шурканова, прекратившего одно время активную партийную деятельность, часто пользовались работники Петербургского Комитета для свиданий, ночевок, а некоторые — и для продолжительного пребывания в ней, для жилья. Шурканов — преданный делу человек, - так почему же Андрей Петрович советует не ходить к старику?..

Громов насупился, замотал своей маленькой головой:

 Шурканова квартира — фонарь для охранки. Это я верно говорю.

 От такого подозрения с ума можно сойти!— вскрикнул Ваулин. — Ведь надо же доказать это, Андрей Петрович! Доказать, а? Вы понимаете?

 Ладно, понимаю, — все тем же ровным тоном ответил, прощаясь, Громов. - Доказательства сами придут. А я - чувствую...

Ключ взяли? -- вернулся он к прежнему разговору.

 Взял,— проверил себя, нащупал Ваулин в кармане брюк раздвоенную бородку ключа.— Успеха!— дружелюбно бросил он вновь, глядя на запачканные черной краской руки Андрея Петровича.

И вышел из квартиры.

Глава восемнадцатая СЕМЬЯ НА ДАЧЕ

Этой ночью приснился отчего-то Трафальгарский сквер, огромная ионическая колонна, наверху которой в туманных облаках, гордо подняв голову, стоял адмирал Нельсон. А он, Лев Павлович, держа за руку Юрку, стоит у памятника и объясняет что-то сыну.

что именно - так и не вспомнилось наутро, но почему мог присниться английский сквер, да и не только он один, казалось понятным: весь вчерашний день он, Карабаев, и клювоносая, в золотом пенсне. Ольга Дмитриевна, помощница в делах, перечитывали заграничный дневник Льва Павловича. О да, таинственно пропавший дневник очутился вновь в его руках...

Это случилось так. Вчера утром неизвестный молодой человек принес в редакцию газеты, где работает Ольга Дмитриевна, большой пакет и вручил его швейцару внизу. Пакет оказался дневником Льва Павловича. К нему была приложена кратенькая, двухстрочная записка, сообщавшая, что бумаги найдены в купе вагона во время уборки его. Прекрасная, исполнительная Ольга Дмитриевна немедленно примчалась на дачу. Какое счастье, господи: ни один листок не пропал, все лежало в полном порядке, - Лев Павлович был искренне обрадован, и даже мысль о том, что его записи побывали в руках охранки (а что это так — он был убежден), не омрачила сильно на сей раз его радости.

Ну, так вот: то ли еще могло присниться после прочтения дневника, после оживления в памяти всех заграничных впечатлений? Мысль во время сна — как ветвь, опущенная в соляное озеро: вытащишь ее, а на ней каждый раз в новых, причудливых сочетаниях кристаллики соли разной формы,— так и подумал о своих сновилениях Лев Павлович.

Подумал сще и потому, что, кроме Юрки, очутившегося у пымитика английского адмирала, приснилась (что за черт!) всякая чепуха: бурая корова со сомовниями рогами, бредушая по перрону Финляндского вокуала, а у колокола — достница с навленнями на нес дамскими цветными шалями, и еще игра в футбол на здешней дачной площадке, разгоряченные, вспотевшие лица бегающих футболистов, среди которых то и дело мелькало смугло-матовое, усатое лицо, с узкой ямочкой на подбородке, Александра Дмитриевича Протопопова.

Впрочем, последнее-то было объяснимо, как и Трафальгарский сквер: на столике, у кровати Льва Павловича, лежала кипа виерашних газет, а они почти полны были разных сообщений о возвращении на родину из Стоктольма товарища председателя Государственной думы А. Д. Протополова, «удостоенного», как сообщала пресса, монаршего приглашения сделать доклад о по-

«Харя!» — подумал Лев Павлович о своем думском коллете, котя лицо того — благообразное, с правильными чертами — не заслуживало такого сурового отзыва, а сам Лев Павлович обычно избетал грубых слов по чьему-либо адресу. Но Протопопова он не любил, невъзлюбил его давно.

«Харя... хвастун!— уперлась мысль Льва Павловича в одну и ту же точку.— И приснится же... как крыса: к какой-нибудь неприятности!»

Еще лежа в постели, он протянул руку к стакану с молоком и ватрушке, заботливо приготовленным для него Софьей Даниловной, быстро съел это и сразу же закурил, чего он не позволял себе лелать натошах.

Он был один в комнате,— жена давно уже возилась по хозяйству, и он слышал ее голос, доносившийся со двора в открытое окно, занавешенное полотняной шторой.

Кудахтали куры хозяйки, изредка долетал в комнату ее финкий говор, жужжал, биясь в стекло, гулкий шмель, голосил где-тона улице пройдоха-офеня, тарахтела на выбоинах крестьянская повозка,— но все это не разрушало еще наколленной за ночь тишицы раннего соли-еного утра за городом, в деревне, а Льву Павловичу, привыкшему к городскому шуму, тишина эта казалась и вовсе нерушимой, застъящей.

Дважды прокричавший в соседнем дворе петух отваке на минуважды прокрича,— он подумал о петухе и — тотчаже — о купающихся в речке ребятишках, о приземистых, с колокольчиками на шее, здешних коровах в респымом лесу, о старушках финках, молчаливо собирающих там же трибы,— ну, словом, о мирном идиллическом укладе тихой деревенской жизни, издавна близкой его сердцу, волей судьбы отданному, однако, другому.

И как, в сущности, ему приятны и любы эти молчаливые старушки крестьянки! Этот трудолюбивый, весь день в мерных

и мирных заботах, плотник, хозяин дачи, Вилли Котро — такой же дельный работяга, ака и все обитатели сельской России; как милы все эти белобрысые, резвые ребятивик, сражающиеся в егородкие, улящие рыбу с умением опытных рыбаков, с детства привыкшие обращаться с топором, рубанком, сапожной иглой; все эти хлопотливые, выносливые, беретущие семейный очаг жены бесчисленных Вилли Котро, сидящих — от Балтики до Черного моря и от утраченных теперь польских деревень до Великого океана — на раздольной, широкой русской земле... Хороша, ах, как хороша могла быть жизнь на нека

Могла быть, но... так угасла минута идиллической умиротворенности и мечтательности Льва Павловича: надо встать, одеться, приняться за работу, которую не счел возможным бросать даже на

отдыхе.

Он протянул руку все к тому же столику, на котором стоял опорожненный стакан из-под молока, взял оттуда верхний, из тонкой стопки бумаги, наполовину заполненный листок и хотел пробежать его глазами: увидеть, вспомнить последнее, что написал еще позавчера, вспомнить в полумать о том, о чем следует еще вот сегодия писать («в газету... передать с Ольгой Дмитриевной... попросить, кстати, ваянс под эти заграничные очерки...»), но, начав читать листок, не закончил чтения.

Забыл стряхнуть пепел от папиросы,— он упал на белое пикейное одеяло, и, заметив это, Лев Павлович всполошился, откинул одеяло, вскочив с кровати, стал вытряхивать его, как будто оно и в самом деле могло загореться от пепла.

«Нервы!— осадил себя Лев Павлович.— Проснулся, батенька, сразу же и одевайся».

и, как был в пижаме, всунув ноги в комнатные туфли, он вышел из дачи на крыльцо.

Умывался он тут же, во дворе, за выступом дачного домика. большого эмалирована, стоя сбоку, слегка наклонившись, поливала из большого эмалированного кувшина, держа его обеими руками, широко расставив ноги — не хотелось облить водой свои кожаные желтые туфли.

 Приятно тебе, Левушка, правда? Еще хочешь? Сделай одолженье, друг мой. — любовно говорила она.

Бр-р-р... давай, давай, Соня. Хорошая, холодная, чудная вода!

Тоже расставив широко ноги, нагиувшись, голый по пояс, Лев Павлович подставлял под кувшин чашкой приставленные одна к другой ладони с загнутьми кверху пальцами и воду не подносил к лицу, а, словно озорничал, бросал се в лицо — в глаза свои в бороду, в тустые усы. Несколько раз он намыливал шею и тщательно, засовывая мизинцы в уши, промывал их и натирал догодна, то в при в мари себя по волосатой, грясциеся жирной груди, тер бока и плечи, просил жену «много, много воды» лить ему прямо на голову.

 Ну, хватит уже! — умеряла его пыл Софья Даниловна, опуская наземь кувшин. — Не простудиться бы, Левушка...

И она нежно похлопывала его по натянувшейся, гладкой спине и, как много лет назад, в первые годы их совместной жизни, щурясь и оглядываясь по сторонам, закусив губу, ласково, украдкой пощипывала его плечи.

Скорей одевайся, а то соблазнишь всех местных красавиц!
 Стыдись... отец семейства!

И, отойдя уже, из-за угла дома окликнула его:

 — Левушка, Лев Павлович! Мы все ждем к завтраку. Поскорей, милый!

Через несколько минут он закончил свой туалет, чувствуя себя бодрым, здоровым и в хорошем настроении.

На камне в сторонке лежало широкое, червонного золота, обручальное кольцо, снятое, по обыкновению, перед умыванием с пальца. Руке словно чего-то не хватало. Не только руке, но и всему Льву Павловичу,— он обрадованно нашел глазами кольцо и надел его: как будто пригнал для абсолютного порядка последний недостававший винтик.

Завтракали на остекленной веранде втроем: Ириша, он и жена. Юрку, как ни будили, не могли поднять с кровати после ночной рыбной ловли.

На столе — творог, сметана, редиска, крутые яйца, масло, кофе и миска свежей земляники — любимая пища всей карабаевской семы, и Лев Павлович — бодрый, освеженный — с немалым аппетитом поглощал все это, а ягод и сметаны с сахаром откушал по две порции, — к великому удовольствию Софы Даниловны.

За столом Лев Павлович рассказал о сегоднящних своих сновидениях, и Софья Даниловна заметила участливо, что нехорошо, когда снится так много снов: мозг не отдыхает, а ты, Левушка, к тому же такой впечатлительный,— нет, нет, хорошего тут мало,— надо не думать, совсем не думать на даче ни о какой политике. К чему это все? Успестся еще.

Ириша модча слушала материнские нотации отцу; она с охотой вмешалась бы в разговор, но ведь у нее свое мнение о политике, а это может вызвать только неудовольствие и раздражение родителей,— так уж лучше помолчать.

А Лев Павлович, дойдя в своем рассказе до «футболиста» Протопопова, вспомнил вдруг (очевидно, в прямой связи с вчеращними газетными сообщениями) об одном эпизоде в парижском

отеле «Crillon», где останавливалась думская делегация.

И, вспомнив, почувствовал, что необходимо рассказать о нем, огласить хранимое в памяти теперь же, сейчас, хотя не думал, что это может быть интересно жене и дочери. Пусть так,— он вес же расскажет, повторит для самого себя, потому что такова уже потребность фаздделаться» с неприятным ему человеком, как Александр Дмитриевич Протополов. Может быть, этим самым он выбосит его из памяти на целый день, чтобы ничто уже неприятнос босит его из памяти на целый день, чтобы ничто уже неприятнос.

не раздражало и не отвлекало во время отдыха и работы над очерками для газеты.

И Лев Павлович сказал:

- Ты знаешь, Соня, как я отношусь к этому человеку. В нем много. ну, много хлестаковщины, что ли, и этим все сказано. Но, надо признать, в течение всей поезаки, особенно пока мы екали туда, инчего особенного, я бы сказал странного, я в нем не замечал. Человек как человек, говорил довольно связию, довольно банально, мало интересно, но вполне прилично. Говорил по-английски, по-французски там, где надо, и нам этого было совершенно достаточно. (Пододвинь мне, пожалуйста, Сонюшка, редиску... Спасибо!) Ко всем членам миссии он проявлял чрезвычайно дружелюбное отношение. Не к чему было придартась призначание дружелюбное отношение. Не к чему было придартась призначение.
- Так, может быть, ты, Левушка, не прав? подала голос Софья Даниловна, протягивая дочери намазанный маслом кусок хлеба. (Так уже повелось в карабаевском доме, что всем в семье намазывала хлеб маслом сама Софья Даниловна,
 - В чем это не прав, Соня?
- Ну, в оценке этого человека. Ты сам рисуешь его джентльменом.
- А ты вот послушай!— обрадовался Лев Павлович тому, что жена с самого начала заинтересовалась его рассказом.— Я не хочу его умышленно чернить (я вообще не заинмаюсь этим делом, как тебе известно!), хотя, повторяю, мне он глубоко чуждый и неприятный человек. Но вот тебе сценка...

Он принял из рук жены большую фарфоровую чашку кофе, забеленного жирными сливками, хлебнул из нее и продолжал:

- Да, вот тебе такая сценка... Как-то поздно ночью (надо тебе знать, что мы были заняты с девяти утра до глубокой почи), возвратившись после какой-то официальной встречи, я пришел к себе в номер и старался набросать страничку своего дневника. В это время стук в дверь Входит Протопопов: «Можно к вам?» – «Можно».— «К вам у меня очень большая просьба».— «Что скажете?»— спращиваю. Он начал рассказывать, что затевает очень большую газету, европейского масцитаба, которую субсидируют крупнейшие банки, что эта газета должна быть либеральной и беспартийной.
 - Об этом во вчерашних газетах писали, Левушка...
- Да, да... Он надеется, понимаешь ли, с помощью этой газеты бороться на выборах с попытками их фальсифицировать, как это было сделано с четвертой Думой. В газету привясчены вас лучшие люди, как он выразился, и что он просит также и моего сотрудничества.
- И ты дал согласие? выпалила, покраснев, Ириша, да так горячо, что Софья Даниловна немедленно обменялась с мужем многозначительным, красноречивым взглядом: «Вот видишь... Обрати внимание!»
- Нет, курсёсточка моя,— спокойно ответил Лев Павлович, перехватив взгляд жены.— Я сказал, дорогие мои, что сотрудни-

чаю главным образом в «Речи» и что ие могу себе представить свое участие в двух газетах, из которых одна «соминтельно-беспаринная». Тогда он говорит: «Там будут Короленко, Максим Горький, Амфигеатров, будет даже Меньшиков, и в думаю, что нужно, что-бы все, кто имеет талант, взялись за это дело». Ты поинмаешь, Соня, эту «платформу»? (Дай, голубушка, еще кусочек сахарку!) Я говорю сму: «Вы меня простите, Алексанар Дмитриевич, но это челуха!» Он стал уверять все же, что это возможно: что газета пойдет, что все будет великоленно. Мне стало скучно говорить на эту тему, и в ему сказал: «Знаете, Алексанар Дмитриевич, вы меня оставъте с таким предложением. Я не могу в это дело войги, со-трудничество в такой беспринципной газете для меня невозможное. — Папа, я тебя уважаю!— захлопала в ладоши Ириша.

— А я уже начал сомневаться в том, доченька!— не без намека на что-то ответил Лев Павлович и ласково посмотрел на нее: «Какая красивая, и липк какое открытое, бесхитростное..»— Ну, так вот... Тогда он говорит: «Какой вы злой, Лев Павлович, нехороший»— знаешь, капризно так, скосюкал: взрослый человек, фу, довольно противно это у него получилосы!

Лев Павлович сделал брезгливую гримасу: ноздри сжались,

усы опустились вниз. Да-а, «какой вы злой, нехороший,— говорит он,— пойду я к Павлу Николаевичу: он меня лучше поймет, он, наверно, согласится». Я на него посмотрел с изумлением и думаю: «Что такое?! Можно ли это говорить, когда я отказываюсь, а он пойдет... к кому?! К Милюкову? К Милюкову, который ведет «Речь»,пойдет просить сотрудничества в своей газете?! Сумасшедший! И шарлатан...» Я пожал плечами, — Лев Павлович и сейчас сделал то же, — и говорю: «Что ж, идите». Мне показалось удивительным, ей-богу, странным, как этот человек ничего не понимает. Как можно свести Короленко и Горького с нововременцем Меньшиковым и туда же пригласить Павла Николаевича! Это же чепуха, а он говорит, что это будет легко, доступно и возможно. Мне это показалось ужасной дичью... Затем — тоже в Париже: уже на обратном пути из Италии. Куда-то надо было нам ехать, — постой, я даже припоминаю куда: мы должны были ехать к Ротшильду: Павел Николаевич, он и я. Он присылает своего лакея, с которым, кстати, как барин, никогда не расставался, - присылает с сообщением, что болен и не поедет. Я решил его навестить. Прихожу. Он лежит в постели раздетый. Действительно: видимо, скверно себя чувствует — пульс высокий. Я стал, как врач, его осматривать. Между прочим: у этого барина всегда дурной запах изо рта... Стал осматривать его: не то инфлуэнца, не то малярия — неизвестно что. Однако думаю: «Нет, это не инфлуэнца, что-то другое». Говорю ему: «Может быть, вы просто нервничаете, Александр Дмитриевич?»-- «Да, я переутомился, со мной нехорошо. Вы, однако, не имеете права мне сочувствовать: вы злой и подозрительный». Видала, Соня? Я злой и подозрительный!.. «Вы теперь меня не треплите.— не говорит, а жеманится.— Такая трепка не по мне, я за

себя боюсь. Со мной это иногда бывает, я иногда соскакиваю». В этом словечке, кажется, весь ключ... весь ключ к этому человеку. «Соскакиваю»!. Патологический субъект, развинченный, неврастеник, враль!

Лев Павлович замолчал и стал доедать землянику.

 — А почему враль? — поспешно спросила его Софья Даниловна, догадываясь, что что-то еще не досказано в повествовании мужа.

— Почему враліг— переспросил он, подбирая ложечкой с блюдца последние ятодки, подталкивая их мизинцем: никак не взять было одной лишь дожечкой.— Вообще врать, а еще, в частности, потому, что в тот же вечер, как мы узнали, усхал куда-то за город в обществе весьма сомнительных женщин. Это больной-то!— с неподдельным, горячим осуждением сказал Лев Павлович.

Прислуга принесла забытую им в комнате коробку папирос, спички, ракушку-пепельницу. Лев Павловии обратил внимание на то, что вот уже второй день в пепельнице лежит недокуренная на три четверти папироса, которую, конечно же, давно пора бы выбросить, но остальные окурки Клавдия, прислуга, выбрасывает, а этот остальяет, клага куревом виси.

Подумал о ней иронически, но с любопытством: «До чего хозяйственная крестьянка!»— окурок на ее глазах выбросил в окно,

закурил новую папиросу.

К концу завтрака пришел Юрий: темные волосы прилизаны, ниткой — тонкий пробор на боку, темноглазый, немного продолговатое лицо с прыщиками на подбородке, нос заметен, остер, весь очень похож на Георгия Павловича, на дядю, — отмечала всегда Софъя Даниловна.

Карасей восемь штук и мелкой рыбы фунта два!— объявил он, салясь к столу, шумно пододвигая стул.— Дезертир помогал.

Какой дезертир? — в один голос спросили оба родителя.

 Ну, известно, какой — обыкновенный! — фальшивым юношеским баском ответил сын. — Тот, что воевать не желает и от властей прячется. Изменник отечества, короче говоря. Субъект наказуемый.

Родители переглянулись: не понять было сразу, каким тоном говорит их сын — насмешливо или серьезно. И оба предпочли не повторять своего вопроса.

Но Ириша полюбопытствовала:

Каким же это образом он тебе помогал, Юрик?

— Не образом, а руками, мадемуазель. Сидели мы оба и удили. Вот и все. Удили и разговаривали, — тут я и понял из разговоров, с кем имею дело. Чистопробный дезертир: денег попросил на дорогу. На билет. Сам он из Тихих вод.

— Это что за местность — Тихие воды, какой губернии? — задала вопрос Софья Даниловна, очищая для него яйцо от скорлупы.

Он рассмеялся и снисходительно, как показалось Льву Павловичу, посмотрел на мать.

Местность эта не имеет губернии, но встречается теперь часто, мама!

- Что за манера... Ты усвоил, кажется, очень плохую манеру, Юрик, отвечать загадками и каким-то странным тоном, друг мой!— рассердился на него вдруг Лев Павлович.— Потрудись отвечать по существу.
- Я ничего особенного не позволяю себе,— смутился, к удовомствию Льва Павловича, Юрий.— Извольте, я вам все объясню. «Тихие воды»— так называют в шутку солдаты поднадзорную вонискую команду, из которой они убегают.

Ну, не все убегают!— отрезал Лев Павлович.

 Не всем удается, но все хотят, — сказала как бы невзначай Ириша, встав из-за стола. — Спасибо, мамочка... Я пойду к гамаку, в рошу.

Проходя мимо отца, она вдруг приблизилась к нему и, не глядя в лицо, поцеловала его в щеку. Он ощутил ее теплые, мягкие тубы, они отдавали слегка запахом свежего молока, сладкого теророга, пеклеванного хлебца. «Ах ты мой теленочек родной!»— подумал о ней нежно, хотя еще секунду до того готов был, как и на Юрку, рассердиться.

Через минуту Ириша вышла со двора, пересекла песчаную рыхлую дорогу, взбежала на зеленый бугорок и, обхватив сзади сцепленными руками голову, медленно и плавию, немного раскачиваясь, что напоминало походку матери, Софьи Даниловны, направилась в лесок.

Лев Павлович долго провожал ее взглядом, сидя в плетеном кресле на веранде.

Вот она свернула направо, пошла какой-то тропинкой, и, чтобы видеть ее, надо повернуть в ту же сторону, направо, голову,— и Лев Павлович, отвернувшись от стола, глядит теперь вдаль, сквозь стекло широкой верандной рамы.

Но стекло озорничает, как кривое зеркало в Луна-Парке, волнистое, «пъяное» стекло, приобретенное экономным, маломиущим плотником Вилли Котро, смещает, ломает перед взглядом безукоризненно прямые сосны, превращает в смещной зигзат гропинку, разлавивает, обезобравлявает плавно издупую фигуру Ириши. Лев Павлович ищет ровное, «трезвое» место в стекле Вилли Котро, для этого встает даже, не спуская взора с удаляющейся дочери.

«А ведь нам следовало с ней поговорить, пооткровенничать. Чую, что надо...—решает он вдруг, как бы отвечая каким-то другим своим мыслям, пришедшим уже не только сейчас, а еще раньще, в первый день возвращения из-за границы. Верней в первую ночь разговора с женой, Софьей Даниловной...—Да, да, объясниться надо. Только бы найти подходящий случай».

Он и не предполагал в ту минуту, сколь скоро представится этот «подходящий случай».

Глава девятнадиатая

БОЛЬШЕВИКИ: СТАРШИЙ И МЛАЛІНИЙ

Когда познакомились и прошли первые пять минут беседы, Ваулин искренне признался:

А я и не подумал бы раньше, что вы такой!

Сухопарый собеседник стянул серый гарус своих бровей, улыбнулся и сказал:

- Такой, Сергей Леонидович, каким полагается быть в данный момент. Лении, хваля, очевидно, за способность преображаться, называет меня Прарцельском Знается висстнадыатом веке существовал такой известный реформатор алхимии. Все сохранившиеся трищать пять портретов его очень мало походят один на другой. А настоящее имя его не Парацельс, а вот такое: Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогентейы. Вот, извольте запомнить,— так и со мной иногла!. Ну, да ладно, поговорим о деле, товариц.
- Во всяком случае,— отвечая улыбкой на улыбку, сказал Ваулин,— на нашего российского куппа первой гильдии Савву Абрамовича Петрушина вы действительно не очень смахиваете. Надо думать, что и «купчиха» Евдокия Николаевна...

— ...ничего общего с замоскворецкими купчихами не имеет,—

закончил ваулинский собеседник.

Да, Савва Абрамович. (Так и просил называть себя.)
 Позвольте, вы откуда звонили мне? — скачками шли его

— Из аптеки

вопросы.

Никто не слушал вас?

По-моему, никто.

Это хорошо. Вы сами понимаете, что за вами, конечно...

...слежка, — кивнул годовой Ваулин. — Я осторожен, как могу: шел сюда буквально волчыми шатами. Я хорошо знаю Петербург и, узнав адрес, вспомнил, что можно пройти сюда двумя сквозными дворами с Мойки. Но я не ожидал, что попаду...

Недоговоренное заменил жест (развел руками) и удивленный огляд комнаты во все стороны: мол, довольно шикарно тут у вас,

Савва Абрамович назвал фамилию хозина квартиры: крупного фабриканта, главы акционерного общества, широко известного в Европе

«А-а, квартира шефа...»— тотчас же вспомнил Ваулин рассказы товарищей о Савве Абрамовиче.

Мы одни в квартире, если не считать прислуг. Семья хозяина в Крыму, а сам он хотя и в городе, но приедет сегодня очень поздно.

Они сидели в разных концах крытого розовым шелком узкого диванчика с инкрустациями на изогнутой стинке, с выгнутыми, позолоченными ножками, выточенными из карельской березы Комебель в комнате — студья, столики, второй диван — была точно такой же. «А все-таки безякусицай»— не одобрил Ваулин, огля-

дывая комнату. Понравились только атласные, без всяких украшений и узоров, обои, словно дававшие мягкий дополнительный свет к электрическому, горевшему высоко под потолком.

Прислуга в белой наколке принесла на подносе кофе, сливки, печенье. Когда закрылась за ней дверь, Савва Абрамович сказал:

— Теперь нам никто уж не будет мешать. Рассказывайте, дорогой Сергей Леонидович, как обстоят дела. Так вот вы какой, вот какой, — повторил он двяждм, прежде чем начать слушать, и посмотрел дружелюбно на Ваулина. — О вас писал нам несколько раз за границу очень похвальные вещи Бадаев. Ну-с, хорошо. Рассказывайте, рассказывайте, что знаете.

Но вышло так, что через несколько минут он больше сам стал рассказывать, чем слушать, что было только приятно Ваулину. Последнее время Савва Абрамович, инженер-директор одного

Последнее время Савва Аорамович, инженер-директор одного из предприятий русско-бельтийского акционерного общества (эи старый большевик социал-демократ!»— все время не забывал этого Ваулині, большую часть года проводил на Западса, занятый там — офыциально!— делами фирмы. Он отлично умел организовать транспорт недегальной литературы из-за границы и этехнику» подпольной работы в крупнейших рабочих центрах России. Все это Ваулин, в числе немногих членов питерской организации, знал со слов все того же товарища Бадаева.

...Пожелаем всем нам такую энергию, какую он проявляет!
 Его стремление быть в курсе всего, что происходит в России,
 не знает пределов.

Так ответил Савва Абрамович на вопрос Ваулина о Владимире Ильиче Ленине.

Савва Абрамович дважды за эти полгода ездил к нему в Шейцарию и несколько раз получал от Ленина письма в Лондон,— ого-го, какой человек Владимир Ильич! Неукротимый, страстной воли и энергии человек! А работоспособность... работоспособность дъявольская.

Ваулину было странно видеть Савву Абрамовича таким взбудораженным: насколько он успел приглядеться к нему, тот был до сего времени спокоен и сдержан, с жестами размеренными и неторопливыми, а тут вдруг — словно прорвало человска! Значит, есть кем восхищаться: Сергей Леонидович никогда не встречался с Лениным и ни разу его не видел.

Что он делает сейчас?— задал простой вопрос.

— Все, что можно только, что удается делать в интересах партин!— несколько торжественно, как показалось Ваулину, ответил Савва Абрамович. В частности, заканчивает для кинтоиздательства «Парус» большую брошюру. Она называется «Имперация», как высшая стадия капитализма» Этому вопросу Ленин, имейте в виду, придает громадное значение. Он считает, что настоящей, глубокой оценки происходящей войны нельзя дать, не выясния до конца сущности империализма как с его экономической, так и с политической стороны. Вы знаете, — холодно уже ульбался вишневый тонкий рот Саввы Абрамовича, и гладко вы-

бритый подбородок его слегка дрогнул,— что Пифагор, передают историки, открыв свою знаменитую теорему, будто бы принес Юлитеру в жертву сто быков. И вот с тех пор вес скоты дрожат. гласит пословица, когда открывается новая истина. «Ochsen zittern»,—говорят немцы в таких случаях. Наши и своролеским меньшевики могут поистине, как Ochsen, дрожать: работа Владимира Иллича— сокрушительный удар по их прогнившим теорийкам.

Последний раз не так давно удалось съездить в Цюрих и повидать Владимира Ильяча. Живет он в узком переулочке, в старом, покосившемся доме с грязным, вонючим двором, в семье бедного сапожника Каммерера.

Ваулин удивился:

Неужели нельзя было лучше его устроить?

Лучше?

Конечно, имелась возможность лучше устроиться. Все товарищи советовали ему переехать к фрау Прелог, например, где он столовался, но уж таков он: пришлось по душе — и все тут!..

Семья Каммерера была революционно настроена и всячески осуждала войну. Да и вся квартира там, как на подбор, интернациональна: в двух комнатах — семья сапожника, в одной — жена немецкого солдата-булочника с детьми, к которым Владимир Ильни вообще неравнодущен, в другой — какой-то подуголодинай италья нец, в третьей — австрийские актеры с замечательно красивой рыжей кошкой, играть с которой Владимир Ильнич также находит время. Однажды, — рассказывала Савве Абрамовичу Крупская, — у общей газовой плиты собрались женщиним, жившие в квартире, и фрау Каммерер возмущенно воскликнуда: «Солдатам пуркю обратить оружие против своих собственных правительствь После тото Лении и слышать не хотел о том, чтобы менять комнату.

В маленьком кафе «Zum Adler» собирастся цюрихская группа и ее местные друзья из «циммервальдской левой». Но и в этом узком кругу друзей Вадаимир Ильич не всегда в большинстве: принципиальная резкость его суждений о войне, его непримиримость путают некоторых даже самых близких ему европейских социал-демократов.

(Савва Абрамович вставлял в это слово мягкий знак, говорил «социаль-демократ», и тогда каждый раз казалось вдруг Ваулину, что не только это слово, но и всю фразу произносит он каким-то иноземным акцентом: не то эстонским, не то немецким.)

— Кстати, я вас должен предупредить,— инструктирует Савва Абрамович.— На днях в Россию должны приехать эстонский социал-демократ Кескула и голландец Трульстра. Никакого доверия к этим господам! Они оба немецкой ориентации, и, кто знаст, только ли Шейдемави кл посылает (а и этого уже достаточно!), или секретные люди из окружения самого генерала Людендорфа. Нам, за границей, известно, что они будут предлагать деньи русскому

Быки дрожат (нем.).

бюро ЦК на революционную работу и вообще всякие услуги. Эти

люди только запачкают нашу работу.

Вообще надо помнить Ваулину и всем русским товарищам: некоторые «иностранцы», получив отпор от Ленина за границей. будут стараться теперь раскалывать большевиков в России. Будут это делать и антантовские молодцы и германские.

Не поддаваться на удочку «дружелюбия»!

Максимум осторожности, товариши!

 Надо все время помнить, — подчеркивал Савва Абрамович, что отношение большевиков к конгрессам и конференциям, которые устраиваются сейчас на Западе, не было (и не может быть!) одинаковым. Заметьте себе, газета «Социал-демократ» много внимания уделяет этому вопросу. Кстати, я хотел у вас спросить, как походит до вас эта газета? Владимир Ильич столько усилий прилагает к тому, чтобы каждый номер был переправлен в Россию! Знакомы ли вы со статьей о прошлогодней Лондонской конференции, напечатанной в «Социал-демократе»? Большевики отказались от участия в этой конференции: товариш Максимович-Литвинов огласил декларацию, осуждающую ее социал-шовинистическое направление, и тотчас покинул зал заседания... Иное отношение у нас к такого рода конференциям, какой являлась, например, интернациональная женская конференция в Берне... Собравшиеся там были воодушевлены дучшими пожеданиями, но и они не наметили боевой линии интернационализма. Как метко определил Ленин, такие конференции - не что иное, как «шаг на месте».

Развивать стачечное движение под дозунгами; демократическая республика, конфискация помещичьей земли, восьмичасовой рабочий день — по-прежнему остается важнейшей задачей революционной социал-демократии. В агитации необходимо отводить должное

место требованию немедленного прекращения войн. Он помодчал минуту, а потом, улыбнувшись, продолжал:

 Мы как-то спросили Владимира Ильича: «Что бы сделали мы, партия продетариата, если бы революция поставила нас у власти в теперешнюю войну? А?»- «Мы предложили бы мир всем воюющим, — ответил он. — Мир всем воюющим на условии освобождения колоний и всех зависимых, угнетенных и неполноправных народов».

Затем Владимир Ильич прочел нам целую «лекцию» об империализме; я уже говорил вам, что этот вопрос стоит сейчас в центре его внимания. С знакомой нам несокрушимой, железной логикой он подвел нас к непререкаемому выводу: империализм -- есть канун

социальной революции.

Савва Абрамович не без торжественности произнес эту фразу. «Да-а, вот они уже о чем там!» - подумал Сергей Леонидович уважительно и мечтательно.

 Больше того, — продолжал Савва Абрамович, — Владимир Ильич развил перед нами новую мысль, развил ее со смелостью, присущей, я бы сказал, гению, прозревающему дальнейший ход истории. Владимир Ильич утверждает, чеканил каждое слово Савва Абрамович,— что новые закономерности, характеризующие эпоху империализма, вызывают необходимость пересмотра одного из традиционных марксистских представлений. Привыкли думать, что социальная революция произойдет во всех крупных капиталистическых странах одновременно. Но усиление и обострение неравномерности экономического и политического развития создают возможность победы социализмам первоначально в немногих и даже в одной отдельно взятой капиталистической стране. Разуместв, победившему в этой стране пролетариату пришлось бы вступить в столкновение с капиталистической миром. Но взявший власть рабочий класс стал бы могучим притягательным центром для угнетенных всего мира.

Ваулин впился глазами в собеседника, стараясь, не проронить ни одного слова, запомнить в точности все, что он сейчас услышал.

Несколько раз звонил телефон, и прислуга просила дважды Савву Абрамовича пройти в хозяйский кабинет,— он уходил и, возвращаясь, каждый раз говорил:

Пусть вас не смущает: это все деловые звонки.

Он вынул золотые часы и посмотрел на них:

 В нашем распоряжении еще добрых два часа, дорогой друг, Я попрошу вас только, поскольку вы уполномочены на то, сделать мне исчерпывающий по возможности доколдец.

Он так и сказал: «доклален».

Слово это почему-то не погравилось Сергею Леонидовичу. Он възглязия на «Петрушина» и живо представил себе: вот в таком же строгом, как сейчас, черном костюме (может батъ, в несколько другой позе: за письменным столом, положив на него руку и немного отставив мизинец с непомерно длинным розовим нотем) сидит он в своем деловом кабинете акционерного общества и выслушивает почтительный едокладец» какого-нибудь юрисконсульта или младшего инженера.

Но если чем-то на минуту смутил его Савва Абрамович, то сам он, Ваулин, разве не подмечал в свое время некоторой настороженности и любопытства, сквозивших во взглядах и выспрашивающих бесепах с ним рабочих, рядовых членов партии? Подмечал. И не раз. Кто знает, — может быть, кто-инбудь из них сначала и питал недоверие к нему? Наверно даже.

Олежда (всегда выутюженные брюки, галстук в цвет костюму), плавная, «литераторская» речь, по форме своей мало отличавшаяся, возможно, от манеры говорить какого-нибудь другого интеллитента из либерального или меньшевистского дагеря; иногда неосведомленность его, Ваулина, о характере той или иной рабочей профессии (спутал как-то фрезеровщиков с револьвершиками, участвуя в заседании забаствовчного комитета, вырабатывавшего экономические требования к администрации завода); неуменье, частенько бывало, выслушать до конца скучное по изложению повествование своего рабочего собеседника (на поддорог беседы уж догадывался правильно, о чем котел тот рассказать) и некоторые другие грехи, которые чувствовал за собой— все это, пожалуй, до настоящего, проверенного общей работой, знакомства с товарицами по организации — литейщиками, булочниками, грузчиками, трамвайщиками, слесарями, прядильщиками — могло, как думал тогда, повлиять на них: «А ну-ка, мы еще поглядим на тебя, посмотрим, какой ты?»

Но он помнит также, как то, что считал одним из своих «грешков», послужило на пользу однажды его товарищам и друзьям.

Это было на одном из рабочих собраний год назад. Большая, просторная комната панинского народного дома, занятая устроителями собрания под очередную «культурно-просветительную лекцию» на бог весть какую, нарочно безобидную тему, которая не должна была обеспокоить полицейских агентов, превратилась час спустя в место горячих и шумных споров, не предусмотренных темой лекции.

Отойдя от нее, лектор, исподволь сначвла, а потом и откровенно, повел речь о военно-промыщленных комитетах, о наступлении германского империализма, о долге «сознательных» рабочих, которые должны, — убеждал этот меньшевик, — принять участие в обороне страны, выбирая своих представителей в рабочую группу военно-промышленных комитетов. С кого брать пример? Со старого, всем известного питерца-рабочего, с Кузьмы Гвоздева брать! Вот он не выдаст!..

«Лисица да оборотень твой Кузьма Гвоздев!»— неожиданно прервал его скрипучий, слегка заикающийся голос из задиму рвдов, неподалеку от сидевшего там Ваулина, и он, приподиявшись со скамьи, посмотрел вбок на говорившего. Это был рябой, с гольм
вытянутым черепом и бледными, словно отцедилу у них всю кровь,
губами седоусый рабочий с невеселым лицом: человек лет пятилесяти.

«А ну, ну!..»— глядел на него Ваулин.

«Т-таких на т-тачке вывозят, вот что!»— не унимался седоуствой и, когда открылись прения, первым вышел к желтой дубовой кафедре.

Он не взошел на ее помост,— там все еще стоял меньшевистский лектор.

Седоусый старик, стоя у кафедры и обращаясь то к докладчико к аудитории, держал свою речь. Она несколько разочаровала Сергея Леонидовича.

«Не по тому месту, совсем не по тому месту бъещь сейчас, старик!— досадовал он.— Тут тебе никто ничего не возразит».

А старик только и рассказывал о письме своего сына, присланном с оказией из окопов. Сын возмущался несправедливостью и неполяджами в армии.

Ввели в войсках телесные наказания. Высшее начальство ни во что не ставит миллионную массу рядовых солдат. В тылу много штаб-офицеров — от капитана до генерала, а на позиции чуть не полком командует прапоршик, а какой-нибудь полковник, пролети за полверсты снаряд, уже «контужен»— едет в Россию лечиться. А соллата — не успекот еще раны зажить — гонят уже в окопы. Все отпускаемое для солдат до них не доходит. Все разбирается по интендантским карманам. Иной войны не видит, а наживается так, что просит, чтобы война еще лет пять продолжалась. «Тучковы, да Коноваловы, да хозяева нашего завода!»— как будто вернулся старик к теме спора.

Нет правды! Вот, например (Ваулин насторожился)... все рапорты на нижних чинов о представлении к наградам корпусный командир возвратил. («Эх, поехал, поехал опять... ревизор воен-

ный!»— махнул досадливо рукой Ваулин.)

 А начальник дивизии, — тщательно пересказывал старик письмо сына, — за тридцать верст от позиции — вон оно что, и командиры полков получили георгивеские кресты, произвели и ков генералы и высшие должности дали. Что же это такое в самом-то деле, — а?

«Действительно, безобразие», — соглашался легко докладчик и сопел в густые усы.

«Про Гвоздева сказать надо! Насчет панского присобачника!» неслось из аудитории, к удовольствию Ваулина.

Никто не пытался здесь защищать гвоздевскую компанию, и из пятерых, выступавших после «сбившегося», заикающегося старика, трое громили меньшевистскую затею, гучковский военнопромышленный комитет, всех и вся.

Но говорили все они несвязно, не умея найти наилучших доказательств в споре с докладчиком. Они не обладали для того нужными сведениями, как общими, так и партийными, о положении дел,— сожалел Сергей Леонидович. А один из них, открыто отрекомендовавшийся сторонником большевиков, котя и был больше всех других в курсе борьбы партии, но говорил по форме хуже остальных, часто делал паузы, и навязчивое слово «значих» этот бич для многих пласихи ораторов, рассскало на мелкие кусоки каждую его фразу, раздражая и приводя в ироническое настроение всю аудиторим.

Ой, как использовал все это лектор в своем ответе!.. Он легко, воодушевляясь, расправлялся со своими противниками на этом словесном поле брани.

Кажется, здесь кто-то пытался говорить от имени большевиков, от «раскольников», «сектантов» — большевиков, ссылаясь на их программу? О, тем лучше.! И следовал каскад цитат — откуда только угодно: они должны были без промаха сокрушить всех врагов меньшевизма, всех инакомыслящих и просто «мало вдумчивых» и чогтельку» подеди.

И, как припев в песне, он бросал по адресу своих противников, после трех-четырех связанных между собой одной мыслью фраз, одну и ту же, освященную упоминанием Маркса: «Поминте, товарищи, невежество еще никому и никогда не приносило пользы!»

Он быстро разделался со своими оппонентами, и большинство аудитории, не соглашаясь в душе с ним, досадуя, должно было признать, что победа в этом споре оказалась за меньшевиком.

Не утерпеть было! Поднялся со скамьи Ваулин, взошел на

кафедру, и двадцать минут оружие меньшевистского противника, речь, оснащенная знаниями, остроумием и страстностью, было обращено на него же самого. Сергей Леонидович хорошо помнит, как откликнулась тогда аудитория: она громко, издевательски смеллась над пюсрамленным меньшевистским лектором, она была гиемна тогда, шикала, не давала ему отвечать, и обескураженный «твозденец», растерянно мотая головой, громко соля в усы, вынужден был покинуть поле брани. Рабочие обступили Ваулина, каждый хотса с ним поговорить, и все они смотрели на него с уважением и открытым любопытством: «Ишь какой: ему бы по виду с лектором в одно петь, а, гляди, как затнул тому салазки!»

Весь этот эпизод мгновенно вспомнился Ваулину в минуту схожих коротких раздумий его о Савве Абрамовиче.

И доклад был сделан.

Савва Абрамович, очевидно, помнит, что не далее как в сентябре прошлого года «Социал-демократ» писал, что в Питере три социал-демократические организации: Петербургский Комитет большевиков, объединенцы и «окисты», включая групиу «Нашей зари». Тогда «окисты» объединяли человек триста, примиренцы — человек восемыдесят всего, а ПК — свыще тысячи двухсот. За восемь месяцев численность большевиетской организации выросла вдюе,— в настоящее время Петербургский Комитет объединяет более двух с половиной тысяч человек.

Организация Петербургского Комитета такова: по одному представителю от восьми районов, по одному от латыщей и эстонцев и один от торговых служащих. ПК ведет сношения с цельм рядом городов, снабжает их литературой, посылает докладчиковна прошлоговые конференции в Ораниенбауме были представители четырех южных городов. Партийная интеллитенция? Она группируется вокрут журнала «Вопросы страхования». Совсем недавно удалось отбить у «ликвидаторов» и другой журнал: «Печатное дело». Но у меньшевиков есть, как известно, легальная газета «Угро», а у нас в основном прокламации.

 Вы прикреплены к какому-нибудь районному комитету? спросил Савва Абрамович.

К Выборгскому...

И Ваулин, выполняя желание своего собеседника, тщательно, до мелочей расспрашивавшего его обо всем, стал перечислять состав выборгского Комитета.

Членами районного комитета состоят преимущественно секретари заводских эческ, выбираемые из среды партийных уполномоченных в цехах. Секретарь района входит в ПК. Туда же передают через него членские взносы. Там на листке ставят печать, листок этот показывают на заводской встрече коллектива, а потом уничтожают, чтобы не попал случайно в руки полиции.

 Наша районная печать — обычная, круглая, в середине рукопожатие.

 Ну, это больше похоже на кооператив,— засмеялся Савва Абрамович.— Ну, а как: «лавчонки» имеете?— осведомлялся он о «технике», в дело которой в свое время вложил столько изобретательности, инициативы и энергии.

Торгуем, Савва Абрамович, торгуем...

И Ваулин рассказал о двух ларьках, на Клинском и Лейхтенбергском рынках, где происходят прием и передача шрифта, валиков, красок и листовок. Рассказал о том, как на квартирах происходит печатанье прокламаций и воззваний ПК.

Савва Абрамович выслушал все очень внимательно, а под конец сказал влюуг:

 Да. Товарищей бы сюда из ссылки. Там, у нас,— он мотнул головой в сторону занавешенного окна, словно за ним сразу же начиналось это «там», заграница, - у нас все единодушно так думают. К сожалению, невозможно...

Он уже минуту сидел, низко пригнувшись к сиденью дивана, заботливо вдавливая пальцем в дерево вылезший оттуда крохотный гвоздик обивки. Он не разогнул спины, покуда не привел все в порядок. Ваулин с любопытством наблюдал за ним.

Кстати, как работает бюро помощи политическим ссыльным?

Сергей Леонидович и об этом рассказал все, что знал.

Они сидели еще с полчаса, потому что Савва Абрамович задержал расспросами, делал последние указания, давал советы, а под конец разговора вручил Ваулину брошюру Александры Коллонтай «Кому нужна война», которую всячески советовал перепечатать и распространить среди рабочих, и письма из Швейцарии.

Может быть, мы еще увидимся,— прощался он.

 Нет, теперь уже не сюда звонить надо. Не сюда. Он назвал номер телефона.

А кого спросить? — поинтересовался Ваулин.

 Вы спросите сначала Веру Михайловну и предупредите, когда она возьмет трубку, что хотите поговорить об электрическом кабеле для Баку, и вам скажут, можно ли его получить, — смеялся он, провожая до парадной двери.

Ваулин пожал его руку: она была сухая, горячая и крепкая.

Через Марсово поле, по Троицкому мосту, по Каменноостровскому и вбок от него, по одной из прилегающих улиц, мимо скверика, переходя с одного тротуара на другой, меняя походку,-Ваулин шагал на Выборгскую сторону.

Несколько раз он останавливался в пути, осторожно, как бы невзначай оглядывался: нет ли примелькавшегося «попутчика», но все, казалось, обстояло благополучно. Пристал только повстречавшийся сильно пьяный, хоть выжми его, слюнявый босяк в белой в горошках рубахе, вылезшей из продранных брюк, лохматый, без картуза: положив руку на плечо Ваулина, требовал дать прикурить, и, чтобы поскорей он отстал, пришлось отдать ему свою дымившуюся папиросу.

Не доходя до узкого четыреклугажного дома с округлыми башенными выступами, Ваулин въргу замедлия шаг, не зная, как поступить сейчас — повернуть обратно или быстрей прежнего, стремительно двинуться вперед: из подъезда дома вышли двое, из которых одинуться вперед: из подъезда дома вышли двое, из которых один был студент Кальмьков, знакомый по карабаевскому дому. Он его спутник иеуверенным шагом шли навстреу—Ваулин круго повернул обратно, пересек дорогу к скверику. Через три минуты, благоподучно избежав этой встречи, Сергей Леонидович шагал по скверу, а затем, свернув в переулок, уже не думал о студенте, заявтый своими прежимим мыслями.

Кто был калмыковский спутник — и вовсе не заинтересовался, не обратил на него внимания, потому что никогда и не знал о существовании Пантелеймона Кандуши, департаментского сотрудника.

Глава двадцатая

поезд идет на север

Поезд на север шел с явным опозданием: теперь стоять бы уже в Гомеле, а до него еще — добрых два часа!

Часто умывавшийся в дороге голубоглазый, с черными, щеточкой подстриженными усиками, с мягкими, дрябло спустившимися щеками француз, хорошо говоривший по-русски, время от времи раскрывал карту путеводителя, находил в ней первую ближайшую станцию, на которой предстояло сделать остановку, и оповещал своих спутников:

Здесь готовы кормить.

Или:

Здесь не рассчитывают на наш аппетит.

— Тем хуже!— откликался каждый раз одной и той же фразой верхний сосед его, полковник с кожаной скрипучей протезой вместо левой руки.— Приятно наблюдать, сударь, такой аппетит. На что уж мы, русские, но и то...

О да! Я люблю покушать, люблю хорошо покушать,— сознался француз.— Бывают у каждого свои péchés mignons... при-

вычные слабости, грешки.

Он вез с собой чемоданчик с провизией (в нем было немало высмих вкусных вещей), но на больших остановых выскакивали вагона, бежат к буфету, и, глядя в окно, Теплухин видел, как энерично он расталкивал на перроне устремившихся туда же остальных пассажиров. Все три соотчественника: Теплухин, Георгий Карабаев и калека-полковник — так и окрестили его: «месье Обжор».

Поезд шел лесистыми и болотистыми местами, в открытое окно купе текла приятная прохлада, исчезавшая тотчас же, как только поезд прибывал к станции. Тогда вагон наполнялся запаком женого угля, всяческих отбросов, валявшихся на путях, мокрой, гниющей соломы, положенной на подстилку скоту в товарных вагонах.

Встречались на остановках воинские эшелоны, военно-санитирые бани-поезда, платформы с аргиллерийскими орудиями: на из зеленых дулах важно, но поглядывая трусливо по сторонам, ходили вперевалку слетавшиеся бог весть откуда сплетиичающие галки.

На верхних полках санитарных летучек видны были пергаментно-желтые, бородатые лица больных и раненых солдат. Некоторые из јих, свесив головы, загладывали, окно в окно, в синий, первого класса, вагон, ставший рядом,— и Теплухин видел их горящие, разливавшиеся во весь помутневший глаз, дихорадочно зажигающиеся зрачки. Любопытство, зависть, недоверие, злобу, скуку — кто знает, что должно было прочесть в них...

Как медленно подымающаяся ртуть в градуснике, отмечал поезд свой путь вверх по маршрутной карте француза. Он стоял, у открытого окна и, вздыхая, обращаясь словно к самому себе, го-

ворил:

 Россия — страна ползущая... Есть страны шагающие, есть страны бредущие, есть бетающие, прыгающие, а Россия — страна ползущая. Громадный это, мировой глетчер. Утомительная страна.

Георгий Павлович поднял голову, насторожился. Француз проподжал:

— Никакое общество не доступно чувству скуки в такой мере, как общество русское. О, я никого не хочу обидеть! Мос сердие отдано Россин... Но ни одно общество не платит такой тяжелой дани этому правственному бичу. Я наблюдаю это изо дня в день. Леность и въдость, оцепенение и растерянность, утомленные движения, зевота, внезапные пробуждения и судорожные порывы, высктрое утомление от всето и в то же время жажда перемен, потребность развлечься и забыться, — разве это не свойствению Россий?.. Безумная расточительность, любовь к странностям, к шумному, неистовому разгулу, отвращение к одиночеству, непрерывный обмен беспричинными взизтами и бесчисленными телефонными разговорами, расточительное излишество в милостыне, приными разговорами, расточительное излишество в милостыне, приными разговорами, расточительное излишество в милостыне, приными разговорами, расточительное излишество в представлям. И все эти черты характера и поведения представляют лишь многообразаные проявления одного чувства — скуки!

— А у вас как? — гмыкнул полковник и обвел, как заговорщик, глазами обоих своих соотечественников. — А у вас всюду тактаки весело всегда, месье... (он чуть-чуть не выпалил: «Обжор!»)

 У нас?— повернул голову француз.— Конечно же, не всюду и не всегда... Вы во всем ползете глябой, страшной, невероятной тяжести и высоты глабой, и не многие в Европе могу вълететь умом в высь догадок и знаний, чтобы попытаться разглядеть отгуда, что остается позади этой глыбы.

Позади — это не важно, — бросил Георгий Павлович. — Вот...
 что впереди — это действительно... — горько усмехнулся он своим

собственным словам и мыслям.

Он сидел у самого выхода из купе, заглядывая в коридор, где, высунувшись в окно, стояла молоденькая соседка по вагону, еще во время посадки, в Киеве, привлекшая к себе внимание неравнолушного к хорошеньким женщинам Карабаева. Он охотно слушал француза, мог бы его во многом поддержать, а кое о чем и поспорить, но лень было, не хотелось ввязываться сейчас в политические разговоры, и гораздо предпочтительней было наблюдать хорошенькую соседку, с которой не прочь был свести знакомство: у каждого человека, говорил француз, есть свои грешки!...

 Вы правы, естественно, откликнулся француз. Но для того чтобы предполагать, что впереди, надо очень хорошо стране знать свой сегодняшний и вчерашний день. Вы хотите мне воз-

разить?

— Нет!— быстро сказал Иван Митрофанович, да так решительно, что полковник, желавший было возражать французу, приумолк на минуту: не то озадаченный, не то из солидарности с Теплухиным.

— Ишь ты!— вскрикнул он вдруг, схватив что-то на подушке француза.— И жирная, смотрите, как корова!.. Так и есть: хлеб с глазами, как говорится, вино с игрой, сыр со слезами, а постель

с блохой...

Он упорно и долго растирал, сжав пальцы, пойманное так удачно насекомое и, когда раздавил его, нимало не смущаясь и ничуть не брезгуя, показал свой большой палец с пятном от блошиной крови.

— Фи, гадость! — поморщился француз, и его брезгливо растя-

нувшийся рот пополз книзу.

 А если человек так, — ничего? — неизвестно почему вдруг серьезно и хмуро спросил полковник, отогнув для еще большей выразительности все тот же палец.

Вопрос был прост и неизвестно почему задан, и все потому промолчали. Француз, захватив несессер, побежал мыться: а ведь полчаса назад бегал!.. Возвратился он, однако, быстрей обычного: мыл только руки, как будто не полковник, а он сам запачкал их

только что.

В Гомеле накупили последних петербургских и московских газет и журналов, и минут на двадцать наступила в купе тишина. Все четверо углубились в чтение, прерываемое частенько восклицаниями и короткими комментариями то одного, то другого из спутников: в газетах были новости, по-своему интересовавшие каждого из них.

Рескриптом царя был уволен министр иностранных дел Сергей Сазонов, на его место назначался Б. В. Штюрмер.

«Так, так... «ушли» единственного, пожалуй, «европейского»

министра, который был приятен стране и союзникам за границей», — Георгий Павлович недовольно покачивал головой.

- «В лице Сазонова, - читал он вслух выдержки из »Русских ведомостей», и все слушали,- мы имели опытного руководителя нашей иностранной политики, пользовавшегося полным доверием как русского общества, так и нацих союзников, и исдаром его положение в министерстве считальсь исключительно прочным... Не меньшее значение имеет, пожалуй, факт замены С. Д. Сазонова именно Б. В. Штюрмером, человеком, бывшим до сих пор совершенно чуждым ведомству иностранных дел. Осевидно, что на Б. В. Штюрмера, сохраняющего к тому же должность председантеля совета министров, возлагается не простая мисстранной политиству составляющего должность председантеля совета министров, возлагается не простая мисстранной политиствущими делами министерства, а руководствя иностранной политискуй России в определенном направления», — многолачительно, следуя курсиву передовой статык, которая совпала (он ульбиулся) с его собственным мнением, закончил Георгий Павловия

Француз выжидательно молчал: сжал губы, вжегся голубыми глазами в Карабаева. Полковник здоровой рукой поправил свою скрипучую протезу, повернул на винте кисть, ударил себя с отчаянным видом по багровой щеке, закачался всем туловищем и

«с сердцем» сказал:

 Вы простите, господа, грубость военного человека, но... вы представляете себе пьяный публичный дом в темную ночь... горит он, пожар, а кругом еще наводнение?!

И никто не порицал его, все ответили:

Да, да, это верно, господин полковник.

 А француз добавил теперь, медленно, задумчиво пощипывая черную щеточку своих усов:

 История знает такие случаи. Они известны... Своевольный Калигула назначил ведь своего любимого коня римским сенатором! Вот и вы теперь подражаете чужой «античности».

- Вы, вы! огразнулся полковник. При чем здесь мы? Где это вы видите в самом-то деле? Кто из здесь силящих повинен в здаком б...ке? Вы все, сударь, только-с насмехаетесь... Вы, наш союзник!
- Нет, нет, я не насмехаюсь,— придвинулись к нему голубые, чуть-чуть выпуклые глаза.— Я очень все сердечно, поймите вы меня. Я француз, а не немец, которого назначают имперским министром, у меня жена русская, и у нас трое детей...

Ну, вот, сами же должны чувствовать...

— Я не насмешник, — усмехнулся он. — Но они действительосуществуют: я их видел в вашей стране там, где вы не предполагаете. Знайте: насмешники часто делаются пророжами. И в своей собственной стране, вопреки старому изречению!

В газетах было еще:

На фронте без особых перемен (уже недели две писали так). Сообщалось, что в Петрограде, на улице Готоля, в помещении общества Гартман, состоялось оживленное совещание представителей нескольких крупных банков по вопросу об издании новой большой газеты «Русская воля».

Петроградская судебная палата постановила уничтожить «Железную пяту» Джека Лондона, так как комитет по делам печати усмотрел в ней призыв к бунту, предусмотренный 129 статьей уголовного уложения.

Во всех газетах — фотографии А. Д. Протопопова в связи с его поездкой в Ставку царя.

Предсказание о холодной, суровой зиме в Петрограде и заметки о стараниях городской думы обеспечить столицу дровами и продовольствием. Покупка той же думой большого каравана верблюдов (лошадей не хватает) для перевозки грузов.

Очерк о сербском короле, престарелом Петре Карагеоргиеви-

че, удалившемся на остров Эвбею.

Рецензии на «Современную Аспазию» Гамильтона Файфа в театре Яворской и на «Дипломата» в Палас-театре. («Надо по-

смотреть», - запомнил это Георгий Павлович.)

Карикатура: поезд — парламентский «прогрессивный блок», на перевозе два фонаря, отбрасывающие свет: общественные организации и прогрессивная печать. Бородатый мужик в поддевке отскакивает от железнодорожного полотна, и - подпись: «Несмотря на все попытки злоумышленников, пользующихся тьмой, поезд избежит крушения на Романовской железной дороге».

Хорошо сделано! — весело перемигивались в купе. — Гм.

«темные силы», -- понятно?

 Сходства в лице не дали, но поддевка, поддевка-то и боропа! Как это не конфисковали еще?!

Язвительно сделано и... не зря!

 А хотите, что-то покажу? — по-мальчищески высунул полковник кончик языка из приплюснутой щели рта и — колени в колени в узком проходе — придвинулся к сидевшему напротив Ивану Митрофановичу.

И, не дожидаясь ответа, полез в свой чемодна и вытащил оттуда, со дна, несколько журналов. Один из них оказался немецким «Lustige Blatter».

Вот! — причмокнул полковник и, развернув его, показал своим

спутникам.

На цветной карикатуре Вильгельм измерял метром высоту германского орудийного снаряда. Рядом, стоя на коленях, русский царь вымеривал аршином... громадного мужика в поддевке — Григория Распутина!

Комментарии, как говорят, не требуются.

В том же номере журнала, на «распашке», помещен был красочный рисунок, изображающий Тиргартен. Небо густо усеяно звездами. Вдали видна колонна Победы, а на первом плане - колоссальный, уродливый, ощетинившийся гвоздями деревянный идол — фигура фельдмаршала Гинденбурга (перед рейхстагом). В этого идола, как известно было всем, каждый берлинец, посетитель Siegesallee, мог, приветствуемый музыкой инвалидов, вбить за особую плату гвоздь: за одну марку — железный, за десять — посеребренный, за сто — позолоченный. У одного из ботфортов истукана стоит Христос-младенец с молоточком в одной руке и с гвоздем в другой. Шляпкой гвоздя служит сверкающая звезда. Под рисунком стихи, - Георгий Павлович перевел их вслух:

— «В тихую святочную ночь младенец Христос извлек из

небесного свода звезду-гвоздь, которую принес на землю. Воздавая по заслугам истинному героизму, готовому пожертвовать кровью, Христос-младенец вколачивает гвоздь в почетную броню фельдмаршала, прославившего германское оружие».

Вот тебе и дружба с господом богом!

 Погибели предшествует гордость и падению — надменность: царь Соломон имел в виду немцев, когда говорил это! — скорчил гримасу француз. — А это что у вас, господин полковник?

В русском иллострированном журнале какой-то анонимный безпельник предскатывал окончание войны в следующем, семнадцатом году. Почему? Дв потому, что сумма порядковых цифр имен прусских королей, всех Фридрихов и Фридрихов-Вильгельмов вплоть до Вильгельма Второго. — равна была 171. И то же число получалось, если сложить «державные цифры» всех воюющих сейчас европейских государей. Николаев — русского и черногорского, Петра сербского, Альберта бельгийского, Виктора-Эммануила итальянского, Франца-Иосифа, Фердинанда болгарского, георга Пятого и Вильгельма Второго. Вот как тут не верить такому совпаденного.

Полковник написал на бумажке:

и засмеялся:

 — До этой символики у нас в дивизии один офицер додумался. До царя дошло: повелел благодарить за смышленость... Ничего, интересно выходит. — а? Воевода сербский Путник и Николай. Жоффр и Френя: все союзники. — каково?

Теплухин сидел, откинувшись в угол, касаясь головой металлической рамы вещевой узенькой сетки, скрывал от солица и спутников свое лицо.

На стыках вагон подбрасывало, и Теплухина ударяло слегка по затылку: сидеть было не очень удобно, но он не менял споей позы. Он был зол (у него свои причины к тому!..), презирал глу-пого, разболтавшегося багрового полковника с лиловой паутиной жилок под глатами, с неопрятными, неровно подстриженными, с плешникой под носом, серыми усами, со скригуей, при каждо дижении, ручной протезой; раздражал, неизвестно отчего, и француз.

Сердился (уже и по другой причине) на Георгия Павловича: ну, не надоело разве слушать этого пехотного либерала?! Морда такая, что кирпича просит, а голос жидок, как у скопца!

А полковник, обрадовавшись внимательному слушателю (хорошенькая соседка по вагону ушла к себе), говорил, словно насыщался: -- Вот вы о кавалерии изволили спросить. Хм, кавалерия!.. Позовите честного офицера, понюхавшего пороху как следует, и он вам расскажет, что делается. Быда-с лишь система нагуливания тел к смотрам и парадам. Не больше! Генералы-чистоплюи ограничивали свои смотры тем, что вытирали круп лошадей носовым платком и тыкали платок в нос подчиненным, если он после этого не оставался белоснежным. Вот что-с!. Показная сторона.

Через минуту критикнул какого-то генерала:

— Хм. командовал корпусом, помию, в мирное время. О чем же, главное, заботялся, — в? Подумайте, только: обращал особое внимание на знание кажалым солдатом дня своих именин, престольного праздника их деревенского храма и жития святых, изображения которых виссии, знаете ли, в казарме и над кроватими. А больше — инчего его не трогало, вичего не доходило до сердиа. «А что, масло сеть?.. А что, Гради взято?» — о том и друго о мелочи и о важнейшем — фагематично, одним и тем же тоном. А приедет навальство, — он благочестию узыбаетстя!

«А ведь он, кажется, не так уж глуп,— невольно прислушиваясь к разговору, сиисходительно подумал о полковнике Иван Митрофанович.— Но уж если полковники так открыто критикуют, кула ж тут дальше?!»

Он мельком взглянул на Карабаева, потом еще раз и еще и уже не отводил от него из угла свой резкий, рысий взгляд.

Георгий Павлович, заложив ногу на ногу, облокотившись на валик диванчика, слушал словоохотливого, тонкоголосого полковника. Слушал так, как привык делать это, когда собеседник или внушал ему особое уважение, или рассказывал такое, что до сего времени не было известно, но было интересно Георгию Павловичу, или, напротив, не возбуждало никакого интереса, но не мешало думать в этот момент о чем-либо другом. Слушал он, застыв в одной позе, хорошо и удобно выбранной, сосредоточенно, молчаливо, следя неразгаданным, проверяющим взглядом за своим собеседником. Если тот ночему-либо терял нить в разговоре и на минуту умолкал, не досказав еще всего, Георгий Павлович умелым подсказом или вопросом помогал ему продолжать рассказ; или, если не был уже заинтересован в том, заключал беседу какой-нибудь безразличной фразой, в которую можно было вложить любое содержание, — фразой, подготовленной в уме задолго до конца беседы: «А вы говорите — купаться!» Или: «Вот так, дорогой друг (следовало имя-отчество или фамилия, если человек этот был попроще)... вот так оно и происходит в жизни!»

Под этим великолепным но своей бесформенности «оно» можно было подразумевать все, что ни заблагорассудилось бы! Ох, как хорошо узнал за эти два года своего шефа Иван Митрофановия!

Ехали они сейчас в Петроград но телеграфному срочному вызову вдовы Галаган: согласие на продажу сахарного завода дано, надо немедленно оформлять эту сделку. Получив телеграмму, Георгий Павлович сказал Теплухину: «Вы едете со мной. Сегодня же».

Гора сытого благоденствия и удач уже не казалась, как в молодости, такой кругой и трудно одолимой: Георгий Павлович шелев гору», как говорили о нем в Киеве, да и не только в Киеве в шроких промышленных кругах,— шел из гору легким, неустающим шатом «счастливика», и перед ним услужлию расстилались невидимые снизу, но давно проторенные другими тропы и тропинки известности, богатства и успеха. Он был теперь владелыем нескольких промышленных предприятий, разбросанных на юге и на западе России.

Карабаев приобретал все, что считал по тем или иным причинам выгодным купить. Так, он по дешевке приобрел фанерную фабрику и лесные участки в восточных губерниях Белоруссии, хотя это было рискованно, так как место было не так уж далеколинии фронта, но зато трусость продавца он оплатил до удивления малой денежной суммой!

Еще три-четыре года назад он мечтал: эх, ему бы не здесь, не в маломощном Смирихинске, быть,— ему бы распоряжаться рудниками и шахтами, сталелитейным пигантом или богатейшей ма-нуфактурой где-нибуды под Москвой или в самом Петербурге... Разве не хватит умения, разве не станет распорядительного энертии и воли?.. Он не переоценил своих сил — и он доказал это: в донешком бассенне он приобрел, в компании с одним промыт делеником, два рудинка, в Смирихинск вывез и оборудовал фабрын, у грубых сукон, перекуплениную у беженца-герея из Вольны в самом Кисве, выдав половину деньтами и половину векселями, купил на Пушкинской патътуалжный дом в тридцать квартир и таким же образом стал владельцем завода гвоздей на Демисвке. Но... то ли еще обещало быть впереди!

Еще недавно, говоря о своей смирихинской махорочной фабрике, приносившей, кстати, большие доходы, он тем не менее сиисходительно-проинчески отзывался о ней: «Большая коробка нюхательного табыху» Серая крестьянская махорка, раскуривае-мая простоирародьем — мужиками, извозчиками, рабочими, — недостойна была того, чтобы на ее «копесчной» упаковке помечалась фамилия се высокомерного фабриканта!

Но теперь... махорка в новенькой зеленой упаковке, аккуратно сложенная пачками в фанерные белорусские ящики, заколоченные демиевскими гвоздями, рав в три дня грузилась в вагоны военного ведомства и, испытав бог весть какие легкомысленные приключения по пуп, попав в липкие руки всеческих интендантов, прибывала в армию, а еще раньше того — в лавки и лавчонки разных городов, есл и местечек. Она заметно, как и все на рымке, вздорожала: отгого ли, что Георгий Павлович разрешил поставить на ней свою громкую фамилию фабриканта, или, может быть, по другой причине, о которой единодушно могуалы безвестные интенданты, и мог, пожелай он, догадаться Иван Митрофанович Теплухии, ставщий во многих делах правой рукой своего шефа.

Вместе с махоркой Георгий Павлович Карабаев поставлял ведомству кожу, сукно и гвозди, а донецкие рудники выбрасывали железным дорогам свой уголь.

Когда в доме пошли разговоры о покупке еще сахарного завода наследников генерала Величко, Татьяна Аристарховна шутливо сказала мужу:

«Жоржа, у тебя получается какой-то громадный магазин ко-

лониальных товаров! И то, и другое, и третье...»

«У нас с тобой!»— поправил он ее, так же шутливо отвесив поклон признательности и услужливости, и горделиво провел рукой по своему смолянисто-черному цыганскому усу.

«Хм, большой магазин колониальных товаров...»— вспоминал он теперь ее шутливое замечание, занятый своими делами: он слушал словоохотливого полковника, но совсем не вдумывался, как и мот предположить Теплухин,— во вско эту болтовию.

«Ну что ж, Тани́н, — разносторонняя деятельносты Это не так уж плохо, право, Надо понимать, что такое сахар, дорогам мов!— ммсленно обращался он к ней.— Да сще сахарный завод на левобережье Днепра, а не на правобережье, где каждый день угрожают тебе военные неприятности. Ну, да что говориты Получу запродажную, и тогда действительно можешь меня поздравить... Хм, и безтвучно шевслычулись губы, едва не уронив горячее восклицание.— Шутка ли дело? Если он им такой доход дает (подумал о Людмиле Петровне и ее брате)— это при полном-то неумении хозийничать, при страшном обворовывании на месте, — то что говорить, когда в моих руках будет! Надо понимать, Тании!— был он настойчив, словно она ему когда-либо могла перечить.— Это давно другие поняли, и какие люди поняли!.-

Вчера он говорил о том же Теплухину:

Вчера он говорил о том же теплумину.

— В нашем крас сахарная промышленность будет фаворитом после войны. Мы еще поборемся с австро-венгерскими конкурентами — сахарными Круппами! Грешно сказать, — у нас есть образиовые хозяйства, Иван Митрофанович.. Вы, вероятно, не оченьето в курес, кому они принадлежа? Родоский и Бабушкин— это еще не все. Множество имений, свекловичные плантации, интепецианые хозяйства и заводы — знаете, в чых руках? Ото, сэр... У владельцев герб — первый во всей стране! У императрицы Марии Федоровны и других членов царской семы прекрасно бетальенные заводы в Подольской губериии. Не хуже, смею вас уверить, оборудован сахаро-рафинадный в курском имении всли-кого князи Михалла Александровича. Из биржевых и банковских кругов идут сведения, что ряд самых влиятельных дворцовых лицет для своих капиталов все тот же сахар — прекрасное белое золото! Вы понимаете, — я не буду скупиться!— сделал он логический вяводь. — Собрайтесь в путк!

Но вот именно этого: ехать сейчас в Петроград — и не хотелось Ивану Митрофановичу. У него были на то свои причины. За день до телеграммы Людмилы Петровны он получил письмо от «инженера Межерицкого». Он предлагал настойчиво выехать, под каким угодно предлагом прервав служение Карабаен, на иссколько дней в столицу «для важных, очень важных переговоров».

«Не вздумал бы он только отказываться!»— писал Вячеслав Сигизмундович, ибо «потеряет больше, чем может приобрести уже на всю свою спокойную (было подчеркнуго в письме), мирную

жизнь», — загадочно сообщалось в нем.

«Подлец!.. Еще интригует...— выругался Теплухин, пряча письмо (а может, оно пригодится?..).— Обычный, уже испробованный прием. Торопиться некуда, тем паче что недавно виделись. Не послу!»— твердо решил он.

И вдруг — телеграмма и карабаевское распоряжение, от выполнения которого никак не отказаться было, — всю дорогу Иван Митрофанович был хмуго и недоволен.

«Какого черта в самом деле?!»

Протест был наивен и бессилен,— Иван Митрофанович и сам сознавал свою беспомощность перед обоими: и перед Георгием Павловичем Карабаевым, и перед «охранником» Губониным.

...Спутники, выйдя в коридор, курили. Полковник залез на свою верхнюю полку и лежа на животе, обдумывал, писал что-то

на длинном синем телеграфном бланке.

Поезд набирал скорость, вагон мчался так сильно, что казалось, его вот-вот сбросит с насыми и он ударит, заглувшись на миг, квостом по стенке своего переднего, убстающего по рельсам соседа. В коридоре шла обычная беседа. Женщина, путаясь такого сильного покачивания, признавалась, под снисходительный смех мужчин, что бомтся и не хочет умереть сейчас: ее ждет в Петрограде муж и заново отделанияя квартира. И философстаювая в ответ сраденую, до удивления хорошо владевший русским языком и,— как заметил Иван Митрофанович еще раньше,— дока по части иностранных изречений и поговорок.

О мадам, это не одна из тех настоящих смертей, о которых

говорит старая турецкая пословица!

 — А какая? Если старая, говорите, — так у них не было тогда, у турок, противных железных дорог... Ай, как бросает! И чего это сумасшедший машинист!..

 Тем не менее, мадам, только четыре случая дают настояшую смерты ждать — и не видеть, что уже идут к вам. Просить и не получить. Трудиться — и безуспешно. Ложиться — и не уснуть... Такова восточная мудрость.

Новоявленный горьковский Лука какой!— сказал громко

Иван Митрофанович. Он все еще был раздражен.

— Лука? — поднял голову лежавший наверху полковник и перестал писатъ. — Лука? — переспросил он, не поивв, оченално, теп-лухинской реплият. — Нет, не Лука, сударь мой, а... — вдруг убежденно сказал он, но запиулся и тотчас же замолчал. А через секунду продолжал уже по-ниомут. — Образованный он господин.

Очень образованный. Такие, я думаю, у них, во Франции, поэты бывают. Такие, — а?

«Круглый идиот!»— обругал окончательно Иван Митрофанович багрового полковника и вышел из купе в коридор.

На станции Орша стояли долго: меняли паровоз, да и общий железнодорожный беспорядок не позволил двигаться по расписанию.

Медленно к закату уходило солнце, готовясь погрузиться в громадный рыхлый мешок вздутых дождевых облаков. Воздух парной. Духота садится на плечи, и тащишь на себе ее незримую дипкую тяжесть даже в тени.

В вокзале и окрест, у деревянных, грязно-серых базарных лавионок, торгующих кислым студнем, кружочками чесночной колбасы, напитками, махоркой, папиросной бумагой, баранками, огурцами и крутыми яйцами,— длинные беспорядочные очереди.

Кружится рой мух над прилавком, — хватай их полную горсть. Собаки с опущенными хвостами и высунутыми мокрыми языками бродят около лавчонок, пеподвижно лежат в тенистых углах, откинув в сторону как будто отрезанные, сонные морды, путаются под ногами сустливых пассажиров в буфете воктала, оглашая гулкий, забитый людьми зал проницательным, долгим жалобным воем, если кто-инбудь случайно наступит на лапу.

В тарелках с отбитыми кусками вокзальная еда. Высоко подняв руки, все время выкрикивая почему-то извозчичье «берегись», верегись», пробирались сквозь потоки снующей толпы вспотевшие, быстроглазые официанты, разнося по длииным дубовым столам щи и супы, биточки и рыбу. Кричит — уши затыкай!— младенец в одеяльце на чых-то уставших покачивающих руках.

В коридоре вокзала перед билетной кассой — перебранка и ругань из-за места в очереди. Наскакивая из разбросанные вещи пассажиров, гомящихся в ожидании посэда, и ударяя их самих, катят носильщики багажные тележки. Хуже мух — надоедливые, сегълные нишие: старухи с растрепавщимися грязными волосами, в полосатых красных чулках, с неутертыми сизыми носами; босые, тонконогие дети и подростки в заплатанной одеже, имещков; инвалиды — ползающие и на костылях: со стыдливо протянутыми руками: евреи, поляки, белорусы — с мученическим клеймом «бежениев».

Бъли на перроне в калокол, звонил колокольчиком в зале первого класса престарелый швейщар, извещая о том, куда и когда уходит поеча. Настораживал, путал только что выскочивших из вагона недоверчивых пассажиров случайный паровозный гудок, и они бросальсь обратие, хотя им сказано было кондукторам, что стоять тут придется порядочно и что могут, не торопясь, прогуляться на привоктальный базар.

Была обычная теперь сутолока русских стащий, нагруженных к тому же беспокойством и хаотичностью прифронтовой полосы. Иван Митрофанович потолкался в буфетном зале, выпил с жадностью целую бутылку ситро и от нечего делать вышел из вокзала на прилегавшую к нему пыльную «толкучку». Поглядел, побродил минуты три. Ничего интересного здесь не было («Зачем зря болтаться?..») — и он повернул обратно со скучающим видом,

На крыльце, у входа, его обогнал солдат с рукой на перевязи, оглянулся, заворчал на какого-то долговязого парня, неловко налетевшего на него впопыхах, и... остановился вдруг, воззрясь на Теплухина.

 Иван Митрофанович, кажется?..— нерешительно сделал шаг навстречу солдат.

И Теплухин взглянул на него: «Какое знакомое, но, очевидно,

изменившееся лицо. Кто бы это мог быть?»

 А и в самом деле — Иван Митрофанович! Вот встреча! И где только?! Не узнаете? Нет?.. Ну, Токарева, Николая Токарева - помните? Колю - иначе? Ну, вот видите... В Смирихинске, в Ольшанке, на заводе?.. старался напомнить солдат.

 Фу-ты? Тебя и не узнать сразу, — обрадовался, сам не зная почему, оживился сразу Иван Митрофанович и, секунду подумав,

пожал здоровую руку солдата.

 Ну, как же, — в Ольшанке, на заводе!.. Еще помните, про каторгу нам, молодым, рассказывали? Помните? — тише обычного, но все так же быстро, забрасывая словами, продолжал Токарев, как будто ему мало было того, что узнан, а хотелось непременно напомнить уже все, что его связывало с Иваном Митрофановичем, - подосадовал теперь последний.

Отойдем в сторонку, — прервал он его. — Только, на всякий

случай, поближе к перрону.- И они двинулись туда.

- А хочешь, пройдем к поезду?- решил Теплухин.- Мой на втором пути, петроградский. А твой где? Или ты, может быть, вообще здесь обретаешься?- расспрашивал он его на ходу.-

Хотя нет... зачем же тебе тащить эту колбасу?..

 Нет, что вы? Чего мне здесь быть?.. Мой состав на четвертом, Иван Митрофанович, через путь от вашего. Постойте, зачем обходить? Лезьте прямо через площадку... Вот сюда, через площадку чужого вагона. Не бойтесь: поезд еще когда тронется!.. Ну.

Они укоротили свой путь и очутились у поезда, в котором ехал Иван Митрофанович.

В узком проходе между двумя составами они ходили минут десять взад и вперед вдоль поезда, но от своего синего вагона, находившегося в хвосте, Иван Митрофанович держался подальше и поворачивал каждый раз, как только они к нему приближались. Он хотел, - еще по неясной самому причине. - скрыть от Токарева, что едет не один.

Угораздило? — показал он глазами на подвязанную руку.

- Так точно! В плечо, навылет. Лежал сколько... А теперь ничего: трехмесячный на излеченье дали. Домой еду. Не прихоходилось вам, Иван Митрофанович, видеть меня таким. Оттого и не узнали сразу. Глядите...

Он посмотрел по сторонам: не идет ли случайно где-нибудь поблизости какой-либо офицер, перед которым надо бы встать во фроит по форме.

- Глядите, каков стал: красоту свою потерял,— засмеялся он, обнажив на минуту голову. - Куда волосы мои расчудесные делись! Окорнали всего, «серую порцию» — молодого солдата! Еще хорошо, что селелка. — шашка, по-нашему. — сбоку не болтается, а все остальное чин чином. Иван Митрофанович. Глядите: фуражка с царским плевком («Кокарла...» - сообразил Теплухин), за голенищем, известное дело, - книжка рядового служаки запасного батальона, в сердце, как полагается, - клятвенное обещание на верность службы истинному и природному всемилостивейшему. - тьфу! - великому государю императору... ну его к такой-то, извините, матери!-зло вдруг и запальчиво сказал он, и Теплухину почудилось, что он слышит скрип его зубов. Ну, да не в том дело!.. Как же здоровьице ваше. Иван Митрофанович? Кажись, ничего?- с любопытством посматривал он, приостанавливаясь, на Теплухина: раздобревшего заметно, прямей будто ставшего фигурой, в славном, хоть и не щупай его, синем костюме. Глаза те же: с коротким, протыкающим взглядом, и рот тот же: губы полные, одна от другой как бы отстегнута, с густой тяжелой кровью, - кажется так Николаю Токареву.
- Что думаешь делать, Коля?— спрашивал Иван Митрофанович, идя рядом и, задрав голову, поглядывая в открытые окна вагонов, словно высматривал, не услышит ли кто их разговор.

Лечиться, Иван Митрофанович.

Обязательно надо, Коля.
 Плечо лечить и. где можно, людей выдечивать, Иван Мит-

рофанович...— покосились со смешинкой в его сторону глубоко уползине глаза, и колючие, словно подстриженные, рыжеватые брови Токарева поднялись вверх да так и продержались на лбу несколько мгновений: «Спросит или не спросит он?.»

И Теплухин спросил:

То есть как? Кого лечить собираешься ты?

И остановился у подножки вагона, где никого не было, как будто предчувствуя, что Токарев скажет сейчас что-то неожиданное, что-то такое, чего не следует никому слышать.

И Токарев сказал:

Да разве может такое долго быть?!

Глухо выругался по-мужицки, по-солдатски.

Полегче, Коля... женщины могут...

- Уж извините меня, Иван Митрофанович, но как тут иначе это дело чувствовать?
 Ты все-таки не будь таким «чувствительным»!— засмеялся
- Ты все-таки не будь таким «чувствительным»!— засмеялся Теплухин.

Токарев продолжал:

 Растерялись, суматошатся люди в тылу, надеются еще черт знает на что... разве это дело?! Лечить надо от растерянности, от непонимания. Где можно, все надо объяснять народу. К чертовой магери Николашку и всю его помещичью и б\$ржуйскую свору! У них, у всех, сын в отца, отец во пса, а все вместе — в бешеную собаку!..

Да ты потише!— сдерживал его Теплухин.

Но не остановить было:

— Порядки какие!. Алтынного вора вещают, а полтинного чествуют.. Кровь народная льстея, океан цельй гортошкаа.. за что! Ну, за что, я вас спрашиваю? Кончать это надо... баста! Рабочие как начнут — создаты сразу «ура» крикнут! На позициях того только и жуут бунгов ждут. На немпа винтовом се хватает, а на своих подлецов — найдутся. А то и голыми руками кадыки будут вырывать, бельмы вышаралывать,— верное слово!

— Ты страшен... Отчаянным стал...— заполз своим рысьим, испытующим взглядом Иван Митрофанович в его светлые до прозрачности глаза. Токарев не отвел их, смотрел прямо. — Ты страшен, брат мой, — задумчиво повторил Иван Митрофанович и при-

тронулся к его локтю: «пошли дальше, что ли?»

Хрустел песок под ногами. Он был грязен, валялись на пути жестяные коробки от консервов, кости, осколки стекла, черные, брошенные смазчиками тряпки, густо пропитаные мазутом и керосином, и прочая дрянь,— Иван Митрофанович ступал медленно, с выбором места, стараксь не попасть во все это ногой.

Токарев рассказывал между тем:

Во многих войсковых частах ведется революционерами, большевиками социал-демократами подпольная пропаганда под дозунгом «война войне», солдаты с жадностью читают прокламации, и вот он сам. Токарев, распространяя их, сдва избежал военного суда, если бы не ранили в тот день и не распотрошилы весь его полк. Но ничегой. Теперь всюду есть свои люди: одному не удастех — другой сделает...

Вот он лежал в госпитале: там настоящая «явка»,— вот здорово! Там несколько человек из младшего персонала орудуют: наши хорошо поставили и это дело. Всем пример напо брать:

- В каком ты лежал госпитале? заинтересовался вдруг Иван Митрофанович, и какая-то мысль (как возникшая — не отдавал себе отчета) мелькиула и сразу же исчезла, но произительный гудов подкатывавшегося задним ходом паровоза поторопил и его и Токарежа.
- В дужском «Союзе городов», Иван Митрофанович... А что?.. Постойте, это, кажется, ваш подают! Ваш, конечно: ведь вам в ту сторому...— възгадывались они оба, на какой пут-5 свернет паровоз после рельсового разветвления у сигнальной будки...— Ваш это, ваш... Пойдете? Ну, и я тоже. Об, как рад. что встретлиись. Иван Митрофанович, протигивал он руку, перекладывая завернутую в гастету колбасу под мышу, повреждений руки... Ну прощайте. Увидимся еще, наверно... Стойте, руку вытру, а то она у меня, кажись, потная... не совсем того, простиги

Он засунул руку в карман штанов, вынул оттуда носовой платок и... растерянно посмотрел на Теплухина...

- Чего ты?!— спросил Иван Митрофанович.— Зачем карманы выворачиваешь,— а?
- Вот сукины дети!.. Пятерка была, синенькая. сперли, выкрали... Ну, что ты скажешь?! Вот народ! А?.. Затолкали на базаре и сперли... Беда!

Он помял платок в кулаке и положил его обратно в штаны. — На!— быстро вынул бумажник Иван Митрофанович и протянул ему «радужную» — двадцать пять рублей. — На, возьми, Коля. Не стесняйся: у меня есть...

— Много это, Иван Митрофанович. Да и вообще...

 Что вообще? Глупости!— искренне и серьезно выкрикнул Теплухин.— Ну, живо — бери! Отдашь когда-нибудь...

 — А я возъму... знаете! — просто и весело сказал теперь Токарев. — Ведь знаю, от кого беру... не подачку, не милостыню, а от товарища? Правда?

 Ну, конечно...— опустил глаза Иван Митрофанович.— Прощай, Николай!

И, не оборачиваясь, забыв, что ли, пожать руку ему, он заторопился к своему вагону, хотя знал, что поезд не сразу еще трогается.

 Прощайте!— крикнул ему вслед Токарев и пошел к своему составу, что-то напевая.

Он шагал, грузно втаптывая свои тяжелые солдатские сапоги в рыхлый грязный песок, отшвыривая по-мальчишески носком вбох дежащие из путы втакие отбросы.

вбок лежавшие на пути всякие отбросы.

В вагоне четвертого класса, с маленькими, узкими, с крестообразной рамой окошечками, он нашел свое место среди таких же солдат, как и он,— уволенных из армии на время или без срока:

искалеченных, с отравленными легкими, безруких, безногих, хромых. Когда поезд тронулся, кто-то затянул, и все поддержали:

Ты прости-и-ка, прощай,

Сыр-дремучий лес

С летней во-о-лек.

Песнь распевалась в землянках, на фронте, вдали от родного дому, увидеть который жаждал каждый, но некто не надеялся: любую минуту была перед глазами смерть.

«Ну, а теперь зачем же петь? Домой ведь едут?..»— не раз думал. Токарев, но тут же сам подпевал: «...Эх, да с летней во-о-олею!»

. — Возьми волю! — убеждал он солдат.

А где взять-то ee? — спрашивали иные.

А там, где сдуру отдали, земляк!— отвечал он, присматриваясь к «земляку»; внемлет ли тому, что будет дальше сказано, или языком только зубы чешет,— бывали и такие...

 Читаешь, браток? — свесив голову, спросил курносый, боропатый казак, лежавший над ним, на третьей полке.

Интересуешься или так просто?

- Интересуюсь, что бают в газетине!

 Бают, что тебя, казак, есаулом награждают! — отозвался по соседству чей-то голос с явно выраженным еврейским акцентом. А тебя, жил, евмолкой!

 Жидов нет, все евреи, поправили в соседнем отделении.
 Газета фальшивая, черная, сказал Токарев. Да не газета, а оборвыш от ней. Не читаю, а так себе... Газету эту вчера на пункте в Витебске даром раздавали: взял на завертку и на простые надобности. «Русское знамя» называется... Читать ли нашему брату такую всерьез?

Кадетов газета или как?

Бери похуже, черной сотни, браток!

А-а...— исчезла голова.— Вона какое холуйское дело.

Смеркалось. Вот-вот упадет крупный, тяжелый дождь. Первый гонец его - торопливый, разгоняющий духоту ветер врывался в бегущий вагон. Сквозняк... Слетает с полок чья-то бумага, с шумом раскрывается плохо затворяющаяся, залатанная фанерой дверь в тамбур. Во всем вагоне говорят: быть грозе. Кто-то признается: пуще смерти боится грозы, и это всю жизнь так, а на позициях никогда не было такого страха, - кто б объяснил, отчего это?.. Над ним смеются, зато сочувствуют другому: тот пуще штыковой атаки стращится зубоврачебного кресла, приходилось садиться в него в лазарете, так ни за что рта не откроещь, увиля клещи в руках зубодрала...

На нижней полке полуистлевшими картами дуются в «фильку». Сиплый, простуженный голос по складам читает последнее письмо от «жинки», ведут речь об урожае, — охают, насвистывают. Вспоминают всякие военные случаи: быль и небылицу, ругают начальство, толкуют про политику, про несчастных мошенников и плутов:

 Известное дело... Важный чин на ём, на плуте, что звонок: звук от его и громок и далек, ребятки!

Токарев, не вдумываясь в прочитанное, пробегал глазами обрывок газеты:

«Кто желает без затраты капитала заняться какой-нибудь промышленностью, должен выписать книгу «Я сам — хозяин!». Цена с пересылкой 2 р. 75 к.».

«Вышла книга А. Котомкина-Савинского «Князь Вячко и меченосцы», посвященная августейшему поэту К. Р. Историческая поэма из эпохи войн XIII столетия: завоевание немцами Прибалтийского края».

«Для гг. регентов!!! К современным событиям! Последование молебного пения ко господу богу, певаемого во время брани против супостатов, находящих на ны. Сочинение П. Чеснокова».

Еще сообщалось в объявлениях (Токарев улыбнулся) о «волшебной книге». Она ведь могла научить: заморозить воду в жаркое летнее время, заставить снег гореть в блюдце. Вырастить бобы в полчаса. Разрезать ниткой стекло. Превратить железный прут в свечу. Зажечь сухие дрова водой, — и прочим «чудесам».

«Чем занимаются... паразиты!- подумал Токарев.- Фокусы им

на уме да молебные песни против супостатов. Вот будет вам «находящих на ны»!.. Дайте срок!»

«находищих на ны»... дели с срок». На маденькой станции за Оршей, где никто почти не выходил из вагонов, хотя поезд и здесь стоял больше полагающегося, к окошечку телеграфиста подскочил человек в офицерской форме и торопливо протянул бланк вместе с денытами.

— Сейчас отправить, — слышите? Деньги сосчитаны, можете не трудиться. Ну, живо! Я кому говорю?! Квитанцию, жевжик, быстро! Чтоб немедленно отправил, — поиятно?.. У-у, сукины дети, вас бы за смертью посылать — до того медлительны!..

И заторопился обратно к поезду.

«Жевжик» — молодой телеграфист с конвульсивно подергивающейся, как после контузии, головой и бурым пятном волчанки вокруг глаза, — стараясь не напутать, передавал по линии депешу:

«Петроград департамент полиции превосходительству генералу глобусову немедленного представления проверил взя киева известного эсдека точка встречает петрограде кавычки жена кавычки потому считаю нельзя взять одного точка прикидывается французом корреспондентом точка фигуряет странностями отпустил английские усики костюм серый панама голубой лентой чемоданчик желтый точка вагон конце поезда точка осмелюсь ждать наградных запятля салопятников точка»

...Запятая Салопятников точка,— повторил вслух телеграфист и снял закоптелое стекло с лампы, чтобы зажечь ее: густо вползали сумерки.

Глава двадцать первая

СНОВА НА ТИШКИНСКОМ ПОПЛАВКЕ

Федя собирался позвонить, но парадная дверь была полуоткрыта, на площадку падал свет из прихожей, слышны были голоса,— и Федя решил повременить минуту и остановился у порога.

 Вы не студент Калмыков?— услышал он вдруг свою фамилию, произнесенную чым-то незнакомым голосом, и вздрогнул даже от удивления и неожиданности. — Людмила Петровна просила передать...

 Нет, я не студент, позволю себе сказать... Ее высокоблагородие Людмила Петровна знает, по какому я делу.

Как ваша фамилия?— спросил все тот же голос.

 Моя-с?... на секунду замялся посетитель. К-кандуша, позволю себе назваться... Ну, и что же из того, что фамилия?... досадливо и растерянно, как показалось Феде, продолжал он.... Осметился прийти так поздно по очень важному делу.

 Действительно поздно! — согласился хозяйский голос, приближаясь к двери. — Людмилы Петровны нет. Она уехала надолго

из Петрограда. Честь имею!

— Куда — осмелюсь?...

Эти слова были произнесены уже за порогом, на площалке, потому что хозяин, инженер Величко, весьма решительно закончил разговор и захлопнул дверь перед самым носом попятившегося назад Кандуши.

Оглянувшись, он увидел топтавшегося на месте студента: a-a, конечно же, это был тот самый, о котором сию минуту шла речь,— и Кандуша, мельком оглядев его, сказал с сочувственной улыбочкой:

 Господин Калмыков, вы к Людмиле Петровне? Так ее нет дома! Она уехала надолго из Петрограда.

«Это мне теперь и без тебя известно!— разгорячился Федя.— Но она просила что-то передать мне,— как бы узнать это?»— не знал он, что нужно делать, и не отходил от двери.

— Не верите, может быть?

 Нет, помилуйте, верю! — стало неловко почему-то Феде, и он опустился на одну ступеньку вниз.

 Так, так,— покачал головой Пантелеймон Кандуша, продолжая ульбаться.— Значит, будем знакомы! Пойдемте... что же тут делать?— предложил он, обернувшись на захлопнувшуюся дверь.

— Погодите минуточку здесь — хорошо? — остановился Федя на лестнице. — Если, конечно, хотите? Раз я уже пришел... вы понимаете?... Прыжком взлетел он на площадку и, отрезав путь до сомнений, позвонил и услышал шмелиное жужжание звонка. — Я сейчае же вернусь, господин Кандуша.

Его впустили в квартиру, дверь захлопнулась.

«Ну, и что же из того, что фамилию?.. Сболтнул! Само как-то выскочило... Э-э, инженер и слыхать не слыхал про меня, а Калмыкову, если что, так вотру, что разлюли малина!»— успокоил себя Пантелеймон Кандуша, оставшись один.

Гораздо досадней было, что не застал дома Людмилу Петровну. Готовился к встрече, все обдумал, на всякий случай утерянное Теплужиным письмо ее захватил с собой (мало ли, как разговор пошел бы!),— а тут вдруг такая история! «Не повежло! Да куда же

уехать могла так внезапно?- вот вопрос, пипль-попль!»

«Надолго уехала, сказал Михаил Петрович... А может, врст? А зачем ему вратъ? Хотя!. Проверим заятра, голубица, проверим завтра в госпитале. Разве я тебе, красавища, эла желаю? А вот опис-(подумал о Телзухине) сувенир получат, — это д-да...»— поджидав студента, размышлял между тем Кандуша. «Земляуюй. «Сицилист», наверно? А дедушка ето капиталы растил, ямщиков, возможно, по мордасам лутил, хутор имел, с помещиками дружбу водил».

«И куда это он запропастился?»— поглядывал Кандуша на

дверь, за которой скрылся студент.

Но прошло не больше трех минут с того момента, и дверь опять открылась перед вышедшим на площадку Федей Калмыковым.

 Сейчас...— бросил он стоявшему на лестнице Кандуше и, развернув письмо, быстро пробежал его глазами, потом вновь принялся за него, замедленным шагом спускаясь со ступеньки на

ступеньку.

«Интересно, наверно, позволю себе думать?— поджидал его у лестичного окна во двор Пантелеймон Кандуша и наделился глазом на бледно-голубой почтовый лист, стараясь зацепить коть несколько слов из чужого письма.— Людмилкин почерк, ей-боту!— успел он только заметить: студент уже прятал письмо з карман тужурки.— Удивить? Предъявить ему той же прелестной ручкой написанное,— а?.. Вот игра-игрушка получится!»— шалил сам с собой Кандуша.

Они выпли из подъезда, учтиво провожаемые седобородым толстеньким швейцаром, и, словно сговорившись, оба повернули налево, держа путь к Каменноостровскому проспекту, гремевшему издали колесами, тормозами и звонками пробегавших трамваев. Теплая лунная ночь удерживала людей на улицах, сулила мечтательную прогулку и возможность приятных встреч.

Как вас зовут, простите?... спросил Федя своего спутника.
 Петя, не моргнув глазом, соврал на всякий случай Кан-

душа. - А вас как, осмелюсь узнать?

Федя. А отчество — Миронович. А ваше?

 Отца звать Никифор. А мы ведь с вами и Людмилой Петровной из одних мест, кажется!

И пошли воспоминания: о родном городе, о живущих в нем, о «гимназических пристанях» на речке Суде, где устраивались так часто пикники,— ой, и самовар взяли с собой, и пропасть всяких закусок, и кондер там варили на костре, и, случалось, винцо попивали, и шуры-мура разводили... А по той же речке к стариниюм монастыре? Чего только не стрянают тебе буквально за грош!.. Или пойти, например, гулять «за линию», вдоль желеэнодорожного полотна, до самой станции Солоницы,— природа какая, одно удовольствие,— «?... А в Солоницах,— давно, говорят,— клад зарыт поляками, когда еще князь Исремия Вишневецкий на смирихин-ской горе замок себе выстроил,— гос.— е-пода боже мой, кто только не пытался откопать тот клад, но никто еще не набрел на тайное место...

Заходит разговор о Людмиле Петровне.

 Красивый бабец очены— говорит о ней Кандуша и, коротко крякнув, бросает в воду (они уже на набережной Невы) положенные кем-то на выступ парапета свеженькие корки от апельсина.

Федя чувствует, как краснеет,— отворачивает лицо, останавливается у парапета, глядит в воду.

«Что его смутило?— следит за ним украдкой Кандуша.— А нука, еще раз попробую!» И он продолжает:

— За такую женщину, если иметь деньги, ничего не жаль. Полюбить можно такую женщину сильно. Да разве нашему брату (я про себя говорю) иметь когда любовь с такою? Ни в жизны... Феля молчал.

- Ни в жизны! повторил Кандуша, вздохнув. Подскочил, сел на гранитную ограду. - Такая женщина, полагаю, меньше чем знатного офицера или важного чиновника из министерства и не приметит. Или банкир какой соблазнит деньгой да увеселением. А нам с вами не соваться!
 - Возможно...— старался быть как можно равнодущнее Феля. Эй, официант, еще парочку!

Второй раз Федя ночью на тишкинском поплавке. Все так же много народу, все те же татары-официанты с раскачивающейся походкой канатоходцев, все так же хлопают, как из пугача, бутылочные пробки. Играет оркестр слепых, одноглазый, с вытянутой лошадиной челюстью пианист (Феде кажется, что с того раза он очень похудел) трясет по-прежнему длинными смолянистыми кудрями и поводит плечами.

- Вам что, Федор Мироныч!.. Обыкновенная, так понимаю я, записочка... Ну, не может исполнить просьбу. Ну, преждевременно уехала, так... а? Вторую страничку не показали, - воля ваша! Частное дело, пипль-попль... Вполне частное. Ну, что там может быть?
 - Ничего особенного, уверяет его Федя.
- То-то и оно. «Готовая к услугам и прочее», как пишется... Верно я говорю?
- Да,— нетерпеливо говорит Федя и не спускает глаз с конверта, лежащего тыльной стороной вверх на Кандушиной ладони.

— Удивить?

Кандуша осторожно вынимает письмо из конверта, развертывает его и сует Феде под нос кончик последней странички: Узнаете подпись,— а?...

Вот оно что! — восклицает Феля.

Угловатым, нервным почерком: «Людмила Галаган»,

Вам? — поражен Федя.

 Мне...— закрыв мечтательно глаза, покачивает головой Кандуша. - Вот именно - мне. Прочитаю.

Игравший за спиной оркестр мешал Феде ясно слышать содержание письма, иногда приходилось переспрашивать, просить, чтобы повторил слово, а то и целую фразу. К тому же Кандуша читал невнятно, запинаясь, и Феде показалось, что он многое пропускает.

- «Любезный мой... Никифорович,— читал Кандуша.— Петр Никифорович! — через секунду громче обычного повторил он.-Чтобы внести раз навсегда ясность в наши взаимоотношения. я решила написать вам. Запомните, что этим я никак не могу себя скомпрометировать...» Чувствуете, Федор Мироныч? Не может скомпрометировать, - а?
 - Дальше, дальше! придвинулся вместе со стулом Федя.
- Ну, дальше... «К тому же я уверена, что вы сами захотите уничтожить это письмо, и это целиком совпадает с моими желаниями... Наши встречи приведут к чему-либо большему, чем то, на что могли надеяться остальные мои знакомые мужчины...— выби-

рал Кандуша из письма то, что ему нужно было.— Вы, я видела, отнеслись уже к этому недоверчиво, заподозрив с моей стороны обычную женскую игру». Ну, тут дальше... стыдливое, поволю себе заметить.— перевернул страничку Кандуша.— А вот отсюза... «"Вы для меня, естественно, должны были показаться человеком жлотическим. Вае все зассь чуждались, а для меня это было совершенно достаточно, чтобы поступить всем наперекор..» Выло совершенно достаточно, чтобы поступить всем наперекор..» Выло совершенны меня иском газами, и оны.. посветлели даже, как показлось в ту секунду Феде, беспомощно остановившись на нем.— широкие, курглые, геперь растерянные...

круглие, геперв растериянись;
Ох, многое может случиться,— изрек философ древности,—
между краем губы и бокала! На один только момент опоздал Кандуша поднять глаза на своего собесенцика: на тот самый момент,
когда он подносил бокал к своим губам! А теперь студент Калмыков спокойно, невозмутимо допивал пиво, глядя на Кандушу если
и с дюбопытством, то никак уже не внушающим подозрения.

«Ври, ври! Заливай, скотина! — едва скрывал теперь свою радость Федя.— Хлестаков несчастный... А насчет Ивана Митрофановича — интересно! Оч-чень даже. Вот тебе и каторжании! Но когда же это было только?» — соображал он.

Помню я, Федор Мироныч, забежали мы оба в темную ванную комнату...

О, до каких только пределов горячего вымысла не доходила в эту ночь не укрощаемая ничем Кандушина фантазия!

Глава двадцать вторая ОТЕЦ И ДОЧЬ. ДОМАШНЯЯ ОХРАНКА В СЕМЬЕ КАРАБАЕВА

Дым от горящей недокуренной папиросы, брошенной в пепельницу, теплым едким облачком лез в слезявшиеся глаза; одна и та же, замеченная, надоегдивая муха садилась на оголенную до локтя руку, нахально забиралась под засученный рукав рубахи; за окном орали мальнишки, игравшие в городки; кричал на дороге мороженшик,— все это должно было мешать работе Льва Павловина. Но он был так увлечен ею, что не пытался уже отогнать как следует приставшую муху, потушить тлеющую папиросу, крикнуть мальчишкам, чтоб убрадись подальше, закрыть окно, покуда не закончит статыи. Она получалась, на его взгляд, очень интересной и удачной.

Он заглядывал в свой заграничный дневник и вписывал в статью: «В Англии при населении в 46 миллионов народное ботатство составляет 165 миллиарлов рублей, а народный доход — 24 миллиарда в год. Народное ботатство Германии (население — 68 миллионов) — 150 миллиардов и народный доход — 22. Посудите сами, читатель— писал Лев Павлович, — в Англии на одну душу

населения приходится 3470 рублей народного богатства и дохода — 470 рублей, и в Германии — 2200 и 320 рублей. Сделайте сами вывод, любознательный читатель», - приглашал он.

Впрочем, кто его знает, какой вывод мог сделать не разбирающийся в цифрах читатель, и Лев Павлович, подумав минуту, считая, как всегда, что следует, где только можно, все подсказы-

вать русскому читателю, - закончил статью так:

«Вот и получается, что средняя семья из пяти душ обеспечена у англичан и немцев так, как у нас в России — мелкопоместные помещики или чиновники, занимающие приличные должности. Разве это не показательно?» — заключил всю статью жирный красноречивый вопросительный знак.

Лев Павлович собрал вместе все листки и вложил их в большой конверт, чтобы передать завтра же в газету.

Завтра с утра он поедет в город, он сам отвезет, - все равно

имеет смысл побывать там: брат, Жоржа, известил телеграммой о своем приезде (остановился в Европейской гостинице), да и вообще всякие дела набежали за это время.

 Чудесно! — произнес вслух Лев Павлович, подытожив свои мысли.

Теперь только он отбился от нападавшей на него мухи, несколько раз ударив по ней носовым платком, выбросил за окно дымящийся окурок, погрозил пальцем сконфуженным мальчишкам и вышел во двор -- мыть руки и освежить вспотевшее, лосняшееся липо.

В даче никого из домашних не было: Софья Даниловна, захватив с собой Клавдию, уехала сразу же после обеда в город закупать продукты, каких не было здесь, Юрка бог весть где пропадал, а Ириша, - знал это Лев Павлович, - купается сейчас в озере, в версте от дома.

Было часов восемь вечера, солнце, покачнувшись вниз, все еще было ярко, но стало мягче, и Лев Павлович, прятавшийся обычно от дневной жары, подумал, что сейчас-то и лучше всего погулять. Оставить дачу можно было без всякого риска: «там, где финны, нет воровства», - убежден был он сам и Софья Даниловна,

Он вышел за калитку и, постояв некоторое время на одном месте,

медленным шагом направился к реке.

В белых брюках и в белой, с отложным воротником, рубахе без галстука, с широким полотняным поясом, на котором нашит маленький кожаный кармашек для часов, в сандалиях, без шляпы,— Лев Павлович чувствовал себя сейчас настоящим дачником. «Ничем не хуже всех остальных», - подумал он о себе, присматриваясь к схожему одеянию встречавшихся на пути мужчин и женщин, ходивших вдали от города в «вольных» костюмах.

Дачники оборачивались на него, и он чувствовал за своей спиной их любопытные, а может быть, и благодарные, дружеские взгляды, и полетало до слуха почтительное короткое восклицание. вызванное случайной встречей «в обычной обстановке» со знаменитым народным представителем...

Он не гордился, но ему было приятно, и, не зная этих людей, он испытывал к ним доверие и благожелательность.

А когда какая-то пожилая, с седьми буклями дама, завиден его, приостановилась и, давая дорогу, встречая пришуренными глазами, улабијулась ему,— он тоже, проходя мимо, улабијулся добро и сдержанно поклонился ей: не в знак знакомства, которого не было между ними, а из чувства взаимной, надо было полагать, приязни и взаимного понимания, не требовавшего ни слов, ни личного знакомства.

Разве не говорил он уже и с этой уважаемой, приветливой дамой, когда обращал свои речи ко всему народу, стоя на трибуне русского парламента?. Нет, нет, он не гордился, но ему было очень приятно наблюдать такое внимание к себе!

Если бы он задержался минут на пять, то у самой калитки встретился бы с одины знакомым сму человеком, и,— кто знает, как сложился бы тогда сегодняшний вечер. Может быть, и прогулка была бы сорвана или во всяком случае она не была бы такой спокойной, бездумной и приятной для Льва Павловича.

Человек этот, опоздавший на несколько минут, чтобы встретиться с Львом Павловичем, вероятно, не очень сожалел о том, потому что, войдя во двор, спросил хозяев не о Карабаеве, а о его дочери Ирине.

- Никого нет на даче, ответила ему жена Вилли Котро. Барышня на озере. Подождите ее, — добавила она, отлядев незнакомца, очевидно внушившего ей доверие. — Заморились, наверно, в поезде!
- А вы не знаете, скоро она придет? поинтересовался он Барышню я встретил полчаса назад, — вступил в разговор Вилли Котро.— Я возвращался с работы, щел мимо озера, а она только шла туда. Она любит вечером купаться, — правда, Густа? обратился он к жене за подтверждением.

«Что же теперь делать? — соображал Ваулин. (Это был он.) — Пока будет купаться, пока вернется — верных полтора часа пройлет».

— Присядьте, подождите,— вновь предложила Густа, указывая ему на свободный табурет, стоявший у порога летнего обиталница всей ее семы: чистенького, остекленного сарайчика, крытого вперемежку красной и серой черепицей.— А если хотите зайците к ими на верандуг, дача не запирается.

И она начала по-фински разговаривать о чем-то с мужем, предоставив возможность незнакомцу самому решить, как лучше ему устроиться.

Семья Вилли Котро собиралась ужинать. На столе с косыми крестообразными ножками — кастрюля с только что вскипевшим кофе, сухари, салат и козий сыр. Ваулин не прочь был бы и сам

Ребятишки — их было трое — вслед за отцом мыли руки и рассаживались по своим местам. Вместе с первой чашкой кофе Густа подала мужу две финских газеты. («Культура...» — подумал

Ваулин, невольно наблюдая все семью финна.) Пройдет несколько минут. — Вилли Котро пробежит глазами сначала одну газету финских социал-демократов, потом другую — гельсингфорского клуба ремесленников и не менее получаса будет читать вслух семье все важнейшие новости.

«Черт возьми... как же быть? — огорчался между тем Ваулин.— В моем положении бездействовать и убивать время на созерцание этой семейной идиллии — не очень умно! Неужели не удастся увидеть Иришу? Обидно! И кто знает, когда еще?..»

- Простите...- прервал он финскую речь: «Кстати, спрошу, как пройти туда».— Простите, деревня Малая Метцекюле далеко отсюла?
- Малая Метцекюле? поднял белобрысую, сжатую с боков
- голову Вилли Котро. Ходить сорок минут по часам. Я хожу туда каждый день. Мы строим там новую церковь: старая сгорела. Вам, наверно, нужна там дача?
 - Да, хотелось бы...— невинно солгал Ваулин.
- Там освободилась сегодня одна, как-то странно заулыбался блуждающей улыбкой Вилли Котро.

Он что-то быстро сказал по-фински жене. Та удивленно спросила его:

Хальме, Вилли? Ой-я-а!...

И, услышав знакомую фамилию «Хальме», Сергей Леонидович, имея все основания заинтересоваться, сказал:

- Меня просили для семьи одного господина посмотреть при случае дачу: в Малой Метцекюле... Мне даже адрес одного хозяина дали, - хитрил он, вынимая из пиджака блокнот и делая вид, что ищет в нем записанный адрес. — Вот... дом Зигфрида Хальме, напротив второго колодца.
- Вам не очень повезло, нахмурился Вилли Котро. Я как раз говорил жене про этого самого Зигфрида Хальме. Если тот, что против второго колодца, так вам не очень повезло, повторил
 - Почему? уже насторожился Ваулин.
- Как раз сегодня приехал в Метцекюле жандарм и забрал Зигфрида Хальме.
 - «Фю-фю!» чуть не свистнул Ваулин, а вслух сказал:
 - А что же за человек этот Хальме?
- Обыкновенный. Хромой только немножко. Тоже, как я, всю жизнь плотником работает. В Петербурге работал, в Выборге работал, в деревне тоже. Хотя, может быть, вы с его матерью сговоритесь, - жены у него нет.
 - «Я это и без тебя, милый, знаю...»
- Да, да, надо будет сговориться. Я так и передам своему знакомому, -- с деланным равнодушием и спокойствием ответил Сергей Леонидович, а сам: «Ого, как глубоко копнули! Пустячки — провал на сей раз?! Ну, медлить нечего. Хальме взяли: куда же мне теперь идти? Обложили со всех сторон, как волка на охоте. Самым поздним, ночным — в город придется. А оттуда?.. А

оттуда — любым, куда только можно, из Петербурга!..» — решил он.

Я напишу записочку, а вы, пожалуйста, передайте ее барышне Карабаевой, условился он с плотником и его женой

Он вошел в карабаевскую дачу, быстро набросал письмо Ирише, запечатал его в конверт, любезно предложенный Густой Котро, и оставил письмо на веранде, положив его кончик под графин с водой, стоявщий на столе.

Значит, не будете ждать? — спросила жена плотника.

 Нет. Пойду... может быть, выкупаюсь... Я приду через часок.— сбивался он в своем торопливом ответе.

Он вышел на дорогу, пересек ее, взбежал на холмик и направился в лес.

Путь к речке, где купались мужчины, лежал совсем не в ту сторону,— хотел крикнуть об этом приезжему приветливый и обязательный Вилли Котро, но Ваулин уже был далеко.

«Ирине», — прочитал Лев Павлович надпись на конверте, сделанную карандашом.

«От кого бы это?» — подумал он.

Утолив жажду, графин с водой поставил на место, а письмо оставил в руке. Вышел во двор, расспросил финнов, кто приходил; по описанию их сразу же догадался — что новый знакомый Ирищи, Сергей Леонидович, а фамилим так и не знал.

«Ах, вот оно что: Мефистофель Иришин!.» — вспомнил Лев Павлович сейчас прозвище, данное женой Иришиному знакомому, и — поморщился, сам не зная почему.

Сергей Леонидович ничем не походил на Мефистофеля: на внешним видом, ни поведением своим, насколько мог замечтвъ ти Лев Павлович во время первой и пока единственной, правда, их встречи. Напротив.— он показался Льву Павловичу приятным и умным человском.

Но он был старше Ириши лет на десять, и эта разница в возрасте питала родительское сердце всяческими догадками и подозрениями по поводу истинных отношений межлу дочерью и этим человском. К тому же факт, о котором в свое время рассказала льву Павловичу Софъя Даниловна, должен был взволновать их обоих и усилить имевшиеся подоэрения. «О Левушка, он настоящий искусителы! Опытный, себе на

«О левушка, он настоящии искуситель: опытныя, сеое на уме!..» — была настойчива в своем мнении Софья Даниловна. Месяц назад в комнате дочери она нашла случайно два эк-

Месяц назад в комнате дочери она нашла случанно два зкземпляра гектографированного текста. Подумала, что записанные лекции какого-нибудь профессора, — хотела положить на место, но бросился в глаза странный заголовок:

к революционному студенчеству россии

Стала читать:

Слава победы лишь славным дается, Срама не знает погибший в борьбе... «Выходите на работу, товарищи! Идите в нелегальные социалдемократические рабочие организации! Создайте свои студенческие организации для борьбы с войной и есе виновниками. Беритна ссбя инициативу выступлений! Разбивайте всеми возможными средствами обломки иллюзий освобождения народов штыками всероссийского деспота! За работу! За работу, товарищи!

...ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Это слова первого Циммервальдского манифеста. Вы слышите ли? «Два года мировой войны. Два года опустошения. Два года кровавых жертв и бещенства реакции. Кто несет за это ответственность? Кто скрывается за теми, которые бросили пылаложно факел в бочку с порохом? Кто дано у же хотел войны и подготовил ес? Это — господствующие классы!

Во время мира капиталистическая система отнимает у рабочего всякую радость в жизии, во время войны она отнимает у него вес, даже жизии... к ответу царскую монархию! Далой войну! Да здравиствует революция! Вперед! За временное революционное правительство! За российскую демократическую республику! За опидализм! Да здравствует Третий Интернационал революционного продстагранта!»

«Левушка, что мне было делать? -- жаловалась Софья Даниловна. Я чувствовала буквально, что у меня почва уходит из-под ног. Я спрятала прокламации и ничего не сказала Ирише... Иринка, наша Иринка и... попала в какую-то подпольщину?! Да ведь так недалеко до тюрьмы! Ты понимаешь, что я пережила? Я думала: кто ей дал эти прокламации? Один момент я готова была обвинить Фому: он какой-то странный стал за последнее время ругает всех, каркает как старый ворон. Однако нет, думаю, не станет он мне пакость делать: все-таки кузен... Потом я решила: Федька Калмыков! Привез, может быть, из Киева, как подпольный коммивояжер... Э-т-то, знаешь, с политическим уклоном мальчишка! Но проверила, как могла, и отказалась от этой мысли. К тому же на этих бумажках значится подпись какого-то Петербургского Комитета... А теперь начинаю, кажется, понимать, откуда ветер дует! Видишь ли, Ириша не так давно познакомилась с одним человеком...»

Лев Павлович хорошо хранил в памяти волнующий рассказ жены в первую же ночь по возвращении из-за границы. Он прочитал прокламацию и уничтожил ес. Было решено ни слова не говорить дочери, но посматривать за ней и, когда нужно будет,—вменааться.

«А может быть, она только одна из многих курсисток, которым агитаторы всучили свои бумажки, а сама-то она ни при чем?» — высказывал догадку Лев Павлович и надеялся, что дело обстояло именно так.

Но Софья Даниловна, ссылаясь, как всегда, на свою «материнскую интуицию», ждала больших неприятностей — и для до-

чери и тем самым для всей семьи.

«Я тебе говорю, Левушка: он, именно он — искуситель, Мефистофель какой-то! Он в организации революционной, — я чувствую! А знаешь, когда женщина чувствует...»

«Не в полицию же сообщать о нем?!» — по-своему противоречил ей неожиданно Лев Павлович, и тогда она обижалась.

нил ей неожиданно Лев Павлович, и тогда она обижалась. ...Торопливо заклеенный конверт легко и без порчи откры-

вался: его язычок пузырился и отставал, и стоило только осторожно всунуть под него тонкое лезвие перочинного ножика или дамскую шпильку — и... А потом так же легко можно заклеить: еще крепче прежнего!

Лев Павлович прогнал эту мысль. «Перлюстрация чужих писем?» — сказал он себе, и этого было достаточно, чтобы легко

и просто устоять против соблазна.

Ну, ладно... Письмо, конечно, он не вскроет: он отнесет его в комнату дочери, положит его там. А вообще-то говоря, может он, отец, который всегда так близок был со своими детьми, - может он поинтересоваться поглубже знакомыми дочери, ее отношениями с ними, ее раздумиями, вообще - ее жизнью?.. Может или нет? «Должен даже! — говорил себе Лев Павлович. — Ведь она еще дитя... прекрасный мой, чудный теленочек! Разве она отвечает за свои поступки? Надо объяснить ей это - в честном, прямом разговоре растолковать. Соня, конечно, не сумеет этого сделать, она чересчур вспыльчива бывает, — рассуждал Лев Павлович. — А я сумею: ведь Иришка так меня любит! Ну, пусть пооткровенничает со мной курсёсточка моя!..- просил он ее мысленно.- Мы вместе и обсудим, если что есть... Какие у нее, например, дела с Федей этим самым. Неужели продолжается детский роман? Или нет?.. Мне этот студент нравится, напрасно Соня как-то неприязненна с ним. Эх, молодежь, молодежь: надо ведь ее понимать!» словно спорил он с кем-то в эту минуту, и, как если бы спор увенчался его успехом, Лев Павлович пришел опять в хорошее на-

Он уже знал даже, как начнет разговор с дочерью. Он не сразу, не в лоб, — нет, нет, он схитрит, он начнет (приходит тут в голову Льву Павловичу)... с «биологического» примера: как естест-

венник подойдет он к этому деликатному делу.

«Однажды,— расскажет он Ирише,— лесник ехал ночью верхом на лошади по лесу и в темноге наехал на лоскух, которая, испутавшись, отбежала в сторону. Лесник продолжал свой путь. К великому его изумлению, в деревню за ним пришел и лосенок. В чем же дело?... А в том, что лесник отрезал случайно лосенка от матери, за которой он всегда бегал, и теперь он побежал так же за лошадью, как раньше за лосихой. Здесь мы имеем дело, — пояснит он Ирише, — с наследственной реакцией, биологически весьма важной, так как благодара этим реакциям детеныш спасается, пока не окрепнет и сам не образует своих условных связей по отношению к внешнему миру. Это и есть пример примитивной подражательной реакции».

«Поняла сию научную притчу? — спросит он свою дочь, своего милого, прекрасного «досенка», в темноте и запутанности современной жизни могущего, подражая бог весть кому, отбиться от семы своей и неразумно побежать куда-то прочь. Вот как начнет он с ней разговор! Весело (главное — вссело!), шутливо, но в то же время достаточно серьезно.

И зачем дело откладывать в долгий ящик? Разговор он начнет с ней сегодия же: благо никто не помещает им, так как Софья Даниловна задержалась в городе (он посмотрел на часы) и приедет оттуда, наверно, только завтра утром.

Лев Павлович направился в комнату дочери, чтобы отнести туда ваулинское письмо. Войдя в комнату, он положил его на подушку: вернется Ириша — сразу бросится ей в глаза — рассудил он.

Он оглядел обитель дочери. «Хм, какой, однако, беспорядок у Ириши,— подумал Лев Павлович.— Вот уж не похожа в этом на мать! Нехорошо...»

На подоконнике разбросаны шпильки, одна из них каким-то образом попала на желтую липкую бумагу «смерть мухам». Зеркало на комоде в пыли. Тут же тарелочка с недосенными ягодами, и на них — осы и мухи. Упала с вещалки полотивная простыня, закрыващия виссениую одежду. В разных углах валялись пояски от платьев, косынка, голубой сарафан, а на столе — тючок свеже-отглаженного белья, только сегодня принесенного деревенской прачкой.

«Нехорошо. Неаккуратно... Как будто раньше не замечалось за ней это? — удивился Лев Павлович.— Надо ее немножко пристыдить: сделаю, а потом скажу/»

Никогда не завимаясь этим сам в своей комнате, он решил сейчас навести порядок, хотя бы относительный, в комнате дочери. Он собрал валявшуког одежду, повесил ес, как мог, на вещалку, нарым се поднятой с пола простыней, а свежее белье решил положить в комод: все вместе: и ночные рубахи, и лифчики, и чулки, и платье, и носовые платки,— все вместе! «Пусть уж там сама разберется!»

В комоде было три больших ящика и два маленьких — верхних. Льву Павловичу не хотелось салиться на корточки и очень низко нагибаться, но,— соображал оп.— вряд ли белье хранится в маленьких ящиках,— и решил выдвинуть первый из больших, что и сделал,

Ему повезло: именно в этом ящике, увидел он, лежало остальное белье (правда — только белье!) Ириши. Узенький — он был почти полон, и Лев Павлович с трудом укладывал в него Иришины вещи, для чего потребовалось вынуть на время из него уже лежавшие там.

Занятый этой неблагодарной для мужчины работой, он нашупал случайно между лежавшим бельем какой-то твердый, плоский предмет и сразу же определил, что это — тетрадь. «Почему она зпесь?..»

Не зная еще, для чего, он вытащил ее: действительно — толстая клеенчатая общая тетрадь. Он неловко перелистал ее — и оттуда выпали какие-то бумажки и тонкий засушенный ореховый лист. Дев Павлович быстро нагнулся, поднял все это,— он не знал, как точно следует его положить.

Уже осторожно он вновь стал перелистывать тетрадь со многими исписанными страницами и, когда увидел между двумя из них точно такого же формата листьи, как и выпавшие,— обрадовадся и присоединил к ним слетевшие на пол.

Проделывая это, бегло сличая листки, он натолкнулся взяльдом на кем-то, незнакомым почерком, написанную свою собетаенную, карабаевскую, фамилию, употребленную во множественном числе. Ну, как тут не заинтересоваться?.. Да еще если фамилия к тому же помему-то. зачеркнута?!

И он остановил свой взгляд на одной этой строчке:

«...либеральной буржуазией и ее глашатаями — Гучковыми, Милюковыми, Карабаевыми...»

«Что такое? В чем дело?..»

Не думая уже ни о чем, что могло бы его удержать от этого поступка, Лев Павлович набросился на чтение листков, не обращая внимания на порядок, в каком они следовали.

«Товариши! — писал кто-то круглым красивым почерком.— В годь реакции, в годы трудной будничной работы совершившесся в нашем студенчестве расслоение не могло обнаружиться с достаточной определенностью за отсутствием вопросов, требующих для своего разрешения определенных действий. И в смрадном маразме ублогочной конституции...»

«Господи, слова-то какие, слова-то!..» — скривил рот Лев Пав-

«...выросли и окрепли те буржуазно-мещанские настроения студенчества, которые только теперь проявились со всей силой, свидетельствуя о полном идейном банкротстве студенчества, как целого, его идейном банкротстве и бесциабашном оппортунияме. Казавшесея когда-то единым по своему революционно-демократическому настроению, оно теперь, с обострением классовых противоречий в обществе, реаскалывается, как орех (зачеркирто «как орех»), на две противоложные друг другу группы: буржуазнооппортунистическую, идейно связанную с сильно окрепшей за последние годы либеральной буржуазией и ее глашатазми — Гучковыми, Милюковыми, Карабаевыми (...как на возмущен и серцит был сейчас Лев Павлович, подумал, умежкувшись, о чтепни письма в «Ревизоре»), и — революционно-социалистическую с интернационально-классовой идеологией мирового пролегариата. Совсем не желая обращаться с призывом к первой части, обращаемся к товарищам, разделяющим наши убеждения, но почемулибо стоящим в стороне от социалистической работы пролетарских организаций.

Товарищи! вы должны знать...» На другом листке:

> Вечная память погибшим за дело святое! Вечная память замученным в тюрьмах гнилых! Вечная память сказавшим нам слово живое!..

...Совершенно очевидно было — черновик какой-то прокламации! «Эге, дело серьезное,— встревожился Лев Павлович,— Боже мой, боже мой, как Соня была права! Спасать, спасать надол. Ведь это же не шуточка, ведь бог знает что может случиться с ирищей! — с тревогой подумал он о дочери.— Кто его знает, что здесь еще в тетрали?»

Она в его руках, минуту он заглядывает в нее, убеждается, что это дневник Иряпии, о существовании которого он никогда раньше не знал.— господи. он, отец. ничего не знал.!.

Но читать ли весь дневник сейчас?

Прежде чем начать смотреть его, Лев Павлович решает сделать другое: он подбегает к кровати и берет положенное им на подушку письмо.

Через минуту он убеждается, что поступил правильно.

Шпилькой он легко вскрывает конверт и вытаскивает оттуда записку Ваулина: тот же самый, знакомый уже почерк — круглый, красивый.

«Ирина! Обстоятельства вынуждают меня покинуть Петрограда. Надеюсь — только на время! Не унивайте, дорогой друг, все будет ладно. Советую сейчае станхать, держаться в теми. Ждите от меня вестей. Просьба большая: зайдите к Шуре, вместе с ней меня вестей. Просьба большая: зайдите к Шуре, вместе с ней с на моей матери, успокойте, керепенько поцелуйте Лялечку, Не оставляйте моих, я буду думать о них и о Вас всегда. Если ларек не закрылся (пусть Шура посмотрит), все равно не покупайте там без меня. Помните: Вы мне очень, очень близкий человек,— вот Вам еще раз мое признание! А признание — ссстра поканиию: простите меня за все неприятное, можеть быть уго причины! Вам. Лялечку и мать обнимите за меня. Отсюда выберусь самым ночным.

Ваш С.»

Заклеенный конверт водворен на место. Но все равно до последней запятой запечатлелось это письмо в памяти Льва Павловича! Кажется, всю жизнь будет помнить...

— А я хотел ей о лосенке рассказывать... Вот тебе и «лосенок», ай-ай-ай-ай-ай-ай...— горестно вздыхал он. И, словно не хва-

тало сейчас воздуху для дыхания, подошел к окну и высунул на минуту голову в него.

минун полову в него.
Увидев побагровевшее, насупившееся лицо Карабаева, притихшие мальчишки, расположившиеся под кустом палисадника, хотели уже разбежаться, но Лев Павлович вдруг дасково сказал;

 – Йграйте, ребятки, играйте: я вам не запрещаю. В лосиху лосенка умеете? А?.. Ну, я вас завтра научу, — и отошел от окна.

«Господи, что я такое говорю?..» — испугался он сам за себя: подкрадывались к горлу спазмы, стреляло, как всегда, когда волновался, в правом, с детства простуженном ухе.

Кое-что в письме ему было непонятно, особенно — фраза о ларыке, и это только усиливало его воднение, разълитало его подозрения и догадки, в одно міновение сменявшие друг друга десятками. Боже ты мой, до чего только он не додумывался!. Но одно было ясно: ни он, ни Софья Даниловна не уследили.. Нет, нет,— не уследили! Дело зашло слишком далеко, и как теперь его подпольной организацией («И прокламация и эта записка— одним почеркомф»), и, того гляди, в любой день жандармский офицер или какой-вибуль агент охранки придет за ней и уведет под конвоем в грязный участок.

«Как проворовавшуюся проститутку, вместе со всяким сбродос, сывтанами!» — пришло именно это в голову Льву Павловичу. Он сознательно уже путал себя, чтобы резче и как можно только болезненней почувствовать весь ужас предстоящего, всю силу сокопбления, которое тем самым будет ему. Карабаеву. нанесено.

А какая-то другая мысль пыталась успоконть: «Нет, что ты? Не дай бог! Зачем же цыгане, зачем проститутки?.. Бог с тобой! Могут, конечно, забрать — это правда, но ведь связи в министерствах, Родзянко, положение в Думе, в обществе?! Вмещаются, не допустят скандала, вернут немедленно Иришу, что ты, Левушка?!» — словно уже говорили ему ласково, по-родственному, усужжливо и Родзянко, и министры, и вся Дума, и все люди вокруг.

«Заслужил я или не заслужил того?» — спрашивал он их мысленно и слышал уже, как это часто бывало во время его думскиу и иных речей. громкое, пружеское и предавное одобрение.

«Правые только, негодян, могут использовать этот семейный скандал. Начнут улюлюкать, обругают и меня революционером, скажут, что я в сговоре с безответственными крайними элементами. Ах, Ириша, Ириша! Что ты наделала? — негодовал и скорбел Лев Павлович.— Как это все случилось?..»

И вдруг одна мысль пришла, как страшный, позорный ответ на растерянный вопрос Льва Павловича.

«Боже мой, боже мой... Ни я, ни Соня этого не переживем!» — обреченно сказал он себе.

Он раскрыл тетрадь и, как можно только, быстро стал ее просматривать: эти страницы должны были подтвердить то, о чем он подумал.

Среди нескольких десятков записей он выбирал для своих умозаключений те, в которых разбросан был и таился, по его мнению, ответ на его последнюю мысль. Он переставал читать все, что не касалось существа ее: о профессорах, о театре, о книгах, о влюбленных Иришиных подругах, о прогулке на Стрелку, рассуждения на разные темы и прочее. Собственно, и это было ему интересно, и в другое время он не пропустил бы ничего, что так или иначе касалось Ириши, но сейчас... сейчас он искал главное. «Как следователь охранки!..» — подумал он и тотчас же от-

бросил эту мысль.

«...Я так благодарна Артемиде за это знакомство! Какой он умный и, кажется, хорошей души человек! Мы много говорили с ним, мне так хотелось пойти вместе домой, но он почему-то ушел раньше всех. Шура живет в одной квартире с ним, его матерью и ребенком. Он вдов, потому что жена его умерла во время родов, ребенка он боготворит, но почему-то не живет с ним вместе. Вот этого уже не могу никак понять.

...Сегодня Шура рассказывала мне все, что знает о его жизни. Ей откуда-то все известно. Шура уверяет, что он видный здесь «политический» человек, но почему-то нигде открыто не выступает. Он с Шурой очень хорош, она хочет быть его «личным секретарем», как сказала. Он расспрашивал ее обо мне. Неужели? Шура

говорит, что я ему очень нравлюсь...»

«Шура да Шура! Какая это такая Шура? — злился Лев Павлович, стараясь вспомнить всех бывавших у него в доме Иришиных подруг. И отыскал-таки в памяти: «А-а... вот та самая - кубышка с черненькими глазками, с растрепанными темно-золотистыми волосами!.. Ходит она всегда в поношенной, обшитой барашком кофточке, в кругленькой шапочке. Кажется, большая сладкоежка и часто жалуется на зубную боль... Нет, ничего, симпатичная»,— вынужден признать Лев Павлович, хотя не прочь был бы сейчас придраться к любой из Иришиных приятельниц.

«...Прошло полгода, ровно полгода с того дня. А могла ли я думать тогда? Родной мой, хороший, ты доставил мне столько радости!.. Чувствовать тебя, дышать с тобой одним воздухом, ду-

мать вместе с тобой... все, все скрывая от чужих людей!..»

 Какая гадосты! — горячим шепотом сказал Лев Павлович. «Несчастная... развратница!.. закончил он уже в уме, не в силах, чувствуя, произнести это слово вслух. — Ирочка, Иришка, что сделала с собой и со всеми нами?» — опустился он на стул, не замечая уже того, что неудобно сел на кончик его.

Теперь все казалось понятным, теперь не в чем уже было сомневаться.

Пришла странная мысль — подтверждение того, что узнал из дневника: состояние Ириши сказалось и на ее обращении с вещами! Неряшливость, никогда раньше не замечавшаяся за ней, беспорядок в комнате, разбросанное, валяющееся где попало белье. «Нет, нет, это не девичье отношение к предметам: это распущенность женщины, утаивающей, что она стала ею! — утвердился он

в своем наблюдении.— Это проявление бессознательного, вероятно, бесстыдства, которого раньше не было у Ириши».

И чулки ее, лифчики, смятый сарафан — вещи, которые он подбирал здесь, трогал руками, — показались ему теперь не просто запылившимися, не свежими, а грязными, в каждой складке своей хранящими следы чужого и греховного к ним прикосновения.

Этого он никогда не замечал, но сейчас ему казалось, что подол нижней Иришиной юбки неприлично ниже верхней, и кружева его всегда грязны и, распустившись в петлях, волочатся ниткой по полу...

«Как цыганка, как проститутка с грязным подолом... пойдет со вежким сбродом»,— онять приходит в голову больная, оскорбительная мысль, и он неожиданно ощущает потребность вытереть руки носовым платком, словно он и впрямь только что ими держал замаранный подол чьего-то белья.

«Теперь,— нашел он на одной странице.— Шура созналась мие, что давно помогает их революционной организации. Они борогся с царем и против войны, и разве вся мом душа не с ними? Шура спросила меня, хочу ли в тоже помогать общему делу, «Будешь подручной,— сказала она.— Ведь ты курсистка, а лучшие из студенчества всегда шли с рабочим классом». Я сказала ей, что мой отец — бъвший земекий врача, капиталов у нас нет. «Дело не в твоем отце, если быть откровенной,— сказала Шура,— а в тебе самой, Ириночка. И с отцом тебе нечего советоваться: у нас с ним разное политическое вероисповедание, хотя он и не царский человек».

....Федя пишет, что приезжает сюда. Пускай приезжает, буду очень рада Федулке. Теперь мы с ним друзья, только хорошие, настоящие друзья. Жизнь корректирует все отношения — всетда говорит мой папа: так и у нас с Федулкой. Интересно, понравится ли ему мой С. Л.?

...Все мы дома с нетерпением ждем возвращения из-за границы папочки. Сначала газеты очень много писали о них, о их поездке, а теперь стали меньше. Папа — настоящая знаменитосты!

В университете стали относиться ко мне с особенным уважением, меня и некоторые так и называют: дочь будущего министра. С. Л. шутя говорил мне: «Ну, зачем вам, Ирина, Константинополь и проливы?» А Шура серьезно говорила: «Лев Павлович не плохой, вероятно, человек, но зачем он служит буржуазии, а не рабочему классу?» Еще года два тому назад я обиделась бы, а теперь кое-что начинаю понимать.

...По просъбе студенческой группы С. Л. составил проект воззвания. Там упоминалась фамилия папы. Писал у меня в комнате. Я посмотрела на листок и, как дура, покраснела. Он нежно обнял меня за талию и сказал: «Из песни слова не выкинешъ». Черновик остался у меня на сохранение. Я знаю, что это глупость, но, когда он ушел, я заческнула папино имя».

«Доченька ты моя...» — умилился Лев Павлович, забыв на секунду о своем негодовании, и громко, от волнения, засопел в усы.

«...Сегодня первый раз была в ларьке у «зеленщика» с Шурой, — читал он дальше. — Как все замечательно они устроили...» Опять о каком-то таинственном ларьке? Он ничего не понимал: какой-такой «зеленщик»?

«...сначала было страшно, а потом — ничего. Жена зеленщика очень проворно и уверенно все делала, а я вся дрожала».

И хотя больше ничего о ларьке не было сказано в тетради, Льву Павловичу показались эти строчки самыми страшными во всем дневнике. Между этой и последующей записью шел пропуск в десять дней, и он только усилил отчаяние и подозрение Льва Павловича.

«Была больна она... Настолько плохо себя чувствовала после аборта, что не до дневника было! Господи, за что ты караешь нас?» - кажется, всерьез вспомнил он о боге, к которому давнодавно не обращался.

И вдруг через две страницы:

«Вчера ночевала у меня Шура. Говорила о многих всщах и о любви. Ей очень понравился Федулка. Дурачились, расспрашивала меня о моем бывшем романе с ним. Я ей все откровенно рассказала. Потом заговорили о С. Л. Шура не верит, что мы с ним ни разу не поцеловались. Вот глупая! Ведь я-то знаю, что это, к сожалению, правда. Ни разу!.. Но если придется когда-нибудь,я пообещала ей открыться в этом.

...Ура! Сегодня получена телеграмма, что через дснь возвра-

щается с делегацией папа! Какая радосты...»

«Какая радость! — повторил про себя Лев Павлович, хотя хотелось теперь крикнуть об этом громко, во всеуслышание.-Лосенок мой, родной мой, прости меня за всякие исдостойные, пакостные мысли! Как я мог думать даже?! Ах, нервы... нервы... Мы все так издергались за это время, так подозрительны, недоверчивы стали. Дитя мое! Самое важное, самое главное ведь, - а?..» Радость была сильна и остра. Его дочь осталась «чиста», как и

была раньше.

Но, чтобы утвердиться в своем чувстве, он бегло перелистал тетрадь: «А вдруг в самые последние дни что-нибудь да произошло?» И когда не нашел ничего предосудительного, -- уже окончательно повеселел.

Ириша была при нем, при отце, -- он это чувствовал теперь... ну как чувствовал при себе носовой платок и кошелек в кармане, как биение часов в кармашке широкого пояса, обтягивающего его тело. И как можно в любую минуту вынуть все эти вещи и посмотреть на них, зная, что ты один только их обладатель, так мог он уже уверенно ощутить по-отцовски и свою дочь.

Он поспешно сунул клеенчатую тетрадь на место, задвинул

ящик комода и вышел из комнаты дочери.

Еще минут десять — и она застала бы его на месте преступления.

Впрочем, он не считал это преступлением.

«Я — отец, и ничего дурного не могу желать своей дочери, на

мие лежит ответственность за ее жизнь и поступки, я обязан си совстовать делать лучшее и помогать в том, милостивые государи! — отвечал он словно кому-то приставшему к нему с укором и возмущением.— Всякие девчонки Шуры и подпольшики везкие (сто им говорил Лев Правлович сейчас) не пощалят Иришу в своих неденых целях, а я и мать только и можем се защитить — понятно это?.. Ну, прочитал, пу так что же? Подумаещь, какое преступление сделал?! — уже убеждал он себя в своей собственной правоте. — Разве я кому-нибудь стану рассказывать об этом, разве я выдам кому-нибудь Иришу? Я даже Соне ничего не скажу». решил Лев Павлович.

Он зажег свет и ходил по всей даче, напевая — для бодроги — вспомнившееся вдруг «Типперери». Он напевал, вставляя в песенку свои собственные слова, получалась нелепица, но зато

с «особым смыслом»:

Далеко вам до Типперери, Далеко вам, господа, Не видать вам нашей Мери, Не ходите вы сюда!

На минуту его увлекло даже это занятие — стихотворный экспромт. И он вновь запел. И не без самодовольства:

> А нам близко до Типперери, Потому что мы отцы, Не видать вам нашей Мери, Подлецы вы и глуппы!..

Вот так песенка! — услышал он сзади смех Ириши.

 — А-а...— шагнул к ней Лев Павлович.— Ты пришла? Вот хорощо! — И он почувствовал вдруг, что смутился.

Она стояла на ступеньках крыльца, согнув и выдвинув одну ногу вперед, готовясь сделать последний шаг к веранде, но замед-

Волосы, собраниме в длинную, густо скрученную косу, лежали на груди, касаксь концом своим согнутого колена. Опершись на него ложтем, она держала завернутые в газету купальные принадлежности, другая рука, голяя до плеча, летла на спускающиеся вииз короткие деревянные перила.

Ну?..— сказал Лев Павлович. Ирина мигом очутилась на

веранде.
— Какая вода сегодня, папа! Ходить только далеченько. Вот бы это самое озеро да возле дома! Я бы все время тогда сидела в воде... Наши до сих пор не приехали из города?

Как видишь.

 Ну, значит, заночуют. Придется мне покухарничать. Одну минуту, и я все сделаю: будешь сыт и доволен. Разве я у тебя плохая дочка?

Я этого не говорю пока.

 Одну минуточку: я только отдохну капельку... Юрка не возвращался? Обрати внимание на Юрку, папа, все так же оживленно, но уже серьезно добавила она.

- А что такое произошло?
 - Да ничего особенного, конечно...
 - Говори ясней, Иришенька.
- Все-таки водить ему компанию с офицерами расквартированной здесь части ни к чему!
- Вот как? Почему же водить компанию с офицерами нашей армии так уже неприлично? — слегка вызывающе усмехнулся Лев Павлович. — Среди них много отличных людей, рискующих жизнью, всем своим дорогим...
- Ах! прервала она его. При чем здесь это? Ты уже сразу... как член Государственной думы! Ой-ой, как «по-граждански» все это! А я тебе простую вещь хочу сказать: озеро женское, там только мы купаемся, а офицеры ходят туда и подсматривают. А нача Юрка тоже хорош!
 - Я ему такое задам! строго сказал Лев Павлович.
- «Сейчас ей сказать о письме или потом?» думал он, поглядывая на нее украдкой, боясь, что в прямом его взгляде она прочтет плохо скрываемую, вероятно, тревогу и взволнованность, «Не видать вам нашей Мери, подлецы вы и глупцы!..» — неотвязчиво, но уже без всякого песенного мотива лезло почему-то в голову и раздражало теперь Льва Павловича.
- Ты ему, как старший друг, сделай внушение, пожалуйста, - удовлетворилась его обещанием Ириша.
- Да, да, как старший друг, вот именно! многозначительно подхватил Лев Павлович, приближаясь к дочери.

Сидя на стуле, она высоко заложила ногу на ногу, снимая синие, под цвет сарафана, балетки и вытряхивая набившийся в них песок. Она тут же сняла чулки и погладила от колена вниз, -- как будто песок и здесь мог прилипнуть, - голую, еще не тронутую загаром ногу. И вдруг она вскочила со стула, подбежала к отцу и, так как была ниже его ростом, вытянула к нему, закинув назад, голову, заложила за нее голые полные руки и поднялась на цыпочки. Он увидел близко ее большие светлокарие глаза настежь: в них не дрожала ни одна точка («Вся на ладонке!» — подумал он), но где-то глубоко-глубоко горел, словно опрокинутый внутрь, рыжеватый короткий луч смеха.

- Вот какая у тебя дочь... Папа, папа, я вижу кусочек себя в твоих глазах! Как интересно! Стой, стой, не шевелись!
- Бесстыдница, сама себя хвалишь, тихонько шлепнул он ее кончиками пальцев по лбу и повернулся боком. — Ей-богу, ведешь себя будто тебе не девятнадцать, а девять лет! - не мог уже не улыбнуться, завоеванный ее живостью и непосредственностью: «Ну, как тут говорить с ней о серьезных вещах?» — А еще студентка, а еще... (чуть-чуть не сорвалось насмешливое «социал-демократка»)... а еще невеста! - так же необдуманно уронил он. Она засмеялась:

 Возможно! Возможно, Лев Павлович... А что, — разве никто не возьмет? Ой, как еще!

 Не говори глупостей, Ириша! — вдруг помрачнел Лев Павлович и стал быстро закрупвать. Всякие Шурки тебя бог знает чему научат. Как будто я не знаю?..

— Что?.. Чего это ты вдруг?

— Того!

— Что ты знаешь?

Она заглядывала в его лицо строго и неласково:

Ты, дорогой мой, совсем не знаешь Шуру, чтобы ее ругать.
 Ну, что ты знаешь? Говори же!

 Ничего...— сожалел уже о своей вспыльчивости Лев Павлович. Он сломал надвое спичку, затем другую, бросил их с каким-то нечленораздельным восклицанием за окно, зашагал по веранле.

— Чего ты это вдруг? — тихо повторила Ириша, наклонясь над своими балетками и поднимая их с пола.

«Ах, легче было бы, если бы не спрашивала!..»

Чего? — сказал Лев Павлович и остановился посреди веранды. — Так, деточка. Просто так.

И вдруг заговорил не своими словами:

— Знаешь, горе, которое молчит, нашентывает отягченному серацу до тех пор, пока оно не разорвется! Вот... и мне нашентывает...— совсем уже готов был разоткровенничаться Лев Павлович и долгим, неуверенным глотком вобрал в себя воздух.

Ириша не знала наизусть цитат из Шекспира, — она спросила:

— Что нашептывает, папа?

 Ничего, ничего, родненькая, — махнул он рукой и постарадся заульбаться. — Давай поужинаем. — а?

 Сейчас. Прости меня...— собирала она свои вещи, разворачивая газету, вынимая купальный костюм.— Сию минуточку. Прости меня, пожалуйста.

«Кажется, я была нечутка,— бранила она себя.— Пришла... тараторила о всяких пустяках и не заметила, что он, вероятно, был чем-то очень озабочен. Ой, как нехорошо получилосы! Что-то очень легкомысленная я сегодня. Ну, ничего: за ужином замолю свои грехи... Вот, Клавдия в городе, а ты тут возись со всеми этими мисками, керосинками, тарелками!» — быстро сменилась одна мысль другом. И, не заходя к себе в комнату, с купальными вещами в руках, Ириша побежала босиком в кухию — посмотреть, что можно подать на ужин.

Принеся посуду на веранду, она застала отца склоненным над измятым, но расправленным теперь листом газеты, лежавшей на столе.

 Как она к тебе попала, Ириша? Мы не выписываем этой пряни! — запержал ее на минутку Лев Павлович.

Ириша взглянула на газету.

 Ей-богу, не знаю. А-а, вот что, папка... На пляже разные ведь соседки бывают: вероятно, какая-нибудь из них принесла. По ошибке я завернула вещи не в свою газету, а мою взяла соседка... А что такое, папа?

 Нет, ничего, лосенок мой, — нежно и, как самому показалось, жалобно сказал Лев Павлович и несколько раз поцеловал ее в голову, уткнувшись носом в Иришины волосы.

 Лосенок? Этого я еще никогда не слыхала, — удивлялась она и радовалась перемене в настроении отца. - Теленочек, курсёсточка, еще всякие слова... А вот лосенок — первый раз! Почему лосенок?

 Потому — вот и все!.. Ну, давай, давай отцу пищу. Быстро, лосеночек! Одна нога здесь, другая там! - гнал он ее в кухню.

Газетная заметка, на которую случайно наткнулся глазами минутой позже, по-особенному взволновала его и породила мысли. сильней всех прежних:

«ДЕТИ ПРОТИР СВОИХ РОДИТЕЛЕР

Вчера в дачной местности покончила саомубийством на почве крупных семейных раздоров дочь депутата Государственной думы К — ва. Понятно, что такой противоестественный поступок молодого несчастного существа...»

Дальше следовали нравоучительные соображения черносотенной газеты, недвусмысленно старавшейся бросить тень на «атеиста»-депутата, не сумевшего якобы воспитать свою дочь в духе требований православной церкви и истинно русской семьи.

Лев Павлович обругал газету и в то же время, как ни странно. был благодарен ей теперь: «Дочь... В дачной местности... А что, не дай бог, у меня бы так случилось?! Ведь с ума можно сойти! Слава богу, слава богу, что я не начал этого объяснения сегодня... Когда нибудь, в другой раз, но не сегодня... нет, нет!» — обуяло его нечто вроде суеверия.

«Маленькие случайности предостерегают от больших неприятностей...» Кто это сказал, - а? Фу, черт, кто же это сказал?» никак не мог вспомнить Лев Павлович, а вспомнить обязательно хотелось: потратил минуты две, но так и не удалось сейчас это.

«Ла, да, это так! — маленькие случайности предостерегают от больших неприятностей! - И вдруг понял теперь, что нечего вспоминать, кто высказал эту мысль, что вообще никто ее никогда не высказывал, а что это он сам, Лев Павлович, случайно изрек мысленно такой афоризм. — Вот так штука!»

Он был доволен. Он решил запомнить удачное свое изречение, чтобы использовать его, когда потребуется, в думской речи или в

газетной статье.

В конце ужина он сказал:

 Да, я забыл, Ириша, прости меня. Кто-то принес тебе письмо, отдал нашей хозяйке, - я положил его у тебя в комнате, И опустил глаза к блюдцу с киселем.

- А, это, наверно, дачница-портниха, с которой я вчера условилась, — равнодушно сказала Ириша. — Она обещала мне и маме написать, сколько нужно точно купить материалу на некоторые вещицы... Положить тебе еще киселя?

Угу-угу, — пробурчал Лев Павлович.

«Хорошая портниха!» — думал он, но ничего не возразил дочери, ничего больше не говорил о письме, боясь вызвать ее подозрения, когда она уже прочитает его.

Сидя за столом друг против друга, следили оба со сосредоточенным любопытством за большой мерцающей желтой звездой, удивительно быстро перемещавшейся на белесом вечернем небосводе. Вот над верхушкой одной сосны, через минуту — уже над третьей...

- Убегает от чего-то...— задумчиво сказал о звезде Лев Павлович.
 - Или бежит к чему-то, подумала вслух Ириша.
 А это не одно и то же? улыбнулся он.
 - Нет, конечно. Это не одно и то же. Смотри... А ведь мы позному...
- ...видим предметы, мир, хочешь сказать ты? насторожился Лев Павлович.
- Звезду! просто сказала она, не поняв, очевидно, его намека.

Он остался доволен ее ответом. И вдруг подумал: «А ведь я мог уничтожить письмо, и все было бы хорошо! Предупредил бы финнов, чтобы не говорили: соврал бы им что-нибудь на всякий случай... Как я не догадался?»

Но сейчас — понимал — уже поздно было это делать: Ириша встала из-за стола и направилась к себе в комнату.

Глава двадиать третья

доклад генерал-майора глобусова

Своего шурина, начальника отдела по охранению общественной безопасности и порядка в столице, генерал-майора Глобусова Губонии застал, как всегда, за работой.

Генерал-майору было немногим больше сорока. Прилизанный, приглаженный, с фигурой и лицом женской складки, с вкралчивыми манерами, с тихим, как бы журчашим голосом, особенно когда говорил по телефону, всегда мягко и вежливо ульбающийся в сознании своего превосходства (может быть, скрытого еще для собеседника, но — превосходства!), Алексвандр Филиппович Глобусов был неутомымым руководителем порученного сму дела.

Работал он много и аккуратно, никогда не повышал голоса на своих подчиненных, даже на самых мелких, был с ними очень вежлив и любому писарю говорил «мерси», картавя на парижский лад.

Военный человек действительной службы, он ходил в брюках навыпуск, со штрипками, всегда в одних и тех же, тончайшей кожи, отлично сохранившихся за долгие годы сапотах почти без каблуков, и только гориичная знала и удивлялась, как зверски барии стаптывает их в пальцах — почти до дыр, размером каждая

в пятак. Однако никто как будто не замечал, чтоб генерал-майор Глобусов ходил на цыпочках.

Жил он на казенной квартире, соединявшейся узеньким, коротким коридором с его служебным кабинетом. Этим ходом и прошел к нему Губонин, предупредив о себе по внутреннему телефону.

 А, Вячек, здравствуйте, садитесь, пригласил его Александр Филиппович.

И, уже предвидя естественный вопрос гостя, увидившего, что Глобусов сейчас не один в кабинете, тотчас же добавил:

 Пожалуйста, пожалуйста, вы мне не помещаете... Правда? - обратился он к человеку в штатской одежде, стоявшему навытяжку у стола.

 Так точно, ваше превосходительство! — сорвавшимся дискантом почтительно сказал тот, но по тому, как побагровело и без того достаточно багровое лицо его и мало дружелюбен был коротко брошенный в его сторону взгляд, - Губонин понял, что его приход совсем некстати для этого человека с кожаной протезой заметил — вместо одной руки.

 Я ненадолго, совсем ненадолго, — сказал Губонин, отсаживаясь в сторону и улыбаясь: он отлично знал, что, на сколько бы ни пришел, человеку с протезой все равно придется закончить разговор в его присутствии, раз пожелал того Александр Филиппович.

Между тем Глобусов продолжал прерванный на минуту раз-

- «Мертвые души» читали, — а?

«В чем дело?» — прислушивался Губонин.

 В юности, ваше превосходительство! — стараясь говорить тише, ответил человек с багровым лицом и опять скосил глаза на Губонина. - Это про Чичикова произведение, ваше превосходительство.

 Зам-м-мечательно, ишь ты! — одобрительно смотрели на него темные, блестящие, с густой поволокой глаза Александра Филипповича. - Ну, прямо зам-мечательно, скажу вам... Вы, оказывается, хорошо знаете к тому же русских классиков?

 Чему учили — то уж до гробовой доски в памяти, ваше превосходительство! -- не замечая насмешки генерал-майора, старался уже его собеседник.

- Так, так, мой дорогой. А повесть о капитане Копейкине тоже читали?

 Не буду вводить в заблуждение ваше превосходительство: что не читал — того не читал. Завтра же озабочусь отысканием этой книжицы, ваше превосходительство.

 О капитане Копейкине не слыхали, значит? А «Мертвые души» читали все-таки? И целиком прочли? - Так точно.

 Вот реприманд неожиданный! — не меняя улыбки, осевшей на пухленькой бритой губе, покачал головой Александр Филиппович, стрельнув глазами в Губонина, и тыльной стороной пальцев похлопал по ладони другой руки.— А помните...

Что именно, осмелюсь спросить, ваше провосходительство?

— А поміните. Салопятников, — глядел Александр Филиппович не на него, а мимо: на раскинувшегося в одном из кресел Губонина.— А помните вы такое место.. Они (это о приятелях Павла Ивановича Чичикова идет речь, Салопятников!)... они тоже, со своей стороны, не ударили лицом в грязь из числа многих предположений было, маконец, одно: что не есть ли Чичиков переодетай Наполеон!.. А по-вашему?

«Издевается Шурик!» — внимательно наблюдал со стороны Губонин.

- Вот запамятовал, ваше превосходительство, как это было!

 Запамятовали? Не есть ли Чичиков переодетый Наполеон... повторыл Александр Филмппович. Так и вы, Салопятников... догадливы! Я вас не задерживаю, медленным наклоном
 прилизанной головы, посередине которой засветнялась теперь
 маленькая розоватая лысинка, похожав на авхуратненький аптечный
 пластырь, отпускал он Салопятникова. Я вас вызвал для того,
 чтобы сказать вам, что глупость не всегда добродетель, дорогой
 мой, и что в прямой связи с этим печальным обстоятельством награды выпать вам не могу. Понятног
- Так точно, ваше превосходительство...— заскрипела повернутая на винте кожаная протеза.
- Вы, кажется, Александр, читаете своим сотрудникам курс лекций по художественной литературе? — рассмеялся Губонинкогда за Салопятниковым закрылась дверь. — Я всегда знал ваше пристрастие к изящной словесности, но...
- Он не очень умен, этот человек, а любит играть в полковники. — встал из-за письмечного стола Глобусов и сделал несколько шагов по ковру. — Принял овцу за лису.
 - То есть?
- Вез из Киева одного крупного социал-демократа пораженца, а на поверку на вокзале оказалось, что...
 - ...бакалейщика какого-нибудь доставил? высказал догадку Губонин.
- Хуже, дорогой Вячек,— своего! Одного из дучших моих лодей, работающего среди сотрудников иностранных миссий и среди журналистов! Вы понимаете наш общий конфуз? Своя своих не познаша... Как Аннет, дорогой Вячек? перешел он на другую тему.
- Она уже две недели в Кисловодске на водах, к вашему сведению.
- Ах, вот что? Я думал, что сестра еще здесь. А детишки?
 С ней. Вот что, Александр, я к вам по делу, беря папи-
- росу из его портсигара, сказал Губонин.— Мне надо выяснить одно обстоятельство.

 У меня? Что ж, готов, дорогой мой. А я-то думал, что вы
- У меня? Что ж, готов, дорогой мой. А я-то думал, что вы почище нашего стараетесь,— заиграла благосклонная улыбка на

всем моложавом, розоватом лице Александра Филипповича, и он дружески похлопал свойственника по груди. — Мне передавали, что сам Борис Владимирович Штюрмер только вас и признает теперь, Вячек. А?.. Искренне рад. Хвалю.

 Рад, что меня хвалит муж, другим хвалимый! — любезностью на любезность ответил Губонин. — Если нас — Борис Владимирович Штюрмер, то вас — бери повыше еще, любезный Александр!

 То есть? — прикинулся непонимающим Глобусов и сложил по-бабьи руки на низко опущенном своем животе, словно желая согреть его.— Что вы имеете в виду, хотел бы я знать?

 Я имею в виду избавление от опасности Григория Распутина! Мне известно, что вы получили благодарность государя.

- Ах, вы уж знаете! с напускным равнодушием сказал Александр Филиппович. Как знать, тогло бы кончиться
- И не окончилось на сей раз... как будто непроизвольно сделал ударение на последних словах Губонин,
- Да, да, вся эта компания сегодня будет выслана из столицы, а кое-кто и очень далеко. Будут перемены в штабе Северо-Западного: за попустительство!.. Князь и его офицеры отведают сухой туркестанский климат.
 - А женщина? спросил Губонин.
 - Говорите прямо Галаган?
 - Вы не ошиблись Она еще вчера отбыла.
 - Куда?
- Я вижу, Вячек, вас очень интересует именно она сознайтесь!
- У меня есть особые основания к тому. Я не скрою, что мой приход в значительной степени связан и с ее делом. Но об этом мы еще отдельно поговорим, предупреждал Губонин.

 Она отправлена на родину, в деревню. Пусть посидит там до окончания войны! Было бы хуже с ней, если бы не неожиданное

- Вот как?.. Простите, Александр, а это установлено, что именно она раздобыла для капитана Мамыкина записку Григория, послужившую фрондерам пропуском?

 Вам известно, дорогой Вячек, я имею дело только с проверенными фактами! — тише обычного сказал генерал-майор. — Но погодите вы все о делах... Не мешает нам с вами, Вячек, облегчить нашу боль, - правда ведь?

Это была всегдашняя его игра слов: «боль» — любимый напиток Александра Филипповича, который приготовлял сам, радушно угощая им своих друзей.

 Как раз адмиральский час: пора закусить. Прошу вас, дорогой Вячек... пропустил он вперед Губонина, и оба узеньким коридором прошли в квартиру Александра Филипповича.

Мои тоже в отъезде, — говорил он о своей семье. — Один,

один совсем, — взаыхал он, открывая дверь квартиры. — Глафира! — уже через минуту распоряжался он. — Вы нам приотовыте сейчас... Ну, что бы сегодня такого? — сосредоточенно раздумывал он, как будто это было очень, очень важное дело, требовавшее одного только и самого верного решения. — Ах, вот что, милая Глафира. Вы нам, пожалуйста, икры салфеточной четверть фунта, масла туда прованского, уксусу, горчицы, лучку накрошить надо, сардинки, пожалуйста, огурчиков нежинских, несколько вареных картофелын,

 Ерундопель, значит, Александр Филиппович? — серьезно, с неподвижным лицом смотрела на него массивная по виду геркулесовой силы желтоглазая Глафира. И так и казалось: вот-вот козырнет в ответ на распоряжение своего барина.

Совершенно верно: ерундопель, подтвердил он. Знаток

она у меня, Глафира!

 Вы «Мертвые души» читали? — хохотал Губонин. — Помещика Петра Петровича Петуха помните? Ух. обжора же он был, дорогой Александр!

 Вот уж не то, вот уж не то!..— делал обиженное лицо Александр Филиппович.

В столовой, засучив рукава своего белого кителя (открылись сухие, безобразно волосатые руки, на которых на разглядеть уже было кожи), генерал-майор Глобусов занялся приготовлением «боля».

Смесь старинного рейнвейна, клубники, апельсина и сахарного песку была сразу же, после первого глотка, одобрена по достоинству Вячеславом Сигизмундовичем.

Завтрак продолжался недолго (генерал-майор Глобусов все делал по часам), но прошел приятно для обоих: каждый с удовлетворением занес кое-что в свою записную книжку, а самое важное — никуда не записывая, крепко поместил в своей памяти.

ЕГО ВЫСОКОПРЕВОСХОЛИТЕЛЬСТВУ ГОСПОДИНУ МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ЛЕЛ

Определения по охранению общественной безопасности и порядка в столице.

доклад

«По поступившим агентурным сведениям некоторые из членов обследуемой наблюдением в г. Петрограве преступной группы осциал-демократических работников, известных под наименованием вленищев», заметили за собой наблюдение филеров и сообщили об этом сочленам, вследствие чего ими было вынесено решение имеющуюся у группы «технику» немедленно перевести за пределы столщы, а именно — в деревню Малая Метцеколе, близ Териок, и там продолжать печатаные прокламаций и доставлять их для распространения в г. Петроград.

Изложенные агентурные сведения, нашедшие себе подтверждение в результатах наружного наблюдения, понудили меня по-

спешить с ликвидацией этой группы, дабы воспрепятствовать разъезду активных революционных работников по иногородним местностям Империи и предупредить возможность скрытия со-

зданной ими техники для печатания прокламаций.

Ликвидация была начата в ночь на 17-е и продолжалась до 19-го с. м., так как партийные работники начали расползаться и не держались на своих квартирах, и многих из них пришлось устанавливать наблюдением и задерживать на улице по указанию филеров. Так, в частности, был опознан и арестован сегодня деятельный работник подпольного Петроградского Комитета партии большевиков Сергей Леонидов Ваулин по кличке «Швед».

Ликвидация дала следующие результаты:

Около 12 часов в ночь на 17-е на Финляндский вокзал прибыл известный подведомственному мне Отделению мещанин г. Старой Руссы Яков Васильев Бендер. С ним шел неизвестный человек, потом оказавшийся содержателем рыночного ларька Андреем Петровым Громовым, и нес тяжелую корзину, поставив которую на вокзале, скрылся. Затем Бендер, купив проездной билет, обратился с просьбой к находившемуся неподалеку от него какому-то парню, прося помочь перенести корзину в вагон, и когда они ее понесли, то Бендер и его помощник были тут же задержаны и доставлены в дежурную жандармскую комнату, а оттуда — во вверенное мне Отделение.

При осмотре в Отделении корзины и пакета с предметами, отобранными при личном обыске у Якова Бендера, оказа-

В плетеной корзине размерами 14×7×5 вершков:

1. Вполне оборудованная ручная типография.

2. Рукопись на 8-ми четвертушках под заглавием: «Обзор деятельности Петербургского Комитета», полную копию коей при-

лагаю при сем вашему высокопревосходительству,

3. Рукопись на 3-х четвертушках под заглавием: «О германских шпионах». «За последнее время, - говорится в рукописи, в буржуазной печати попадаются статьи, разоблачающие немецких и австрийских шпионов. Особенно старается в этом смысле «Современное слово». По мнению этой — «что прикажете» — газеты, революционная работа в нашей армии ведется на немецкие деньги... Правительство в тревоге, и вот гг. либералы приходят на помощь царизму, пишут гнусные статейки, заведомо лгут, пытаясь вместе с самодержавием задавить растушую революцию в армии и в тылу».

4. Рукопись на 7-ми четвертушках под заглавием: «Наша задача». «За войну или против войны — этот вопрос стоит сейчас ребром, - говорится в этой рукописи. - Пролетариат уже дал свой ответ на этот вопрос.

Война войне — вот он! Но есть среди марксистов кучка отщепенцев, кучка беспочвенных интеллигентов — неунывающие гг. Потресовы, Маевские, Масловы и компания; они ратуют за победу Антанты и отечественной буржуазии... Союзников для свержения самодержавия пролетариат найдет в лице крестьянства и особен-

5. Рукопись под заглавием: «Война и германские социал-демократы», «Русская буржуазная пресса, - говорится в рукописи, -до сих пор приводила сведения лишь о тех выступлениях германских с.-д., которые говорили о их «воинственности». Приводимые нами мнения о войне некоторых вождей с.-демократии говорят о совершенно противоположных настроениях германских товарищей».

ния Розы Люксембург, Либкнехта и Меринга.

Обнаружено у Якова Бендера в числе прочих вещей:

1. Полулист бумаги, исписанный одним почерком.

На первой странице дословно написано: «Гвардейский запасный батальон (Петергоф). Были у нас рабочие листки. Начальство озлилось, пугает больно: повесим первого попавшегося. А мы, солдаты, знаем свое дело и потихоньку почитываем листки, где рабочие пишут про правду-матку о войне и о наших муках. Скорей бы, товарищи, нам бы подняться на борьбу с царем Николаем.

На днях пошлем вам еще письмо в номер вашей подпольной газеты...»

На 2-й и 3-й странице: «От редакции. Выход № 1 нашей газеты задержался, но мы надеемся, что следующие № № нам удастся выпускать регулярно». Затем несколько заводских корреспонденций.

. На 4-й странице: «Из армии. Кексгольмский пехотный полк.

Не так давно в нашем полку появились листки военной группы при П. К. партии. Начальство не на шутку встревожилось. Забегали отцы-офицеры по казармам, начали искать шпионов. Ан нет их как нет! Настроение солдат хорошее, в бой не рвутся, ждут мира, охотно читают листки. Наша группа поручила мне послать вам, рабочим — борцам за свободу, свой горячий привет. Будем бороться вместе. Ваш солдат Кузя».

2. Письмо, подписанное «Швед», крестянину деревни Малая Метцекюле Зигфриду Хальме, в коем содержится просьба «устро-

ить дачу мужу, жене и их племяннику».

На допросе в Отделении Яков Васильев Бендер признал, что «племянник» это он и есть, а кто такие «муж» и «жена», отвечать отказался».

Александр Филиппович Глобусов перевернул последнюю етра-

ницу, дочитывая свой доклад:

«По совершенно достоверным сведениям, полученным мной сегодня от чиновника государственной службы господина Губонина, преступная, разрушительная деятельность П. К. большевиков с.-д. успешно протекает также в госпитале Союза городов, расположенном в г. Луге, вследствие чего мною отдается распоряжение о повальном обыске среди лиц среднего и низшего персонала, обслуживающего названное учреждение.

...Оценивая полезную деятельность, возвращаясь к вопросу о ходатайстве, лично мне изложенном бывш. членом Г. думы от рабочих В. Шуркановым, о чем я имел честь сообщить вашему высокопревосходительству в особой докладной записке № 87 от 12-го с. м., настоящим вновь прошу удовлетворить ходатайство названного Шурканова о выдаче ему нового паспорта на другое имя, дабы он, заподозренный теперь своими товарищами, мог покинуть на время столицу, переселившись в Казань».

 В Ка-зань! произнес полным голосом Александр Филиппович, вставая из-за письменного стола,

В два часа ночи — усталый, но испытывавший немалое удовлетворение от работы — генерал-майор Глобусов закончил свой

СОДЕРЖАНИЕ

Конст, Федин. Михаил Козаков и его роман «Крушение империи»	3
Копет. Федип. Михаил Козаков и его роман «Крушение империи»	J
HACTЬ DERBAR	
От Смирихинска до Петербурга	
Глава первая. На почтово-земской станции зимой 1913 года	18
Глава вторая. Депутат Государственной думы Карабаев	
Глава третья. Федя Калмыков, братья Карабаевы и другие	37
Глава четвергая. Речь смирихинского Златоуста в новогодиюю ночь	
Глава пятая. Ротмистр Басанин и Пантелеймон Кандуша	62
Глава шестая. Обед в чиновничьем клубе	79
Глава седьмая. Друзья Феди Калмыкова	90
Глава восьмая. Выпускной экзамен	105
Глава девятая. Начало тайны	
Глава десятая. Хмельной июньской ночью	117
Глава одиннадцатая. Недавнее прошлое Ивана Теплухина. «Колесуха»	125
Глава двенадцатая. Что услышал Кандуша	132
Глава тринадцатая. Последний мирный день на заводе Г. Карабаева	141
Глава четырнадцагая. Так было в Петербурге	150
Глава пятнадцатая. Война! Царь и петербуржцы	155
Глава инестнадцатияЛишь для возгласов «ура»!	173
Глава семнадцатая. В ночь на 6-е ноября 1914 года в Петрограде	188
ЧАСТЬ	
BAQOTB	
От Петрограда до Лондона и Парижа	
Глава первая. Каждый дипломат, живя в чужой стране, должен найти там	
друзей своего отечества	
Глава вторая. Что хотел Карабаев увидеть и потому увидел это на Западе	197
Глава третья. Иносказательное интервью, или Смятение чувств	
Л. П. Карабаева	
Глава четвергая. Кандуша в Петрограде	215
Глава пятая Возвращение	
Глава шестая. Первая встреча	
Глава седъмая. Думы и нервы либерала	230
Глава восьмая. «Это детская сказка, приноровленная к уровню поли-	
тических младенцев»	239

Глава девятая. Ананьев Ляксей и капитан Мамыкин	2.0
Глава десятая. Вторая встреча	24
Глава одиниаднатая Распутки	25
Глава одиннадцатая. Распутин	25
та тишкинском поплавке	2.
Глава четырнадцатая. Немного о Феде Калмыкове	21
Глава пятнадиатая Проделя Б	27
Глава пятнадцатая. Людмила Галаган	28
исстиноватия. Сельди Андрея Громова	200
1. нава высемнанцатая. Семья на ваче	
Lugg desyrundungan Forman	304
Глава девятнадцатая. Большевики: старший и младший	312
1. ной обновать первая. Снова на тинкимском попления	
Глава двадцать вторая. Отец и дочь. Домашняя охранка в семье Карабаева	331
Глава двадцать третья. Доклад генерал-майора Глобусова	341

Михаил Козаков КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ

РОМАН В ЧЕТЫРБХ ЧАСТЯХ Первая и вторая части

Печагается с издания издательства «Хъдожественная литеритура». Москва, 1936 г.

Редактор И. Наднова Наблюдающий за выпуском Е. Яконетка Художив. 1. Просмиров Художеств, поми редактор У. Набиен Техняческий резактор А. Горшкова Корректор И. Ибраковов

ИБ N= 41

Слано в набор 27.01.87. Подписано в печать 21.05.87. Формат 60×90° гг. Бумага в инографская №2. Гаринтура «Тип. тавмс». Фотонабор. Усл. неч. л. 23.0 Усл. ар.-отт. 23.3, Уч.-изд. л. 27.68 Тираж 200.000. Заказ №10. Цена 2 руб. 30 коп.

(дано в шбор 27.01.87, Поциясано в печать 21.05.87, Формат 60> 90*/тв. Бумата кинжно-журиальнам, Герпитура «Тип. тайко». Фотопабор, Усл. печ. л. 23,0. Усл. кр.-отт. 23,1, Уч.-изг. л. 27,68, Тириж 200 000. 2мат № 10. Вина 2 р.б. 30 коп.

Измледистве «Узбеместан» 700129, Танмент, Навод, 30. Договор № 370. 86 ЕП ТППО «Матбуот» Государственного комитета Узбекскоп ССР по делам издательств, палиграфии и кнюжной портовта, 700129, Танжент, Навод, 30.





КОНТРОЛЕР № При обнаружении дефектов в книге просим

При обиаружении дефектов в книге просим вместе с данным ярлыком выслать книгу для обмена на доброкачественную по адресу: 700129, г. Ташкент, Навон, 30 ТППО «Матбуот»